

ИЗВЕСТИЯ

Уральского федерального
университета

Серия 2
Гуманитарные науки

2013

№ 4 (120)

IZVESTIA
Ural Federal University
Journal

Series 2
Humanities and Arts

2013

№ 4 (120)

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1920 г.

СЕРИЯ ВЫХОДИТ С 1999 г.

4 РАЗА В ГОД

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

- В. А. Кокшаров**, ректор УрФУ,
председатель совета
- Д. В. Бугров**, директор Института
гуманитарных наук и искусств УрФУ
- М. Б. Хомяков**, директор Института
социальных и политических наук УрФУ
- В. В. Алексеев**, акад. РАН
- А. Е. Аникин**, чл.-корр. РАН
- В. А. Виноградов**, чл.-корр. РАН
- А. В. Головнев**, чл.-корр. РАН
- С. В. Голынец**, акад. РАХ
- К. Н. Любутин**, проф. УрФУ
- А. В. Перцев**, проф. УрФУ
- Ю. С. Пивоваров**, акад. РАН
- А. В. Черноухов**, проф. УрФУ
- Т. Е. Автухович**, проф. (Белоруссия)
- Д. Беннер**, проф. (Германия)
- Дж. Боулт**, проф. (США)
- П. Бушкович**, проф. (США)
- М. М. Гиршман**, проф. (Украина)
- Л. Инчуань**, проф. (Тайвань)
- А. Ковач**, проф. (Румыния)
- Н. Коллман**, проф. (США)
- Дж. Майклсон**, проф. (США)
- А. Мустайоки**, проф. (Финляндия)
- Б. Ю. Норман**, проф. (Белоруссия)
- М. Перри**, проф. (Великобритания)
- Х. Рюсс**, проф. (Германия)
- Г. Саймонс**, проф. (Швеция)
- К. Хьюитт**, проф. (Великобритания)
- А. Федотов**, проф. (Болгария)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ

Главный редактор

Л. С. Соболева,
докт. филол. наук, проф.

Заместитель главного редактора

Д. А. Редин,
докт. ист. наук, доц.

Заместитель главного редактора по международным связям

Т. С. Кузнецова,
канд. филол. наук

Ответственный секретарь

Н. В. Мосеева

Ответственные за направления

История

Н. Н. Баранов,
докт. ист. наук, доц.

Е. М. Главацкая,
докт. ист. наук, доц.

Ю. А. Русина,
канд. ист. наук, доц.

А. В. Шаманаев,
канд. ист. наук, доц.

Филология

О. В. Зырянов,
докт. филол. наук, проф.

А. В. Маркин,
канд. филол. наук, доц.

Ю. В. Матвеева,
докт. филол. наук, доц.

А. М. Плотникова,
канд. филол. наук, доц.

Искусствоведение и культурология

Е. П. Алексеев, канд.
искусствоведения, доц.

Л. А. Будрина, канд.
искусствоведения, доц.

Г. В. Голынец, канд.
искусствоведения,

чл.-корр. РАХ

Л. С. Лихачева, докт.
социол. наук, проф.

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ

<i>Костромин К. А.</i> Восток и Запад в христианстве первого тысячелетия и разделение церквей	7
<i>Романчук А. И.</i> Византийский город периода «темных веков»: дискуссия в историографии второй половины XX в.	23
<i>Серов Д. О.</i> В каком возрасте начинали службу подьячие в конце XVII – начале XVIII в.	38
<i>Байдин В. И.</i> Идентификация Кирши Данилова на Урале: материалы к биографии	47
<i>Юнгблуд В. Т., Костин А. А.</i> Американско восприятие советской политики в отношении Югославии в 1942–1945 гг.	71

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

<i>Антропов Д. Н.</i> Образ горнозаводского Урала в иллюстрациях «Описания Уральских и Сибирских заводов» Г. В. де Геннина	86
<i>Панина Н. Л.</i> Лицевые списки Книги о иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской	97
<i>Огнев К. К.</i> Будущее экранного искусства: от индустриального к информационному обществу	105

ФИЛОЛОГИЯ

<i>Березович Е. Л., Бондаренко Е. Д.</i> «Лексические недоразумения» в сюжете фольклорного текста	113
<i>Турышева О. Н.</i> Любовь и смерть как метафоры чтения	131
<i>Маслова А. Г.</i> Жанровая специфика масонской поэзии XVIII в.	145
<i>Литварь (Шапиро) А. Е.</i> Загадки и интерпретации романа В. Набокова «Подлинная жизнь Себастьяна Найта»	158

<i>Поршинева А. С.</i> Сюжетно-пространственный комплекс «переход границы» в романе Клауса Манна «Вулкан» (сюжетная линия Беньямина Абеля)	171
<i>Сатовская С. Н.</i> «Чужие» нарративы в романе Г. Грасса «Мое столетие»: контекст исторической памяти	181
<i>Туляков Д. С.</i> Античный театр и маска в драме Уиндема Льюиса «Враг звезд»	192
«РУССКИЕ ЕВРОПЕЙЦЫ» XX в.: К 110-ЛЕТИЮ ГАЙТО ГАЗДАНОВА И БОРИСА ПОПЛАВСКОГО	
<i>Красавченко Т. Н.</i> Гайто Газданов как писатель культурного пограничья	201
<i>Кибальник С. А.</i> Роман Г. Газданова «Полет» как полемическая интерпретация метаромана И. А. Gonчарова	214
<i>Проксурина Е. Н.</i> Сюжеты о смерти и жизни в романах Г. Газданова	223
<i>Сыроватко Л. В.</i> Новый Иов: «метафизика счастья» в прозе Гайто Газданова и Бориса Поплавского	231
<i>Федякин С. Р.</i> Гайто Газданов: искусство изобразительности	242
<i>Матвеева Ю. В.</i> Советский мир в восприятии и оценках Гайто Газданова	251
<i>Васильева М. А.</i> Борис Поплавский как визави Владимира Варшавского	265
<i>Барковская Н. В.</i> «Приемные дети культуры»: традиции Бориса Поплавского в современной уральской поэзии	279
РЕЦЕНЗИИ	
<i>Снигирева Т. А.</i> Традиции академизма ...	290
<i>Вершинин Е. В.</i> Роль служилых людей в колонизации Восточной Сибири ...	296

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ	
Исследовательские проекты: итоги года	
<i>Запарий Ю. В., Бугров К. Д.</i> Мега- грант для историков	303
<i>Главацкая Е. М.</i> Эволюция религиоз- ного ландшафта Урала в конце XIX–XX в.: историко-культурный атлас	305
<i>Зырянов О. В.</i> Эволюция форм худо- жественного сознания в русской литературе: специфика националь- ного развития, региональные осо- бенности	310
<i>Бабенко Л. Г., Мухин М. Ю.</i>	
Исследовательские проекты кафед- ры современного русского языка	315
<i>Вепрева И. Т., Купина Н. А.</i> Многоречие в социокультурном пространстве современной России	317
Список сокращений	321
Сведения об авторах	322
Summary	327
Указатель статей и матери- алов, опубликованных в 2013 г.	335

CONTENTS

HISTORY

<i>Kostromin K. A.</i> East and West in 1 st Millennium Christianity and the Great Schism	7
<i>Romanchuk A. I.</i> The Byzantine City of the Dark Ages: Discussions in the Historiography (2 nd Half of the 20 th Century)	23
<i>Serov D. O.</i> The Age for a Podyachy to Start Working in Late 17 th – Early 18 th Century	38
<i>Baydin V. I.</i> The Identification of Kirsha Danilov in the Urals: Biographic Materials	47
<i>Jungblud V. T., Kostin A. A.</i> American Perception of the Soviet Policy Toward Yugoslavia in 1942–1945	71

HISTORY OF ART AND CULTURAL STUDIES

<i>Antropov D.</i> The Image of the Mining Urals in the Illustrations of <i>A Description of Ural and Siberian Plants</i> by G. W. de Gennin	86
<i>Panina N. L.</i> Illuminated Manuscripts of <i>The Book about the Theotokos of Tikhvin</i>	97
<i>Ognev K. K.</i> The Future of Screen Arts: from Industrial to Information Society	105

PHILOLOGY

<i>Berezovich E. L., Bondarenko E. D.</i> Lexical Confusions in Folkloric Plots	113
<i>Turysheva O. N.</i> Love and Death as Metaphors of Reading	131
<i>Maslova A. G.</i> Genre Peculiarities of 18 th Century Masonic Poetry	145
<i>Litvar' (Shapiro) A. E.</i> Riddles and Interpretations of V. Nabokov's <i>The Real Life of Sebastian Knight</i>	158
<i>Porshneva A. S.</i> Plot and Space "Border Crossing" Complex in Klaus Mann's <i>The Volcano</i> : (the Story Line of Benjamin Abel)	171
<i>Satovskaya S. N.</i> Alien Narratives in G. Grass' <i>My Century</i> : the Context of Historical Memory	181
<i>Tulyakov D. S.</i> The Antique Theatre and Mask in Wyndham Lewis's Drama <i>Enemy of the Stars</i>	192

"RUSSIAN EUROPEANS"

OF THE 20TH CENTURY.

Towards the 110 th Birthday Anniversaries of G. Gazdanov and B. Poplavsky	
--	--

Krasavchenko T. N. Gaito Gazdanov

as a Writer of Cultural Borderland	201
--	-----

Kibalnik S. A. G. Gazdanov's Novel "The Flight" as a Polemical Interpretation of I. A. Goncharov's Metanovel 214 |

Proskurina E. N. Life and Death Plots in G. Gazdanov's Novels 223 |

Syrovatko L. V. The New Job: the Metaphysics of Happiness in the Prose of Gaito Gazdanov and Boris Poplavsky 231 |

Fedyakin S. R. Gaito Gazdanov: the Art of Depiction 242 |

Matveeva Yu. V. The Soviet World in Gaito Gazdanov's Perception and Evaluation 251 |

Vasilyeva M. A. Boris Poplavsky as Vladimir Varshavsky's Vis-a-Vis 265 |

Barkovskaya N. V. «Adopted Children of Culture»: Traditions of Boris Poplavsky in Modern Ural Poetry 279 |

REVIEWS

Snigireva T. A. Traditions of Academism 290 |

Vershinin E. V. Service Class People's Role in the Conquest of Eastern Siberia 296 |

ACADEMIC CURRICULUM

Research Projects: Year Results

Zapariy Yu. V., Bugrov K. D. The Megagrant of Historians 303 |

Glavatskaya E. M. The Evolution of Ural Religious Landscape in Late 19th – 20th Century: a Historic and Cultural Atlas |

Zyryanov O. V. The Form Evolution of Artistic Consciousness in Russian Literature: the Peculiarity of National Development, Regional Features 305 |

Babenko L. G., Mukhin M. Yu. Research Projects of the Department of the Modern Russian Language 310 |

Vepreva I. T., Kupina N. A. Multidialectalism in Modern Russian Sociocultural Space 317 |

List of abbreviations 321 |

On the authors 322 |

Summary 327 |

Index of articles and materials published in 2013 335 |

ИСТОРИЯ

УДК 27-1 + 271/279

К. А. Костромин

ВОСТОК И ЗАПАД В ХРИСТИАНСТВЕ ПЕРВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ И РАЗДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ*

Рассматривается проблема разделения церкви на православную и католическую в контексте идеи политического универсума, на место которого пытались претендовать Византийская и Германская империи, а также папский Рим. В основе процесса разделения лежала идея христианства как мировоззренческого универсума и отношение к нему культур и этносов, находившихся на пике активности (суперэтносов). В качестве источников используются различные литературные произведения и хроники средневековых западноевропейских, византийских и древнерусских авторов. Поскольку существуют общепринятые представления о динамике конфликта, его виновниках и причинах, статья носит полемический характер. Показано, что раскол, переживаемый в разное время и с разной интенсивностью, должен быть лишен того абсолютного значения, которое традиционно привыкли видеть историки.

Ключевые слова: христианство 1-го тысячелетия; разделение церквей на западную и восточную; идея политического универсума.

Раскол, условно датируемый 1054 г., разделил христианскую церковь на две части — римско-католическую и греко-кафолическую восточноправославную [см.: Филарет, с. 63; Догматическое постановление, с. 18—19, 25—28]. В данных самоименованиях можно увидеть географическое позиционирование отношения христианских конфессий друг к другу: православие исторически действительно располагалось восточнее Рима. Таким образом, получается, что Восток не может существовать и быть понятым без Запада, и наоборот, Запад без Востока, и что как такового разделения (отчуждения), как это произошло

* Статья подготовлена по материалам доклада, прочитанного на международной конференции «Црква у доба Св. Цара Константина Великого», посвященной 1700-летию Миланского эдикта и прошедшей в Белграде 24—25 мая 2013 г.

с арианством¹ или дохалкидонскими церквами² в IV—VII вв., не произошло до сих пор³. Арианские церкви готовы или монофизитские церкви сирийцев стали очень быстро и всеобъемлюще *non grata* в ортодоксальном христианском мире от Испании (где жили остатки готов) до Сирии. Противостояние же православных и католиков по сию пору будоражит церковную общественность, заставляя сторонников единства постоянно провоцировать акции объединения, а противников — доказывать, что разделение все-таки состоялось. В действительности неверно ни то ни другое, и это заставляет каждое поколение исследователей и деятелей церкви заново осмысливать произошедший раскол, искать его смысл и причины.

Если уже в самих названиях неудачно заложен географический принцип, то и причины следует искать в истории деления мира на Восток и Запад. Чтобы не абстрагировать проблему до чрезмерности⁴, следует уточнить условия исследовательского поиска. Верхней границей служит условно понимаемое окончательное разделение церквей (XIII в.), в котором подвести черту было призвано каноническое право, хотя, как показала практика, оно также не способно решить этот вопрос окончательно. Поводы и причины разделения церкви, являющиеся предметом исследования, коренятся, с одной стороны, в цивилизационном противостоянии Востока и Запада, а с другой стороны — в факте самого появления церкви и ее официального, правового вживания в фактуру ойкумены, Римской империи, когда церковь была вынуждена взять на себя цивилизационные проблемы, которые породила римская публичная власть. Итак, обозначена нижняя граница — IV в., однако выхода за обозначенные хронологические рамки все же не избежать.

Хотя в эпоху разделения (IX—XIII вв.) эти конфликтующие христианские традиции предпочитали этнокультурные самообозначения (греческая и латинская), они по сути все-таки раскололись по географическому признаку «Восток — Запад». Проблема деления мира на греческий и латинский уводит нас вглубь веков, в эпоху античного противостояния греческой и латинской культур. Греческая культура, давшая миру высокую античную классическую философию и чистый античный портик с идеальными пропорциями, органически встраивавшаяся в окружающий мир и уже испытавшая кризис, была надломана римской культурой, заимствовавшей художественный язык гре-

¹ Арианство — церковное движение, связываемое с именемalexандрийского пресвитера Ария, отвергнутое в IV в. христианской церковью как ересь и сохранявшееся в качестве церковной организации у вестготов в Испании до арабского завоевания.

² Дохалкидонские (монофизитские) церкви — древние восточные церкви, отколовшиеся от христианской церкви Запада после IV Вселенского собора, отражавшие догматические взгляды нескольких народностей восточных рубежей Византийской империи и за ее пределами — сирийцев, армян, коптов и эфиопов. Существуют до сих пор.

³ Подтверждением этого стал результат экуменического движения XX в. — межцерковного движения за объединение или активное сотрудничество различных религиозных (в основном христианских) конфессий. Его масштаб резко сократился после самоликвидации Варшавского договора и прекращения холодной войны.

⁴ Можно впасть в крайность и свести проблему к извечному противостоянию Запада и Востока, в то время как методу дедукции здесь следует предпочесть метод индукции.

ков, но основывавшейся на совершенно иных началах. Римская культура исходила из грубовато-простой идеи господства, что в сочетании с имперской тягой к крупным формам создавало впечатление тяжеловатой и несколько безвкусной пышности [см.: Лосев, 1979а, с. 11–13, 40–48; 1979б, с. 5–28, 41–44]. Даже после включения Эллады и эллинизированного Ближнего Востока в состав республики, а затем империи греческий язык и культура не потеряли ни самобытных основ, ни исторической памяти. Уже к появлению христианства эллинизм, который когда-то мог стать платформой культурного объединения средиземноморских народов, преобразовался в типические национальные культуры, вновь сделав актуальным противопоставление «Восток – Запад» по любой оси — в районе Иллирика, Босфора, Сирии и т. д. Ранняя святоотеческая мысль (не говоря уже о поздней) столь легко и подразделяется на западную и восточную (хотя и это деление искусственно) именно потому, что основы были совершенно различными [см.: Бычков, с. 3–8]. Церковь легко включилась в своеобразное противостояние Востока и Запада в бывшей ойкумене сначала на интеллектуально-духовном уровне (богословской мысли), а затем и на государственно-правовом, что повлекло за собой неизбежное врастание церкви в имеющуюся систему экономических и социально-политических отношений со всеми вытекающими субъективно-негативными (зависимость церкви от земных условий) и «объективно»-позитивными (выгоды от социализирования церкви как общественной организации) последствиями. Следовательно, с самого начала своего легального состояния церковь впитала и вынесла на новый уровень греко-римское культурное противостояние и стала его своеобразной наследницей. Для нас самое важное здесь, пожалуй, то, что именно к этому наследию в ходе споров и апеллировали в эпоху разделения.

Однако в контексте споров IX–XIII вв. важным оказалось и географическое противопоставление по принципу «Восток – Запад». Выше уже подчеркивалось, что подобное географическое определение крайне расплывчато и не конкретно, что обуславливает массу уточнений и развернутых комментариев.

Речь идет о проблеме «Восток – Запад» в период торжества христианской церкви. Миланский эдикт⁵, сделавший церковь правоспособной в Римской империи и легализовавший ее существование в государстве, имел большее значение не вне церкви, а внутри нее. Для членов церкви новым смыслом наполнились слова апостола Павла о покорении властям⁶. После легализации

⁵ Миланский эдикт — совместная декларация 313 г. имп. Константина и Лициния об отношении к христианству. В отечественной историографической традиции нет единого мнения, следует ли понимать этот эдикт как признание христианства государственной религией [Лебедев, с. 305–309] или как провозглашение свободы вероисповедания [Болотов, с. 31–33].

⁶ «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому

церкви в империи антисоциальное настроение, которым проникнуты слова Христа в изложении канонизированных евангелистов (Мф. 10 : 34–37), стало пониматься аллегорически, поскольку их живой контекст резко сменился с негативного на позитивный⁷. Такое огромное государство, как Римская империя, могло распространить новый церковный взгляд на проблему взаимоотношений церкви и государства и за пределами церковной ограды. Можно сказать и иначе: христианство как первая универсальная религия, не связывавшая себя ни с каким конкретным этносом, а по результатам Апостольского собора⁸ провозгласившая и то, что она не связывает себя с *Pax Romana*, вышло за пределы ойкумены-цивилизации. И когда выяснилось, что под влиянием восточных культов ближневосточное христианство стало заметно отличаться от христианства, находившегося под непосредственным влиянием эллинизма (в его греческой и римской ипостасях), это привело к затяжным спорам (получившим наименование монофизитских) и к кризису, завершившемуся этноконфессиональным расколом [Карташев, с. 192–207, 384–396]⁹.

Граница между Востоком и Западом (географически) — всегда ускользающая не только при априорном рассуждении (как бы ни двигаться на восток, всегда будет что-нибудь «еще более восточное»; при этом восток и запад куда более относительны, чем север и юг; на восток и запад можно двигаться бесконечно, а север и юг ограничены полюсами), но и при рассмотрении исторических и этнических вопросов. В самом деле, межэтнические границы не стремятся обозначить свои пределы именно как восточные или как западные, да и сами восточные и западные границы не обладают сколь-либо большим значением, чем какие бы то ни было другие. Даже определение «народы Востока» совершенно абстрактно: это взгляд европейцев на далеко расположенные этнические общности Азии. Для европейца к «народам Востока» одинаково относятся сирийцы, туркмены и китайцы, в то время как сами эти народы не воспринимают себя как находящиеся «на востоке относительно Европы», да и отношения «западный» и «восточный» между ними не заострены. Однако сквозящий в этих рассуждениях европоцентризм не даст ответа на вопрос

страх, страх; кому честь, честь» (Рим. 13 : 1–7). Ср.: «Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верхновластии, правителям ли, как от него послыаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, — ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, — как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым» (1 Петр. 2 : 13–18).

⁷ Можно для примера сравнить высказывания на одну и ту же тему (Мф. 16 : 24–26) св. Игнатия Антиохийского (II в.) и св. Иоанна Златоуста (V в.) [Писания мужей апостольских, с. 290–293; Иоанн Златоуст, с. 565–566].

⁸ Апостольский собор — историографический термин для собрания апостолов, инициированного деятельностью апостола Павла, состоявшегося в 49 г. в Иерусалиме и описанного в Книге Деяний (Деян. 15 : 4–22), посвященного вопросу о возможности христианской проповеди язычникам.

⁹ Важно отметить, что сиро-эфиопская традиция именовала себя именно «восточной», противопоставляя себя «западной» греческой (благодаря за указание на эту параллель игумена Иннокентия (Павлова)).

о противостояния Востока и Запада в истории христианской церкви IX—XIII вв. Во-первых, потому что разделение произошло внутри самого европейского мира (и, кстати, сам европоцентризм не поколебало). А во-вторых, потому что церковь не исходила и не исходит из идеи европоцентризма: сиро-яковитская традиция, проповедь апостолов вплоть до Индии и Эфиопии, наконец, само рождение Христа в «восточной» — левантской¹⁰, по определению эпохи Крестовых походов, Палестине лишают христианство географической основы, которая очень важна в этническом самоопределении. Примеры исторической относительности Востока и Запада мы уже приводили.

Как определить географическую границу Востока и Запада внутри церкви? Она историческая? Как выясняется, нет. Может быть, этническая? Лишь отчасти, поскольку сирийское христианство IV в. сильно отличалось от христианства в Пелопоннесе или Карфагене¹¹, но это не мешало как правовому (каноническому), так и мировоззренческому единству. Почти то же самое можно сказать и о двух мирах — греческом и славянском, сложившихся в IX—X вв. (об этом речь ниже). Может быть, граница определяется культурой? Думается, что и это не совсем верно, поскольку в приведенных примерах этнического различия наибольшее значение имеет не столько этническое самосознание, сколько различие культур.

Относительность географического определения «Восток» и «Запад», зыбкость политической и этнической пространственной топографии, неопределенность культурного противостояния дополняются конфессиональной (по крайней мере — в отношении христианской церкви в позднем Средневековье и раннем Новом времени) географической четкостью. Человек в ареале христианской культуры противопоставляется как западник и антизападник как раз начиная с разделения церкви и, более того, обнаружения различия христианских традиций¹². Иными словами, определение человека по принципу стремления к Западу или Востоку может быть охарактеризовано как некий цивилизационный вектор, который характеризует мировоззрение различных социальных групп в той или иной этнической общности.

Важно указать на существенное различие того, как проявлялась проблема «Восток — Запад» в эпоху Миланского эдикта и на рубеже 1-го и 2-го тысячелетий. Это различие прежде всего касается участников межэтнического диалога, причем, что важно, речь должна идти, выражаясь терминами Л. Н. Гумилева, о суперэтносах [Гумилев, 1990, с. 112; 2010, с. 248]. В эпоху легализации христианства уровень культуры окружавших Римскую империю народов еще

¹⁰ *Levant* (фр.) — Восток.

¹¹ Региональные церковные центры поздней Римской империи были весьма сильны, что отразилось на истории раннехристианской письменности. Так, сирийская церковь знаменита трудами преп. Ефрема Сирина (306–373) и выходца из Сирии — свт. Иоанна Златоуста, а карфагенская — трудами свт. Киприана Карфагенского (ум. 258), Тертуллиана (ум. 240) и Блаженного Августина (354–430). Сирийская церковь утратила свои позиции после расколов V в. — несторианского и монофизитского, а карфагенская — после нашествия вандалов.

¹² Секуляризовавшись, это противопоставление на пространстве Восточной Европы стало означать борьбу диссидентства и государства [Леонтович, с. 2–10, 17].

не позволял им ощутить себя частью какого бы то ни было суперэтноса. Поэтому межэтнические отношения применительно к той эпохе всегда и в источниках (за исключением разве что «Истории готов» Ульфилы¹³), и в историографии рассматриваются глазами империи. Она не выделяла крупных этнических групп, за исключением германцев, прекрасно понимая, что представление об единстве германских племен искусственно. Поэтому единственным суперэтносом, который еще не дошел до стадии дробления, были сами ромеи.

В эпоху же разделения церкви здесь все было уже иначе. Суперэтнос ромеев клонился к закату, все более и более переходя к фазе обскурации в форме нации греков. Разумеется, последние воспринимались как наследники великой греческой культуры, однако среди византийцев все чаще раздавались голоса в пользу создания национального государства [Культура Византии, с. 61, 83]. Латинская культура не имела эксклюзивного или главного (среди прочих) носителя, став универсальной — общей и в то же время ничьей. Однако в Западной Европе появился новый суперэтнос — германский, вполне сознательно включавший практически все народы и страны Европы до Эльбы. Он активно включился в межцерковные отношения на позициях Рима (поскольку владел им по праву оккупанта) в конце XI — начале XII в.

Тем не менее старые традиции имперского правосознания Рима и греческой культурной органики продолжили свою жизнь в новых условиях. Большая часть старых претензий сохранилась, претерпев изменения в соответствии с духом времени.

Германские «новоимперские» претензии в глазах византийских политиков не имели прав, потому что выдвигались варварским миром, не являвшимся в какой-либо степени законным наследником Римской империи. Заявка на имперский статус со ссылкой на обладание Римом была для Византии не более чем узурпацией.

Но и Византия в глазах «германских патрициев» не имела права на существование, поскольку торжествующее в Византии греческое начало не имело имперской основы¹⁴. По мнению германского мира Византия должна была определиться: если она Европа, то как наследница греческой культуры она имеет право лишь на полисную простоту (о чем с такой откровенностью будут писать поздневизантийские гуманисты вроде Плифона, учившиеся на западе) или, максимум, на национальное государство [Медведев, с. 146—161]. Если она Восток, то Восток деспотический, а не имперский, так как он должен быть чужд и римской, и чистой эллинской традициям и может быть отчасти оправдан как грязно-эллинистический синтез тонкой Античности и восточной монархической беспорядочности. Однако в этом случае Византия в глазах Европы

¹³ Готский епископ Ульфила (ум. 383) был миссионером, обратившим готов в христианство (вернее, в его арианскую разновидность), и автором исторического произведения «История готов».

¹⁴ Западноевропейских источников, в которых декларировано презрительное отношение германцев к Византии, очень много. К примеру, об этом писали Эйнхард (770—840), Рихер Реймский (940—998), Титмар Мерзебургский (975—1018), Адам Бременский (ум. после 1081) [см.: Эйнхард, с. 20—22; Рихер Реймский, с. 11; Титмар, с. 50, 178; Адам Бременский, с. 78, 90].

отказывается от того, чтобы считаться прямым наследником классической греческой Античности, становится врагом ее (как персы были врагом греческой полисной системы) и Европы, претендующей на преемство античному имперскому Риму. Очевидно, следовательно, что для Запада Византия в любом случае не имела права на существование как нелегитимная империя и неоправданный синтез Востока и Запада (в наиболее широком смысле).

Насколько оправданные такие амбиции посткаролингского германского мира, вопрос открытый. Ведь и Рим когда-то переварил греческое наследие, порядком его извратив. Да и римские папы, как это выяснилось впоследствии (а греки ощущали всегда), не были уполномочены раздавать императорские короны¹⁵. В рамках концепции «Константинополь — Второй Рим», провозглашенной имп. Константином и, следовательно, исчерпывающие легитимной, права на претензии западный варварский мир не имел, так как он не только высокочка (в силу варварского происхождения), но и нарушитель императорской воли, той самой воли, к которой средневековый германский Рим и апеллировал. Так что с точки зрения как юридического обоснования, так и естественного права Константинополь и Византия имели куда больше прав на то, чтобы считаться наследником Римской империи, чем Священная Римская империя и Рим (и стоящие за ним Ингельгейм и Вормс — столицы Священной Римской империи и Франкского королевства). Византия же, несмотря на заметный уход от Античности (или, вернее, являясь ее развитием), обладала полным правом наследования античному Риму. Можно также указать и на культурное различие соперников, ибо утонченным греческим богословам всегда претила западноевропейская грубая прямолинейность [Мейendorf, с. 263, 280—385, 393—416]. Имя имп. Константина, одного из солдатских императоров эпохи домината, является ключевым для оправдания Византии, которая в благодарность за создание и оправдание возвышения Константинополя назвала его Великим и Равноапостольным. Собственно, Константинополь есть не что иное, как реванш Риму, некогда поправшему греческую античную культуру, и возращение доминирования древней культуры Эллады над европейским Средиземноморьем, но в новом — христианском — качестве.

Претендуя в VIII—XIII и в последующие века на исключительное право считаться оправданием имперской идеи¹⁶, папы фактически, задним числом, обосновывали глобальный характер передачи античной политической культуры в наследство христианской церкви. А уж главенства в христианской церкви

¹⁵ Речь идет о Константиновом даре — средневековом документе, созданном в конце VIII — начале IX в., заложившем основу для претензий римского папы на титул главы государства, на высшую власть в христианской церкви и на исключительное положение среди государей Европы, дающее право утверждать кандидатуры любых правителей. Документ фиксирует якобы имевшее место дарение имп. Константином Великим римскому епископу Сильвестру земель в Центральной Италии и власти в Западной Римской империи [Валла, с. 139—216].

¹⁶ Противопоставляя созданию Константинополя имп. Константином «Константинов дар» папе Сильвестру, т. е. также возводя свои претензии к эпохе имп. Константина, папы пытались дезавуировать права Византии на исключительность наследия Римской империи.

папы могли добиться без особых проблем, не ставя под удар саму идею универсума.

Проблема решалась бы проще, если бы она продолжала рассматриваться только в контексте Античности. Ситуацию сильно осложнило появление новых сил, не имевших связей с античным наследием, но вынужденных разделять последствия нерешенных античных проблем. Первым и уже не раз обозначенным участником мировой политики Средневековья стал германский мир. Он вторгся как оккупант в античный мир на этапе его кризиса. Однако появление германцев осложнило проблему лишь отчасти. Их активность и даже инициативность, их культурная чуждость античному миру и новоявленность в цивилизации привносили в политическую игру элемент непредсказуемости. Тем не менее тот факт, что некоторая претенциозность германцев быть империей на античных, как они их понимали, началах, сделала германцев своеобразным, но более или менее адекватным и едва ли не единственным наследником рухнувшей латинской Античности, примирял с их вчерашним варварством и возвышал их до того уровня, до которого они сами едва бы выросли.

Впрочем, то же самое можно сказать и о Византии. Ведь то, что мы подразумеваем под Византией, есть прямое следствие Миланского эдикта: Византия — это Римская империя в условиях господства христианства. И как преемница политики имп. Констанция Хлора, Константина и Феодосия Старшего она по праву называлась империей ромеев, хотя и допустила сильное влияние Востока и восстановила значение греческой культуры взамен латинской.

В ходе церковного разделения обозначился еще один участник, который отсутствовал в мировой политической системе в эпоху имп. Константина и который впоследствии сыграл в схизме большую, если не ключевую, роль. Это славянский мир. В эпоху православно-католической схизмы славянский мир оказался разделен на две почти равные части: *Slavia orthodoxa* и *Slavia romana* (терминология Р. Пиккио) [см.: Пиккио, с. 3–82, 102–121]. Думается, что данные понятия не вполне корректны. В отношении истории Восточной Европы XV–XVIII вв., когда юго- и особенно восточнославянский мир противопоставлялся Западу как православный в противовес римскому¹⁷, применение данных терминов представляется оправданным.

Но в XII в. славяне не противопоставляли себя Риму, русы или болгары (славяне по культуре) не именовали себя православными, чтобы отличаться от соседей — поляков, чехов или даже германцев. Поэтому правильнее было бы называть две ипостаси славянского мира классического Средневековья: *Slavia graeca* и *Slavia latina* (благодарю игумена Иннокентия (Павлова) за терминологический совет), указывая тем самым на те культурные традиции, на которые они предпочитали ориентироваться и которые чаще всего пытались по-разному совмещать. Между этими мирами (*Slavia graeca* и *Slavia*

¹⁷ В русской средневековой литературе римский папа стал символом морального и доктринального падения: ср. образ «римского папежа» в полемических произведениях или образ Рима в идеологии «Москва — Третий Рим» [см.: Синицына; Попов; Павлов].

latina) не было границы, как было между антагонистами *Slavia orthodoxa* и *Slavia romana*, а была обширная зона культурного контакта, на крайних точках которой находились непосредственные культурные центры греческой и латинской культур. Можно заметить, что в предпочтаемом терминологическом поле противопоставление осуществляется в рамках культурно-географической системы координат, что намного вернее конфессионально-географического принципа, заложенного в концепции Р. Пиккио (о Руси как особом феномене — ниже).

В отличие от германцев, славяне ни в какой степени не были наследниками Античности. Они сами, независимо от окружающего мира, проходили античную эпоху с характерной «дикой демократией», полисным строем и рабовладением [Становление, с. 331–335]. Они не были участниками политических перипетий античной истории и принимали христианство тогда, когда античные истоки уже сменились средневековой культурной традицией. Славяне воспринимали и латинскую, и греческую культуры как современные своей (пусть и с более древними корнями, но интересующими славян лишь постольку, поскольку им это представлялось важным или интересным) [см.: Мещерский, с. 70]. Тем не менее столкновение Востока и Запада, переросшее в конфессиональный разрыв, они должны были испытать на себе [см.: Флоря], так как наиболее активная (пассионарная) часть славян заселила территорию культурного контакта Востока и Запада, бывший Иллирик, и более широко — Балканский полуостров. Именно здесь проходила историческая граница между греческим и римским миром.

Принцип деления и прохождение условной географической, хотя исторически обусловленной, границы традиций в IX–XIII вв. как бы повторяли рубеж, некогда проведенный при разделении единой Римской империи на Восточную и Западную, окончательно оформленном реформами имп. Диоклетиана (284–305 г.) [Неронова, с. 227–234]. Проблема, временно решенная при Диоклетиане, возникла как результат движения Рима на восток и столкновения с Понтийским царством в походах Суллы и Красса (88–63 г. до н. э.) [Егоров, с. 33–39]. Однако принцип домината, провозглашенный в конце III в., закрепился не сразу, хотя и был вызван к жизни насущной необходимостью. Империя стала слишком большой, чтобы управление ею не потеряло своей эффективности. Необходимо было искусственное и условное дробление с разведением мер компетенции властей. Диоклетиан в качестве восточной столицы выбрал вполне обжитую Никомедию. При формальном единстве империя переставала быть единой. Каким бы вынужденным ни было административное разделение империи, оно обозначило неизбежность ее распада и определило ее частям различную судьбу, столь же больно ударив по судьбам народов Европы, как и разделение церкви на рубеже первого и второго тысячелетий.

Насколько неизбежными были эти разделения и как они переживались в современные им эпохи? Думается, что цивилизационный масштаб трагедии вполне ощущался лишь на завершающем этапе разделений — во время разрыва связей. Административное разделение повлекло за собой появление новых центров, переориентацию торговли, смену пространственных ориентиров

людей¹⁸. Рано или поздно жители Западной и Восточной империй должны были ощутить границу между собой, а также то, что они теперь граждане различных государств. Разделение, а вслед за ним неизбежное ослабление легко могли привести к гибели каждой из империй (о гибели Западной говорится теперь как о хрестоматийном сюжете, Восточная едва не погибла вместе с имп. Валентом в 378 г.). Однако такие люди, как имп. Константин, вполне ощущали трагизм положения значительно раньше, чем это ощущение стало всеобщим.

Нужно вспомнить, что Миланский эдикт Константина и Лициния появился в период борьбы за объединение империи, когда принцип домината дал трещину. Провозглашение христианства разрешенной религией (с подтекстом, подразумевающим *de facto* ее государственный статус) именно в момент попытки отменить деление империи и воссоздать ее единство означало, что христианство понимается обоими соправителями как средство этого объединения (как впоследствии оно стало средством разделения). Впервые в истории Римской империи ее судьба была поставлена в зависимость от религиозной идеи и структуры. Никогда еще Римская республика или империя не зависела столь сильно от религиозной идеи и ее институтов. В самом деле, языческий Рим, знавший две формы религии — официальный культ, направленный на обеспечение императорской власти сакральным контекстом, и суеверия бытовой религии римлян, не воспринимал их как нечто значимое. Имперская или консульская власть куда более основательно опирались на легальные и экстраординарные магистратуры, воспринимая религию лишь как вынужденную традицию, сама традиционность которой и есть все ее смысловое наполнение [см.: Штаерман]. Бытовое же язычество находилось на такой примитивной стадии развития, что ни в коем случае не могло бы стать опорой какой бы то ни было идеи. В этом контексте признание за христианством права на существование в границах империи было столь же революционной, сколь и вынужденной мерой. Императоры фактически положились на единство и универсализм церкви, которые должны были «вытянуть» империю из пропасти разделения.

Здесь необходимо сделать оговорку. Выше говорилось о монофизитском расколе как о расколе на восточную и западную традиции. Может, здесь также нужно видеть разрушение универсума? Если бы дело обстояло так, то оно лишило бы смысла разговор об универсуме, во-первых, потому, что в таком случае от создания до распада универсума прошло чуть более века (а это по меркам истории ничтожно мало для глобальных процессов, каковому условию обязательно должен отвечать универсум), а во-вторых, потому, что события IX—XIII вв. теряют в таком случае свою исключительность, а их смысл следует искать в контексте каких-то иных процессов.

Легко убедиться в том, что монофизитский раскол имеет природу, отличную от идеи универсума, который предполагал сращивание церковных и госу-

¹⁸ Жители Никеи, ранее ощущавшие свою периферийность и пограничность, теперь стали соседями столицы и центром империи [см.: Петросян, с. 31–41].

дарственных идей и структур только на пространстве ойкумены, т. е. самой Римской империи. Территории же, отпавшие во второй половине V в., находились за ее пределами. Империя одно время рассматривала возможность включения в свой состав земли Восточной Сирии, Кавказской Армении, Месопотамии, однако к V в. стало ясно, что это невозможно. Поэтому, напротив, данный раскол следует понимать как последовательное проведение в жизнь принципа христианско-имперского универсума, когда границы их окончательно совпали; отпали только народы, оказавшиеся вне границ ромейской ойкумены. Единственная оговорка, справедливая в контексте рассматриваемой темы: любой подобный раскол поднимал национальный вопрос в империи, очень опасный (это видно и на примере схизмы IX–XIII вв.) для благополучного бытования идеи универсума [см.: Диль, с. 55–60]. В V в. от церкви отпали сирийцы, эфиопы, копты и армяне, т. е. определенные нации. Одновременно христианская церковь начала поляризоваться по национальному признаку, что обозначило появление патриархатов и кризис универсальности¹⁹, в тот момент почти преодоленный [Фрис, с. 34–38, 47–68].

Как бы там ни было, срок жизни христианского универсума оказался достаточно долгим — почти тысяча лет. Причиной его гибели стал отказ от универсальности Священной Римской империи именно из-за сохранения национального определения: германский мир попытался восстановить идею универсума путем восстановления Западной империи, но фактически эту возможность упустил, польстившись на мнимую возможность сохранения национальной идентичности (Священная Римская империя германской нации), а также проиграв спор об инвеституре: Вормсский конкордат обозначил победу папства, которое также попыталось взять идею универсума целиком на себя и надорвалось.

Бросается в глаза, что славянский мир имел совершенно иные причины того конфликта, который разделил Рим и Константинополь. Балканские славянские народы появились на исторической карте сравнительно поздно и лишь в VI в. вошли в общемировую политическую систему. Да и ни в одном летописном или хронографическом произведении (а наиболее подходящим для этой цели на Руси был Хронограф по Великому изложению) Миланский эдикт не упоминался [Хронограф, с. 261–267; Творогов, с. 46–58, 250–251]. Тем более до времени не волновали их и проблемы универсума, который попал в зону «исторической турбулентности» и не выдержал ее «тряски». Только после ослабления Византии в палеологовскую эпоху и стремления византийских интеллектуалов оправдать преобразование империи в национальное государство статус Восточной империи оказался *de facto* вакантным, что поощрило потенциальных преемников искать возможности перехватить

¹⁹ Кризис универсальности из-за дробления единого пространства церкви на ряд независимых, но дружественных патриархатов был преодолен не полностью. В результате догматических споров в ярко выраженном политическом контексте Рим впервые вычеркнул константинопольского патриарха Акаакия из диптихов (поминальных списков). Схизма патр. Акаакия стала «тревожным звоночком» для проблемы «Восток — Запад» [Фрис, с. 34–38].

умирающий универсум. Так родились идеи Тырново и Москвы как «Третьего Рима» [Синицына, с. 58–132; Подскалски, с. 95], великих королевств Венгрии и Речи Посполитой (последние, правда, не старались стать преемниками самой Византии). Динамика конфликта здесь, стало быть, была своя, не походящая на ту, которую можно было наблюдать в Византии.

Однако и здесь есть сложность. Выше говорилось о предпочтаемом противопоставлении *Slavia graeca* – *Slavia latina*. Оно применительно прежде всего к западным и южным славянам, но не касается Руси. Последнюю трудно отнести в полной степени как к первой, так и ко второй группе. Непосредственные контакты с Византией были столь незначительны (особенно по сравнению с балканскими народами), что Русь не может быть охарактеризована как *Slavia graeca*, а поскольку влияние церковной культуры Западной Европы на русскую культуру также оказалось незначительным, то Русь не принадлежала и к *Slavia latina*. Точнее, Русь следовало бы назвать *Russia slavica*. Под этой характеристикой скрывается указание на то, что наследие имперских культур было заимствовано Русью не напрямую, а благодаря связям с соседями, по преимуществу славянами, реципиентами как византийской, так и латинской культур, но византийской по преимуществу. Вероятно именно этим объясняется нежелание славянского мира вступать в полемику по вопросу о правильности традиции: до XV в. на Руси об этом не писал ни один русский автор, последствия же полемики XII в. проявились не сразу и имели ограниченное значение [см.: Костромин, 2013а; Павлов, с. 5–66]. Мягкая полемика Феофилакта Охридского и ее уникальность на фоне «иерархического плюрализма», который имел место на Балканах почти до XIII в., подтверждают эту точку зрения [см.: Подскалски, с. 298–299; Suttner, с. 490–498]. Едва ли не все следы конфликтности христианских культур оказались на Руси привнесенными извне, чужеродными и недействовавшими [Костромин, 2013б].

Русь находилась на периферии культурного конфликта и была мало предопределена в своем выборе: контакты со славянскими странами — носителями греческого или латинского христианства — были примерно равными, как и с Византией и Западной Европой; свидетельств о Руси в германской хронографии содержится не больше и не меньше, если их сравнивать с византийскими; путь «из варяг в греки» вел равным образом как в Византию, так и в Западную Европу; причина же выбора православного пути, по нашему мнению, наиболее точно отражена в выборе веры Повести временных лет: русские почувствовали, что близки грекам по тяге к красоте и созерцательности. Можно сказать, что Русь, не будучи обременена идеей универсума, не была обязана этот выбор и осуществлять. В этой связи показательна позиция Александра Ярославича Невского (1221–1263). Ведь он делал выбор не между Востоком и Западом (как в греко-латинском христианском противостоянии), а по принципу противоположения двух навязываемых культур (путем выбора наименьшего зла). Этот принцип применительно к проблеме «Востока и Запада» при рассмотрении конфликта христианских традиций выше отвергнут в пользу географического. Если методология является константой, то налицо различ-

ная природа этих определяющих ход развития цивилизации исторических моментов.

Русь не делала своего выбора между православием и католичеством в эпоху Александра Невского. Правоту данного утверждения подтверждает первоначальный успех митр. Исидора (1390–1463), который не скрывал того, что готовит унию (правда, он не объявлял и условий). Но падение Константино-поля и «сдача позиций» на Ферраро-Флорентийском соборе (1439) поставили Русь перед выбором, который она должна была сделать: стать преемницей Византии или войти в новую Европу. Шаги в обоих направлениях, которые сделал Иван III, демонстрируют амбивалентность возможностей [см.: Скрынников, с. 39–44; Алексеев, с. 92–96], хотя выбор России уже не мог быть таким же априорным и свободным, каким он должен был бы быть в XI–XII в. Сделав выбор в пользу наследования Византии, централизованное Русское государство пошло по пути создания империи и вступило тем самым в конфронтацию с Западом, определившись в своем положении как восточная страна (тут кстати пришлась и ересь жидовствующих). Сторонники европейского (западного) пути развития и гуманизма стали диссидентами [см.: Успенский, с. 393–406; Костромин, 2012, с. 45–53]. Россия пришла к своему выбору быстро, породив ряд внутренних и внешних проблем, но именно теперь она стала подлинно православной (в противовес католицизму) и восточной (в противовес Западной Европе) страной. Если решение кн. Василия Васильевича в 1442 г. об аресте митр. Исидора было скорее интуитивным и свидетельствовало о первых результатах накопления опыта, то появление антилатинской литературы в конце XV – начале XVI в. (исчезнувшей первоначально в XII в., так и не став русской) свидетельствовало об осознании сделанного выбора [см. об этом: Павлов, с. 87–114].

Можно сказать, что Русь в какой-то степени сделала выбор не только за себя, но и за весь православный мир, поскольку в XV в. греки в большинстве (за исключением, разве что Марка Эфесского) были против разделения (как Виссарион Никейский) или равнодушны к этой проблеме (как Геннадий Схоларий), а южнославянские народы уже были фактически нокаутированы турками. Принципиальная готовность Константинополя договариваться с латинским миром об условиях оказания Европой помощи византийцам красноречиво говорит в пользу этого. Неготовность России принять унию и согласиться с положением русских в Речи Посполитой, когда переговоры об этом были еще возможны, столь же показательны. Накопив достаточный опыт, подкрепленный исторической памятью, имея непримиримым оппонентом Речь Посполитую – польско-литовское католическое, но этнически и культурно в значительной степени русское государство, Московская Русь начала создавать свой универсум, в котором для католиков места уже не нашлось: слишком много было *contra*.

Общий вывод, который можно сделать из рассмотренного спектра причин и глубинных подтекстов, гласит, что раскол церквей имел цивилизационные причины, что определило дифференциацию динамики на разных «театрах боевых действий». Причем разновременность развития цивилизаций

(если рассматривать историю в цивилизационном ракурсе) [см.: Данилевский, с. 134; Тойнби, с. 36–75, 442–503; Шпенглер, с. 71–80] сделала неизбежной и разность степени заостренности конфликта, и разность его динамики, и разность вектора конфликтных зон. Очевидно, что раскол — процесс, переживаемый в разное время и с разной интенсивностью, должен быть лишен того абсолютного значения, которое традиционно привыкли видеть историки. Соответственно выделены три группы участников, по-разному воспринимавших конфликт латино-христианской и греко-христианской традиций: 1) византийцы и папство; 2) германский мир; 3) славяне. Славяно-русский мир совершенно иначе воспринял схизму: в отличие даже от остальных славян, она долгое время оставалась непонятна и чужда русскому сознанию, хотя совершенно игнорировать канонико-правовые последствия событий 1054 г. было невозможно.

Хотя некоторые вопросы и остаются нерешенными, а также несмотря на отсутствие официальных документов, декларирующих факт разрыва, поставлена некая точка в отношениях церквей. В то же время раскол христианского мира на две половины вряд ли можно мыслить до конца состоявшимся. Подлинного исторического разрыва не произошло. Позитивное осмысление современного состояния, в той или иной степени справедливое и для предшествующих эпох, выражено папой Иоанном Павлом II, который, перефразируя высказывание Вячеслава Иванова, назвал обе христианские традиции «двумя легкими Европы» [Иоанн Павел II, с. 75–79; Иванов, с. 429].

Адам Бременский Деяния архиепископов гамбургской церкви // Из ранней истории шведского государства: первые описания и законы / отв. ред. и сост. А. А. Сванидзе. М., 1999. С. 59–111. [Adam Bremenskij Deyaniya arkhiepiskopov gamburgskoj tserkvi // Iz rannej istorii shvedskogo gosudarstva: pervye opisaniya i zakony / otv. red. i sost. A. A. Svanidze. M., 1999. S. 59–111.]

Алексеев Ю. Г. Государь всея Руси. Новосибирск, 1991. 240 с. [Alekseev Yu. G. Gosudar' vseya Rusi. Novosibirsk, 1991. 240 s.]

Болотов В. В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 3. М., 1994. 340 с. [Bolotov V. V. Lektsii po istorii drevnej Tserkvi. T. 3. M., 1994. 340 s.]

Бычков В. В. Эстетика поздней Античности II–III веков. М., 1981. 326 с. [Bychkov V. V. Estetika pozdnej Antichnosti II–III vekov. M., 1981. 326 s.]

Валла Л. Рассуждения о подложности так называемой дарственной грамоты Константина // Итальянские гуманисты XV века о церкви и религии. М., 1963. С. 139–216. [Valla L. Rassuzhdeniya o podlozhnosti tak nazývaemoj darstvennoj gramoty Konstantina // Ital'yanskie gumanisty XV veka o tserkvi i religii. M., 1963. S. 139–216.]

Гумилев Л. Н. Конец и вновь начало : популяр. лекции по народоведению. М., 2010. 416 с. [Gumilev L. N. Konets i vnov' nachalo : populyar. lektsii po narodovedeniyu. M., 2010. 416 s.]

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990. 528 с. [Gumilev L. N. Etnogenezi i biosfera Zemli. L., 1990. 528 s.]

Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991. 574 с. [Danilevskij N. YA. Rossiya i Evropa. M., 1991. 574 s.]

Диль Ш. Основные проблемы византийской истории / пер. с фр. и предисл. Б. Т. Горянова ; под ред. С. Д. Сказкина. М., 1947. 184 с. [Dil' Sh. Osnovnye problemy vizantijskoj istorii / per. s fr. i predisl. B. T. Goryanova ; pod red. S. D. Skazkina. M., 1947. 184 s.]

Догматическое постановление о церкви: священный Вселенский Ватиканский собор II. Ватикан, 1966. 75 с. [Dogmaticheskoe postanovlenie o tserkvi: svyashchennyj Vselenskij Vatikanskij sobor II. Vatikan, 1966. 75 s.]

Егоров А. Б. Римская республика с середины II в. до 27 года до н. э. // История Древнего мира : в 3 т. / под ред. И. М. Дьяконова, В. Д. Нероновой, И. С. Свенцицкой. Т. 3 : Упадок древних обществ. М., 1983. С. 22–48. [Egorov A. B. Rimskaya respublika s serediny II v. do 27 goda do n. e. // Istorya Drevnego mira : v 3 t. / pod red. I. M. D'yakonova, V. D. Neronovo, I. S. Sventsitskoj. T. 3 : Upadok drevnikh obschestv. M., 1983. S. 22–48.]

Иванов Вяч. И. Письмо к Дю Босу // Иванов Вяч. И. Собр. соч. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 417–432. [Ivanov Vyach. I. Pis'mo k Dyu Bosu // Ivanov Vyach. I. Sobr. soch. Bryussel', 1979. T. 3. S. 417–432.]

Иоанн Златоуст, свт. Избранные творения. Толкование на святого Матфея Евангелиста. Кн. 2. М., 1993. 902 с. [Ioann Zlatoust, svt. Izbrannye tvoreniya. Tolkovanie na svyatogo Matfeya Evangelista. Kn. 2. M., 1993. 902 s.]

Иоанн Павел II, папа Единство в многообразии. Размышления о Востоке и Западе. Милан ; Москва, [1993]. 240 с. [Ioann Pavel II, papa Edinstvo v mnogoobrazii. Razmyshleniya o Vostoke i Zapade. Milan ; Moskva, [1993]. 240 s.]

Карташев А. В. Вселенские соборы. М., 1994. 543 с. [Kartashev A. V. Vselenskie sobory. M., 1994. 543 s.]

Костромин К. А. «Диссиденты» и юродивые — антиподы духовной жизни эпохи Смутного времени // Церковь и общество в России на переломных этапах истории : сб. тез. Всерос. науч. ист. конф. МДА. Сергиев Посад, 2012. С. 45–53. [Kostromin K. A. «Dissidenty» i yurodivyye — antipody dukhovnoj zhizni epokhi Smutnogo vremeni // Tserkov' i obschestvo v Rossii na perelomnykh etapakh istorii : sb. tez. Vseros. nauch. ist. konf. MDA. Sergiev Posad, 2012. S. 45–53.]

Костромин К. Развитие антилатинской полемики в Киевской Руси (XI — середина XII в.). Страницы истории межцерковных отношений. Saarbrücken, 2013a. 141 с. [Kostromin K. Razvitie antilatinskoj polemiki v Kievskoj Rusi (XI — seredina XII v.). Stranitsy istorii mezhtserkovnykh otnoshenij. Saarbrücken, 2013a. 141 s.]

Костромин К. А. Церковные связи Древней Руси с Западной Европой (до середины XII в.). Страницы истории межконфессиональных отношений. Saarbrücken, 2013b. 249 с. [Kostromin K. A. Tserkovnye svyazi Drevnej Rusi s Zapadnoj Evropoj (do serediny XII v.). Stranitsy istorii mezhkonfessional'nykh otnoshenij. Saarbrücken, 2013b. 249 s.]

Культура Византии. Вторая половина VII—XII в. М., 1989. 680 с. [Kul'tura Vizantii. Vtoraya polovina VII—XII v. M., 1989. 680 s.]

Лебедев А. П. Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-римском мире при Константине Великом. СПб., 1904. 398 с. [Lebedev A. P. Epokha gonenij na khristian i utverzhdenie khristianstva v greko-rimskom mire pri Konstantine Velikom. SPb., 1904. 398 s.]

Леонтович В. В. История либерализма в России, 1762–1914. М., 1995. 550 с. [Leontovich V. V. Istorya liberalizma v Rossii, 1762–1914. M., 1995. 550 s.]

Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. М., 1979a. 815 с. [Losev A. F. Istorya antichnoj estetiki. Rannij ellinizm. M., 1979a. 815 s.]

Лосев А. Ф. Эллинистически-римская эстетика I—II вв. н. э. М., 1979b. 416 с. [Losev A. F. Ellinisticheski-rimskaya estetika I—II vv. n. e. M., 1979b. 416 s.]

Медведев И. П. Византийский гуманизм XIV—XV вв. СПб., 1997. 342 с. [Medvedev I. P. Vizantijskij gumanizm XIV—XV vv. SPb., 1997. 342 s.]

Мейendorф И., прот. Византийское богословие. Исторические тенденции и доктринальные темы / пер. с англ. В. Марутика. Минск, 2007. 447 с. [Mejendorf I., prot. Vizantijskoe bogoslovie. Istoricheskie tendentsii i doktrinal'nye temy / per. s angl. V. Marutika. Minsk, 2007. 447 s.]

Мещерский Н. А. Источники и состав древней славяно-русской переводной письменности IX—XV веков. Л., 1978. 112 с. [Mescherskij N. A. Istochniki i sostav drevnej slavyano-russkoj perevodnoj pis'mennosti IX—XV vekov. L., 1978. 112 s.]

Неронова В. Д. Поздняя римская империя (III—V вв.) // История Древнего мира : в 3 т. / под ред. И. М. Дьяконова, В. Д. Нероновой, И. С. Свенцицкой. Т. 3 : Упадок древних обществ. М., 1983. С. 221—238. [Neronova V. D. Pozdnyaya rimskaia imperiya (III—V vv.) // Istorija Drevnego mira : v 3 t. / pod red. I. M. D'yakonova, V. D. Neronovoj, I. S. Sventsitskoj. T. 3 : Upadok drevnikh obschestv. M., 1983. S. 221—238.]

Павлов А. Критические опыты по истории древнейшей греко-русской полемики против латинян. СПб., 1878. 210 с. [Pavlov A. Kriticheskie opyty po istorii drevnejshej greko-russkoj polemiki protiv latinyan. SPb., 1878. 210 s.]

Петросян Ю. А. Древний город на берегах Босфора. Исторические очерки. М., 1991. 303 с. [Petrosyan Yu. A. Drevnij gorod na beregakh Bosfora. Istoricheskie ocherki. M., 1991. 303 s.]

Пиккю P. Slavia orthodoxa: литература и язык. М., 2003. 720 с. [Pikkio R. Slavia orthodoxa: literatura iazyk. M., 2003. 720 s.]

Писания мужей апостольских. Рига, 1992. 442 с. [Pisaniya muzhej apostol'skikh. Riga, 1992. 442 s.]

Подскалски Г. Средњовековна теолошка књижевност у Бугарској и Србији (865—1459). Београд, 2010. 686 с. [Podskalski G. Srednjovekovna teoloshka knizhevnost u Bugarskoj i Srbiji (865—1459). Beograd, 2010. 686 s.]

Попов А. Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений против латинян (XI—XV вв.). М., 1875. 418 с. [Popov A. Istoriko-literaturnyj obzor drevnerusskikh polemicheskikh sochinenij protiv latinyan (XI—XV vv.). M., 1875. 418 s.]

Рихер Реймский. История / пер. с лат., сост., вступ. ст., comment. и указ. А. В. Тарасовой. М., 1997. 323 с. [Rikher Rejmskij. Istoriya / per. s lat., sost., vstup. st., komment. i ukaz. A. V. Tarasovoj. M., 1997. 323 s.]

Русский Хронограф. Ч. 1 : Хронограф редакции 1512 года // ПСРЛ. Т. 22. СПб., 1911. 570 с. [Russkij Khronograf. Ch. 1 : Khronograf redaktsii 1512 goda // PSRL. T. 22. SPb., 1911. 570 s.]

Синицына Н. В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XVI—XVII вв.). М., 1998. 416 с. [Sinitsyna N. V. Tretij Rim. Istoki i evolyutsiya russkoj srednevekovojo kontseptsii (XVI—XVII vv.). M., 1998. 416 s.]

Скрынников Р. Г. Третий Рим. СПб., 1994. 192 с. [Skrynnikov R. G. Tretij Rim. SPb., 1994. 192 s.]

Становление и развитие раннеклассовых обществ (город и государство) / под. ред. Г. Л. Курбатова, Э. Д. Фролова, И. Я. Фроянова. Л., 1986. 336 с. [Stanovlenie i razvitiye ranneklassovykh obschestv (gorod i gosudarstvo) / pod. red. G. L. Kurbatova, E. D. Frolova, I. Ya. Froyanova. L., 1986. 336 s.]

Творогов О. В. Древнерусские хронографы. Л., 1975. 320 с. [Tvorogov O. V. Drevnerusskie khronografy. L., 1975. 320 s.]

Титмар Мерзебургский. Хроника / пер. с лат. И. В. Дьяконов. М., 2009. 256 с. [Titmar Merzeburgskij. Khronika / per. s lat. I. V. D'yakonov. M., 2009. 256 s.]

Тойнби А. Постижение истории : сборник / пер. с англ. Е. Д. Жаркова. М., 1996. 608 с. [Tojnbi A. Postizhenie istorii : sbornik / per. s angl. E. D. Zharkova. M., 1996. 608 s.]

Успенский Б. А. Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры // Успенский Б. А. Этюды о русской истории. СПб., 2002. С. 393—413. [Uspenskij B. A. Russkaya intelligentsiya kak spetsificheskij fenomen russkoj kul'tury // Uspenskij B. A. Etyudy o russkoj istorii. SPb., 2002. S. 393—413.]

Филарет (Дроздов), свт. Православный катехизис. СПб., 1995. 135 с. [Filaret (Drosov), svt. Pravoslavnij katekhizis. SPb., 1995. 135 s.]

Флоря Б. Н. У истоков религиозного раскола славянского мира (XIII в.). СПб., 2004. 221 с. [Florya B. N. U istokov religioznogo raskola slavyanskogo mira (XIII v.). SPb., 2004. 221 s.]

Фрис В. Православие и католичество. Противоположность или взаимодополнение? Брюссель, 1992. 158 с. [Fris V. Pravoslavie i katolichestvo. Protivopolozhnost' ili vzaimodopolnenie? Bryussel', 1992. 158 s.]

Шпенглер Г. Закат Европы : очерки морфологии мировой истории. Т. 1 : Образ и действительность / пер. с нем. Н. Ф. Гарелин. Минск, 2009. 656 с. [Shpengler G. Zakat Evropy : ocherki morfologii mirovoj istorii. T. 1 : Obraz i dejstvitel'nost' / per. s nem. N. F. Garelin. Minsk, 2009. 656 s.]

Штаерман Е. М. Социальные основы религии Древнего Рима. М., 1987. 320 с. [Shtaerman E. M. Sotsial'nye osnovy religii Drevnego Rima. M., 1987. 320 s.]

Эйнхард Жизнь Карла Великого // Историки эпохи Каролингов / сост. М. А. Тимофеева ; отв. ред. А. И. Сидоров. М., 1999. С. 8-35. [Ejnkhard Zhizn' Karla Velikogo // Istoriki epokhi Karolingov / sost. M. A. Timofeeva ; otv. red. A. I. Sidorov. M., 1999. S. 8–35.]

Suttner E. C. Kircheneinheit im 11. bis 13. Jahrhundert durch einen gemeinsamen Patriarchen und gemeinsame Bischöfe für Griechen und Lateiner // Средневековна християнска Европа: изток и запад. Ценностни, традиции, общуване. София, 2002. С. 490—498.

Статья поступила в редакцию 24.05.2013 г.

УДК 930.2:003.072 + 94(100)“04/14”

А. И. Романчук

ВИЗАНТИЙСКИЙ ГОРОД ПЕРИОДА «ТЕМНЫХ ВЕКОВ»: ДИСКУССИЯ В ИСТОРИОГРАФИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX в.

В статье утверждается, что отсутствие археологических свидетельств не является основанием для вывода о кризисном состоянии или исчезновении городских поселений Византии в середине VII — середине IX в. В отдельных случаях «археологические лакуны» заполняются временем функционирования монументальных сооружений. В работах М. Я. Слюзюмова отмечалось наличие кризиса в развитии византийских провинциальных городов, но не их исчезновение. Вывод исследователя подтверждают находки из закрытых комплексов Херсонеса, исследование которого экспедицией Уральского университета было начато в 1958 г. Е. Г. Суровым.

Ключевые слова: археологические свидетельства; развитие города в период «темных веков»; Византия; континуитет; Херсонес.

*Моим учителям —
Михаилу Яковлевичу Слюзюмову
и Евгению Григорьевичу Сурову
посвящаю*

В 1980 г. на XVI Международном конгрессе византинистов в Вене греческий археолог и архитектор Хр. Бурас сделал обобщающий доклад, посвященный степени изученности византийских городов. Он констатировал, что для анализа эволюции материальной культуры византийского провинциального города, развития его светской архитектуры и градостроительной структуры имеющиеся данные немногочисленны, особенно для ранневизантийского времени, относительно которого вопрос о непрерывности заселения города уже тридцать лет разделяет историков на два лагеря. Исследователь подчеркнул,

что в некоторых случаях приводятся свидетельства запустения в VII—IX вв. и последующего изменения градостроительной структуры. В других приводятся археологические свидетельства и доказывается наличие культурной преемственности городов [Bouras, S. 617]. Упоминание докладчиком двух концепций, характерных для урбанистических штудий, возвращает нас к первому всестороннему обсуждению особенностей развития византийского города периода «темных веков» — к конгрессу 1958 г. Прозвучавшие в докладах диаметрально противоположные выводы положили начало широкой дискуссии и «разделили», как выразился Хр. Бурас, византинистов на два лагеря. Е. Кирстен обосновал тезис о наличии глубокого упадка и аграризации, трансформации некоторых городов в VII—IX вв. в крепости [см.: Kirsten, S. 1—48]. Одновременно прозвучали доказательства о сохранении городских центров в переходный период от Античности к Средневековью [см.: Dölger, S. 107—139]. К числу сторонников мнения об отсутствии существенных дезурбанизационных процессов в переходный период принадлежала Е. Э. Липшиц, полагающая, что характерной чертой Византии VIII—IX вв. является наличие городов, где продолжали развиваться различные виды ремесленной деятельности, особенно в тех, которые стали идеологическими центрами [Липшиц, с. 421].

Югославский историк Г. Острогорский писал, что среди фундаментальных вопросов византийской истории трудно назвать такие, которым уделяется столь же большое внимание, как проблемы городского развития [Ostrogorsky, 1959а, р. 45—65; 1959в, р. 1—22]¹. Исследователь полагал, что понимание превратностей городской жизни в Византии дает ключ к оценке благосостояния империи в целом, и особенно значим этот аспект для бурного периода начала Средневековья — времени перехода от Античности к средневековой эпохе. Как и другие византисты, он отмечал фрагментарность информации, которая содержится в письменных источниках. У византийских авторов с их вниманием, устойчиво направленным к столице и имперскому суду, содержатся немногочисленные данные о городах; в официальных документах — аналогичное положение: очень редко названы конкретные центры ранневизантийского и более позднего периода, сделал вывод Г. Острогорский, поэтому отсутствие прямых свидетельств о состоянии экономического развития делает особенно значимыми нумизматические материалы [Ostrogorsky, 1959а, р. 47]. На основании каталогов, характеризующих музейные коллекции, вычисляются размеры выпуска монет в различные периоды, что используется в качестве аргумента негативной оценки состояния городской экономики или же для вывода о кризисном развитии городов, не приведшем все же к их исчезновению.

Позднее В. Брандес, реконструируя судьбы городов Малой Азии VII—VIII вв., пришел к выводу, что «уже в этой фазе дискуссии нумизматические материалы имели важнейшее значение» [Brandes, S. 21]. Он отметил также

¹ В этой связи закономерен интерес Г. Острогорского к работам М. Я. Сюзюмова, в одном из писем (1965) к которому А. П. Каждан сообщал, что он провел несколько вечеров в беседах с Г. Острогорским, и тот просил передавать ему приветы и посыпать свои статьи [об этом см.: Поляковская, с. 329].

значение раскопок Херсонесского городища, где стало возможным систематическое и планомерное исследование отдельных кварталов².

Доказательству полифункциональности провинциальных городов в период «темных веков» было посвящено несколько работ М. Я. Сюзюмов [см.: Сюзюмов, 1956, с. 26–41; 1967, с. 38–70; 1977, с. 34–51]. Основатель уральской школы византистики отмечал, что раскопки в Херсонесе, как и нумизматические находки, свидетельствуют о кризисном развитии города, но не об его исчезновении: Византия была «страной городов» в сравнении с Западной Европой. В одном из писем своему оппоненту, А. П. Каждану, он подчеркнул значение археологических исследований в Херсонесе, так как этот город «развивал свою роль именно в континуитете античной культуры»³.

Благодаря позиции М. Я. Сюзюмова в этом вопросе с первых лет раскопок уральцев в Херсонесе особое внимание уделялось материалам, позволявшим подтвердить роль данного центра именно «в континуитете античной культуры». Первыми объектами исследований экспедиции университета стали остатки оборонительной стены римского времени; склеп, который перестали использовать в конце IV – начале V в.; построенная не ранее середины V в. рыбозасолочная цистерна, а также различные сооружения, существовавшие на участке около западных оборонительных стен в IX–XI вв. На основании стратиграфии и хронологической последовательности строительства Е. Г. Суров, научный руководитель раскопок тех лет, пришел к выводу о непрерывном обитании в данном районе, выступив тем самым против тезиса о глубоком кризисе в VII в. и «обезлюдивании» города в следующем столетии [см.: Суров, 1961, с. 67–70; 1965, с. 119–147].

Иная оценка Херсона периода «темных веков» была дана в штудиях выдающегося исследователя памятников Таврики А. Л. Якобсона, который полагал, что Херсон «разделил судьбу многих византийских городов, пришедших в упадок в результате крушения рабовладельческого строя» [Якобсон, 1964а, с. 22; 1964б]. В основу его выводов были положены следующие аргументы: 1) прекращение в Херсоне выпуска собственной монеты с начала VII в. и малочисленность их находок; 2) косвенным свидетельством кризисного развития в VII в и «обезлюдивания» в VIII в. является то, что «ясно выраженный культурный слой этого времени на городище, по-видимому, вообще отсутствовал, по крайней мере до сих пор выявить его не удалось» [Якобсон, 1959, с. 35]; 3) свидетельства писем находившегося в Херсоне в ссылке папы Мартина, которые он отправлял отсюда своим сподвижникам в течение лета 655 г., в которых он просил о присылке продовольствия и сообщал, что здесь царят «голод и нужда, а хлеб известен только по названию». Итоговый вывод исследователя звучал

² На территории городища в XIX в. размещался монастырь, был возведен собор к 900-летию крещения Руси, позднее на некоторых участках были сооружены военные объекты, но большая часть Херсонеса не имеет строений Нового времени.

³ Более того, М. Я. Сюзюмов полагал, что «школа уральская – с 1942 г., когда в Свердловске хранился эвакуированный из Севастополя архив Херсонеса, когда собирались [С. Ф.] Стржелецкий, [А. И.] Виноградов, Сюзюмов, [Е. Г.] Суров, которые мечтали сделать Свердловск центром византиноведения» [Поляковская, с. 320].

следующим образом: «Такого рода явления наблюдались во всей Византийской империи», Херсонес не являлся исключением [см.: Якобсон, 1964б, с. 22].

Вместе с тем в отчетах о раскопках Херсонесского городища неоднократно указывались возможные причины отсутствия находок, датированных периодом «темных веков»: полная картина стратиграфии средневековых слоев наблюдается редко ввиду разрушений; остатки построек предшествующего времени в большинстве случаев были разобраны или использованы в качестве основания позднесредневековых стен. Раннесредневековые остатки малочисленны, так как подверглись разрушению при строительных работах следующего времени. Все это привело к тому, что находки раннесредневековой керамики крайне слабо изучены, и это не позволяет выявить раннесредневековый слой [см., например: Белов, Стржелецкий, Якобсон, с. 213; Белов, Стржелецкий, с. 90; Белов, Якобсон, с. 123].

К вопросу об археологических лакунах (отсутствии «ярко выраженной стратиграфии») раннесредневекового периода обратимся несколько позднее. Прежде — о нумизматических источниках.

Одним из методов, используемых для оценки состояния денежного обращения, насыщенности городского рынка платежными средствами и, следовательно, состояния экономики города, является статистическая обработка монет. При создании статистико-хронологических таблиц нумизматические данные распределяются по векам на основании времени выпуска монет. Но годы выпуска и период обращения монет, как показывает анализ материалов из кладов, существенно отличаются. В частности, на основании анализа структуры кладов, относящихся к концу X в., был выявлен значительный хронологический разброс монет [см.: Гилевич, 1964, с. 150–158].

Примером клада, в единовременности отложения которого трудно усомниться, является находка «кошелька» в портовом районе Херсонеса. Во время раскопок улицы, разделявшей два квартала (1970), обнаружено 9 монет. В древности они были завернуты в тряпочку или находились в кошельке, поэтому оказались плотно прижатыми друг к другу. Ранняя из монет относится ко времени правления Василия I (867–886), поздняя — Василия II (976–1025). В отличие от кладов, спрятанных их владельцами, возможно, накапливаемых в течение длительного времени, этот был, скорее всего, «утерян» жителем Херсона. Содержание «кошелька» является несомненным свидетельством совместного обращения монет, относящихся к 150-летнему периоду.

Сравним период обращения монет из этого клада и нумизматические находки из слоя разрушения VII в., который был выявлен в здании одного из кварталов портового района Херсонеса: в слое пожара встречены монеты, датируемые первыми веками нашей эры и временем разрушения здания — началом VII в. [Романчук, Седикова, с. 30–45]⁴. Если учитывать только те из них, которые, благодаря хорошей сохранности, удалось определить, то к концу существования комплекса относится только 4 %.

⁴ На с. 35, где приведены нумизматические находки, допущена ошибка: следует читать «монета Фоки (602–610)». В последующих публикациях она исправлена [см.: Романчук, Сазанов, Седикова, с. 12].

Среди наиболее поздних публикаций кладов следует обратить внимание на материалы, происходящие из раскопок округи Херсона. Состав их убеждает в наличии товарооборота в дискуссионное для истории города время; примечателен и вывод автора публикации: Херсон «не обнищал и не обезлюдел» [Алексеенко, 2005, с. 437–451]. Подтверждает тезис исследователя и уникальная коллекция сфрагистических материалов со дна моря (90-е гг. XX в.) – печатей из «архива города»⁵. Следует также отметить скопление моливдовулов, которые условно отнесены к остаткам «судакского архива». Сопоставление находок из двух центров Таврики (Херсона и Судака) показало наличие связей между ними в VIII в.: из 50 печатей конца VII–VIII в., найденных около Судакской крепости, 11 – из Херсона [Степанова, 2001, с. 24; 2002, с. 231–233]. Как заметил в последующем харьковский историк С. Б. Сорочан, печати свидетельствуют не только о наличии торговых связей, но и о подчиненности Сугдеи властям Херсона [см.: Сорочан, с. 517].

Значительное поступление сфрагистического материала способствует изменению представлений о развитии Северо-Причерноморских центров в VII – середине IX в., кроме того, специалисты в области херсонесской нумизматики полагают, что в VII в. в обращении находились монеты начиная со времени правления Феодосия (379–395), на которых при императоре Ираклии (610–641) была сделана надчеканка [см.: Анохин, с. 106–108]. Изучение памятников Юго-Западного Крыма показало, что в захоронениях второй половины VII в. встречаются монеты, относящиеся к предшествующим столетиям [Веймарн, Айбабин, с. 167; с. Айбабин, 186–187; Айбабина, с. 123]⁶. Относительно работы монетного двора Херсона киевский исследователь В. А. Анохин писал, что в период правления Ираклия (610–641) были проведены меры по упорядочению денежного обращения – массовая надчеканка на монетах IV–V вв. «Эта реформа обеспечила стабильность денежного обращения на длительный отрезок времени. При Ираклии монетный двор Херсона прекращает свою деятельность. Факт прекращения собственной чеканки не может быть использован как довод в пользу тезиса об упадке городской экономики (выделено нами. – A. P.). Перерыв в выпуске монет В. А. Анохин объяснял влиянием политических событий, а не экономическими причинами [Анохин, с. 106–108]. Отчасти эта точка зрения совпадает с мнением С. П. Шестакова, перу которого принадлежит первое обобщение свидетельств о раннесредневековом Херсоне. Он полагал, что на развитие города в VII в. повлияли внешнеполитические факторы [см.: Шестаков, с. 30–42].

⁵ К настоящему времени уникальные находки, обнаруженные в процессе подводных исследований, не опубликованы полностью. Но серия статей Н. А. Алексеенко свидетельствует, что они внесут существенные уточнения в проблему статуса Херсона периода «темных веков» (см.: Алексеенко, 1995, с. 158–160; 1996, с. 122–133; 1999, с. 65–82; 2002, с. 455–500; 2003, с. 3; 2005а, с. 3–6). Безусловно, среди находок из «херсонского архива» встречены и более поздние памятники сфрагистики.

⁶ Характеризуя связи населения Таврики и херсонитов, крымский историк замечает, что горожане расплачивались за товары более ранними монетами, которые находились в данный период в обращении [Айбабин, с. 164].

Итак, если не учитывать конкретную археологическую ситуацию, число монет, выпущенных в VII в., единично (это постоянно отмечается в публикациях, посвященных периоду «темных веков»). Но в обращении находились монеты и более раннего периода, следовательно, соответствующие графы статистико-хронологических таблиц должны содержать все монеты, которые продолжали «ходить» на рынке⁷.

О некорректности выводов, в которых не учитывается археологический контекст, И. В. Соколова, хорошо знающая состав коллекций Херсонесского заповедника и Эрмитажа, пишет следующее: «Методика использования нумизматических свидетельств сторонниками данной теории (глубокого упадка византийского города. — A. P.), основывающих доказательства на количественном подсчете опубликованных в каталогах монет, имеет много уязвимых мест» [Соколова, 1959, с. 50–63]. Вывод исследовательницы подтверждают приведенные выше примеры. Они свидетельствуют, насколько могла бы измениться соответствующая графа в статистико-хронологических таблицах, если бы учитывались условия находок⁸.

Обратим внимание на следующий аргумент сторонников «глубокого кризиса» Херсона в переходный период — отсутствие находок этого времени. В упоминавшемся выше комплексе — слое пожара с монетами начала VII в. — встречены многочисленные амфоры и разнообразные столовые сосуды, покрытые красным лаком [см.: Романчук, Сазанов; Голофаст, с. 77–84], некоторые из них аналогичны находкам, обнаруженным на византийском корабле, который затонул около мыса Яси-Ада в VII в. [Bass, Doorninck]⁹. Слои разрушения и следы последующей нивелировки с многочисленными находками конца VI — начала VII в. выявлены также в кварталах, прилегавших к главной улице города, которая завершалась небольшой площадью с базиликой (Восточная базилика, № 36). Раскопки позволили воссоздать стратиграфию участка и сделать вывод о том, что данная территория была непрерывно обитаемой с V в. до н. э. до XIII в. н. э. Для настоящей темы существенно то, что во всех кварталах прослежен мощный раннесредневековый слой (VI — начало VII в.), который образовался в результате строительно-планировочных работ, охвативших, как предполагал автор раскопок, весь город. Результатом масштабных строительных работ стали, согласно его мнению, многочисленные базиликальные храмы, явившиеся «символом укрепления христианства и византийского владычества в Херсонесе»¹⁰.

⁷ В статистических таблицах не учитываются также монеты, время выпуска которых из-за их неудовлетворительной сохранности определить не удалось. Но если они обнаружены в закрытом комплексе (на полу разрушенного здания), как в приведенных выше случаях, они относятся к совокупным находкам культурного слоя.

⁸ Однако и без обращения к археологической ситуации Г. Острогорский показал, что использование данных каталогов показывает относительность кризиса в период «темных веков».

⁹ Материалы из слоев разрушения портового района опубликованы: [Романчук, 1975а, с. 246–250; 1975б, с. 3–13; Романчук, Седикова, с. 30–46; Романчук, Сазанов, Седикова].

¹⁰ Следует заметить, что тезис о масштабном строительстве противоречит замечанию исследователя, что «экономика Херсона в это время была слаба». Аргументом для него стала немногочисленность находок импортных сосудов, что свидетельствует об отсутствии масштабных торговых связей. (При

Итак, к числу наиболее представительных раннесредневековых комплексов, существовавших в V (VI)–X (XI) вв., относятся базилики. Анализ стратиграфии и находок позволяет считать, что они были разрушены в начале XI в. (возможная причина — землетрясение [см.: Романчук, 1989, с. 182–188])¹¹. Не существует однозначного мнения и относительно времени строительства базиликальных храмов. Но то, что, будучи построенными в V–VI вв. или третьей четверти VI — середине VII в., они являлись действующими сакральными зданиями (всего открыто к настоящему времени 13 базилик), свидетельствует о наличии жизнедеятельности в Херсоне, а не «обезлюдивании», которому предшествовал глубокий кризис VII в. Факт функционирования храмов «заполняет» существующие «археологические лакуны». Следует также учитывать, что отложение слоев с многочисленными находками в городах с каменной архитектурой обусловлено, как правило, разрушением комплексов. Следующим по выразительности является слой, образование которого связано со строительной деятельностью. «Нормальная», обычная жизнедеятельность оставляет невыразительные следы или вообще не отражается в стратиграфии памятника. К таким выводам пришел В. Д. Блаватский, обобщая результаты раскопок городских центров Северо-Причерноморского региона. Он обратил также внимание на ошибочность представлений о том, что «мощность культурных напластований и обилие их (накопление) в течение какого-то отрезка времени являются надежным доказательством интенсивности жизни, а иной раз даже большого подъема» [Блаватский, с. 191].

Блестящий пример многочисленности культурных слоев, свидетельствующих не «о процветании города», получен при исследовании столицы Боспорского царства Пантикея, где для кратковременного периода — последних третей VI в. до н. э. — выявлено восемь микрослоев. В. Д. Блаватский объяснял это плохим качеством строений. На основании археологической ситуации исследователь сделал вывод: быстрая смена культурных напластований «не наблюдается в условиях более солидного строительства» [Блаватский, с. 193]. Данное замечание необходимо учитывать при объяснении причин возникновения «археологических лакун».

Итак, какие выводы возможны относительно стратиграфии Херсонесского городища, если принять во внимание наблюдения В. Д. Блаватского.

1. В Херсоне на протяжении VII — середины IX в. не происходило экстравардиарных событий, которые привели бы к отложению выразительных слоев.

2. Постройки VI в. (храмы) были «солидны», что и обусловило их длительное использование.

3. Из-за «умолчания источника», в данном случае наличия «археологических лакун», нельзя судить о кризисном состоянии Херсона. К тому же необходимо

«слабости экономики» столь значительное строительство!). Ярко выраженным по всей площади района слоем являются также следы пожара с находками IX–XI вв. [см.: Золотарев, Ушаков, с. 30–45].

¹¹ Тезис о том, что ни археологические, ни письменные источники не подтверждают гипотезу о разрушении Херсона Владимиром, прозвучал в работе: [Богданова, с. 92–93].

учитывать, что «археологические лакуны» заполняются некоторыми «солидными» сооружениями. К их числу относятся базилики, возведение которых началось в конце V в. или в третьей четверти VI в.

Наконец, последний аргумент сторонников глубокого кризиса и «обезлюдивания» Херсона в период «темных веков» — письма находившегося здесь в ссылке папы Мартина.

В начале XX столетия, после первой публикации посланий ссылочного папы, российский византинист В. Г. Васильевский отметил, что папа Мартин сильно преувеличивал царившие в Херсоне голод и нужду [Васильевский, с. 388]¹². Жалуясь на тяготы жизни, он упомянул, что херсониты вели торговлю солью. В последующем именно на этом объективном показателе занятий горожан, приносящих значительный доход, был сделан акцент, а изоляция главы римской церкви от привычного окружения, его болезнь и возраст приняты как субъективный фон жалоб [Романчук, 1972, с. 42–55].

Иное мнение, согласующееся с концепцией А. Л. Якобсона, представлено в работах О. Р. Бородина [см.: Бородин, с. 173–190]. Комментируя перевод источника, он замечает, что при обращении к письмам папы Мартина исследователи преувеличивают субъективный элемент посланий. Однако некоторые данные, приводимые непосредственно в комментариях при публикации источника, вызывают сомнения в том, что Херсон утратил значение торгового центра. Восстанавливая хронику событий, О. Р. Бородин пишет, что местонахождение ссылочного стало известно в Константинополе не более чем через 15 дней. Спустя некоторое время в Херсон прибыл один из его сподвижников. Данное обстоятельство не может не свидетельствовать о наличии регулярного сообщения между Северо-Причерноморским центром и столицей империи (вряд ли для поездки было снаряжено специальное судно). Плавание с юга на север по Черному морю осуществлялось по двум маршрутам. Один из них, кратчайший, фактически по прямой линии, использовался в торговых и военных целях с античных времен [Todorova, p. 156–162]. Для торгового тихоходного судна при благоприятной погоде путь длился около 10–11 дней. Средняя продолжительность другого маршрута — от Константинополя до Кафы вдоль западного и северо-западного побережья — составляла в конце XIV в. 13 дней [см.: Бородин, с. 182].

Чтобы завершить обращение к такому аспекту, как соотношение объективного и субъективного в письмах папы Мартина, следует остановить внимание на монографии С. Б. Сорочана, в которой имеется раздел «Реальность и вымысел в письмах папы Мартина». Харьковский исследователь полагает, что ссылочный, описывая тяготы жизни в Херсоне, противоречил себе, сообщая своему корреспонденту о хлебе, известном только по названию, а затем в другом письме говоря, что его можно купить, когда в порт заходят суда за грузом соли. В поисках противоречий в письмах папы Мартина С. Б. Сорочан не учел того, что написанное разделяло несколько месяцев (май — сентябрь), в тече-

¹² В отношении данного замечания А. Л. Якобсон писал, что «вряд ли можно согласиться с теми, кто подозревает в преувеличении папу Мартина» [Якобсон, 1959, с. 37].

ние которых не могла не измениться ситуация. С. Б. Сорочан полагает также, что ссыльный преувеличил стоимость зерна. Правда, далее он приводит свидетельства, что даже в этом случае цена хлеба не так велика [Сорочан, 2005, с. 314]¹³.

Новое обращение к свидетельствам писем папы Мартина привлекло внимание к Херсонесу западноевропейских византинистов. Так, английский историк Д. Смидли отметил богатейшие возможности археологического изучения Херсонеса в сравнении с другими центрами Византии [Smedley, p. 173]. Недостатком раскопок до 1950 г., по его мнению, являлось отсутствие внимания к стратиграфии. При изучении раскапываемых до середины XX в. кварталов в северном районе городища были выделены следующие слои: V–VI вв., IX–X вв., XII–XIII вв. Анализируя публикации российских коллег, Д. Смидли подчеркнул, что с 1958 г. меняется направление исследований. Большое значение, согласно его мнению, имело развитие с 60–70-х гг. XX в. трех направлений: реконструкция истории собственно Херсона; его изучение как модели развития византийского города; место данного центра в системе торговых связей в Черном море. Однако по-прежнему наиболее дискуссионным оставался период «темных веков». Исследователь предположил, что в конце VI в. (или несколько ранее) начался упадок, который был характерен для VII–IX вв. С середины IX в. ситуация меняется. Отражением этого стало новое строительство и ремонт оборонительных стен, перестройка базилик. Подтверждением экономической стабилизации являются керамические находки и возобновление работы местного монетного двора. Свидетельством сохранения жизнедеятельности в Херсоне в период «темных веков», по мнению исследователя, является то, что стены зданий IX–X вв. возведены с соблюдением ранней линии границ кварталов. Но кризис, вернее, некоторый упадок, как корректирует собственное мнение Д. Смидли, все же имел место.

При возникновении спорной ситуации в деловой жизни принято прибегать к мнению эксперта. В научных штудиях правомерность выводов обосновывается свидетельствами источников. Однако исследователя, которого нельзя отнести ни к одной из дискутирующих сторон, можно счесть своеобразным экспертом. В. В. Седов, специалист в области археологии Восточной Европы, на основании комплексного анализа памятников материальной культуры двух зон Западной Европы (северной и южной)¹⁴ показал для каждой из них различия в процессе становления средневекового города [см.: Седов, с. 6–55]. В южной зоне (Апеннинский полуостров и Балканы), несмотря на разрушения

¹³ Согласно его мнению, недостаток товарного зерна в середине VII в. вызван тем, что процесс оседания нового этноса, появившегося в Крыму (протоболгар), находился в начальной стадии. В последние четверти столетия положение изменилось: сотрудничество населения округи с херсонитами привело к улучшению снабжения города продовольствием. Отражением связей являются находки монет в захоронениях внутренних районов Таврики [см.: Сорочан, 2005, с. 321].

¹⁴ В византиноведческих штудиях до появления работы В. В. Седова приведены типологические отличия генезиса феодализма, и в качестве одного из критериев отмечено наличие или отсутствие позднеантичных и варварских начал, интенсивность и характер их взаимодействия (например, см.: Удалцова, с. 124–157; Люблинская, с. 9–44).

в эпоху Великого переселения народов, город восходит к позднеантичному (зона превалирующего влияния позднеантичных начал, согласно типологии византинистов). Здесь не произошло «угасания античных центров». Претерпевая изменения в переходный период, города продолжали существовать без перерыва в развитии ремесла, строительного дела, торговли и церковных институтов, сохранили свое значение фортификационные и сакральные сооружения¹⁵.

Появление новых материалов из раскопок Херсонесского городища ставит вопрос о корректности вывода, что «все большее количество накапливаемого материала, преимущественно археологического, побуждает... признать высокую степень фактического упадка городов Византии VII—IX вв.» [Курбатов, Лебедева, с. 105]¹⁶. Чтобы ответить на него, попытаемся представить археологическую ситуацию для наиболее исследованных городских центров Византии по состоянию на 80-е гг. XX в. Обобщая археологические свидетельства о 12 городах, упоминаемых в трактате «О фемах» Константина Багрянородного, К. Фосс отмечает, что в Милете раскопки и зондажи концентрировались в центральной части территории; наиболее полно исследован участок театра; частично открыта оборонительная стена, построенная в период «темных веков»; выявлены следы строительных работ, которые привели к вычленению в ядре города цитадели (VII в.). Были обнаружены также остатки домов и храмов. Возможно также, что центральная часть античного города, занимающая четвертую часть его площади, в VII в. была огорожена оборонительной стеной (разрушена в X в.). Однако в целом средневековые памятники Милета изучены слабо, исчерпывающие публикации отсутствуют [см.: Foss, 1977, р. 469—486].

Приена, расположенная неподалеку от Милета, утратила значение в позднеантичный период, размеры города уже в это время сократились наполовину. В период арабских вторжений возникло новое укрепление на акрополе. С конца X в. началось заселение нижнего города.

В Пергаме возможности археологических исследований существуют только на территории акрополя. В равнинной части, занятой современными постройками, раскопки не производились, за исключением небольшого участка, где находится храм Сераписа. Здесь открыта базилика.

Смирна — современный город, он занимает то же место, что и ранний. Возможность произведения широкомасштабных раскопок отсутствует. Исследован только небольшой участок древней агоры. Строительная надпись 629—641 гг. свидетельствует о строительных работах в период правления императора Ираклия.

¹⁵ Выводы В. В. Седова повторяют сказанное еще в 1967 г. М. Я. Сюзюмовым. Тем не менее они значимы для рассматриваемого вопроса, поскольку его можно считать до некоторой степени экспертом, на основании обращения только к археологической ситуации подтвердившим тезис о сохранении городских поселений в значительном географическом ареале. Следует отметить также мнение авторов обобщающего исследования «Истории Европы», где сказано, что «ранняя Византия, в отличие от стран Западной Европы, изобиловала крупными городскими центрами с многочисленным населением» [Гутнова, Удальцова, с. 24].

¹⁶ Исследователи делают ссылку на: [Patlagean, p. 431].

В Магнезии, Тралле, Нисе раскопки, как отметил К. Фосс, не были ни обширными, ни тщательными; поздним периодам уделялось поверхностное внимание. То же в Колоссах: изучена только церковь Св. Филиппа. В Иераполисе светские сооружения не раскопаны, время возведения оборонительной стены определено условно. Ряд мелких городов Малоазийского региона вследствие слабой изученности ничего не могут дать для обсуждаемой темы, констатирует американский исследователь.

Археологические свидетельства, перечисленные выше, вслед за К. Фоссом, в сущности, ничего не добавляют к скучным данным литературных источников и периода «темных веков», и более позднего времени.

К числу наиболее исследованных центров К. Фосс отнес Сарды и Эфес.

В Сардах детально исследована терриитория цитадели и район, где в по-знеантичный период располагался гимнасий. Здесь собрано большое количество монет первой половины VII в. О значении и объеме археологической информации для реконструкции развития города можно судить по соотношению раскопанной территории и площади, которую занимал город в позднеантичный период. В монографии, посвященной Сардам, отмечено, что из 270 секторов размерами 100 x 100 м полностью исследованы два, где была выявлена линия оборонительной стены византийского времени. В предисловии к книге сказано, что только через 13 лет раскопок (начаты в 1958) в экспедиции появился археолог-медиевист [Foss, 1976, р. V–VII, 57–61]¹⁷.

Для Эфеса К. Фосс отметил наличие оборонительной стены VII–VIII вв., линия которой свидетельствует о сокращении размеров города и делении его на две укрепленные части. К сожалению, размеры их не указаны. Но на основании приведенного в работе плана можно судить, что поселение в равнинной, наиболее низкой, части занимало около 560 тыс. кв. м [Foss, 1974, Taf. 35]. На этой территории открыты церковь Св. Марии и купольная базилика, возведенная в начале VIII в. Интенсивность жилой застройки на плане не показана. Правда, для юго-западной части города и центральной в тексте работы сказано, что здесь были расположены дома, но занимаемая ими площадь не установлена. К. Фосс пишет только о том, что это были небольшие дома [Ibid., р. 112].

Более тридцати лет назад, о чём мы уже упоминали в начале статьи, греческий историк Хр. Бурас говорил о диаметрально противоположных концепциях относительно развития византийских городов в период «темных веков», в основу которых положен археологический материал. Новые находки в Крыму способствуют их сближению и позволяют скорректировать мнения историков об особенностях развития византийского провинциального города в целом.

В свете сказанного об «археологических лакунах», «умолчаниях источников» хотелось бы отметить, что, в сущности, они не «молчали», только в связи с концептуальными положениями авторов штудий по истории Херсона на них

¹⁷ Такому замечанию вполне соответствуют слова Г. М. А. Хауфманна о том, что имеется множество указаний на строительство после 616 г. [Haufmann, р. 59–77].

не обращали должного внимания. И как это ни парадоксально, именно для периода «темных веков» существует наибольшее число упоминаний города в письменных источниках.

Способствовала преодолению традиционно негативной оценки состояния Херсона в раннесредневековый период гениальная прозорливость М. Я. Сюзюмова, его надежды на то, что раскопки в Херсонесе приведут к получению доказательств непрерывного существования византийского города. Сторонником данной концепции являлся Г. Острогорский, который писал о некорректном использовании нумизматических данных для доказательства упадка византийского города. В настоящее время менее острой стала дискуссия о том этапе истории византийского города, которому посвятили свои изыскания выдающие византисты середины XX в. Но выводы и наблюдения, высказанные ими, пример тщательного анализа источников, исследовательская логика значимы и в наши дни. Безусловно, некоторые из прозвучавших в те годы тезисов уточнены непосредственно в ходе дискуссии, а также благодаря появлению новых археологических свидетельств, обобщенных в многочисленных публикациях¹⁸, посвященных анализу археологических свидетельств, в частности, керамических изделий Средиземноморско-Черноморского региона, что способствует созданию хронологической шкалы археологических данных.

Айбабин А. И. Погребения конца VII – первой половины VIII в. в Крыму // Древности эпохи Великого переселения народов, V–VIII вв. М., 1982. С. 165–192. [Ajbabin A. I. Pogrebeniya kontsa VII – pervoj poloviny VIII v. v Krymu // Drevnosti epokhi Velikogo pereseleniya narodov, V–VIII vv. M., 1982. S. 165–192.]

Айбабин А. И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь, 1999. [Ajbabin A. I. Etnicheskaya istoriya rannevizantijskogo Kryma. Simfero-pol', 1999.]

Айбабина Е. А. Могильники VIII – начала IX в. в Крыму // МАИЭТ. 1993. Вып. 3. С. 121–133. [Ajbabina E. A. Mogil'niki VIII – nachala IX v. v Krymu // MAIET. 1993. Vyp. 3. S. 121–133.]

Алексеенко Н. А. Моливдовул императора Маврикия из Херсонеса // Проблемы археологии древнего и средневекового Крыма. Симферополь, 1995. С. 158–160. [Alekseenko N. A. Molivdovul imperatora Mavrikiya iz Khersonesa // Problemy arkheologii drevnego i srednevekovogo Kryma. Simferopol', 1995. S. 158–160.]

Алексеенко Н. А. Моливдовулы адресантов Херсона VII–IX вв.: новые находки // Древности. Харьков, 1996. Вып. 3. С. 122–133. [Alekseenko N. A. Molivdovuly adresantov Khersona VII–IX vv.: novye nakhodki // Drevnosti. Khar'kov, 1996. Vyp. 3. S. 122–133.]

Алексеенко Н. А. Моливдовул комита Опсикия начала VIII в. из Херсонеса // АДСВ. 1999. Вып. 30. С. 65–82. [Alekseenko N. A. Molivdovul komita Opsikiya nachala VIII v. iz Khersonesa // ADSV. 1999. Vyp. 30. S. 65–82.]

Алексеенко Н. А. Архонтия Херсона VIII–IX вв. по данным сфрагистики // МАИЭТ. 2002. Вып. 9. С. 455–500. [Alekseenko N. A. Arkhontiya Khersona VIII–IX vv. po dannym sfragistiki // MAIET. 2002. Vyp. 9. S. 455–500.]

Алексеенко Н. А. Печать херсонесского епископа эпохи иконоборчества // Культовые памятники в мировой культуре : археол., ист. и филос. аспекты : тез. докл. Севастополь,

¹⁸ Большое значение в данном плане имеет предпринятая Национальным заповедником «Херсонес Таврический» публикация каталога «Наследие византийского Херсона» (Севастополь, 2011).

2003. С. 3. [Alekseenko N. A. Pechat' khersonesskogo episkopa epokhi ikonoborchestva// Kul'tovye pamyatniki v mirovoj kul'ture : arkheol., ist. i filos. aspekty : tez. dokl. Sevastopol', 2003. С. 3.]

Алексеенко Н. А. Денежное обращение округи византийского Херсона в VII в. // МАИЭТ. 2005. Вып. 11. С. 437–443. [Alekseenko N. A. Denezhnoe obraschenie okrugi vizantijskogo Khersona v VII v. // MAIET. 2005. Vyp. 11. S. 437–443.]

Алексеенко Н. А. «Херсонесский архив печатей»: миф или реальность? // Проблемы исследования археологических памятников : раскопки, хранение, экспозиция : тез. докл. и сообщ. Севастополь, 2005. С. 3–6. [Alekseenko N. A. «KHersonesskij arkhiv pechatej»: mif ili real'nost' ? // Problemy issledovaniya arkheologicheskikh pamyatnikov : raskopki, khranenie, ekspozitsiya : tez. dokl. i soobsch. Sevastopol', 2005. S. 3–6.]

Анохин В. А. Монетное дело Херсонеса. Киев, 1977. [Anokhin V. A. Monetnoe delo Khersonesa. Kiev, 1977.]

Белов Г. Д., Стржелецкий С. Ф. Кварталы XV–XVI: раскопки 1937 г. // МИА. 1953. № 4. С. 32–108. [Belov G. D., Strzheletskij S. F. Kvartaly XV–XVI: raskopki 1937 g. // MIA. 1953. N 4. S. 32–108.]

Белов Г. Д., Стржелецкий С. Ф., Якобсон А. Л. Квартал XVIII: раскопки 1941, 1947 и 1948 гг. // МИА. 1953. № 34. С. 160–236. [Belov G. D., Strzheletskij S. F., Yakobson A. L. Kvartal XVIII: raskopki 1941, 1947 i 1948 gg. // MIA. 1953. N 34. S. 160–236.]

Белов Г. Д., Якобсон А. Л. Квартал XVII: раскопки 1940 г. // МИА. 1953. № 34. С. 109–159. [Belov G. D., Yakobson A. L. Kvartal XVII: raskopki 1940 g. // MIA. 1953. N 34. S. 109–159.]

Блаватский В. Д. Античная полевая археология. М., 1967. [Blavatskij V. D. Antichnaya polevaya arkheologiya. M., 1967.]

Богданова Н. М. Херсон в X–XV вв. Проблемы истории византийского города // Причерноморье в Средние века. М., 1991. С. 8–172. [Bogdanova N. M. Kherson v X–XV vv. Problemy istorii vizantijskogo goroda // Prichernomor'e v Srednie veka. M., 1991. S. 8–172.]

Бородин О. Р. Римский папа Мартин I и его письма из Крыма // Причерноморье в Средние века. М., 1991. С. 173–190. [Borodin O. R. Rimskij papa Martin I i ego pis'ma iz Kryma // Prichernomor'e v Srednie veka. M., 1991. S. 173–190.]

Васильевский В. Г. Житие Иоанна Готского // Труды. СПб., 1912. Вып. 2/2. С. 351–427. [Vasil'evskij V. G. Zhitie Ioanna Gotskogo // Trudy. SPb., 1912. Vyp. 2/2. S. 351–427.]

Веймарн Е. В., Айбабин А. И. Скалистинский могильник. Киев, 1993. [Vejmarn E. V., Ajbabin A. I. Skalistinskij mogil'nik. Kiev, 1993.]

Гилевич А. М. Новый клад херсоно-византийских монет // ВВ. 1964. Т. 24. С. 150–158. [Gilevich A. M. Novyj klad khersono-vizantijskikh monet // VV. 1964. T. 24. S. 150–158.]

Гилевич А. М. Клад херсоно-византийских монет IX–X вв. из округи Херсонеса : к вопросу о денежном обращении Херсонеса в IX–X вв. // Материалы сессии, посвященной итогам археол. и этногр. исслед. 1964 г. в СССР : тез. докл. Баку, 1965. С. 159–160. [Gilevich A. M. Klad khersono-vizantijskikh monet IX–X vv. iz okrugi Khersonesa : k voprosu o denezhnom obraschenii Khersonesa v IX–X vv. // Materialy sessii, posvyaschennoi itogam arkheol. i etnogr. issled. 1964 g. v SSSR : tez. dokl. Baku, 1965. S. 159–160.]

Голофаст Л. А. Штампы V–VII вв. на посуде группы «Африканской краснолаковой» из раскопок Херсонесского городища // МАИЭТ. 1996. Вып. 5. С. 77–84. [Golofast L. A. Shtampy V–VII vv. na posude gruppy «Afrikanskoj krasnolakovoj» iz raskopok Khersonesskogo gorodischa // MAIET. 1996. Vyp. 5. S. 77–84.]

Гутнова Е. В., Удал'цова З. В. Генезис феодализма в Европе // История Европы: средневековый период. М., 1992. Т. 2: 16–33. [Gutnova E. V., Udal'tsova Z. V. Genezis feodalizma v Evrope // Istorija Evropy: srednevekovyj period. M., 1992. T. 2: 16–33.]

Золотарев М. И., Ушаков С. В. Один средневековый жилой квартал северо-восточного района Херсонеса // XC. 1997. Вып. 8. С. 30–45. [Zolotarev M. I., Ushakov S. V. Odin srednevekovyj zhiloj kvartal severo-vostochnogo rajona Khersonesa // KhS. 1997. Vyp. 8. S. 30–45.]

Курбатов Г. Л., Лебедева Г. Е. Город и государство в Византии в эпоху перехода от Античности к феодализму // Становление и развитие раннеклассовых обществ. Л., 1986. С. 100–197. [Kurbatov G. L., Lebedeva G. E. Gorod i gosudarstvo v Vizantii v epokhu perekhoda ot Antichnosti k feodalizmu// Stanovlenie i razvitiye ranneklassovykh obschestv. L., 1986. S. 100–197.]

Люблинская А. Д. Типология раннего феодализма в Западной Европе и проблема романско-германского синтеза // СВ. 1968. Т. 31. С. 9–44. [Lyublinskaya A. D. Tipologiya rannego feodalizma v Zapadnoj Evrope i problema romano-germanskogo sinteza // SV. 1968. T. 31. S. 9–44.]

Липшиц Е. Э. Очерки истории византийского общества и культуры VIII – первой половины IX в. М. ; Л., 1961. [Lipshits E. E. Ocherki istorii vizantijskogo obschestva i kul'tury VIII – pervoij poloviny IX v. M. ; L., 1961.]

Поляковская М. А. Византия. Византийцы. Византисты. Екатеринбург, 2003. [Polyakovskaya M. A. Vizantiya. Vizantijtsy. Vizantinisty. Ekaterinburg, 2003.]

Романчук А. И. К вопросу о положении Херсонеса в «темные века» // АДСВ. 1972. Вып. 8. С. 42–55. [Romanchuk A. I. K voprosu o polozhenii Khersonesa v «temnye veka» // ADSV. 1972. Vyp. 8. S. 42–55.]

Романчук А. И. Комплекс VII в. в портовом районе Херсонеса // АДСВ. 1975. Вып. 10. С. 246–250. [Romanchuk A. I. Kompleks VII v. v portovom rajone Khersonesa // ADSV. 1975. Vyp. 10. S. 246–250.]

Романчук А. И. Слои разрушения VII–VIII в портовом районе Херсонеса // АДСВ. 1975. Вып. 11. С. 3–13. [Romanchuk A. I. Sloi razrusheniya VII–VIII v portovom rajone KHersonesa // ADSV. 1975. Vyp. 11. S. 3–13.]

Романчук А. И. «Слои разрушения X в.» в Херсонесе : к вопросу о последствиях Корсунского похода Владимира // ВВ. 1989. Т. 50. С. 182–188. [Romanchuk A. I. «Sloi razrusheniya X v.» v Khersonese : k voprosu o posledstviyakh Korsunskogo pokhoda Vladimira // VV. 1989. T. 50. S. 182–188.]

Романчук А. И., Сазанов А. В. Краснолаковая керамика ранневизантийского Херсона. Свердловск, 1989. [Romanchuk A. I., Sazanov A. V. Krasnolakovaya keramika rannevizantijskogo Khersona. Sverdlovsk, 1989.]

Романчук А. И., Сазанов А. В., Седикова Л. В. Амфоры из комплексов византийского Херсона. Екатеринбург, 1995. [Romanchuk A. I., Sazanov A. V., Sedikova L. V. Amfory iz kompleksov vizantijskogo Khersona. Ekaterinburg, 1995.]

Романчук А. И., Седикова Л. В. «Темные века» и Херсон: проблема репрезентативности источников // Византийская Таврика. Киев, 1991. С. 30–46. [Romanchuk A. I., Sedikova L. V. «Temnye veka» i Kherson: problema reprezentativnosti istochnikov // Vizantijskaya Tavrika. Kiev, 1991. S. 30–46.]

Седов В. В. Становление европейского раннесредневекового города // Становление европейского средневекового города. М., 1989. С. 6–55. [Sedov V. V. Stanovlenie evropejskogo rannesrednevekovogo goroda // Stanovlenie evropejskogo srednevekovogo goroda. M., 1989. S. 6–55.]

Соколова И. В. Клады византийских монет как источник для истории Византии VIII–XI вв. // ВВ. 1959. Т. 15. С. 50–63. [Sokolova I. V. Klady vizantijskikh monet kak istochnik dlya istorii Vizantii VIII–XI vv. // VV. 1959. T. 15. S. 50–63.]

Соколова И. В. Монеты и печати византийского Херсона. Л., 1983. [Sokolova I. V. Monety i pechaty vizantijskogo Khersona. L., 1983.]

Сорочан С. Б. Византия и хазары в Таврике: господство или кондоминимум? // ПИФК. 2002. Вып. 12. С. 509–525. [Sorochan S. B. Vizantiya i khazary v Tavrike: gospodstvo ili kondominimum? // PIFK. 2002. Vyp. 12. S. 509–525.]

Сорочан С. Б. Византийский Херсон : очерки истории и культуры, вторая половина VI – первая половина X в. Харьков, 2005. [Sorochan S. B. Vizantijskij Kherson : ocherki istorii i kul'tury, vtoraya polovina VI – pervaya polovina X v. Khar'kov, 2005.]

Степанова Е. В. О связях Херсона и Сугдеи по данным сфрагистических архивов // Херсонес Таврический. У истоков мировых цивилизаций : материалы науч. конф. Севастополь, 2001. С. 24. [Stepanova E. V. O svyazyakh Khersona i Sugdei po dannym sfragisticheskikh arkhivov // Khersones Tavricheskij. U istokov mirovykh tsivilizatsij : materialy nauch. konf. Sevastopol', 2001. S. 24.]

Степанова Е. В. Новые находки из судакского архива печатей // Сугдяя, Сурож, Солдайя в истории и культуре Руси — Украины : материалы конференции. Киев ; Судак, 2002. С. 231—233. [Stepanova E. V. Noyye nakhodki iz sudakskogo arkhiva pechatej // Sugdaya, Surozh, Soldajya v istorii i kul'ture Rusi — Ukrayny : materialy konferentsii. Kiev ; Sudak, 2002. S. 231—233.]

Суров Е. Г. Раскопки в северо-западном районе городища // СХМ. 1961. Вып. 1. С. 67—70. [Surov E. G. Raskopki v severo-zapadnom rajone gorodischa // SKhM. 1961. Vyp. 1. S. 67—70.]

Суров Е. Г. К истории северо-западного района Херсонеса Таврического // АДСВ. 1965. Вып. 3. С.119—145. [Surov E. G. K istorii severo-zapadnogo rajona Khersonesa Tavricheskogo // ADSV. 1965. Vyp. 3. S.119—145.]

Сюзюмов М. Я. Роль городов-эмпориев в истории Византии // ВВ. 1956. Т. 8. С. 26—41. [Syuzumov M. YA. Rol' gorodov-emporiev v istorii Vizantii // VV. 1956. T. 8. S. 26—41.]

Сюзюмов М. Я. Византийский город (середина VII — середина IX в.) // ВВ. 1967. Вып. 27. С. 38—70. [Syuzumov M. Ya. Vizantijskij gorod (seredina VII — seredina IX v.)// VV. 1967. Vyp. 27. S. 38—70.]

Сюзюмов М. Я. О функциях раннесредневекового города// АДСВ. 1977. Вып. 14. С. 34—51. [Syuzumov M. Ya. O funktsiyakh rannesrednevekovogo goroda // ADSV. 1977. Vyp. 14. S. 34—51.]

Удальцова З. В. Проблема типологии феодализма в Византии // Проблемы социально-экономических формаций : ист.-типол. исслед. М., 1975. С. 124—157. [Udal'tsova Z. V. Problema tipologii feodalizma v Vizantii // Problemy sotsial'no-ekonomicheskikh formatsij : ist.-tipol. issled. M., 1975. S. 124—157.]

Шестаков С. П. Очерки по истории Херсонеса в VI—X вв. по Р. Хр. М., 1908. [Shestakov S. P. Ocherki po istorii Khersonesa v VI—X vv. po R. Khr. M., 1908.]

Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес // МИА. 1959. № 63. [Yakobson A. L. Rannesrednevekovyy Khersones // MIA. 1959. N 63.]

Якобсон А. Л. Средневековый Крым : очерки истории и истории материальной культуры. М. ; Л., 1964. [Yakobson A. L. Srednevekovyj Krym : ocherki istorii i istorii material'noj kul'tury. M. ; L., 1964.]

Якобсон А. Л. О некоторых спорных вопросах истории раннесредневекового Херсонеса : по поводу статьи Д. Л. Талиса «Вопросы периодизации истории Херсона в эпоху раннего Средневековья»// ВВ. 1964. Т. 24. С. 226—229. [Yakobson A. L. O nekotorykh spornykh voprosakh istorii rannesrednevekovogo Khersonesa : po povodu stat'i D. L. Talisa «Voprosy periodizatsii istorii Khersona v epokhu rannego Srednevekov'ya» // VV. 1964. T. 24. S. 226—229.]

Bass G. F., Doorninck, van F. H. Yassi Ada: A Seventh century byzantine Shipwreck. Texas, 1982.

Bouras Ch. City and Village: Urban Design and Architecture// JÖB. 1981. Bd. 31/2. S. 611—653.

Brandes W. Die Städte Kleinasiens im 7. und 8. Jahrhundert. B., 1989.

Dolger F. Die fruhbyzantinische und byzantinisch beeinflusste Stadt, 5.—8. Jahrhundert // PE. 1962. S. 107—139.

Foss C. Ephesus after Antiquity. A Late Antiquity, Byzantine and Turkish City. Cambridge, 1974.

Foss C. Byzantine and Turkish Sardis. Cambridge (Mass.) ; London, 1976.

Foss C. Archeology and the “Twenty Cities” of Byzantine Asia // A JA. 1977. № 81. P. 469—486.

- Haufmann G. V. A. Excavations and Restovration at Sardis // TAD. 1974. № 21/2. P. 59–77.*
- Kirsten E. Die byzantinische Stadt // Berichte zum XI. Intern. Byzantinistenkongre?. Munchen, 1958. Bd. 5. S. 1–48.*
- Ostrogorsky G. Byzantine Cities in Early Middle Ages // DOP. 1959. № 13. P. 45–65.*
- Ostrogorsky G. The Byzantine Empire in the World of the Seventh Century // DOP. 1959. № 13. P. 1–22.*
- Patlagean E. Pauvrete economique et pauvrete sociale a Byzance, 4–8 s. P., 1977.*
- Smedley J. Archaeology and the history of Cherson: A survey of some results and problems // Αρχειον Πόντου. 1979. № 35. P. 172–192.*
- Todorova E. One of Black Sea Routes. 13th–15th Centuries // Le Povoire central et les villes en Europe de l'Est et Sud-Est du XV^e siecle aux débuts de la revolution industrielle: Les villes portuaires. Sofia, 1985. P. 156–162.*

Статья поступила в редакцию 30.05.2013 г.

УДК 35.082.21(09) + 94(47 + 57)

Д. О. Серов

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ НАЧИНАЛИ СЛУЖБУ ПОДЬЯЧИЕ В КОНЦЕ XVII – НАЧАЛЕ XVIII в.

Рассматривается вопрос о возрасте, в котором начинали государственную гражданскую службу в России в 1689–1710 гг. На основании широкого круга архивных данных установлено, что общий средний возраст поступления на гражданскую службу составлял в этот период 15,7 лет, а поступления в центральные органы власти — 14,8 лет. При этом почти половина лиц вступала в подьячие в возрасте до 15 лет. Кроме того установлена зависимость между ранним началом службы и последующими карьерными успехами государственного служащего.

Ключевые слова: российская бюрократия; подьячие; Табель о рангах; государственная гражданская служба; канцелярский персонал.

Вопрос о возрасте, с которого начинали брать на государственную гражданскую службу, представляется на первый взгляд узким и вряд ли заслуживающим исследовательского внимания. Однако узость этого вопроса обманчива.

Во-первых, без сведений о возрасте начала службы невозможно составить целостного представления о корпусе государственных служащих в соответствующий исторический период и подготовить надлежаще подробный коллективный портрет той или иной группы этих служащих.

Во-вторых, в России до начала XIX в., когда к государственным служащим, независимо от занимаемой должности, не предъявлялось никаких квалификационных требований, возраст поступления на гражданскую службу следует признать весомым (хотя и косвенным) показателем квалификации чиновников. Ведь при крайне слабом в те времена развитии отечественной системы школьного образования профессиональную подготовку гражданские

служащие получали главным образом непосредственно на рабочем месте, путем практического обучения. В подобных условиях очевидно, что чем раньше человек вступал в службу, тем он оказывался более обучаем, восприимчив к усвоению профессиональных навыков, что было существенной предпосылкой формирования у него в дальнейшем высокого квалификационного уровня.

Между тем вопрос о времени начала трудовой деятельности государственных гражданских служащих XVII–XVIII вв. доныне не рассматривался в литературе — ни в обобщающих исследованиях по истории российской бюрократии того времени [см., например: Plavsic; Демидова, 1987; Brown; Медушевский, с. 245–290; Троицкий, 1974, с. 155–294; Писарькова], ни в работах, в которых специально характеризовался персональный состав тех или иных правительственных учреждений [см.: Рогожин, с. 72–91, 96–145; Новохатко, с. 80–108; Зевакин; Балакирева, с. 132–164]. Не приведено ни единого упоминания о чьем-либо возрасте начала службы и в новейшем фундаментальном справочнике Н. Ф. Демидовой о корпусе дьяков и подьячих XVII в. [см.: Демидова, 2011].

Такая ситуация вполне объяснима. Дело в том, что до введения в 1764 г. формулярных списков чиновников сведения об их возрасте крайне редко фиксировались в делопроизводственной документации. Еще реже в одном документе совмещались данные и о возрасте, и о времени поступления соответствующего лица на гражданскую службу.

Применительно к периоду до 1760-х гг. к настоящему времени удалось выявить всего три подборки документов, в которых оказались систематически отражены сведения как о возрасте государственных служащих, так и о времени определения их к «статским делам». Исходя из массива данных, содержащихся в этих подборках, а также из стремления уяснить те традиции в комплектования правительственных учреждений канцелярским персоналом, которые существовали в нашей стране до административных преобразований 1710-х – начала 1720-х гг., хронологическими рамками настоящей работы были определены 1689–1710 гг.

Первая из упомянутых подборок документов состоит из составленных в августе – сентябре 1722 г. списков канцелярских служащих ряда местных учреждений Северо-Запада – Ревельской губернской и гарнизонной канцелярий, Нарвской провинциальной канцелярии, таможни, камерирской и рентмейстерской контор, Выборгской провинциальной канцелярии, таможни, камерирской и рентмейстерской контор, канцелярии Выборгского ландрихтера, Дерптской городовой канцелярии, а также Канцелярии над Ингерманландией [см.: РГАДА, ф. 286, кн. 2, л. 60–69 об., 72–74, 112–114]. Из этих списков довелось извлечь сведения о 25 лицах, начавших службу подьячими в 1689–1710 гг.

Вторую подборку образовал фрагмент переписи канцелярских служащих центральных учреждений 1737–1738 гг. Несмотря на то, что формуляр означенной переписи не предусматривал сбора информации о возрасте служащих, по какой-то причине такую информацию предоставила Военная коллегия (причем по персоналу не только аппарата коллегии, но подведомственных

контор и учреждений) [см.: РГАДА, ф. 286, кн. 203, л. 17–43, 73–85, 90–102]. Здесь удалось отыскать данные о 20 служащих, вступивших в подьяческий чин в рассматриваемый период.

Третья подборка документов — это материалы масштабной переписи чиновников 1754–1756 гг., введенные в научный оборот и специально охарактеризованные С. М. Троицким [1969]. В ходе переписи 1754–1756 гг. возраст государственных служащих указывался уже в обязательном порядке [см.: Там же, ф. 248, кн. 8122, ч. 1–3; ф. 286, кн. 439]. По материалам этой переписи среди персонала высших и центральных органов власти были выявлены сведения о 30 лицах, начавших гражданскую службу в 1689–1710 гг. Старейшим чиновником, которого перепись застала на рабочем месте, оказался М. П. Лосев, определившийся в подьячие Приказа Большого дворца как раз в 1689 г. В 1754 г. 77-летний Марко Лосев, как ни в чем ни бывало, трудился в должности секретаря в Московской дворцовой конторе (т. е. по существу в том же ведомстве, в которое он устроился 65 лет назад) [Там же, ч. 3, л. 1266 об.–1267].

Кроме данных из упомянутых подборок документов, информация о возрасте и начале приказной службы шести лиц, начавших приказную службу в конце XVII — начале XVIII в., оказалась зафиксированной в Записной книге приездов на смотр дворян 1721–1722 гг. [Там же, ф. 286, кн. 32, л. 102 об.–103, 132, 611]. Наконец, путем совмещения сведений о возрасте и о начале службы, извлеченных из разных документов, удалось определить время поступления в подьячие в рассматриваемый период еще пяти человек — И. Н. Венюкова, А. Ф. Докудовского, С. И. Иванова, П. А. Ижорина и И. Г. Молчанова.

Таким образом, стал известен возраст 86 лиц, поступивших на гражданскую службу в исследуемый период. Из них на протяжении 1689–1699 гг. в подьячие определилось 23 человека, а на протяжении 1700–1710 гг. — 63. Данная выборка представляется вполне репрезентативной (табл. 1).

Таблица 1

Период	1691	1697	1698	1699	1700	1701	1704	1705	1706	1707	1709	Всего за 1703–1707 гг.
Количество человек	2	4	1	1	4	1	9	7	8	9	9	38

Наибольшее число из круга указанных лиц поступили на службу в 1704, в 1707 также и в 1709 г. (по девять человек). Восемь человек начали службу в 1706 г. и семь — в 1705 г. Всего же за пятилетие (1703–1707) в подьячие определилось 38 человек (44,2 % рассматриваемого числа лиц).

Что касается возраста поступления на службу, то 21 человек (24,4 %) начали ее в 18 лет и старше. Из них пять человек определились в приказные учреждения в возрасте 23 лет, четверо — в 18 лет, по два человека — в возрасте 19, 22, 24 и 27 лет. Позднее всех вступили в «подьяческий чин» Иакинф Яковлев, начавший работу в Разрядном приказе в 1699 г. в возрасте 33 лет, и Ефим

Савоскеев, определившийся в Великолукскую приказную избу в 1706 г. в 31 год (чем означенные лица занимались до поступления на приказную службу, из выявленных документов неясно) [см.: РГАДА, ф. 286, кн. 2, л. 55—55 об., 114].

В свою очередь, 65 человек (75,6 %) начали трудовой путь в возрасте до 18 лет, в том числе 35 человек — в возрасте до 15 лет (40,7 %). Больше всего лиц поступили в подьячие в возрасте 14 лет — 13 человек (15,1 %), в 13 и 12 лет — 10 и девять человек (11,6 % и 10,5 %). В 16 и 17 лет начали гражданскую службу по восемь человек, в 15 лет — шесть человек и в 11 лет — пять. Таким образом, немногим менее половины лиц, вступивших в службу в 1689—1710 гг. (43,0 %), определились к «статским делам» 11—14-летними подростками. Суммарный средний возраст начала государственной гражданской службы всех рассматриваемых 86 лиц составил 15,7 лет (табл. 2).

Таблица 2

Возраст начала службы, лет	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	24	27	31	33
Количество человек	5	9	10	13	6	8	8	4	2	2	5	2	2	1	1

По собранным данным, к сожалению, не удалось выявить различие в возрасте начала службы в местных и центральных органах власти (каковое несомненно существовало). Несмотря на то, что первое место работы было названо в сведениях о 70 бывших приказных, среди них оказался всего 21 человек, определившийся в местные учреждения, что представляется недостаточным для репрезентативных подсчетов. Предположительно в местные органы власти чаще поступали в более старшем возрасте. Что же касается 49 лиц, начавших службу в 1689—1710 гг. в центральных учреждениях, то их средний возраст вступления в «подьяческий чин» составил 14,8 года.

Глубоко примечательно, что охарактеризованные подборки документов зафиксировали заметно различавшийся средний возраст поступления на приказную службу в 1689—1710 гг. Согласно материалам о 25 подьячих местных учреждений Северо-Запада 1722 г., средний возраст их вступления в службу составил 20,0 лет. Средний возраст определения к «статским делам» 20 канцелярских служащих Военной коллегии и подведомственных ей учреждений составил 15,5 лет. Наконец, средний возраст начала службы 30 бывших приказных, попавших в перепись 1754—1756 гг., составил 11,4 года.

Чем же можно объяснить подобный разнобой в средних цифрах возраста начала службы (особенно разительный между данными 1722 г. и 1754—1756 гг.)? Отмеченное расхождение, вероятно, можно объяснить различием квалификационного уровня лиц, попавших в соответствующие списки чиновников. В самом деле, подьячие, трудившиеся в 1722 г. в местных учреждениях

новозавоеванных территорий, образовывали несомненно группу карьерных неудачников. Служба в недавно присоединенных к России городах, в которых русское гражданское население в то время либо вовсе отсутствовало (Выборг, Ревель), либо было весьма малочисленным (Нарва, Дерпт), являлась полнейшим служебным тупиком, особенно для лиц, начинавших службу в Москве (каковых среди 19 подьячих, очутившихся в указанных городах, насчитывалось по меньшей мере десять человек). Не менее бесперспективной была служба (в аспекте карьерной перспективы) и в расположенной в Санкт-Петербурге карликовой Канцелярии над Ингерманландией.

Скажем, начавший службу в 22 года в 1697 г. Конюшенном приказе Василий Посников явно не мечтал о том, чтобы оказаться четверть века спустя (в возрасте 47 лет) подьячим средней статьи в Выборгской рентмейстерской конторе [РГАДА, ф. 286, кн. 2, л. 68 об.]. Вряд ли рвался на окраину империи Андрей Копцов, поступивший на службу в 1706 г. в возрасте 24 лет в Провиантский приказ. Между тем перепись 1722 г. застала 39-летнего А. Копцова на низшей должности молодого подьячего в Нарвской рентмейстерской конторе [см.: Там же, л. 113 об.]. По всей вероятности, не испытывал воодушевления от поворотов карьеры и Григорий Семенов, определившийся в 23 года в 1702 г. молодым подьячим в Разрядный приказ, а в 1722 г. пребывавший в той же самой должности в Ревельской гарнизонной канцелярии [Там же, л. 73]. Столь же очевидно, что если бы трое поименованных из названных приказных служителей обладали высоким профессиональным уровнем, московское руководство вряд ли откомандировало их в дальние ингерманландские и балтийские края. Мягко говоря, не блестящая карьера ожидала и наиболее поздно начавшего приказную службу упомянутого выше Иакинфа Яковлева: в 1722 г. на 57-м году жизни он состоял по-прежнему подьячим в Канцелярии над Ингерманландией.

Обратная ситуация сложилась с бывшими приказными, доработавшими до середины XVIII в. Из 30 государственных служащих, начавших трудовой путь в 1689–1710 гг. и попавших в перепись 1754–1756 гг., 24 человека (80,0 %) занимали должности от секретаря и выше (т. е., начиная с 10 класса Табели о рангах). При этом среди шести остальных не оказалось лиц в должностях ниже актуариуса, архивариуса и комиссара (14-й класс Табели). Иными словами, преимущественно это были люди, сумевшие как достичь очевидных карьерных успехов, так и закрепиться в рядах московско-петербургской бюрократии. В свою очередь, в отличие от тех «приказнослужителей», кто, поступив в подьячие уже великовозрастными, оказался затем на низовых канцелярских должностях на северо-западных окраинах империи, будущие секретари и советники начинали службу в основном в достаточно юном возрасте.

К примеру, П. Ф. Булыгин определился в подьячие в Ратушу в том же 1702 г., что и упомянутый выше Григорий Семенов в Разрядный приказ. Правда, Петр Булыгин вступил в «подьяческий чин» в 10 лет, будучи моложе Г. Семенова на 13 лет. Зато Петру Федоровичу довелось куда более продвинуться в карьере, нежели будущему ревельскому гарнизонному подьячemu. В 1754 г. 62-летний П. Ф. Булыгин был титуллярным советником (9-й класс Табели) и

одним из руководителей Санкт-Петербургской портовой таможни [РГАДА, ф. 248, кн. 8122, ч. 1, л. 209–209 об.]. А вот начавший в 1702 г. службу подьячим в Симбирской приказной избе в возрасте 13 лет Ф. И. Андреев уже в июле 1741 г. был произведен в коллежские асессоры (8-й класс Табели), а к 1754 г. оказался в руководстве Главной полицмейстерской канцелярии [Там же, ч. 2, л. 474; Опись, № 8546].

Если же для полноты картины вычленить лиц, достигших чинов и должностей от 10-го класса Табели о рангах и выше из всех 89 рассматриваемых государственных служащих, то таковых окажется 34 человека. Из числа этих лиц только один — Борис Никитин — начал службу в возрасте старше 17 лет (а именно в 18 лет), а 21 человек (61,7 % этого круга) определились в подьячие в возрасте от 13 лет и младше, причем семь человек — в возрасте моложе 12 лет. Средний возраст поступления успешных в карьере чиновников на приказную службу составил 13,0 лет.

К примеру, Иван Рудин, поступив в подьячие Провиантского приказа в 1702 г. в возрасте 12 лет, дослужился впоследствии до секретаря в Военной коллегии (9-й класс Табели о рангах) [Там же, ф. 286, кн. 203, л. 17 об.]. Д. И. Невежин, начав службу в 1706 г. также в возрасте 12 лет, был уже в декабре 1721 г. произведен в секретари Юстиц-коллегии, а в июне 1734 г. назначен обер-секретарем Правительствующего сената (6-й класс Табели) [Там же, ф. 248, кн. 8122, ч. 2, л. 370]. Вступивший в службу в 1708 г. в том же 12-летнем возрасте А. Ф. Васильев в 1754 г. трудился в должности советника (6-й класс Табели) в Главной дворцовой канцелярии [РГАДА, ф. 248, кн. 8122, ч. 2, л. 859]. Кстати, в те же 12 лет определился в подьячие в 1689 г. и упомянутый ветеран приказной службы секретарь М. П. Лосев.

Наиболее высокого служебного статуса из числа рассматриваемых бывших приказных достигли М. С. Козмин и И. А. Черкасов. Начав гражданскую службу в 1703 г. в возрасте 13 лет, Матвей Козмин в феврале 1720 г. (в неполные 30 лет) стал дьяком в Камер-коллегии, а в сентябре 1722 г. был переведен в канцелярию сената. Будучи определен 14 октября 1724 г. обер-секретарем Правительствующего Сената, Матвей Семенович пробыл на этой должности почти треть века, до назначения 29 марта 1753 г. вице-президентом Камер-коллегии (5-й класс Табели) [Там же, кн. 649, л. 74; кн. 1932, л. 45; кн. 8122, ч. 2, л. 301 об.–302; Опись, № 10241]. Венцом карьеры Матвея Козмина явилась должность руководителя Главной соляной конторы и «генеральский» чин действительного статского советника (4-й класс Табели) [Опись, № 11660].

Младше М. С. Козмина на два года Иван Черкасов (сын стряпчего тамбовского архиерейского дома) начал службу также в 13 лет в 1705 г. во Владимирской приказной избе. Попав в 1712 г. на должность подьячего в царский Кабинет, Иван Антонович стал впоследствии кабинет-секретарем сначала императрицы Екатерины Алексеевны, а затем императрицы Елизаветы Петровны. За свои труды И. А. Черкасов был 24 мая 1742 г. пожалован титулом барона, а в сентябре 1757 г. произведен в действительные тайные советники (9-й класс Табели о рангах) [РГАДА, ф. 286, кн. 439, л. 94–94 об.; Опись, № 8809; Любимов, с. 111].

Чтобы окончательно уяснить, существовала ли взаимная связь между ранним вступлением в приказную службу и последующими карьерными достижениями соответствующих лиц, уместно рассмотреть собранные данные в обратной проекции — подсчитать, какое количество лиц, начавших службу в возрасте до 13 лет, достигло служебного успеха. Всего из характеризуемых 86 лиц в возрасте младше 14 лет начало службу чуть более трети — 29 человек, в том числе четверо в возрасте до 10 лет и один в возрасте 10 лет. Из этого числа 25 человек (86,2 %) дослужилось до чинов, входивших в Табель о рангах, в том числе 23 человека (79,3 %) — до чинов от 10-го класса и выше. И это при том условии, что в Табель о рангах не попала некогда вполне статусная «подьяческая» должность подьячего с приписью, отчего в число карьерно успешных лиц в рамках приведенных подсчетов оказался не внесен П. М. Юрьев, который, начав приказную службу в 1700 г. в возрасте 13 лет, в 1722 г. состоял подьячим с приписью в Калуге [РГАДА, ф. 286, кн. 32, л. 103 об.].

Противоположная картина вырисовывается, если обобщить сведения о карьере 21 человека, начавших в 1689—1710 гг. приказную службу в возрасте в 18 лет и старше. Из этого круга лишь трое (14,3 %) достигли чинов, внесенных в Табель о рангах, причем всего один (4,8 %) сумел занять должность выше 11-го класса. Этим единственным был упоминавшийся Борис Никитин, поступивший в службу в 1706 г. в 18 лет в Адмиралтейский приказ и достигший к 1754 г. должности обер-секретаря Адмиралтейской коллегии (7-й класс Табели) [РГАДА, ф. 248, кн. 8122, ч. 1, л. 184]. 16 августа 1760 г., на 54-м году службы в Военно-морском ведомстве, обер-секретарь Б. Никитин был произведен в коллежские советники [см.: Опись, № 11664]. Еще два человека — В. Д. Воронов и П. Жуков — дослужились до комиссаров (14-й класс Табели).

Карьерах всех остальных лиц, поступивших в «подьяческий чин» после 17 лет, сложились не лучшим образом. Помимо подьячих-неудачников из местных учреждений Северо-Запада, о которых шла речь выше, здесь можно вспомнить Леонтия Лустина, определившегося в Новгородскую приказную палату в 1704 г. в 24 года. В 1738 г. 58-летний Л. Лустин пребывал на весьма скромной должности подканцеляриста (так с начала 1720-х гг. стали называться подьячие средней статьи) в Военной коллегии. Руководство было не слишком довольно работой Леонтия, аттестовав его следующим образом: «Писать умеет, токмо стар и при свече мало видит. К тому ж худо слышит. А пьянства... за ним не видно» [РГАДА, ф. 286, кн. 203, л. 34 об.].

Сходно развивалась карьера Ивана Дьяконова, начавшего службу в 1710 г. в Ярославской приказной избе в 21 год. В 1738 г. 49-летний И. Дьяконов состоял подканцеляристом в Генеральном сухопутном госпитале. Деловые качества Ивана госпитальное начальство охарактеризовало довольно критически: «Управляет за главного писаря не с радением и ленив... К тому же писать не умеет» [РГАДА, ф. 286, кн. 203, л. 102].

По всей вероятности, не задалась карьера и у Л. М. Захарьина, поступившего в 1699 г. в Сыскной приказ в возрасте 23 лет: при явке на смотр дворян в 1722 г. он не обозначил ни своего чина, ни какого-либо места службы [Там

же, кн. 32, л. 132]. Даже до не вошедшей в Табель о рангах должности старого подьячего (переименованной в начале 1720-х гг. в канцеляриста) дослужились всего двое из характеризуемого круга — Иван Иванов и Филипп Суровцев. Учитывая, однако, что на приказную службу 23-летний Ф. Суровцев определился в 1697 г. не куда-нибудь, а в Посольский приказ (отработав затем в Приказе Большого дворца и в Ратуше), должность старого подьячего Выборгской камерирской конторы, которую он занимал в 1722 г., вряд ли являлась пределом его мечтаний [Там же, кн. 2, л. 67—67 об.].

При всей очевидности того факта, что бюрократическая карьера вековечно складывалась под влиянием многих факторов, приведенные цифры, думается, со всей определенностью свидетельствуют о том, что раннее определение в подьячие в конце XVII — начале XVIII в. являлось одной из ключевых предпосылок последующих успехов в службе. Разумеется, эта предпосылка могла воплотиться в жизнь при условии, если юный государственный служащий был обучаем и надлежаще мотивирован на бюрократическую деятельность. Остается только гадать, что именно помешало карьере, скажем, потомственно-го подьячего Ивана Голубцова, поступившего в 11 лет в 1698 г. в Сыскной приказ, а в 1738 г., на 40-м году службы, пребывавшего в подканцеляристах Военной коллегии [Там же, кн. 203, л. 35 об.]: природное «малоумие», леность или какая-нибудь развившаяся с возрастом склонность к «пьянистенным поступкам».

Подводя итог, следует констатировать, что на основании обработки сведений о 86 бывших приказных средний возраст поступления на государственную гражданскую службу в России в 1689—1710 гг. был исчислен в 15,7 лет, причем средний возраст начала службы в центральных органах власти составил 14,8 лет. Наиболее значительное число из отмеченного круга лиц (40,7 %) определились к «статским делам» в возрасте до 15 лет (в то время как в возрасте старше 18 лет — только 18,6 %). При отсутствии тогда в нашей стране системы школьного образования столь раннее вступление в службу значительной части подьячих способствовало формированию у них высокой квалификации (посредством длительного практического обучения непосредственно на рабочем месте). Не случайно, как явствует из собранных данных, 86,2 % лиц, начавших приказную службу в описываемое время в возрасте до 13 лет, достигли впоследствии чинов, включенных в Табель о рангах, причем 79,3 % из них дослужилось до чинов от секретаря и выше.

Балакирева Л. М. Судебная реформа Петра I. Юстиц-коллегия : учеб. пособие. Новосибирск, 2003. 352 с. [Balakireva L. M. Sudebnaya reforma Petra I. Yustits-kollegiya : ucheb. posobie. Novosibirsk, 2003. 352 s.]

Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в формировании абсолютизма. М., 1987. 227 с. [Demidova N. F. Sluzhilaya byurokratiya v Rossii XVII v. i ee rol' v formirovaniyu absolyutizma. M., 1987. 227 s.]

Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. (1625—1700) : биогр. справ. М., 2011. 720 с. [Demidova N. F. Sluzhilaya byurokratiya v Rossii XVII v. (1625—1700) : biogr. sprav. M., 2011. 720 s.]

Зевакин Е. С. Подъячие Поместного приказа начала XVIII в. : (по «скаскам» 1706—09 гг.) // Ист. зап. М., 1941. Т. 11. С. 280—282. [Zevakin E. S. Pod'yachie Pomestnogo prikaza nachala XVIII v. : (po «skaskam» 1706—09 gg.) // Ist. zap. M., 1941. T. 11. S. 280—282.]

Любимов С. В. Родословная князей Ханджери, баронов Черкасовых и баронов Соловьевых // Тр. Тул. губерн. уч. архивной комиссии. Кн. 1. Тула, 1915. С. 109—127. [Lyubimov S. V. Rodoslovnaya knyazej Khandzheri, baronov Cherkasovykh i baronov Solov'evykh // Tr. Tul. gubern. uch. arkhivnoj komissii. Kn. 1. Tula, 1915. S. 109—127.]

Медушевский А. Н. Утверждение абсолютизма в России : сравнит. ист. исслед. М., 1994. 320 с. [Medushevskij A. N. Utverzhdenie absolyutizma v Rossii : sravnit. ist. issled. M., 1994. 320 s.]

Новохатко О. В. Разряд в 185 году. М., 2007. 640 с. [Novokhatko O. V. Razryad v 185 godu. M., 2007. 640 s.]

Опись высочайшим указам и повелениям, хранящимся в С.-Петербургском Сенатском архиве за XVIII век / сост. П. И. Баранов. СПб., 1878. Т. 3. XXXI, 513 с. [Opis' vysochajshim ukazam i poveleniyam, khranyaschimsya v S.-Peterburgskom Senatskom arkhive za XVIII vek / sost. P. I. Baranov. SPb., 1878. T. 3. XXXI, 513 s.]

Писарькова Л. Ф. Государственное управление России с конца XVII до конца XVIII века : Эволюция бюрократической системы. М., 2007. 743 с. [Pisar'kova L. F. Gosudarstvennoe upravlenie Rossii s kontsa XVII do kontsa XVIII veka : Evolyutsiya byurokraticheskoy sistemy. M., 2007. 743 s.]

Рогожин Н. М. Посольский приказ: колыбель российской дипломатии. М., 2003. 432 с. [Rogozhin N. M. Posol'skij prikaz: kolybel' rossijskoj diplomatii. M., 2003. 432 s.]

Троицкий С. М. Материалы переписи чиновников в 1754—1756 гг. как источник по социально-политической и культурной истории России XVIII в. // Археогр. ежегодник на 1967 год. М., 1969. С. 132—148. [Troitskij S. M. Materialy perepisi chinovnikov v 1754—1756 gg. kak istochnik po sotsial'no-politicheskoi i kul'turnoj istorii Rossii XVIII v. // Arkheogr. ezhegodnik na 1967 god. M., 1969. S. 132—148.]

Троицкий С. М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. Формирование бюрократии. М., 1974. 395 с. [Troitskij S. M. Russkij absolyutizm i dvoryanstvo v XVIII v. Formirovaniye byurokratii. M., 1974. 395 s.]

Brown P. How Muscovy Governed: Seventeenth-Century Russian Central Administration // Russian History. 2009. № 36. P. 459—529.

Plavsic B. Seventeenth-Century Chanceries and Their Staffs // Russian Officialdom: The Bureaucratization of Russian Society from the Seventeenth to the Twentieth Century / ed. by W. Pinter and D. Rovney. Chapel Hill, 1980. P. 19—45.

Статья поступила в редакцию 26.09.2013 г.

УДК 929.535:351.755 + 821.161.1 Кирша Данилов

В. И. Байдин

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КИРШИ ДАНИЛОВА НА УРАЛЕ: МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ*

Публикуются архивные источники и извлечения из них, позволяющие автору статьи путем логических построений, в чем-то даже методом исключения, идентифицировать автора «Древних российских стихотворений» и «последнего скомороха России» Киршу Данилова. Несмотря на прекрасно разработанную биографическую легенду беглого ссыльного и пять разных прозвищ, «прозваний» и фамилий, фигурирующих в документах, за всеми этими именами удалось однозначно установить одного человека — невьянского молотового мастера Кирилла Данилова Никитиных — и составить представление о последнем периоде его жизни.

Ключевые слова: Кирша Данилов; идентификация, ревизские сказки, именования Кирши Данилова.

Среди памятников русской словесности да и культуры в целом одно из выдающихся мест принадлежит «Древним российским стихотворениям» — знаменитому Сборнику Кирши Данилова (далее — Сборник). Со времени первого издания части книги в 1804 г. входящие в нее былинный и исторический эпос, баллады, духовные стихи, бытовая и лирическая песенная поэзия служат бесценными источниками для гуманитарных наук, питают литературу, музыку, изобразительное искусство. По значению для формирования национального самосознания Нового времени Сборник не случайно ставят в один ряд с опубликованным четырьмя годами ранее Словом о полку Игореве.

Почти два века десятки исследователей в России и за рубежом пытаются разрешить загадки Кирши Данилова и Сборника. В дошедшей до нас копии «Древних российских стихотворений» 1780-х гг. начальный лист утрачен, и о том, что там стояло имя Кирши, известно со слов первого публикатора — А. Ф. Якубовича, приведенных К. Ф. Калайдовичем в предисловии ко второму, уже с воспроизведением нот, изданию 1818 г. По впервые высказанному им мнению, то же имя встречается в одной из песен, «где он сам себя именует Кириллом Даниловичем». Долгое время затем сведения об истории оригинала книги и биографии Кирши Данилова исчерпывались фразой (по цензурным соображениям целиком воспроизведена только в издании Сборника Императорской публичной библиотеки 1901 г.) из обнаруженного профессором Московского университета С. П. Шевыревым в середине XIX в. письма владельца Невьянского и других заводов на Урале П. А. Демидова от 22.09.1768 г., сопровождавшего посланную академику Г. Ф. Миллеру историческую песню: «Я достал от сибирских людей, понеже туды всех разумных

* Публикация подготовлена в рамках реализации гранта правительства РФ по привлечению ведущих учёных в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования и научные учреждения государственных академий наук и научные центры Российской Федерации. Договор 14.A1231.0004 от 26.02.2013 г.

дурakov посылают, которые прошедшую историю поют на голосу». Текст и ноты этой песни полностью совпадали с песней Сборника «Никите Романовичу дано село Преображенское». Судя по всему, Прокофий Демидов был осведомлен об обстоятельствах жизни исполнителя, за пение «истории» оказавшегося в ссылке в Сибири, а оригинал Сборника в 1768 г. уже существовал [см., в частности: Горелов, 2000, с. 17–20]. Хотя высказывались также мнения, что именно выполнение Демидовым просьбы Миллера оказалось побудительным толчком для создания книги [подробнее см.: Древние российские стихотворения, с. 375–376].

«Биография его совершенно неизвестна. Попытки исследователей извлечь из содержания сборника какой-либо биографический материал оканчивались неудачей», как свидетельствовал авторитетный труд начала XX в. [Русский биографический словарь, с. 78]. В последнем академическом (2-м) издании Сборника Кирши Данилова 1977 г. констатируется: «...Личность его и по сей день остается загадкой... Никакими документальными данными о Кирше мы не располагаем... Почти ничего не зная о Кирше Данилове и питая слабые надежды узнать что-нибудь в дальнейшем...» [Древние российские стихотворения, с. 388, 389, 390]. Тем самым признается практическая исчерпанность и невозможность традиционных фольклористических, языковедческих, текстологических и музыковедческих методов изучения Сборника.

Однако в свете архивных находок, сделанных крупнейшим современным исследователем творчества Кирши Данилова А. А. Гореловым и екатеринбургским писателем-краеведом И. М. Шакинко в 1960-е и 1980-е гг., сомнения в существовании самого певца, казалось бы, следовало считать развеянными; обозначился и примерный интервал, в который Сборник мог быть создан на письме, — это 1742–1768 гг. [см.: Горелов, 1963; Шакинко, 1989а; 1989б, с. 289–290; 1992] (обнаруженные Шакинко источники по подлинникам и с воспроизведением орфографии опубликованы в: [Горелов, 1995, с. 98–99]). Необходимо отметить, что находки эти были по разным причинам признаны и замечены далеко не всеми учеными, занимающимися данной тематикой. Вместе с тем отрывочность вновь найденных документальных свидетельств о пребывании Кирши Данилова на Урале, с одной стороны, породила некоторые поспешные ошибочные построения [их разбор см.: Байдин, 2001, с. 76–78], с другой — жизненный путь Кирши в целом так и оставался непроясненным, как и обусловленные этим вопросы о времени, месте создания книги, ее авторстве и пр.

Когда я обратился к личности «последнего скомороха России», то в первую очередь занялся поиском новых фактов и упоминаний, которые относились или могли быть отнесены к Кирше Данилову, а также поиском и анализом материалов о его окружении. В сочетании с интерпретацией уже известных данных о жизни певца и использованием для реконструкции биографии К. Данилова реалий текстов Сборника такой подход оказался достаточно плодотворным.

«Биографичность» отдельных произведений из состава Сборника получила подтверждение после того, как был найден Иван Сутырин, упоминаемый вместе с «Кирилой Даниловичем» в отмеченной еще К. Ф. Калайдовичем песне

«Да не жаль добра молодца битова — жаль похмельнова», и рядом с «Кирилой Даниловым» — в обнаруженных в 1963 г. А. А. Гореловым фрагментах ведомостей о работе молотовых мастеров на Нижнетагильском заводе в 1756 г.¹ Б. Н. Путилов, готовивший оба академических издания Сборника в серии «Литературные памятники», воспринял находку Горелова с сомнением и не считал достоверно связанный с песней [Древние российские стихотворения, с. 389 (сн. 91)]. Сам исследователь в 1995 г. с сожалением заметил: «В канцелярских уральских документах XVIII в. фамилия «Сутырин» более не встретилась» [Горелов, 1995, с. 107]. Именование оказалось производным от прозвища отца (Сутыря); официальная же фамилия Ивана, молотового подмастерья, затем мастера из крепостных крестьян нижегородской Фокинской вотчины А. Н. Демидова, была Шерстобитов [подробнее см.: Байдин, 2001, с. 82–83]. В тех же ведомостях, необходимых для внутриводского использования, молотовые мастера названы по-разному. Частью по имени и фамилии, отнюдь не всегда официальной, иногда второй, «уличной»; частью по имени и отчеству, когда последнее в повседневной жизни выполняло роль фамилии, «прозванья», как, очевидно, у Кирилла Данилова. Причем человек мог быть записан в одном месте под фамилией, в другом — по отчеству. Но это еще самый простой случай. Некоторые отмечены лишь по имени и уличному прозвищу. Производным от прозвища являлось, о чем говорилось выше, и именование Ивана Сутырина. Подобная «текучесть» чрезвычайно затрудняет идентификацию многих указанных в документах лиц.

Другая проблема заключалась в том, что, хотя имя Кирилла Данилова в вышеперечисленных источниках постоянно упоминалось в связи с Нижним Тагилом, в промежутке между серединой 1740-х и началом 1760-х гг. никакого подходящего взрослого человека в материалах ни 2-й, ни 3-й ревизий и других официальных списках по этому заводу не было. Единственному его тамошнему тезке Кириллу Данилову Шляпникову в 1756 г. едва исполнилось 7 лет [см.: Байдин, 2009, с. 120]. Пришлось обратиться к материалам текущего внутреннего учета населения заводского поселка, не предназначенных для посторонних, особенно чиновничьих, глаз. В подворной переписи лиц мужского пола начала 1747 г. отыскались молотовые мастера Иван Михайлов Сутырин и Кирилл Данилов Торопов с сыном Иваном [№ 5, л. 81, 69 об.]. Причем К. Д. Торопов — уже достаточно долго живущий и работающий на заводе человек: все недавно появившиеся (присланные «в жительство», новоявившиеся и пр.) в переписи специально отмечены.

Дворовая перепись 1747 г. сделана собственноручно подьячим заводской конторы Иваном Лагуновым, чьи обязанности А. Н. Демидов еще в инструкции

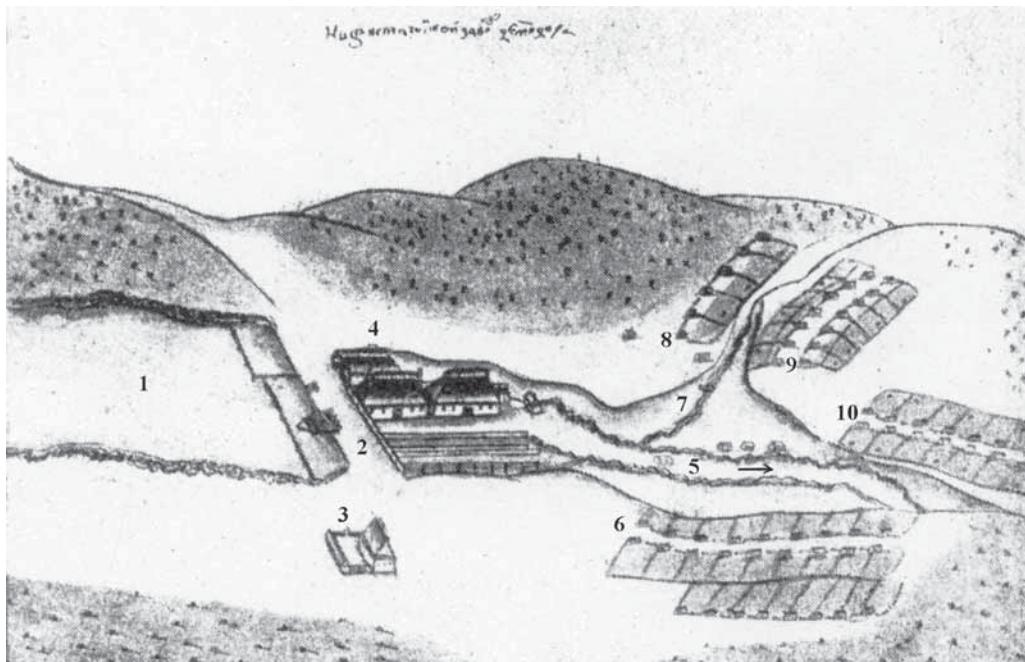
¹ И. М. Шакинко этих документов в Нижнетагильском архиве уже не обнаружил. Они были вновь найдены мною в ГАСО. После этого одна из четырех недельных ведомостей, в которых значится Кирилл Данилов (всего их 7 за февраль — начало апреля), воспроизвела А. А. Гореловым [см.: Горелов, 2000, с. 27], другая — мной [см.: Байдин, 2009, с. 121]. Из-за значительного объема в настоящей публикации не приводятся [их анализ см.: Байдин, 2001, с. 79–81, 85, 87]. В дальнейшем ссылки на помещенные в ней источники даются в тексте в квадратных скобках с указанием на их номер и, в случае необходимости, на лист или страницу.

нижнетагильским приказчикам от 27.06.1739 г. определил следующим образом: «конторщик, которой при сборе подушных денег». Нет сомнений, что население завода и его реальные родственные связи Лагунов знал неплохо [подробнее см.: Байдин, 2009, с. 123–124]. Подьячий являлся, кстати, практически соседом К. Д. Торопова по Тагильской улице и проживал всего в двух дворах от него [см.: № 5, л. 69–69об.]. Торопов — это, судя по всему, и есть родовое прозвание (фамилия) Кирилла (Кирши) Данилова.

По ряду деталей и вытекающих из них соображений можно предположить, что именно Кирша Данилов упомянут как «Кирило Бобоша» в ордере от 03.07.1742 г. из главной Невьянской заводской конторы в Нижнетагильскую, подписанным приказчиком Р. Ф. Набатовым [см. № 4]². Сплошная обработка данных упомянутой выше подворной переписи и книг сборов подушных денег с населения Нижнего Тагила за 1747–1753 гг., а также некоторые другие документы позволили окончательно атрибутировать всех взрослых с именем Кирилл в заводском поселке и отделить от них Кирилла Бобошу. Всего Кириллов в это время имелось 7 человек, причем у 6 из них отчества были не «Данилович» и занятия, не связанные с выделкой железа. Бобоша, очевидно, работал молотовым мастером, так как зарплату он получал вместе с другими молотовыми мастерами. И хотя сам он подушных денег не вносил, потому что в ревизских сказках на Нижнетагильском заводе записан не был, но в 1748 г. дважды: за 1748 и 1749 гг., — заплатил за другого человека [см.: Байдин, 2009, с. 126].

Имя Кирилла Бобоши мелькнуло еще раз в приложенном к донесению в Синод митрополита Тобольского и Сибирского Сильвестра (Главацкого) от 09.11.1751 г. Реестре раскольнических старцов и стариц, где сказано, что один из скитов в Нижнетагильском заводе размещался «подле речки Рудянку на берегу, в соседстве того завodu жителя из раскольников, которой ныне обратился, Кирила Бобошина» [№ 7, л. 3]. Замена прозвища (в данном случае — Бобоша) на его «фамильную» форму, и наоборот, в делопроизводстве XVIII в. встречается очень часто. Оригинал вида Нижнетагильского завода 1734 г. из ГАСО (см. иллюстрацию на с. 51) датирован сентябрем, когда, забегая вперед, скажем, что Кирши Данилова здесь еще не было. Но общее представление о структуре поселения он дает. Ниже плотины заводского пруда и «фабрик»

² Во-первых, в силу возможной этимологии прозвища. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля отмечено, что в нижегородских говорах «боба, бобка, бобушка — потешка, потешалочка». Поэтому прозвище можно перевести как Потешник. А скоморох и есть «потешник (лицедей, музыкант, плясун)» [Срезневский, с. 380]. Получается — Кирилло Потешник (Скоморох). В Оханском уезде Пермской губ. в 1880 г. записано слова «бобоша», обозначающее человека, который много «бобочет», говорит без толку [Словарь русских..., с. 38], что вполне может быть соотнесено с особенностями некоторых видов скоморошьего исполнительства. Во-вторых, тем, что выполнению распоряжения уделялось особое внимание (помета на ордере: «дело о Кириле Бобоше и о прочтем»). Заинтересовала и необычность мер, которые требовал принять Набатов. Под конвоем и в кандалах отправляли обвиняемых только в тяжких преступлениях, чего здесь явно не было. Вспомним также об обнаруженном И. М. Шакинко более раннем распоряжении А. Н. Демидова отправить с весенним караваном в Россию «Киршу Даниловича и с тарнобоем» (музыкальным инструментом) [Шакинко, 1989а, с. 289–290]. А вдруг Кирша тогда не уплыл с караваном?



Вид Нижнетагильского завода (1734):

- 1 — заводской пруд;
- 2 — плотина;
- 3 — «господский» двор и заводская контора;
- 4 — «фабрики»;
- 5 — р. Тагил;
- 6 — Ерзовская слобода;
- 7 — речка Рудянка;
- 8 — Малорудянская улица;
- 9 — Большерудянская улица;
- 10 — Тагильская улица

при ней на правом берегу Тагила находилась Ерзовская слобода, слева впадала речушка Рудянка. Вдоль ее правого берега располагались дворы Малорудянской улицы, левого — Большерудянской. Тагильская улица шла по левому берегу Тагила. Во второй половине 1730–1740-х гг. она активно расстраивалась в сторону собственно завода, вплоть до Рудянки, что подтверждается, в частности, сведениями о появлении в заводе владельцев усадеб начала улицы — соседей молотового мастера Кирилла Данилова сына Торопова [подробнее см.: Байдин, 2009, с. 126]. Таким образом, местоположение его двора на Тагильской улице по топографии поселка полностью соответствует описанию расположения двора Кирилла Бобошина!

Итак, Кирилл Бобоша и Кирилл Данилов Торопов — одно и то же лицо. И это Кирша (Кирилл) Данилов, так как другого молотового мастера с подобным именем и отчеством в те годы в Нижнетагильском заводе не было.

Хотя Кирша Данилов многие годы жил и работал в Нижнем Тагиле, официально он там, о чем говорилось, не значился. Где же его искать? Невьянский завод являлся предпочтительным хотя бы потому, что он по разделу между сыновьями Акинфия Демидова (в непосредственное управление частями наследства они вступили с 1 мая 1758 г.) достался старшему Прокофию, имя которого постоянно возникало в связи со Сборником [Байдин, 2010, с. 107].

По материалам учета населения 1730-х — начала 1760-х гг. ни на одном из остальных уральских демидовских заводов никакого подходящего по возрасту Кирилла Данилова, к тому же молотового мастера, не оказалось. Такой человек имелся только в Невьянске.

Якобы пропущенный («прописной») в сказках 1-й ревизии «Невьянского завода жителя сын <...> Кирило Данилов сын Никитиных — 42 [лет], у него сын <...> Иван — 9» были записаны там в ходе 2-й подушной переписи среди тех, что «написаны были подложно к заводским жителям братьями, племянниками и сыновьями». По сенатскому указу от 14.03.1746 г. таковых после освидетельствования (комиссией механика Н. Бахорева), «ежели явятца к заводским мастерствам обучившимся», предписывалось оставить на заводах как людей, «которые по тем ремеслам надобны» [№ 6, л. 110, 111]. Данные комиссии Бахорева по Невьянскому заводу сохранились в ГАСО не полностью — только о большей части «неремесленных» жителей-мужчин. Но сведения комиссии о квалифицированных кадрах завода нашли отражение в материалах производившегося с января 1759 г. по распоряжению Канцелярии главного правления в уральских демидовских заводских поселках следствия «о пришлых из разных мест людях». К. Д. Никитиных назван в них (и в ревизских сказках 1747 г.) «при оковке железа мастер», в то время как все остальные специалисты этого профиля в списках весьма компетентной комиссии Бахорева и в сказках значатся молотовыми мастерами. Не вдаваясь в технологические подробности, отметим, что такая квалификация означала получение Кириллом Даниловым профессиональной подготовки в выделке железа не на уральских заводах Демидовых [подробнее см.: Байдин, 2010, с. 107–108], т. е. он был не местным.

В 1759 г. следственной комиссии о пришлых Кирилл Данилов Никитиных сообщил такие сведения. По его словам, он происходил из государственных крестьян дер. Катышки Арамашевской слободы Екатеринбургского ведомства и был «сведен» на Невьянский завод в 1717 г. умершим отцом и матерью. В семье вдового Кирилла, кроме женатого 23-летнего сына Ивана, значились еще три незамужние дочери, соответственно 35, 34 и 32 лет [№ 8]. Но это биографическая легенда.

Человек с таким именем и отчеством существовал. Вот только родился он примерно пятью годами ранее, а две из трех его дочерей отмечены еще в весьма подробных подготовительных материалах для 1-й подушной переписи Невьянского заводов конца 1721 г. [см.: № 1, 1а, 1б]. Сам он умер, очевидно, в 1722 г. и поэтому не был включен в окончательный вариант ревизских сказок по Невьянску. Реально его дочерям в 1759 г. было от 41 до 37 лет, а не 35–32, и, чтобы приписать их другому Кириллу Данилову, пришлось уменьшить возраст [ср. № 1б и 8].

Настоящий Кирилл Данилов Никитиных действительно являлся сыном пашенного крестьянина из дер. Катышки Арамашевской слободы Верхотурского уезда Данилы Исакова Исакова. Фамилия Никитиных — по деду Данилы, закрепилась за семейством на Невьянском заводе начиная с 1-й ревизии. У Данилы Исакова, по крайней мере с начала XVIII в., имелось еще и прозви-

ще — Торопов. В быту (как «уличное») оно сохранялось долго: под ним семьи его детей и внуков фигурируют, например, в исповедных росписях Преображенской церкви Невьянска. Данило Исаков по его показаниям (которые подтверждаются и другими источниками) был взят в качестве плотника на строительство Невьянского завода, а в 1703 г., после передачи завода Никите Демидову, оставлен на нем по указу вместо другого плотника из крестьян Арамашевской слободы. Три сына Данилы в самом начале 1720-х гг. работали на железоделательном производстве: Савва (Савелий) и Кирилл — молотовыми мастерами (в 1717 г. последний значился еще подмастерьем, был уже женат, но детей не имел); младший, Денис, — молотовым учеником. Сын умершего в 1753 г. Саввы Борис тоже стал молотовым мастером [см.: Байдин, 2010, с. 109—110; см. также: ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 563, л. 234 об.].

Принадлежность к семье «переведенных по указу» снимала, казалось бы, все сомнения в законности проживания на Невьянском заводе. Тем не менее псевдо-Кирилл Данилов Никитиных ни об этом факте, ни о «родственниках», из которых «младший брат» и «племянник» работали с ним на одном производстве, в своих показаниях следственной комиссии в 1759 г. не упомянул. Ведь это означало бы раскрытие его легенды. С учетом масштаба разного рода фальсификаций в ходе 2-й ревизии на Уральских заводах А. Н. Демидова (в общей сложности тысячи людей были записаны «непомнящими родства», якобы купленными Демидовыми, незаконнорожденными, написаны «подложно» и т. п.) приказчики не особенно утруждали себя подбором «родственников» для тех же подложно написанных. Однако в 1745 г. Кирша Данилов в качестве молотового мастера в ревизские сказки Невьянского завода был включен вместо умершего молотового мастера с тем же именем и отчеством, даже старое семейное прозвище умершего совпало с родовым «прозванием» певца. Существование специально подобранный биографической легенды свидетельствует об особой заботе о сокрытии Кирши. На Урале, в отличие от Сибири, монополией на использование труда ссыльных тогда обладала казна³.

Вместе с тем наличие на Невьянском заводе здравствующих родственников умершего человека, под «личиной» которого ссыльный певец-потешник обосновался на Урале, по-видимому, предопределило длительное проживание Кирши Данилова во втором по величине здешнем демидовском поселке — Нижнетагильском. Добавлю: в выявленных к настоящему моменту документах в качестве постоянного жителя и работника Нижнетагильского завода молотовой подмастерье Кирилл Данилов впервые упоминается в январе 1736 г. как свидетель ссоры в местном кабаке [№ 2]. Данилов здесь еще молотовой подмастерье, т. е. никак не одноименный покойный невьянский мастер, для которого данная степень профессионального роста к началу 1720-х гг. была уже пройдена [см. № 1а, 1б], а именно Кирша. В демидовских владениях на

³ В указе Сибирского обер-бергамта — высшего горного начальства — 1733 г. из Екатеринбурга провозглашалось: «они присланы сюда на заводы для казенных, а не ради партикулярных (частных. — В. Б.) работ...» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 385, л. 191 об.]

Урале, он (по расчетам) появился с алтайского Колывано-Воскресенского завода где-то не позднее начала февраля 1735 г. [см.: Байдин, 2005; 2010, с. 111–112].

То, что под именем невьянского молотового мастера Кирилла Данилова Никитиных в конце 1750-х гг. скрывался Кирша Данилов удалось показать преимущественно путем логических построений, в чем-то даже «методом исключения». И хотя для автора этой статьи, с учетом содержания некоторых текстов в Сборнике, никаких сомнений в их идентичности не было, хотелось бы иметь этому документальные подтверждения. Желательно с указанием на причастность Кирилла «Никитиных» к песенному творчеству. Такие документы нашлись.

В конце апреля 1740 г. в контору казенного Лялинского завода на дороге между Верхотурьем и Соликамском доставлен задержанный без паспорта человек. На допросе он назывался Кириллом Даниловым Исаковым, по происхождению крестьянским сыном из дер. Катышки Арамашевской слободы. Когда он был «в малых летах», отец его взят плотником на Невьянский завод еще до передачи того Никите Демидову. Потом Кирилл стал там молотовым мастером. В 1737 г. А. Н. Демидов «отдал ево сыну своему Григорию в музыканты, и жил при нем <...> у Соли Камской». В начале 1739 г. Кирилл приехал с Григорием Демидовым на Невьянские заводы, здесь тяжело и надолго заболел, из-за чего якобы остался. Выздоровев, он «без ведома оного дворянина Демидова» отправился к Григорию Акинфиевичу в Соликамск. По дороге по несколько недель прожил на Туринском (впоследствии Верхнетуринском) заводе и в Верхотурье, куда «заходил по обещанию праведному Симеону помолитца». Задержанный «под крепким караулом» был отправлен в Канцелярию главного правления заводов Сибирских и Казанских в Екатеринбурге [**№ 3**]. Здешний демидовский поверенный Дмитрий Тимофеев сказал, что арестованного он знает, тот работает «в молотовых мастерах» на Нижнетагильском заводе, где живет и сам Тимофеев, и где Кирилл имеет дом, жену и детей. А дальше приказчик согнал, заявив, что в подушную перепись «за <...> Демидовым оной Исаков написан с прочими здаточными з заводами крестьянами» [**№ 3а**]. В сказках 1-й ревизии Кирилл Исаков записан, как мы знаем, не был.

Характерно, что и задержанный на допросе в Лялинской заводской конторе как бы «наводил» следователей именно на демидовскую администрацию. Он использовал общий и достаточно неопределенный термин «Невьянские заводы», ни разу не назвав Нижнетагильский завод, откуда он отправился в Соликамск и где, как выяснилось, значился молотовым мастером и жила его семья. Не упомянул он и своих якобы родственников Исаковых (теперь, официально, уже Никитиных) на Невьянском заводе. Все это, казалось бы, могло подтвердить его личность, но для беглого ссыльного Кирши Данилова грозило лишь раскрытием подобранный для него задолго до 2-й ревизии биографической легенды, под которой он скрывался на Урале. Ведь в Нижнем Тагиле, например, обитали в эти годы десятки земляков Кирилла Данилова (Торопова) с Керженца.

По определению Канцелярии главного правления заводов Кирилл Данилов «Исаков» был передан под расписку екатеринбургскому приказчику Ти-

мофееву «для отсылки к Демидову» вместе с указом тому высечь Кирилла плетьми за самовольный уход [№ 36]. Получил ли тогда Кирша Данилов положенное количество плетей или нет, неизвестно, но благорасположение Акинфия Никитича певец, несмотря на свой поступок, не утратил. Об этом достаточно убедительно свидетельствуют письма Демидова 1741–1742 гг., в которых он именуется «Кирило (Кирша) Данилович» [см.: Шакинко, 1989, с. 146]; т. е. уважительно, по отчеству (с *-вичем*), чего даже демидовские приказчики удостаивались достаточно редко.

Итак, не осталось никаких сомнений в тождестве Кирилла (Кирши) Данилова (он же Бобоша, он же Торопов) с записанным на Невьянском заводе в 1745–1746 гг. и живущим там в 1759 г. молотовым мастером Кириллом Даниловым сыном Никитиных, «родная» фамилия которого была Исаков и который к тому же был музыкантом.

Идентификация Кирши Данилова в качестве молотового мастера Невьянского завода Кирилла Данилова сына Никитиных позволяет, пусть и в общих чертах, составить представление о заключительном периоде его жизни. Основными источниками здесь являются ревизские сказки 3-й и 4-й ревизий, датируемые соответственно 1763 и 1782 гг. [№ 10, 11]. С 3-й ревизии, в отличие от первых двух подушных переписей, в сказках записывали и женщин. По некоторым нюансам формулировок ревизских сказок можно понять, что сын Кирши Иван женился в Нижнетагильском заводе на дочери приписного крестьянина Прасковье Павловой уже после раздела наследства сыновей А. Н. Демидова. Видимо, вскоре, где-то в том же 1758 г., Киршу Данилова перевели на Невьянский завод, где он был записан еще по 2-й ревизии.

Никаких дочерей у К. Д. Никитиных в ревизской сказке 1763 г. не отмечено. Средняя, Евдокия, в первой половине 1759 г. записанная в материалах следствия о пришлых в составе его семьи в Невьянске, во второй половине года в списках, составленных для аналогичного следствия на заводах Н. А. Демидова, уже значится новой женой овдовевшего каменщика Ивана Нифонтова Васенина⁴, у которого имелись взрослый холостой сын, тоже каменщик, и еще трое детей (младшей дочери было 3 года) от первого брака. Причем возраст у Евдокии здесь, как и в ревизской сказке Нижнетагильского завода 1763 г., указан реальный — соответственно 40 лет и 44 года [№ 9, 9а]. Так что, будь она настоящей дочерью Кирши, то при рождении Евдокии ему (в 1763 г. 60-летнему) должно было исполниться только 16 лет, а ее старшей сестре Елене вообще быть 14–15 лет. Елена в 1763 г. обнаружилась замужем за обремененным большой семьей со взрослыми и малолетними детьми и тоже, очевидно, незадолго перед тем овдовевшим крестьянином приписной Краснопольской слободы, по разделу отошедшей к среднему сыну А. Н. Демидова Григорию [см.: ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 2317, л. 427–427об.]. Полагаю, подобным же образом, если она была жива, Кирша пристроил среди своих знакомцев и младшую

⁴ Васенины — очередные соседи Кирши Данилова (К. Д. Торопова) по Тагильской улице Нижнетагильского завода [см.: № 5, л. 69 об.–70об.].

из «дочек», доставшихся ему после перевода в Невьянск в качестве своеобразного «приложения» к биографической легенде.

В 1770 г., при новом владельце Невьянских заводов Савве Яковлеве, сын Кирши Иван был «отдан з зачетом в рекруты на поселение». По указу от 13 декабря 1760 г., известному как закон «о предоставлении помещикам права ссылать крестьян в Сибирь на поселение», разрешалось ссылать туда с зачетом в рекрутский набор не только за воровство, пьянство и пр., но и за «предерзостные поступки» и «беспокойства» «непотребных и вредных обществу людей» в возрасте до 45 лет с женами и малолетними детьми.

Сам же Кирша Данилов, он же Кирилл Данилов сын Никитиных, скончался в Невьянском заводе в 1776 г. в возрасте около 73 лет [см. № 11].

Пользовавшийся благосклонностью Акинфия Демидова и его приказчиков беглый ссылочный Кирша Данилов являлся фигурой глубоко законспирированной. Достаточно сказать, что в ревизские сказки по Невьянскому заводу в середине 1740-х гг. в качестве молотового мастера Кирша оказался записан вместо умершего молотового мастера с теми же именем и отчеством, и даже старое семейное прозвище умершего мастера совпадало с родовым «прозванием» певца. Биографическая легенда для него была, впрочем, подобрана еще раньше (видимо, с момента появления на Урале). Другой пример: в ходе работы следственной комиссии о пришлых на демидовских заводах в 1759 г. к семейству Кирши в Невьянске приписали оставшихся круглыми сиротами и старыми девами трех дочерей его «прототипа». Правда, их возраст пришлось уменьшить. Несмотря на указанные обстоятельства и пять разных прозваний, прозвищ и фамилий, встречающихся в документах (*Данилов, Бобоша (Бобошин), Торопов, Исаков, Никитиных*), за ними удалось однозначно идентифицировать Киршу Данилова и установить годы его жизни: ок. 1703–1776. Полученные результаты хорошо соотносятся с данными о Кирше, обнаруженными ранее А. А. Гореловым и И. М. Шакинко, и вполне объясняют имеющиеся в них неясности. Публикуемые источники, помимо идентификации Кирши Данилова, содержат немало информации для реконструкции, хотя бы в основных чертах, уральского этапа его биографии, о «творческих командировках» в этот период его жизни; а в сочетании с другими материалами позволяют решить вопросы о времени и месте создания, по выражению А. А. Горелова, «фольклорного «Слова о полку...»» [Горелов, 2008, с. 131] и его авторстве.

Документы и извлечения из них публикуются в хронологическом порядке по общепринятым правилам с небольшими отступлениями. Для тематически и делопроизводственно связанных между собой текстов используется наряду с основной дополнительная буквенная нумерация. Общее содержание некоторых источников, фрагменты которых издаются (№ 1а, 8, 9), позволяет уточнить время их создания в пределах года. В таких случаях в заголовке дается более точная дата; основания для этого не приводятся.

Тексты воспроизводятся буквами современного алфавита, буква «ер» (ъ) в конце слов опускается, выносные буквы вносятся в строку. Пропущенные слова и цифры (последние — в пределах, необходимых для понимания содер-

жания источника) воспроизводятся в квадратных скобках; знаки препинания расставляются в соответствии с современными правилами. Не оговариваются исправления в текстах, сделанные чернилами и почерком писцов. Границы листов и страниц в текстах источников обозначаются курсивом в круглых скобках. При публикации извлечений из текстов документов в начале и в конце фрагментов ставится многоточие в угловых скобках. Прямая и косвенная речь заключаются в кавычки. Названия архивных фондов, из которых извлечены публикуемые источники, приводятся только при первом упоминании. Из-за небольшого объема текстологические примечания сведены в общий блок сразу после публикации под номерами документов. Комментарии помещены в концепе и расположены в соответствии с порядковой нумерацией текстов, а также листов и страниц, на которых находятся отмеченные звездочками слова или отрывки текстов. Извлечения из имеющих табличную форму ревизских сказок 3-й ревизии (**№ 9а, 10**) из экономии места частично воспроизводятся в более компактном виде, с несоблюдением разбивки на графы. При публикации фрагмента ревизской сказки 1782 г. (**№ 11**) опущено две ее графы, не содержащих в данном случае никакой информации.

Для удобства восприятия разновременные именования Кирши Данилова и его сына Ивана в публикуемых документах выделяются полужирным шрифтом. Курсивом обозначены сведения о Кирше, имеющие значение для его идентификации и, по этим же причинам, имена и сведения о некоторых других лицах.

№ 1. 1710, июля 23. **Переписные книги Невьянских железных заводов.** Извлечение

(Л. 476 об.) Двор, в нем живет плотник Данило Исаков, шездесят лет. У него жена Наталья Федорова дочь, пятьдесят лет; детей: сын Сава, дватцать пять лет, *Кирило одиннадцать лет*, Денис семи лет. У Савы жена Марья Алексеева дочь дватцать пять лет; у Савы сын Стефан тритцать недель.

[РГАДА, ф. 214, оп. 1, кн. 1539, л. 476 об.] *Подлинник*

№ 1а. 1717, вторая половина. **Ландратская перепись М. И. Воронцова-Вельяминова Невьянских (Федьковских) заводов Н. Демидова и приписных к ним селений.** Извлечение

(Л. 315) Во дворе Данило Исаков сын Торопов, пятидесят лет, у него жена Наталья Федорова дочь, пятидесят трех. Дети: Сава, дватцати девяти, *Кирило девятнадцати*, Денис тринатцати; у Савы жена Марья Алексеева (л. 315 об.) дочь дватцати пяти, дети: Степан пяти, Борис полугоду, Авдотья трех; у *Кирила* жена Лукерья Иванова дочь, дватцати лет. Родом он, Данило, Верхотурского уезду Арамашевской слободы деревни Катышки, крестьянин и тому семнадцать лет взят по указу на Фетьковские заводы, и работает Данило в плотниках, Сава — в молотовых мастерах, *Кирило — в подмастерьях* из найму.

[ГАСО, ф.24, оп. 1, д. 222, л. 315–315 об.] *Копия. Ок. 1720 г.*

№ 16. 1721, декабрь. **Переписные книги Невьянских заводов Н. Демидова с приписными селениями.** Извлечение

(Л. 289 об.) Во дворе плотник Данило Исаков сын сказал себе: «от роду семдесят лет, у него жена Анна* Федорова дочь, дети: Сава тритцети пяти, *Кирило дватцети*

пяти лет — молотовые мастера, Денис двадцети дву лет — молотовой ученик. У Савы жена Марья Алексеева дочь, сорока лет, дети: Борис пяти, Федор году, Авдотья четырех, Авдотья ж дву лет. У Кирилы жена Лукерья Иванова дочь, тритцети лет, дети: Агриппина трех лет, Авдотья году. У Дениса жена Фекла Семенова дочь двадцети дву лет, дети: Лукерья полугоду. Родом он Краснопольской** слободы, взят на заводы в плотники в [1]703-м году по указу***, работает на заводах из найму. А сказал он самую сущую правду, не утая ни единяя мужеска полу души; а ежели что сказал ложно, или кого утаил, и за такую ево ложную утайку против печатных великого государя указов по делу, чего он будет достоин. ^А К сей скаске вместо Даниила Исакова по ево велению Елизар Миронов руку приложил^б.

[РГАДА, ф. 271, оп. 1, д. 1394, л. 289 об.] Подлинник

№ 2. 1736, января 20 и 21. Известие нижнетагильского кабацкого целовальника И. Аникина

(С. 204) Генваря 20 числа 1736 года целовальник Иван Аникин извещал словесно: «Сего генваря 18 числа пополудни в пятом часу мастеровые люди Прокофей Сорокин з братом да Иван Попов с товарыщи (человек около десяти, которых я узнать не могу); будучи на кабаке оной Прокофей Сорокин, подав две копейки, требовал пива. Которому я, отмеря на поданные ево деньги, в кабацкой посуде и выдал. И помянутой Сорокин, приняв у меня, стал меня бранить всячески неподобными словами, и поносил меня тем, [что] якобы я отмерел ему неисправно. Чего ради я требовал у него, чтоб он сам перемерял, которой, неперемеряв оного пива, ударил кабатскую посуду со всем о пол. В чем я ему стал говорить, видя ево озорничество и обиду: “чего-де ты ради оную кабацкую посуду бьешь, ибо-де оная на нас взыщется.” Которой, услыша от меня едакие слова, ударил меня по щеке и тащил из-за стойки, изодрав на мне платье. При чем были посторонния люди, а именно: молотовой подмастерья Кирило Данилов да пилного мастера сын Михайло Питерсков. И не смея их за великим собранием унять от такого озорничества, точию закричали, что “идет-де подъячей Мирон Попов*!”, которому оные озорники в смотрение поручены; и устрашився, оные озорники бежав с кабака прочь. В которое время, спустя малой час, вышел я на двор для телесной нужды. Которые озорники, ждав за углом и увида, что я вышел, схватя меня, и закричали собранной своей артели, что “здесь-де, здесь! ”; которые, прибежав человек не меншее десяти и потыхвата меня, ударили о землю и били смертным боем. Которой бой и драку видя посторонные люди, которые тут обретались, и побежав к вышеписанному подъячему Мирону Попову? и указали, которой? пришед, поимав вышеписанных Сорокиных, посадил на цепи. Да при том же бою отбили собранных мною кабатских денег тринадцать рублей (с. 205) да с меня ж сорвали крест серебряной позлаченой, которой я взял за долговые деньги у молотовова мастера Макара Балахонцева, — ценою в рубль. В котором их убивстве и граблении, пришед я к обретающимся при Нижнотагилском заводе прикащику Григорию Сидорову**, ^в подав доношение ^г, — просил на показанных обидчиков суда. Точию оной Сидоров на показанных обидчиков мне суда не дал, а чего ради — о том я неизвестен. Токмо причитает учрежденные по указом ея императорского величества кабаки на заводе за разорение; того ради оным беззелником потакает чинить и грабление». К подлинному известу вместо помянутого целовальника руку приложил пищик Федор Горшков.

^а Шихтмester^е <...>

^б Василий Старой^е

[ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 609, с. 204—205]. Копия

№ 3. 1740, мая 3. Доношение в Канцелярию главного правления Сибирских и Казанских заводов из конторы Лялинского казенного медеплавильного завода о задержанном без паспорта К. Д. Исакове

(С. 198) Сего 1740 году апреля <...>^{*} дня объявлен в Лялинской заводской конторе пришлой бес паспорту, а в допросе он показал: «Урожденец бывал верхотурского ведомства Арамашевской слободы деревни Катышки ис крестьянских детей **Кирило Данилов сын Исаков**, и в прошлых давных годах отец ево взят на Невьянские заводы в плотники (до отдачи оного завода Демидову), а он в то время был в малых летах. И по отдаче оному Демидову того завода отданы были ему, Демидову, все на том заводе мастера, в том числе и оной отец ево, и с ним, Кирилом; и на том заводе был он молотовым мастером. И в прошлом 1737-м году оной дворянин Акинфей Демидов *отдал ево сыну своему Григорию в музыканты*, и жил он при нем, Григорье, у Соли Камской. И в прошлом же 1739-м году, по зиме, приехал он с оным хозяином своим Григорием Демидовым на Невьянские Демидова заводы. И на том заводе за болезнию остался (с. 199) и был в болезни долгое время. И по выздоровке от болезни шел он с Невьянских заводов через Кушвинская заводы, — без ведома оного дворянина Демидова, — ишел-де к Соли Камской к сыну ево, Григорию Демидову, а пашпорту у себя не имеет. А в город Верхотурье заходил по обещанию праведному Симеону помолитца, а на Кушвинском заводе не жил. И пришед на Туринской завод, явился секретарю Фокту*, и жил у брата своего сродного молотового подмастерья Федора Сергеева** недели полтрети***. И как он с Туринского завода в Верхотурье пошел, на том заводе оной секретарь на заставы дал ему о пропуске печатку****. И прибыв в Верхотурье, явился воеводе господину Воробьеву, и сказал ему, что пришел з Демидова заводу помолитца праведному Симеону. И жил в Верхотурье пять недель, а на квартирах стоял: наперво у посадского человека Кирила Панова одну неделю и шил у него обувь, а оттоле городничей***** перевел ево к верхотурскому казачью сыну Илье Салтанову, и тут стоял до походу к Соли Камской, и питался чеботной работой; а на воровствах и разбоях нигде не бывал». И на оной ево допрос в Лялинской заводской конторе (с. 200) определено: Понеже подлинно ль он дворянина Демидова молотовой мастер, — о том подлинного свидетельства в Лялинской заводской конторе не имеется, — того ради велено оного Исакова послать в канцелярию Главного правления Сибирских и Казанских заводов при доношении под крепким караулом за конвоем дву человек розылщикам; которой при сем и послан с розылщиками Иваном Гробовым с товарищем. И канцелярия Главного правления Сибирских и Казанских заводов о приеме оного пришедшего что соблаговолит. Маля 3 дня 1740 году.³

Ундершихтмester *Василий Томилов^и*

Пометы:

С. 198: № 2027, подано маля в 19 день 1740-го года.

По описи 22; записав у поверенного демидовского прикащица, находящагося здесь, взять скаску: знает ли он показанного Исакова и подлинно ль демидовской, и давно ль з завода и как, по отпуску или собою, отлучился.

С. 200 (внизу): Копеист Василей Пушкарев.

О посылке пришлого без пашпорту.

С. 198, 200 (скрепою): Секре-тарь <...>

[ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 861, с. 198–200]. *Подлинник*

№ 3а. 1740, мая 21. Сказка екатеринбургского демидовского поверенного Д. Т. Хабарова о К. Д. Исакове

(С. 201) 1740-го году маия 21-го дня поверенной дворянина Акинфея Демидова прикащик Дмитрий Тимофеев*, у которого спрашивано; знает ли он показанного Кирила Исакова, сказал: «Оного Исакова он знает, потому что он работает в молотовых мастерах при ковке железа на Нижнетагилском ево, Демидова, заводе, где и он, Тимофеев, жителство имеет. И живет он, Исаков, тут домом своим, имеет жену и детей. И в подушной переписи за ним, Демидовым, оной Исаков написан с прочтими здаточными из заводами крестьянами. А как он с того Нижнетагильского завода отбыл, давно ль и с чьего позволения, — того не знает, ибо он, Тимофеев, при Нижнетагильском заводе — тому будет с полтора года, — мало бывал, но иметца почти все при Екатеринбурге за делами господина ево».^к К сей скаске Дмитрий Тимофеев руку приложил.^л

[ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 861, с. 200]. Подлинник

№ 3б. 1740, мая 22. Определение Канцелярии главного правления Сибирских и Казанских заводов о К. Д. Исакове

(С. 254) № 248 / 1740 маия в «22» день. По указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА в канцелярии Главного заводов правления, слушав доношение из Лялинской заводской конторы от 3-го сего месяца, при котором прислан сюда объявленной в той конторе пришлой бес пашпорту, сшедшей с Невьянских дворянами Демидова заводов Кирило Данилов сын Исаков. Которой в допросе тамо показал, что он ево, Демидова, заводов молотовой мастер, сшол в 1739-м году*, зимою, к Соли Камской к сыну ево, Демидова, Григорию бес пашпорту и без ведома хозяина своего. Здесь об нем поверенной ево, Демидова, прикасчик Демитрой Тимофеев показал, что помянутой Исаков подлинно Демидова молотовой мастер, которой-де жителство имел при Нижнетагильском ево заводе, где и он, Тимофеев, живет. И на то согласно ОПРЕДЕЛИЛИ: Ево, Исакова, отдать для отсылки к Демидову помянутому Тимофееву с роспискою, а к Демидову послать указ; чтоб он ево, Исакова, за самоволной ево уход з заводов без пашпорту ему в наказание, а другим — в страх, — высек плетьми; ибо по указом и плакату таковых, неимеющих пашпортов, велено почитать за подозрительных, почему б и он, Исаков, ежели бы знающих ево не было, мог бы впасть в розыск.

^мМайор Лентий Угримов^н

^оПоручик Василий Близневской^п

^рСекретарь Евдоким Яковлев^с

[ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 280, с. 254]. Подлинник

№ 4. 1742, июля 3. Ордер из Главной Невьянской заводской конторы А. Н. Демидова в Нижнетагильскую заводскую контору

(Л. 11) Известно в Невьянской заводской конторе учинилось, что иметца у вас при заводах житель Илья Федоров сын Колесников без работы празден, от которой праздности в прошлые годы он непотребством приличился, за что, слышно, и страдал много. Того ради по получение сего ево, Илью Колесникова, тотчас сыскав, определить в знатную заводскую работу, такую, чтоб он был в крепком присмотре, дабы ни единого дня празден не был. А чтоб оттого не сбег — взяти по нем надежные поруки, а буде добрыя люди ручатца не станут, — то, заковав в ножные железа, держать до того, пока (л. 11об.) не обучитца плотиной работе*.

Еще же слышно: у вас имеютца шатающиеся без пашпортов Кирило Бобоша да Алексей Долгов, которые со оным Колесниковым дружатца. И тех Бобошу и Долгова сыскав, заковав, и выслать под караулом на коште держателей в Невьянскую заводскую

контору немедленно. И впредь таковых приказать смотреть накрепко. А кто будет прикрывать, с таковыми поступать по силе Ея Императорского Величества указу без всякого послабления. Июля Здня 1742 году. [†]Родион Набатов^у

Пометы:

Л. 11 (вверху): Получен июля 6 дня 1742 года.

(на нижнем поле): Дело о Кириле Бобоше и о прочем.

[ГАСО, ф. 643, оп. 1, д. 4, л. 11—11 об.] *Подлинник*

№ 5. 1747, января 10. Дворовая перепись жителей Нижне-Тагильского завода мужского пола. Извлечения

<...> (Л. 50) Тагилская улица <...>

(Л. 69) Подъячей Иван Тимофеев сын Лагунов, у него брат Василий, у него сын Петр.

Молотовой мастер Осип Ивойлов сын Балакин, у него сын Григорей.

Молотовой мастер Семен Ивойлов сын Балакин, у него дети: Иван, Анисим.

(Л. 69 об.) Молотовой мастер Кирило Данилов сын Торопов, у него сын Иван.

Яков Малафеев сын Малахов, у него сын Максим.

Молотовой ученик Данило Савельев Шерстобитов.

Кучеклад Петр Васильев сын Короткой.

Новоявленный Дмитрий Денисов сын Мясни (л. 70) ков, у него дети: Филипп, Михайло, Петр.

Рудной подрядчик Семен Тимофеев сын Хабаров, у него сын Леонтий.

Молотовой мастер Петр Якимов сын Голованов, у него дети: Семен, Петр Сава, Ерофей; у него на подворье подложнородные: незаконнорожденной Лазарь (Л. 70 об.), Ивана Бубнова дети: Иван, Родион.

Каменщик Петр Семенов сын Шибнев, у него брат Филат.

Плотник Нифантелей Гаврилов, у него сын Иван, у Ивана сын Ерофей. <...>

(Л. 75) Ерзовская слобода <...>

(Л. 81) Фокинской малокричной мастер* Иван Михайлов сын Сутырин, у него братья: Мокей, Федот, Анисим, Федор. <...>

[ГАСО. Ф. 643, оп. 1, д. 15, л. 50, 69—70 об, 75, 81]. *Подлинник*

№ 6. 1747. Ревизские сказки Невьянского завода. Извлечения

(Л. 1) Невьянского завода мастеровые и работные люди <...>

(Л. 110) Написанные при нынешней ревизии по силе присланного из Правительствующего сената от 14 марта [1] 746 года указа пришли из других губерний и городов, которые в поданных сказках написаны были подложно к завоцким жителям братьями, племянниками и сыновьями, кои по тому указу, ежели явятся к завоцким мастеровым обучившиеся, не ссылать, а приписывать к заводам; а по свидетелству канцелярии Главного заведения правления члена наимянной росписи объявлены ремесленниками и при заводах-де по тем ремеслам надобны.

Сибирской губернии <...>

[№ № в (л. 111) Той же губернии Невьянского завода жителя [лета]
окладной сын, прописной в прежнюю перепись *при ковке* железа мастер
книге]

2131

У него сын после переписи рожденной Иван

9*

[РГАДА, ф. 350., оп. 2, д. 587, л. 110, 111. *Подлинник*; ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 16—19, л. 52 об., 53 (Ведомость 1759 г. мастеровых и работных людей Невьянского завода для следственной комиссии о пришлых берг-гешворена А. К. Гордеева)]

№ 7. 1751, ноября 9. **Реестр раскольнических старцев, стариц, скитов, имеющихся на Демидовских заводах, приложенный к доношению митрополита Тобольского и Сибирского Сильвестра в Синод.** Извлечения

(Л. 3) В Нижнетагилском.

В Рудянской Малой улице жителство имел расколнической монах Паисий (которой по поимке к церкви святей обратился), с ним жили старцы и старицы. <...> Да кроме того скита у него, Паисия, имеется два скита, в которые для укрывательства бегающих старцов и стариц он принимал, ^ф акибы в приписные ко оному большому скиту заведомо расколников.^x

А имяно:

Подле речку Рудянку на берегу, в соседстве того завода жителя из расколников, которой ныне обратился, **Кирила Бобошина**, двор; на том дворе одна горница* с сенми, в сенях чюлан, — ценою в двадцать рублей. А по ревизии писан тот двор за расколником Тихоном Козминым, ** которой уехал в Русь, а ныне тот двор стоит пуст.

Двор вверх по Рудянке речке в Большой улице в соседстве старицы Евпраксии да расколников Осипа и Елисея Бурашниковых, Деметья Поломятина; при том дворе одна горница (л. Зоб.) с перерубом ***, которая называлась у них келарскою, при оной горнице сени с чюланом, огород большой, двери на железных крюках, — ценою в двадцать рублей; <...>

[РГИА, ф. 796 (Канцелярия Синода), оп. 32, д. 270, л. 3—3 об.] *Подлинник*

Опубликовано: Описание документов и дел, хранящихся в Архиве Правительствующего Синода. СПб., 1909. Т. 35 (1751 г.). Прил. 35. стб. 665—666.

№ 8. 1759, первая половина. **Материалы следственной комиссии берг-гешворена А. К. Гордеева о пришлых на Невьянских заводах П. А. Демидова.** Извлечения

(Л. 33 об.) Написанные при нынешней ревизии* по силе присланного ис Правительствующего Сената от 14 марта [1]746 года указу пришлые из других губерней и городов, которые в подушных книгах написаны были подложно к заводским жителям братьями, племянниками и сыновьями, коих по тому указу, ежели явятся к заводским мастерством обучившиеся, не ссылать, а приписывать к заводам; а по свидетельству канцелярии Главного заводов правления члена наимянной росписи объявлены ремесленниками и при заводах-де по тем ремеслам надобны.

Сибирской губернии

№ /55/ <...>

(Л. 34об.) /58/ **Кирило Данилов сын Никитиных** сказал: «От роду ему 57 лет, урождением бывал показанной губернии Екатеринбургского ведомства Арамашевской слободы деревни Катышки. Со оного сведен он в [1]717 году на Невьянской покойного Акинфия Демидова завод отцем своим родным Данилом Никитиным же да матерью Настасьей Федоровой дочерью, коя урождением была того же ведомства Невьянской слободы государственного крестьянина дочь. По приходе на завод в бывшую [1]722 году генеральную перепись упомянутой отец ево писан был и в подушной оклад положен при Невьянском заводе, и подушные деньги платил повсягодно (токмо из оных мать

в 723, отец в 728 годах умре). А он, Кирило, во упомянутую 722 году перепись писан не был. У него жена Гликерия Иванова, взятая была при заводе приписного крестьянина дочь (коя в 753 году умре); у него дети после переписи рожденные: сын Иван 23, дочери Елена 35, Евдокея 34, Улита 32 лет. При нынешней бывой генеральной ревизии оной Никитиных и с показанным сыном писан по силе присланного из правительствующего Сената от 14-го марта 746 года указу при Невьянском заводе с прочими обучившимися мастерствам, и подушные деньги платят повсягодно. У сына Ивана жена Перасеква Павлова 25 лет, взятая при заводе приписного жителя дочь. Оной Никитин работает при ковке железа мастером, а сын Иван — в разных заводских работах. И все он сказал сущую правду и ничего не утаил, а ежели что сказал ложно или утаил, за то б учинено было с ним в силу указов, чему будет достоин». К подлинной скаске вместо Кирила Никитиных по ево прошению Невьянского завода житель Павел Добрынин руку приложил.

[ГАСО, ф. 72, оп. 2, д. 873 л. 33 об., 34 об.] Копия. 1762 г., декабрь

№ 9. 1759, вторая половина. Ведомость населения Нижне-Тагильских заводов, представленная заводской конторой следственной комиссии о пришлых капитана С.И. Метлина. Извлечения

(Л. 15) «...» прикащиков, служителей и жителей приписных мастеровых и работных людей, и купленных крепостных крестьян, написанных по ревизии* в подушный оклад и двойной оброк, и после ревизии, как мужеск, так и женск пол от мала до велика, до сущаго младенца <...>

[№ № по ревизским сказкам]	[лета]	мужеска	женска]
4027	(л. 23 об.) Престарелой Нифонт Гаврилов сын Весенин, вдов	83**	
4028	У него сын каменщик Иван У него жена Евдокия Кирилова дочь (л. 24) дети:	46	40
4029	Ерофей Алексей Евдокия Ирина	15 6 10 3	

[ГАСО, ф. 643, оп. 2, д. 28, л. 23 об. – 24]. Подлинник

№ 9а. 1763. Ревизские сказки Нижнетагильского завода Н. А. Демидова. Извлечение

Звания и имена мужска и женска пола людей	По последней ревизии в подушный оклад положены	Из оного после ревизии разными случаями выбыли	Затем осталось налицо и к тому вновь рожденные
	лета		

(л. 15 об.) Написанный в бывшую последнюю ревизию
Нифонт Гаврилов сын
Васенин, вдов

4027 У него сын, написанной в бывшую последнюю ревизию каменщик Иван 62 умре в 761-м году

4028 32 50

У него жена Евдокея Кирилова дочь 44-х лет, взятая Сибирской губернии Верхотурского уезда до раздела господ дворян Демидовых при Невьянском заводе у отданного к заводам молотового мастера **Кирила Данилова сына Никитиных дочь**, которой завод по разделу между господ дворян Демидовых достался господину дворянину Прокофью Акинфиевичу Демидову

4029 У него дети от первые жены: написанной в бывшую последнюю ревизию каменщик Ерофей, холост 1 19
Рожденные после ревизии:
Евдокея 14 лет
Алексей
Ирина 7 лет 9

[ГАСО, ф. 643, оп. 1, д. 102, л. 15 об.] *Подлинник*

№ 10. 1763. — Ревизские сказки Невьянских и Шайтанского заводов П. А. Демидова. Извлечение

Звания и имена мужска и женска пола людей	По последней ревизии в подушный оклад положены	Из оного после ревизии разными случаями выбыли	Затем осталось налицо и к тому вновь рожденные
	лета		

(Л. 211 об.) Написанной по минувшей ревизии молотовой мастер **Кирило**

Данилов сын Никитиных, вдов 42 60

У него сын по той же ревизии написанной **Иван** — молотовой ученик 9 27

У Ивана жена Парасковья Павлова дочь 24-х лет, взятая при Нижнотагилском заводе приписного крестьянина дочь

(Л. 212) У него, Ивана, сын после
переписи рожденной Андрей
Дочь Татьяна год

2 недель

[РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 587, л. 211 об. – 212]. *Подлинник*

№ 11. 1782, июля 30. Ревизские сказки Невьянского завода С. Я. Яковleva.
Извлечение

(Л.. 389 об.) Звание и имена мужеска и женска пола людей	мужеска		женска	
	по последней ревизии в подушной оклад написа- ны были	ис того числа- после ревизии доныне разны- ми случаи выбыли	по после- дней ревизии написаны были	ис того числа- после ревизии доныне разными случаи выбыли
(Л. 389 об.) Молотовой мастер Кирило Данилов Никитиных, вдов	60	умре в 1776 году		
У него сын в последнюю перепись написанный Иван	27	в 770 году отдан с зачетом в рекрутъ на поселение		
У Ивана жена Парасковья Павлова дочь, взятая при Нижнотагилском господина Демидова заводе приписного крестьянина по доброволному согласию			24	с мужем на поселении
У них дети в последнюю ревизию написанные:				
Андрей	2 недель	умре в 1766 году		
Дочь Татьяна			1	умре в 1765 году

[ГАПК, ф. 111, оп. 1, д. 2962, л. 389 об.]. *Подлинник*
Опубликовано (по ксерокопии и пересказ): [Горелов, 2008, с. 130, 131].

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

№ 16: ^{А – б} Другим почерком; **№ 2:** ^{в – г} вписано над строкой, ^{д – е} другим почерком;
№ 3: ^{*}день не указан, ^{з – и} другим почерком; **№ 3а:** ^{к – л} другим почерком; **№ 3б:** ^{м – н} другим
почерком, ^{о – п} то же, ^{р – с} то же; **№ 4:** ^{т – ц} другим почерком; **№ 7:** ^{ф – х} дописано другими
чернилами и почерком.

КОММЕНТАРИИ

№ 16

(Л. 289 об.)... *Анна Федорова*... — Явная описка в имени жены Д. Исакова, во всех остальных документах [см.: № 1; № 1а, л. 315; № 8, л. 34 об.] она значится Настасьей; возможно, ошибка связана с полной формой этого имени: Анастасия.

... *Краснопольской*... — Еще одна описка: родом Д. Н. Исаков (Торопов) был из дер. Катышка (Катышки) Арамашевской слободы и жил там до переселения в Невьянский завод; там же, в Катышке, родился его отец [см.: № 1а, л. 315; № 3, с. 198; № 8; см. также: РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 697, л. 505 об. (1680 г.); д. 1501, л. 196 об. (ок. 1700 г.)].

... в 1703-м году по указу... — В отдаточных книгах 1704 г. Д. Н. Торопов значится взятым на Невьянский завод в плотники из Арамашевской слободы вместо Данилы Жукова [Елькин, Трофимов, 2000, 351; см. также: ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 222, л. 229 об.—230].

№ 2

(С. 204) ...*подъячей Мирон Попов*... — В Нижне-Тагильской заводской конторе ведал населением. Из инструкции А. Н. Демидова здешним приказчикам от 27. 06. 1739 г.: «Мирону Попову быть у збору и у записи подушных денег, и у смотрения по-прежнему <...>, и принимать от надзирателей писменные известия в отлучках людей...». Попову был также поручен надзор за жителями соседних Выйского и Черноисточинского заводов [ГАСО, ф. 643, оп. 1, д. 4, л. 59].

... *пришед я к <...> прикащику Григорию Сидорову*... — Главный нижнетагильский приказчик Г. Сидоров 18 января 1736 г. в заводе отсутствовал, он «бывши <...> при Невьянском заводе» [Там же, д. 240, л. 279].

(С. 205). ... *на ледвеях*... — На пояснице, в районе почек.

№ 3

(С. 199) ... *секретарю Фокту*... — Актуариус (коллежский чин) К. Г. Фогт, руководивший вместе с обер-комиссаром В. Бланкентагеном Экспедицией свидетельства казенных заводов (1739—1742 гг.) и, одновременно, Гороблагодатской горной экспедицией, управлявшей тогда отанными из казны главе Генерал-берг-директориума К. А. фон Шембергу Кушвинским и Туринским заводами. В перспективе фон Шембергу планировалось передать все уральские казенные заводы; Экспедиция свидетельства по своему статусу считалась равной Канцелярии главного правления Сибирский и Казанских заводов в Екатеринбурге [Корепанов, 2001, 114—117]. Проживал Фогт в Туринском заводе [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 915, л. 61—62].

...*и жил у брата своего срдного <...> Федора Сергеева*... — Фамилия Сергеева (это отчество) была Борисов, родился он ок. 1706 г. и являлся, судя по всему, двоюродным братом Кирши Данилова с материнской стороны. В 1730 г. Ф. Борисов из «бобылей» Уктусского завода, как называли поселившихся на казенных предприятиях пришлых, был записан сразу в молотовые подмастерья соседнего Елизаветинского (Верхне-Уктусского) завода неподалеку от Екатеринбурга, что предполагало соответствующую квалификацию и достаточно длительное предшествующее пребывание тут для ее получения. В 1738 г. в составе группы молотовых мастеров и подмастерьев после закрытия Елизаветинского Федор переведен на строящийся Туринский завод. Т.е. на Урале он давно легализовался и биографической легенде Кирши упоминание его имени ничем не угрожало. У К. Г. Фогта с Ф. Борисовым существовали не только формальные отношения начальник — подчиненный. Последний у Фогта «взял 1 рубль по писму» (долговому; не рискну однозначно соотнести этот заем с пребыванием в Туринском заводе Кирши Данилова). Для сравнения, одолжиться у прижимистого немца, да и то всего 10 копей-

ками, удалось еще лишь солдату А. Упорову из приданный Экспедиции свидетельства казенных заводов команды Екатеринбургских рот. О дальнейшей судьбе Ф. С. Борисова: осенью 1744 г., уже будучи молотовым мастером, он с семьей навсегда бежал с завода. Хотя нет прямых указаний на то, откуда Федор Сергеев пришел в окрестности Екатеринбурга, но остальные осевшие примерно в те же годы здесь Борисовы появились с Керженца. Явно особые отношения с выходцами из тамошних мест по некоторым документам прослеживаются в период его проживания в Туринском заводе [см.: Байдин, 2010, 114–115]. С учетом их близкого родства с Киршой, сказанное служит еще одним, пусть и косвенным, подтверждение, что тот не был уральцем по происхождению.

... недели полтретья... — Две с половиной.

... дал ему о пропуске печатку... — Речь, очевидно, о пропуске, заверенном личной печатью Фогта на перстне (печаткой), т. к. официальной канцелярской печати Экспедиция свидетельства заводов не имела [Там же, 112, сн. 20].

...городничей... — Городничие, возглавлявшие полицию, появились в городах только после Устава благочиния или полицейского 1782 г. Екатерины II. Здесь, видимо, старинная должность надзирающего за состоянием городских укреплений, исполняющего в Верхотурье и административно-полицейские функции.

№ 3а

(С. 201). ...*Дмитрий Тимофеев....* — Это имя и отчество, фамилия его была Хабаров. К обязанностям поверенного А. Н. Демидова при Канцелярии главного управления заводов приступил с 06. 02. 1739 г. [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 817, с. 212–213]. Д. Т. Хабаров оказался еще и одним из соседей Кирши Данилова по тогдашней Тагильской улице заводского поселка; в дворовой переписи жителей мужского пола начала 1747 г. почти рядом отмечены дворы молотового мастера Кирилла Данилова сына Торопова (т. е. Кирши) и младшего брата Дмитрия, рудного подрядчика Семена Тимофеева сына Хабарова [см.: № 5, л. 69 об.]. Самого Дмитрия в Нижнем Тагиле в это время не было: он находился приказчиком на пока еще демидовском алтайском Колывано-Воскресенском заводе, но его жена и дочери оставались с братом. Тут же, «своим домом», все Хабаровы записаны в перепись староверов подполковника Н. Шишкова 1742 г. [ГАСО, ф. 643, оп. 1, д. 2, л. 35 об.–36].

№ 3б

(С. 254)...*смол в 1739-м году...* — Ошибка, наличествующая и в черновике определения Канцелярии по этому делу. «Смол» Кирша Данилов, как следует из других документов [см. № 3, с. 198–199; № 3а], в 1740 г.

№ 4

О фигурирующих в документе, вместе с Кириллом Бобошой (Киршой Даниловым) Илье Колесникове, Алексее Долгове и подписавшем его приказчике Родионе Набатове подробнее см.: [Байдин, 2001, 125 – 129, 134; см. также: Байдин, 2000, 125–130, 133–135; Байдин, 2005а, 330–331, 339–340; Байдин, 2009, 122, 126].

(Л. 11) ... *плотиной работе...* — Плотничей работе, ремеслу.

№ 5

(Л. 81) ... *малокричной мастер...* — Молотовой мастер, ковавший железо не из крупных чугунных криц весом в среднем 10 пудов, а из мелких кусков чугуна, которые сначала сваривались в крицу, а потом уже шли в проковку. Именно в малокричных мастерах по ведомостям 1756 г. работал Кирилл (Кирша) Данилов вместе с Иваном Сутыриным.

№ 6

(Л. 111) ... 42... 9... — Возраст написанных в этих ревизских сказках лиц мужского пола указан на 1745 г.

№ 7

(Л. 3) ...горница... — Изба, топящаяся «по-белому»: кирпичной печью с выводной трубой, и «косящатыми» (с рамами в косяках) окнами. «Окончины» в это время были, в основном, слюдяными. В «господском» доме на алтайском Колывано-Воскресенском заводе (не относящемся, правда, к числу основных демидовских резиденций) по описи 1736 г. в двух горницах «в семи окошках окончин слюдяных обитых жестью пять, шитых две; у пяти затворов оконичных петель десять» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 707, л. 467]. «Слюдяные окончины» (в одном случае — в полтора рубля ценою), выбитые в начале 1750-х гг. в домах невьянцев местными церковниками при обходах для сбора «праздничного», не раз упоминаются в доношениях заводской конторы в Екатеринбург с жалобами на бесчинства православного духовенства [см.: Корепанов, 2006, 86, 88].

... по ревизии «... за расколником Тихоном Козминым... — Упомянутый выше в документе бывший игумен беглопоповских мужского и женского скитов в Нижне-Тагильском заводе Паисий (Переберин) на следствии в Тобольске в 1751 г. называл этот двор «собственным». На одном из допросов он сообщил, что, выйдя три года назад из лесных келий в заводской поселок, «пристал к расколнику-иконописцу Тихону Козмину, у которого наперво жил на подворье, а потом двор его перевел на себя и тут поднесь жил». Козмин — «послушник» и «подначальный человек» Паисия, — родом москвич, на Урале появился в 1743 г. с группой староверов и «квакеров» (христоверов или «хлыстов»). Здесь Тихон обратился из христоверия в старообрядчество и при поддержке заводских приказчиков несколько лет скрывался в скитах [см.: Покровский, 1974, 204; Байдин, 2002, 65–66; ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 1397, л. 425]. В ревизские сказки Т. Козмин включен не был, поэтому речь в публикуемом фрагменте идет, видимо, о чем-то типа дворовой переписи [см. № 5]. Но в данном документе, составленном в самом начале 1747 г., указанный двор не называется. Можно предположить, что он построен позже и как бы «втиснут» между существующими усадьбами; на это же, вроде бы, указывает и отсутствие в его описании наличия огорода. (В дворовой описи 1759 г., когда Кирши Данилова в Нижнем Тагиле уже не было, кроме его бывшего и соседнего дворов здесь на Тагильской улице значится еще один [см.: ГАСО, ф. 643, оп. 2, д. 28, л. 118]).

(Л. 3 об.) ... с перерубом... — с внутренней бревенчатой стеной-перегородкой, дом-пятистенок.

№ 8

(Л. 33 об.) ... при нынешней ревизии... — Имеется в виду 2-я ревизия середины 1740-х гг.

№ 9

(Л. 15) ... написанных по ревизии... — То же (коммент. к № 8).

л. 23 об. ...83... — Явная описка в обозначении возраста Н. Г. Васенина, ему в это время было примерно 76 лет [ср., например, с № 9а].

Байдин В. И. Заметки об иконописцах-старообрядцах на горных заводах Урала в первой половине — середине XVIII в.: новые имена и новое об известных мастерах (к вопросу об источниках и времени складывания невьянской иконописной школы) // Вестн. МНИ.

Екатеринбург, 2002. Вып. 1. С. 58–81. [Bajdin V. I. Zametki ob ikonopistsakh-staroobryadtsakh na gornykh zavodakh Urala v pervoj polovine — seredine XVIII v.: novye imena i novoe ob izvestnykh masterakh (k voprosu ob istochnikakh i vremenii skladyvaniya nev'yanskoj ikonopisnoj shkoly) // Vestn. MNI. Ekaterinburg, 2002. Vyp. 1. S. 58–81.]

Байдин В. И. Как познакомились Акинфий Никитич с Кириллом Даниловичем: версия о пребывании Кирши Данилова в Сибири и его встречах там с А. Н. Демидовым // Пробл. истории России. Екатеринбург, 2005. Вып. 6 : От Средневековья к современности. С. 169–217. [Bajdin V. I. Kak poznakomilis' Akinfij Nikitich s Kirilloj Danilovichem: versiya o prebyvaniii Kirshi Danilova v Sibiri i ego vstrechakh tam s A. N. Demidovym // Probl. istorii Rossii. Ekaterinburg, 2005. Vyp. 6 : Ot Srednevekov'ya k byvremennosti. S. 169–217.]

Байдин В. И. Кирша Данилов и Родион Набатов // Пробл. истории, русской книжности, культуры и общественного сознания. Новосибирск, 2000. С. 125–141. [Bajdin V. I. Kirsha Danilov i Rodion Nabatov // Probl. istorii, russkoj knizhnosti, kul'tury i obschestvennogo soznanija. Novosibirsk, 2000. S. 125–141.]

Байдин В. И. Новое о Р. Ф. Набатове и его окружении (предварительные заметки) // Обществ. мысль и традиции русской духовной культуры в исторических и литературных памятниках XVI – XX вв. Новосибирск, 2005. С. 329–343. [Bajdin V. I. Novoe o R. F. Nabatove i ego okruzhennii (predvaritel'nye zametki) // Obschestv. mysль i traditsii russkoj duchovnoj kul'tury v istoricheskikh i literaturnykh pamyatnikakh XVI – XX vv. Novosibirsk, 2005. S. 329–343.]

Байдин В. И. «Последний скоморох» Кирша Данилов на Урале и в Невьянске. О времени и месте создания сборника «Древние российские стихотворения» // Очерки истории культуры и быта старого Невьянска. Люди, памятники, документы (к 300-летию города). Екатеринбург, 2001. С. 73–110. [Bajdin V. I. «Poslednij skomorokh» Kirsha Danilov na Urale i v Nev'yanske. O vremeni i meste sozdaniya sbornika «Drevnie rossijskie stikhotvorenija» // Ocherki istorii kul'tury i byta starogo Nev'yanska. Lyudi, pamyatniki, dokumenty (k 300-letiyu goroda). Ekaterinburg, 2001. S. 73–110.]

Байдин В. И. Тайна авторства Сборника Кирши Данилова // Наука. Общество. Человек : вестн. УрО РАН. Екатеринбург, 2009. № 4 (30). С. 117–129; 2010. № 1 (31). С. 107–117 (продолжение). [Bajdin V. I. Tajna avtorstva Sbornika Kirshi Danilova // Nauka. Obschestvo. CHelovek : vestn. UrO RAN. Ekaterinburg, 2009. N 4 (30). S. 117–129; 2010. N 1 (31). S. 107–117 (prodolzhenie).]

ГАПК. Ф. 111. (Пермская казенная палата) [GAPK. F. 111. (Permskaya kazennaya palata).]

ГАСО. Ф. 24. (Уральское горное правление); 72. (Главное управление акционерного общества Верх-Исетских горных и механических заводов); 643. (Управление Нижнетагильского и Луньевского горных округов наследников П. П. Демидова). [GASO. F. 24. (Ural'skoe gornoje pravlenie); 72. (Glavnoe upravlenie aktsionernogo obschestva Verkh-Isetskikh gornykh i mekhanicheskikh zavodov); 643. (Upravlenie Nizhnetagil'skogo i Lun'evskogo gornykh okrugov naslednikov P. P. Demidova).]

Горелов А. А. Заветная книга // Древние российские стихотворения, собранные Киршою Даниловым. СПб., 2000. С. 4–40. (Полное собрание русских былин ; т. 1). [Gorelov A. A. Zavetnaya kniga // Drevnie rossijskie stikhotvorenija, sobrannye Kirsheyu Danilovym. SPb., 2000. S. 4–40. (Polnoe sobranie russkikh bylin ; t. 1).]

Горелов А. А. Кирша Данилов: «Вот эта улица, вот этот дом...» // Русский фольклор : материалы и исследования. СПб., 2008. Т. 33. С. 121–131. [Gorelov A. A. Kirsha Danilov: «Vot eta ulitsa, vot etot dom...» // Russkij fol'klor : materialy i issledovaniya. SPb., 2008. T. 33. S. 121–131.]

Горелов А. А. Кирша Данилов — реальное историческое лицо // Русский фольклор: эпические традиции. СПб., 1995. Т. 28. С. 97–110. [Gorelov A. A. Kirsha Danilov — real'noe istoricheskoe litso// Russkij fol'klor: epicheskie traditsii. SPb., 1995. T. 28. S. 97–110.]

Горелов А. А. Цена реалии : (Сборник Кирши Данилова — народная книга середины XVIII века) // Рус. лит. 1963. № 3. С. 167–169. [Gorelov A. A. Tsena realii : (Sbornik Kirshi Danilova — narodnaya kniga serediny XVIII veka) // Rus. lit. 1963. N 3. S. 167–169.]

Древние российские стихотворения, собранные Киршою Даниловым. 2-е изд., доп. / подгот. А. П. Евгеньевой и Б. Н. Путиловым. М., 1977. 488 с. (Литературные памятники). [Drevnie rossijskie stikhotvorenija, sobrannye Kirsheyu Danilovym. 2-e izd., dop. / podgot. A. P. Evgen'evoy i B. N. Putilovym. M., 1977. 488 s. (Literaturnye pamyatniki).]

Елькин М. Ю., Трофимов С. В. Отдаточные книги 1704 года как источник крестьянских родословий // Уральская родословная книга : Крестьянские фамилии. Екатеринбург, 2000. С. 331–351. [El'kin M. YU., Trofimov S. V. Otdatochnye knigi 1704 goda kak istochnik krest'yanskikh rodoslovij // Ural'skaya rodoslovnaya kniga : Krest'yanskie familii. Ekaterinburg, 2000. S. 331–351.]

Корепанов Н. С. Благодатская горная экспедиция 1732–1742 гг. и волна контрактной иммиграции саксонцев на Урал // Немцы на Урале и в Сибири (XVI–XX вв.) : материалы науч. конф. «Германия – Россия: исторический опыт межрегионального взаимодействия XVI–XX вв.», 3–9 сентября. 1999 г. Екатеринбург, 2001. С. 112–118. [Korepanov N. S. Blagodatskaya gornaya ekspeditsiya 1732–1742 gg. i volna kontraktnoj immigratsii saksontsev na Ural // Nemtsy na Urale i v Sibiri (XVI–XX vv.) : materialy nauch. konf. «Germaniya – Rossiya: istoricheskij opyt mezhregional'nogo vzaimodejstviya XVI–XX vv.», 3–9 sentyabrya. 1999 g. Ekaterinburg, 2001. S. 112–118.]

Корепанов Н. С. Дело невьянских попов 1753–1754 гг. // Вестник МНИ. Екатеринбург, 2006. Вып. 2. С. 85–99. [Korepanov N. S. Delo nev'yanskikh popov 1753–1754 gg. // Vestnik MNI. Ekaterinburg, 2006. Vyp. 2. S. 85–99.]

Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в. Новосибирск, 1974. 396 с. [Pokrovskij N. N. Antifeodal'nyj protest uralo-sibirskikh krest'yan-staroobryadtsev v XVIII v. Novosibirsk, 1974. 396 s.]

Словарь русских народных говоров. Л., 1968. Вып. 3. 360 с. [Slovar' russkikh narodnykh govorov. L., 1968. Vyp. 3. 360 s.]

Срезневский И. И. Материалы для истории древнерусского языка по письменным памятникам. СПб., 1903. Т.3. 1684. [Sreznevskij I. I. Materialy dlya istorii drevnerusskogo jazyka po pis'mennym pamyatnikam. SPb., 1903. T.3. 1684.]

РГАДА. Ф. 214 (Сибирский приказ); 271 (Берг-коллегия); 350 (Ландратские книги и ревизские сказки). [RGADA. F. 214 (Sibirskij prikaz); 271 (Berg-kollegiya); 350 (Landratskie knigi i revizskie skazki.)]

РГИА. Ф. 796 (Канцелярия Синода). [RGIA. F. 796 (Kantselyariya Sinoda).]

Русский биографический словарь. Дабелов – Дядьковский. СПб., 1905. 749 с. [Russkij biograficheskiy slovar'. Dabelov – Dyad'kovskij. SPb., 1905. 749 s.]

Шакинко И. М. Кирша Данилов и Урал // Урал. 1989а. № 12. С. 145–147. [Shakinko I. M. Kirsha Danilov i Ural // Ural. 1989a. N 12. S. 145–147.]

Шакинко И. М. Невьянская башня. Предания, гипотезы, история, размышления. Свердловск, 1989б. 304 с. [Shakinko I. M. Nev'yanskaya bashnya. Predaniya, gipotezy, istoriya, razmyshleniya. Sverdlovsk, 1989b. 304 s.]

Шакинко И. М. Таинственный Кирша // Урал. следопыт. 1992. № 8. С. 7–11. [Shakinko I. M. Tainstvennyj Kirsha // Ural. sledopyst. 1992. N 8. S. 7–11.]

Статья поступила в редакцию 04.10.2013 г.

УДК 94(73):327 + 94(47 + 57):327 + 94(497.1):327 +
+ 94(100)“1939/45”

В. Т. Юнгблуд
А. А. Костин

АМЕРИКАНСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ЮГОСЛАВИИ В 1942–1945 гг.*

Исследуется динамика американских оценок характера партизанского движения в Югославии, а также связей его коммунистического руководства с Советским Союзом. Авторы анализируют факторы, определившие восприятие югославской политики СССР Соединёнными Штатами. Характеризуется влияние разведывательных данных на корректировку позиции президента Ф. Рузвельта и Государственного департамента. Раскрыта пропагандистская активность отдельных фигур и организаций славянской эмиграции в США, выступавших в поддержку Тито и его движения. Выводы, представленные в статье, сделаны на основе изучения американской периодической печати и неопубликованных материалов из фондов Российского государственного архива социальной-политической истории, в том числе известных советской стороне бумаг Управления стратегических служб.

Ключевые слова: США; СССР; Югославия; движение Сопротивления; партизаны; четники; Тито; Михайлович.

В конце 1941 г. Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну. С подписанием Декларации Объединенных Наций 1 января 1942 г. оформилась коалиция, противостоящая блоку агрессивных держав. Несмотря на потери, понесенные в результате атаки японцев на Перл-Харбор, Америка была готова к войне. Президент Ф. Рузвельт в течение нескольких последних лет вел страну к разрыву с изоляционистской политикой, понимая, что США не смогут остаться в стороне от назревавшего в течение 1930-х гг. нового мирового конфликта. Призывы к противодействию агрессии, начало которым 5 октября 1937 г. положила «карантинная речь» Рузвельта [см.: Юнгблуд, 1998, с. 13–14], в 1941 г. сменились реальными шагами. 10 января президент внес на рассмотрение конгресса законопроект о ленд-лизе. 11 марта 1941 г. закон, разрешавший передачу взаймы или в аренду американского вооружения и других материалов любой стране, оборона которой признавалась жизненно важной для обороны Соединенных Штатов, вступил в силу. Его действие сразу было распространено на Великобританию и Грецию. 14 августа была обнародована Атлантическая хартия, провозгласившая цели США и Англии в стремительно расширявшемся вооруженном конфликте, хотя формально в состоянии войны Соединенные Штаты в то время не находились. 24 сентября 1941 г. свое согласие с основными принципами хартии

* Статья подготовлена в рамках выполнения программы «Государственные задания высшим учебным заведениям на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 гг. в части проведения научно-исследовательских работ». Проект 6.1011.2011 (Вятский государственный гуманитарный университет; рук. В. Т. Юнгблуд).

выразило советское правительство. Так, за несколько месяцев до японского нападения наметились контуры антигитлеровской коалиции.

Совпадение интересов будущих союзников по «большой тройке» проявилось до начала нацистского вторжения в СССР. В конце 1940 — начале 1941 г. Советский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты, каждый своими средствами, предприняли активные усилия по противодействию установлению нацистского контроля над Балканами. Берлин оказывал сильное давление на Софию и Белград, добиваясь от них присоединения к Тройственному пакту. Вашингтон, имевший намного меньше, по сравнению с Лондоном и Москвой, рычагов воздействия на ситуацию, тем не менее сделал все возможное [см.: Юнгблуд, Костин (гл. 1); Костин, с. 107—115]. Помешать Гитлеру в Болгарии не удалось. Но в Югославии, не без участия будущих союзников по «Большой тройке», 27 марта 1941 г. произошел государственный переворот. Принц-регент Павел и его правительство, двумя днями ранее подписавшее соглашение о присоединении к державам оси, были отстранены от власти. Следствием стала «месть»¹ Гитлера, приказавшего разбомбить Белград.

Жестокость германского вторжения обусловила возникновение в оккупированной и расчлененной Югославии мощного движения Сопротивления, заслуги которого, по мнению В. М. Фалина, сопоставимы со значением второго фронта [Фалин, с. 570—571]. Освободительное движение не было единым, оно состояло из двух основных сил — четников Михайловича и партизан Тито. После оккупации Югославии в апреле 1941 г. оставшиеся на ее территории части югославской королевской армии не смирились с поражением и продолжили сопротивление. Под антиоккупационными лозунгами зародилось четническое (от слова «чета» — отряд) движение, во главе которого встал полковник королевской армии Югославии Драголюб Михайлович [см.: Тимофеев]. Одновременно развернулась партизанская борьба, организованная Коммунистической партией Югославии (КПЮ) под руководством Иосипа Броза, известного под псевдонимом Тито. По указаниям из Москвы первонациально КПЮ выдвинула общенациональные цели освобождения для создания широкого национально-освободительного фронта, объединяющего всех, кто желал бороться против оккупационного режима независимо от политических и иных убеждений [см.: Коминтерн и Вторая мировая война, с. 106].

Наличие в югославском Сопротивлении двух лагерей, различающихся своими взглядами на развитие страны после освобождения от оккупации, проецировалось на отношения держав антигитлеровской коалиции. Перед ними неизбежно вставали две задачи: 1) военная (материально-техническая и продовольственная поддержка освободительной борьбы) и 2) политическая (реализация своих интересов в регионе после завершения войны). Различное видение союзниками будущего устройства мира, в том числе юго-востока Европы, обусловило специфику отношения СССР, США и Великобритании к силам югославского Сопротивления. Вашингтон, до войны не имевший вли-

¹ Немецкое кодовое название операции против Югославии *Strafgericht*, что можно перевести как «расправа, наказание, возмездие, отмщение».

яния на Балканах, но стремившийся к обеспечению свободы торговли после разгрома врага, внимательно следил за политикой своих партнеров по коалиции, особенно за действиями Москвы.

В течение года после начала германского вторжения Советский Союз не противопоставлял четников и партизан, признавая военные заслуги югославского освободительного движения в целом. Москва была готова приветствовать любые военно-политические силы, способствующие борьбе с врагом. Это диктовали сложная ситуация на фронте и острая потребность в союзниках и их поддержке. Кроме того, отсутствовала достоверная информация о положении в Югославии. Осенью 1941 г. между двумя силами югославского Сопротивления начались столкновения, препятствовавшие общему делу изгнания оккупантов. Интернационализм партизанских отрядов натолкнулся на националистический (великосербский) характер четнического движения. В то же время монархические идеалы Михайловича не могли ужиться с коммунистическими воззрениями руководства партизан [см.: Гибианский, с. 24–27; Гиренко, с. 107–113; Tomasevich, p. 145–155; Auty, p. 191–196]. Однако в условиях, когда немецкие части находились на подступах к Москве, советским руководителям было не до отставания интересов югославских партизан на международной арене. Поэтому единственным героем югославского Сопротивления в глазах населения стран антигитлеровской коалиции был исключительно четнический лидер. 7 декабря 1941 г., в день нападения японцев на Перл-Харбор, Михайлович получил от Петра II, находящегося со своим правительством в эмиграции в Лондоне, звание бригадного генерала, а 13 января 1942 г. был включен в состав нового кабинета в качестве военного министра. Четнические отряды стали называться королевской армией на Родине.

В Вашингтоне, как и в Москве, стремились использовать любые возможности в борьбе с врагом. Это обусловило поддержку со стороны США югославского Сопротивления, которое в сознании западных лидеров ассоциировалось только с четниками. 18 мая 1942 г. американская сторона приняла решение оказать материальную помощь югославской армии. Заместитель госсекретаря Уэллес выразил от лица народа и правительства Соединенных Штатов восхищение борьбой югославов против врага, особенно приветствуя при этом достижения генерала Михайловича [см.: Howard, p. 344]. 22 июня 1942 г. король Югославии Петр II Карагеоргиевич, сопровождаемый министром иностранных дел М. Ниничем, прибыл в Соединенные Штаты. В ходе своего визита молодому югославскому королю удалось встретиться с президентом, государственным секретарем, членами правительства и военными, выступить в сенате и добиться согласия американской стороны на поставки по ленд-лизу. Кроме того, была достигнута договоренность об обучении в США югославских летчиков [см.: Fotitch, p. 175–177; Roberts, p. 61]. Американские газеты пестрели публикациями, восхвалявшими короля, югославский народ и Михайловича. Среди этих периодических изданий были «Вашингтон иннинг стар», «Вашингтон пост», «Нью-Йорк таймс», «Трибьюн». В последней 26 июня была опубликована статья «Борющийся мальчик-король», в которой глава четников назывался «другом короля». В сознании американской

общественности формировался образ «балканского Робин Гуда» (по выражению редактора статьи в «Трибюон») — Михайловича [см.: Congressional Record, р. A2597—A2598, A2972—A2973].

Вашингтон проводил свою югославскую политику без оглядки на Москву. Поддержка Соединенных Штатов, обладавших финансовой и материально-технической мощью, давала четникам неоспоримые преимущества перед партизанами. Поэтому можно без сомнения утверждать, что активизация югославской политики Москвы, произошедшая именно в это время, не была случайной. 6 июля разразился гром среди ясного неба: вещавшее из СССР радио «Свободная Югославия» неожиданно обвинило Михайловича в коллаборационизме. 24 июля 1942 г. госсекретарь К. Хэлл и югославский министр иностранных дел М. Нинич подpisали американо-югославское соглашение о взаимопомощи [см.: War and Peace, р. 556]. Через 4 дня выходящая в Нью-Йорке марксистская газета «Дейли уокер» перепечатала заявление «Свободной Югославии», содержавшее документированное разоблачение конкретных случаев сотрудничества четников с оккупационным режимом. В заявлении содержались полученные Москвой от Тито сведения о коллаборационизме командиров четнических отрядов [см.: Гибианский, с. 46—48].

Десятью днями раньше это же ежедневное издание опубликовало фотографию генерала Михайловича, назвав его «великим лидером южнославянских сил Сопротивления против Гитлера» [см.: Foreign Relations, 1942, р. 806]. Причиной подобного непостоянства редакции газеты могло стать изменение позиции Москвы, вызванное крупными столкновениями партизан с четниками и расширением американской поддержки последних.

Нарком иностранных дел В. М. Молотов 5 августа 1942 г. передал югославскому послу в СССР меморандум, подтверждающий заявление «Свободной Югославии». Михайлович вновь характеризовался как пособник оккупантов. В документе приводились конкретные факты коллаборационизма четников, полученные от руководства партизан. 7 августа такую же памятную записку от советского правительства получил посол Англии [см: Roberts, р. 62—63], о чем британский Форин Оффис информировал Государственный департамент США. Действия СССР вызвали недовольство американского союзника. Как только Соединенные Штаты создали юридическую основу для начала помощи четникам, советская сторона обвинила Михайловича в коллаборационизме. Такой оборот заставил Вашингтон более пристально следить за югославской политикой Москвы. Глава отдела Госдепартамента по делам Южной Европы К. Кэннон позволил себе по этому поводу раздраженное высказывание: «Нам достаточно одной войны, нам не надо второй — междуусобной войны в Сербии, где лидер — Михайлович» [см.: Jukic, р. 133; De Santis, 1981, р. 544; De Santis, 1980, р. 98].

Недовольство Кэннона объяснимо. Оно было вызвано вовсе не тем, что Москва заявила всему миру о своей протекции Тито. Глава Южно-Европейского отдела был раздосадован неожиданно свалившейся на него новой проблемой. Полной и достоверной информации о Тито и его партизанских формированиях в Государственном департаменте в конце лета 1942 г. не было. Факты,

подтверждающие коллаборационизм Михайловича, за исключением обвинений в его адрес, предъявленных советской стороной, у Вашингтона также отсутствовали. На все запросы к югославскому эмигрантскому правительству Государственный департамент получал лишь рапорты о героической борьбе военного министра и его четников с оккупантами, в чем, судя по всему, в тот период сам король и его окружение не сомневались. Появление столь скандальных данных, да еще и в официальном советском меморандуме, ставило размежевенную, устоявшуюся в сознании чиновников Госдепартамента картину югославского Сопротивления с ног на голову.

Позиция советской стороны заставила Государственный департамент разобраться в сложившейся ситуации. Последовала просьба пояснить суть меморандума. 11 сентября посол Э. Биддл² получил неофициальный ответ советского посла при югославском эмигрантском правительстве в Лондоне А. Е. Богомолова, который гласил, что Михайлович не сумел консолидировать Сопротивление и что теперь надо дать возможность новым лидерам объединить все антифашистские силы в Югославии. В октябре правительство США получило специальный советский меморандум, в котором Михайлович обвинялся в коллаборационизме и действиях, направленных против народно-освободительного движения. В Вашингтоне это расценили как попытку Москвы захватить инициативу в югославских делах в свои руки, а кроме того, как уверенность Советов в способности Тито возглавить югославское Сопротивление [см.: Foreign Relations, 1942, p. 814–815, 821–823].

Руководство Соединенных Штатов отдавало себе отчет в политических последствиях разрыва с Михайловичем и поддержке партизан. 29 января 1943 г. У. Буллит, в то время специальный помощник морского министра США, предупредил Рузельта о намерениях Сталина в Европе. Буллит подчеркнул, что «партизаны сейчас активно борются, их методы подобны советским, и это подготовит путь для установления в Югославии просоветского правительства» [см.: For the President, p. 581]. Тем не менее позиция экс-посла в СССР не могла оказать большого влияния на президента. Буллит был известен своими антисоветскими убеждениями, к тому же в тот период вызывал раздражение Рузельта своим конфликтом с заместителем государственного секретаря С. Уэллем. Однако в одном Буллит, вне всякого сомнения, был прав: коммунистические лидеры югославских партизан были связаны с Кремлем.

Американское восприятие советской политики в Югославии стало определяться оценками партизан и их шагов к достижению власти в стране. Образы Кремля и его политики на Балканах, сложившиеся в сознании американцев в 1943–1945 гг., были, помимо других факторов, проекцией их оценочных суждений по поводу действий югославских коммунистов. В первую очередь американских аналитиков интересовал характер партизанского движения,

² В 1941–1943 гг. Энтони Дрексел Биддл являлся послом США в эмигрантских правительствах Польши, Чехословакии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Норвегии, Югославии и Греции, находившихся в Лондоне.

степень влияния в нем коммунистов, соответствие их действий интересам Кремля в Юго-Восточной Европе. До осени 1943 г. в Государственном департаменте преобладали тенденции отождествления партизан с коммунистами. Наиболее красноречиво об этом свидетельствует меморандум помощника главы департамента по южноевропейским делам К. Кэннона, адресованный 25 сентября специальному помощнику госсекретаря Дж. Макмюррею. Кэннон отказывался «доверять партизанам», которые, по его мнению, были не более чем просто «бандиты, коммунисты и тому подобное» [Buchanan, p. 456].

Москва стремилась завуалировать связь партизанских лидеров с коммунистическим движением. Советские установки были нацелены на подчеркивание успехов освободительной борьбы и замалчивание послевоенных целей руководства партизанских отрядов. По каналам Коминтерна Г. Димитров неоднократно призывал Тито избегать любых политических акций, не придавать освобождению страны характер революционной борьбы. 5 марта и затем 8 августа 1942 г. Кремль заявил партизанам о нецелесообразности называть формируемые ими бригады «пролетарскими» и советовал не выступать против эмигрантского правительства. В Югославию была послана рекомендация «не акцентировать коммунистический характер партизанского движения». Наконец, в послании 19 ноября относительно создания Национального комитета освобождения Югославии Коминтерн настойчиво призывал Тито: «Не рассматривайте этот орган как нечто вроде правительства, а как политический орган народно-освободительной борьбы. Не противопоставляйте его югославскому правительству в Лондоне. На данном этапе не поднимайте вопрос об упразднении монархии. Не выдвигайте лозунг о республике» [Коминтерн и Вторая мировая война, с. 214, 248, 267–268].

В рамках всей внешней политики СССР такие же цели преследовал роспуск Коминтерна, официально объявленный 22 мая 1943 г. В Государственном департаменте понимали, что «его деятельность будет продолжена под прикрытием какого-нибудь другого фасада». Президент отдавал себе отчет в том, что ликвидация международного коммунистического центра вовсе не исключает того, что Сталин продолжит в своей внешней политике практику опоры на зарубежные компартии, различными способами маскируя свои действия [подробнее см.: Юнгблуд, 2013, с. 18–33]. Однако тактика, избранная советским руководством, приносила видимые результаты. Осенью 1943 г. — весной 1944 г. наблюдалось существенное «потепление» американского восприятия партизан и их связей с политикой Кремля. Первым отреагировало общественное мнение. На него оказало влияние пропагандистское давление советской стороны, использовавшей соперничество различных сил южнославянской эмиграции. Югославский посол в США К. Фотич свидетельствует, что «американцам было крайне трудно получить четкое представление о ситуации в Югославии, когда даже между официальными югославскими учреждениями были острые разногласия по этому вопросу» [Fotitch, p. 188].

В 1942–1943 гг. в Соединенных Штатах возникло сильное пропартизанско-лобби. Немалая часть южнославянской эмиграции приняла советские трактовки оценок вклада двух направлений югославского Сопротивления

в борьбу с врагом. Эмигрантские организации, выступавшие за федерацию югославских народов, как правило, разделяли левые (если не коммунистические) взгляды и выступали за развитие тесных союзнических отношений с СССР. Это Американский славянский конгресс, Объединенный комитет американцев южнославянского происхождения, Сербско-американская федерация, Сербская благотворительная федерация «Единство», Хорватское братство в Америке, Национальный совет американцев хорватского происхождения и другие. На фоне довольно скучной информации о политических целях партизанского движения образ Тито как идеологически враждебного коммуниста уступил образу героя-лидера, объединившего представителей всех югославских народов³ в борьбе с оккупантами. Поэтому значительная часть югославской эмиграции достаточно быстро порвала с «легендой Михайловича» и начала развивать в прессе версию о его «предательстве». Среди пропартизански настроенных публицистов наиболее активно себя проявили Луис Адамич, Богдан Радица⁴, Стоян Прибичевич и Сава Косанович.

Это были авторитетные публицисты, авторы статей и книг по Югославии и международным проблемам, которые пользовались доверием в американской прессе. Адамич являлся руководителем Американского славянского конгресса с важными связями в Вашингтоне. Радица — известный журналист-международник с опытом дипломатической работы. Прибичевич был сыном создателя Независимой демократической партии Светозара Прибичевича, написал несколько книг о Центральной Европе. Косанович являлся министром без портфеля в югославском эмигрантском правительстве и имел многочисленные контакты с различными группами югославской эмиграции в США, особенно с Объединенным комитетом американцев югославского происхождения. Радица и Косанович работали в Югославском информационном центре в Нью-Йорке.

С 1942 г. все четверо стали убежденными сторонниками Тито, отрицали доминирование коммунистов в партизанском движении и утверждали, что его задачей не является советизация страны. В конце 1942 г. журналы «Тайм», «Лайф» и «Форчун» сообщили своим читателям, что Тито делает все для борьбы с оккупантами, в то время как Михайлович не делает ничего [см.: Time, vol. 40, № 24, p. 48–53; vol. 42, № 11, p. 15; vol. 43, № 1, p. 30; Pribichevich, p. 55, 56, 58; Marshall Tito, p. 35–38].

Словенско-американский писатель Адамич был «протеже» главы отдела иностранных языков Управления военной информации Алана Крэнстона. Он

³ Так, членом югославской компартии и бойцом Народно-освободительной армии Югославии в годы Второй мировой войны был будущий «врховник», маршал и первый президент суверенной и независимой Республики Хорватия Франко Туджман.

⁴ Радица первым разочаровался в партизанском лидере. В октябре 1944 г. Радица переехал в Лондон, где принял участие в формировании нового югославского правительства Тито — Шубашича, затем работал в Министерстве информации в Белграде, но в конце 1945 г. уехал из Югославии. После возвращения в Соединенные Штаты в 1946 г. журнал «Ридерз дайджест» опубликовал его знаменитую статью «Трагический урок Югославии миру». В ней Радица перечислил причины своего разочарования в государстве, созданном Тито, и призвал американцев больше не поддаваться на ложные лозунги [см.: Bogdan Raditsa].

также был знаком с главой УВИ, встречался с высокопоставленными чиновниками Государственного департамента и другими официальными лицами в Вашингтоне, беседовал с президентом Рузвельтом и его женой. О последнем факте он написал целую книгу — «Ужин в Белом доме» [см.: Adamic, 1946, р. 31–32, 38–39, 64–68, 73; Dallek, р. 324]. В своих выступлениях Адамич подчеркивал по существу умеренный, реформистский и демократический характер партизанского движения.

17 декабря 1942 г. он выступил с обращением перед двумя десятками журналистов и радиокомментаторов, чьи читатели и радиослушатели составляли около 50 млн человек. В этом интервью Адамич представил разницу между Михайловичем и Тито как конфликт между реакционными силами прошлого и прогрессивными силами будущего. В 1943 г. к Адамичу часто обращался за консультациями югославский отдел УВИ как к «главному эксперту». Позже он был назначен одним из инструкторов, готовивших американский персонал Администрации помощи и восстановления Объединенных Наций⁵ для работы на Балканах [см.: Martin, р. 35–38].

В ноябре 1943 г. вышла в свет книга Адамича «Моя родная земля» [Adamic, 1943], которая на тот момент стала фактически единственным авторитетным источником в Америке по ситуации в Югославии и именно поэтому сыграла значительную роль в формировании американского общественного мнения. В аннотации на эту книгу, представленной в журнале «Форин Афферз», говорится: «Адамич — американский гражданин, рожденный в Словении, хорошо известен как автор работ о Югославии и лидер радикальных элементов юнославянского сообщества в США. По такой взрывоопасной и спорной теме, как югославская проблема, никто, очевидно, не может надеяться на объективность. Адамик красноречиво защищает Тито и его партизан в противовес Михайловичу и четникам. Он также высказывает свои взгляды, полагая, что югославская федерация и Балканы могут иметь будущее только в том случае, если им удастся достичь гармонии с советской политикой» [Foreign Affairs, р. 500].

В конце войны сотрудники отдела национальных групп Управления стратегических служб (УСС) констатировали: «Партизанское движение в Югославии быстро нашло отклик в США. В августе 1943 г. организующую и руководящую роль взял на себя Объединенный комитет американцев юнославянского происхождения, который был образован по инициативе Адамича и хорватско-американского скрипача Златко Балоковича. В Комитете также принимал активное участие Сава Косанович, министр югославского правительства» [РГАСПИ, ф. 17, оп. 128, д. 639, л. 203–204].

Распространение пропартизанских настроений как среди югославской эмиграции, так и в целом в американском общественном мнении подпитывалось деятельностью как минимум «тесно связанных» с Москвой, если не руководимых ею, организаций и фигур. Примерами являются Американский славянский конгресс (ACK) и «красный генерал» Виктор Александрович Яхон-

⁵ ЮНРРА — от UNRRA, сокращение англ. *United Nations Relief and Rehabilitation Administration*.

тов⁶. АСК фактически был американским отделением Всеславянского конгресса, выступавшего «незримым» инструментом влияния СССР. 9 августа 1946 г. на заседании Всеславянского конгресса в США В. А. Яхонтов подчеркнул вклад югославской эмиграции в политическую победу Тито: «Выдающиеся крупные выходцы из Югославии (писатель Луи Адамович, редактор газеты Мирто Мартович, редактор прогрессивной хорватской газеты Бунчич, Сливкович из Калифорнии и др.) работали над образом Тито. В частности, Луи Адамович, крупный писатель, который зарабатывает большие деньги, издавал такие бюллетени, рассыпал различные листовки. Каждый из нас делал что возможно» [РГАСПИ, ф. 17, оп. 128, д. 1008, л. 243–244].

В феврале 1944 г. Американский славянский конгресс представил общественности брошюру, озаглавленную Программой Тито, которая содержала следующие основные моменты: 1) освобождение страны от оккупации; 2) неприкосновенность частной собственности и полная свобода инициативы в экономической деятельности; 3) никаких радикальных изменений в социальной сфере; все важные вопросы социальной жизни должны решаться после войны представителями народа, честно и свободно избранными; 4) партизанскому движению, борющемуся за свободу народа, за социальные и демократические права, чужда любая форма насилия и беззакония [см.: Adamic, 1946, р. 405–423].

Более сдержанный и умеренный документ трудно было представить. Минуя такие важные для югославской эмиграции вопросы, как национальный и религиозный, а также вопросы о формах правления и государственного устройства страны, Программа Тито не могла вызвать неприятия у американской общественности. Если кто-нибудь в Соединенных Штатах в результате этой мастерски организованной кампании в поддержку партизан приобрел расположение к Тито, его симпатия не имела ничего общего с симпатией к коммунизму. Кроме того, следует учитывать «образ» Советского Союза, сформировавшийся в американском общественном мнении в годы войны. Неприятие американцами коммунистической идеологии, проповедуемой большевистским руководством, в условиях военного сотрудничества больше не ставилось во главу угла. Советская Россия, героически сдерживавшая «нацистские орды», из «врага» Америки превратилась в ее «союзника».

Подобным образом и по тем же причинам трансформировался образ югославских партизан, ведущих активную борьбу с оккупантами. С конца 1942 по

⁶ В биографии Яхонтова много удивительного. Бывший генерал царской армии в 1919 г. выехал в США и получил американское гражданство. Еще зимой 1918/19 г. он познакомился с будущим создателем и первым руководителем УСС У. Донованом, который тогда был назначен офицером связи, фактически представителем Соединенных Штатов при ставке верховного правителя России адмирала Колчака [см.: Афанасьев, Баранов, с. 64–65]. В последующем Яхонтов вновь встречался с Донovanом. «Красным генералом» он был прозван за свою активную деятельность в поддержку Советского Союза. Яхонтов выступал за дипломатическое признание СССР, написал несколько книг, в которых позитивно оценивал «страну Советов» и ее внешнюю политику, буквально через несколько дней после вероломного нападения Германии на Советский Союз был принят послом в США К. А. Уманским [см.: Там же, с. 174–177]. Яхонтов неоднократно посещал СССР, был активным участником просоветских организаций, таких как «Друзья Советского Союза» [Communist Activities, р. 481–482]. В 1975 г. он получил советское гражданство и вернулся на Родину.

весну 1944 г. либерально настроенные представители югославской эмиграции пропагандировали образ Тито как действительного национального лидера, свято проводящего в жизнь основополагающие принципы демократии, завоеванные американской, французской и другими нациями в многовековой борьбе с монархической реакцией, интересы которой отражал Михайлович, вступивший в сговор с нацистами.

Для официального Вашингтона общественные настроения имели важное, но не определяющее значение. Сведения о ситуации в Югославии американское руководство получало от эмигрантского королевского правительства и англичан, что неизбежно ставило вопрос об их достоверности. Более-менее объективная характеристика партизанского движения была возможна только на месте. Это требовало отправки к обеим силам югославского Сопротивления самостоятельных американских разведывательных миссий. Именно сведения разведки стали решающим фактором появления новых оценок в отношении целей партизанского руководства и их соответствия интересам Москвы.

Первая независимая от англичан информация, поступившая непосредственно из штаба Тито, появилась в Вашингтоне в октябре 1943 г. УСС получило от американского наблюдателя при партизанском штабе майора Л. Фэриша «Предварительный отчет о посещении Народно-освободительной армии Югославии». Фэриш подчеркнул военные заслуги партизан и их надежды на то, что Соединенные Штаты придут на помощь. Американский офицер подтвердил, что партизаны «всегда воевали с немцами и воюют теперь». Фэриш утверждал, что партизанские отряды «состоят не только из коммунистов», которые к тому же «не являются догматиками» [см.: Foreign Relations, 1943, p. 606–615; Harriman, Abel, p. 260; Ford, p. 34; Ambassador MacVeagh Reports, p. 405].

В меморандуме от 28 октября, подготовленном для президента Ф. Рузвельта главой УСС У. Донованом, сообщалось, что «политической целью партизан является создание федеративной Югославии с правительством, созданным в результате демократических выборов. Эта цель является чрезвычайно популярной среди югославского населения. Нет никаких фактических оснований для утверждения коммунистической направленности партизанского движения. Такие политические убеждения характерны лишь для небольшой части рядовых партизан и их лидеров» [Memorandum for the President].

Данные разведки оказали определенное воздействие на позицию Рузвельта. На Тегеранской конференции 28 ноября 1943 г. президент посчитал целесообразным «произвести десант в районе северной части Адриатического моря, с тем чтобы поддержать партизанские войска Тито» [Foreign Relations, 1943, p. 493, 503; см. также: Советский Союз на международных конференциях, с. 99; Eubank, p. 443; Burns, p. 408; Юнгблуд, Костин, с. 103–113]. Однако это не меняло сложившегося ранее отношения официального Вашингтона к партизанам. Позиция президента была той же: партизаны, вне зависимости от идеологических убеждений их руководства, рассматривались лишь как военная сила, вносящая вклад в борьбу с врагом. Рузвельт трезво смотрел на происходящее: цель разгромить нацистскую Германию диктовала необходимость помогать всем силам, которые приближают достижение этой цели. Тем не менее

предложение президента отражало его восприятие ситуации в югославском Сопротивлении и интересов Москвы в регионе. Во-первых, Рузвельт признал военные заслуги партизан и совсем не упомянул четников, что в условиях острой пропагандистской полемики того времени было равнозначно согласию с обвинениями в адрес Михайловича как минимум в бездействии и как максимум — в коллаборационизме. Во-вторых, Тегеранская конференция была первой встречей Рузвельта со Сталиным. Желание установить дружественные личные отношения с советским руководителем требовало от президента шагов, соответствовавших интересам СССР. В этом ракурсе предложение о союзной помощи партизанам можно рассматривать как убежденность президента в наличии тесных связей между югославскими коммунистами и Кремлем.

Вместе с тем поступавшая в Вашингтон информация о партизанском лидере и советских намерениях в Югославии по-прежнему была крайне противоречивой. Сообщение УСС от 17 января 1944 г. содержало сведения, полученные от французского информатора, имевшего, в свою очередь, тесные контакты с советскими дипломатами в Турции. Информатор утверждал, что Москва вначале была заинтересована в Тито, но позже стала считать его «полностью непригодным». Также говорилось, что в нужный момент партизанский лидер будет ликвидирован [см.: Ford, р. 167]. Вряд ли следует придавать серьезное значение столь сомнительной информации. Однако эти сведения свидетельствуют либо о некачественном французском источнике, либо о дезинформации, подброшенной советской стороной. Ее цель — вызвать сомнения в том, что за спиной лидера югославских партизан стоит Москва, в чем, по всей видимости, американцы все-таки не сомневались.

Американский офицер при верховном штабе Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) майор Р. Вейл 4 апреля 1944 г. охарактеризовал личность партизанского лидера: «Несмотря на его известную связь с российским коммунизмом, большинство населения расценивает его в первую очередь как патриота и освободителя страны и только потом как коммуниста». И добавил пророчески: «Мое личное предположение: если ему придется выбирать, в любом случае он выберет свою страну» [Murphy, р. 221; см.: Ambassador MacVeagh Reports, р. 478; Foreign Relations, 1944, р. 1355—1357; Roberts, р. 212—213]. Подобные оценки Тито и его движению давал и майор Ч. Тэйер, с октября 1944 по июль 1945 г. возглавлявший американскую военную миссию при штабе НОАЮ. Тэйер был шурином Ч. Болена, главы отдела Госдепартамента по делам Восточной Европы, а затем помощника государственного секретаря. Болен ценил мнение майора, подчеркивавшего патриотизм югославских партизан, и не мог не прислушаться к его выводам [см.: Bohlen, р. 18].

Однако сведения о прочности патриотических убеждений партизанского лидера не сняли американских подозрений, что действиями югославских коммунистов руководят Советы [см.: Ford, р. 167]. В течение последующего времени Вашингтон получил ряд неоспоримых подтверждений этому. Официально начало широким контактам партизан с Москвой положило установление согласованного с союзниками канала связи между советским правительством и Национальным комитетом освобождения Югославии. 23 февраля 1944 г.

в Югославию прибыла военная миссия во главе с генералом Н. В. Корнеевым. В отличие от миссий англо-американских союзников, она была аккредитована не только при верховном штабе Народно-освободительной армии Югославии, но и непосредственно при НКОЮ [см.: Гиренко, с. 184; Гибианский, с. 85–86]. Последнее свидетельствовало о готовности Кремля признать Национальный комитет освобождения действующим правительством вместо эмигрантского королевского кабинета.

Это подтвердила и поездка Тито в Москву 21–28 сентября 1944 г., состоявшаяся накануне вступления Красной Армии на территорию Югославии [см.: Гиренко, с. 224–230; Гибианский, с. 111–114]. Она продемонстрировала Вашингтону взаимную заинтересованность Москвы и югославских партизан друг в друге. Опираясь на военную и дипломатическую поддержку Советского Союза, Тито завоевывал политическую власть в стране, а Кремль через югославских коммунистов расширял влияние на Балканах и, потенциально, в Восточном Средиземноморье.

Соглашение между НКОЮ и правительством СССР об участии советских войск в освобождении югославской территории [см. об этом: Foreign Relations, 1944, р. 1410; Советско-американские отношения, с. 218; Советско-английские отношения, с. 179; Внешняя политика, с. 236; Tomasevich, р. 417–424] создало своего рода прецедент международного признания Тито. Одна из держав антигитлеровской коалиции, игнорируя эмигрантский королевский кабинет, заключила соглашение непосредственно с альтернативным правительством, созданным на территории страны, оказала ему помощь в освобождении столицы и передала значительное количество вооружения. Присутствие советских вооруженных сил в Югославии Государственный департамент в январе 1945 г. назвал «важным фактором», который американцам неизбежно пришлось учитывать при выработке политики в отношении СССР и Югославии [см.: Foreign Relations, 1945, р. 1192].

7 марта 1945 г. произошла легитимация НКОЮ путем включения в него членов эмигрантского кабинета. Став премьером нового коалиционного правительства, Тито отправился в Москву, где 11 апреля заключил советско-югославский договор «О дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве» [см.: Voices of History, р. 144–145; Советско-югославские отношения, с. 10–12]. Такое развитие событий утвердило в восприятии Вашингтона образ югославских коммунистов как одного из важных инструментов балканской политики СССР. Помощник директора УСС Э. Бакстон в сообщении своему шефу У. Доновану 1 мая 1945 г. отметил, что «Югославия в руках русских и будет делать так, как последние ей скажут» [Brown, р. 640]. Отныне США рассматривали свою политику в отношении «новой Югославии» в русле задач американо-советских отношений.

Жесткую оценку Тито и его режиму дал известный дипломат и советолог Дж. Кеннан. Он критиковал сотрудников Государственного департамента за то, что они подвергали сомнению его уверенность в «непредставительности» режима югославского маршала. З декабря 1945 г. Кеннан записал в своем дневнике: «Мы же не интересуемся сейчас, имеет Сталин поддержку большинства

населения или нет. Поэтому нелогично по-иному оценивать правительство, подобное московскому. Тито, вне всякого сомнения, человек марксистской подготовки. В отношениях с капиталистическим миром он будет действовать исходя из интересов коммунистической революции» [Kennan, p. 255–256].

Восприятие Соединенными Штатами югославской политики СССР в 1942–1945 гг. было напрямую связано с проблемой отношения держав антигитлеровской коалиции к различным силам Сопротивления, возникшим в оккупированной и расчлененной Югославии. До июля 1942 г. адресат американской помощи не вызывал сомнения. Это были четники Михайловича, ставшего военным министром югославского правительства. Однако развитие американо-югославского военного сотрудничества было скорректировано резкими заявлениями Москвы о коллаборационизме командующего Королевской армии на Родине. Советские действия в пользу партизан открыто выразили интересы СССР в Югославии. Отныне американцам пришлось пристально следить за шагами своего союзника, оценивать характер партизанского движения и искать общие признаки между целями югославских коммунистов и задачами политики Кремля на Балканах. С момента появления сообщения «Свободной Югославии» американское руководство было уверено, что «за спиной Тито стоят Советы». Однако настроения американской общественности не были столь однозначными. Развитие американо-советского военного сотрудничества, распуск Коминтерна и, главное, пропаганда в американском обществе пропартизанских настроений с помощью либерально настроенной части югославской эмиграции поставили первоначальное прокоммунистическое восприятие характера и целей партизанского движения под сомнение. Оно усилилось во второй половине 1943 — начале 1944 г. благодаря сообщениям УСС, полученным непосредственно из штаба Тито, о незначительном распространении коммунистических убеждений среди партизан и силе их патриотизма. Однако затем вновь возобладала уверенность в наличии связи между действиями партизанского руководства и политикой Москвы. В течение следующего года Вашингтон окончательно утвердился во мнении, что действиями КПЮ руководит Кремль.

Афанасьев А. Л., Баранов Ю. К. Одиссея генерала Яхонтова. М., 1988. 273 с. [Afanasiev A. L., Baranov Yu. K. Odisseya generala Yakhontova. M., 1988. 273 s.]

Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны : документы и материалы : в 3 т. Т. 2 : 1 января — 31 декабря 1944 г. М., 1946. 687 с. [Vneshnjaja politika Sovetskogo Sojuza v period Otechestvennoj vojny : dokumenty i materialy : v 3 t. T. 2 : 1 janvarja — 31 dekabrya 1944 g. M., 1946. 687 s.]

Гибианский Л. Я. Советский Союз и новая Югославия, 1941—1947. М., 1987. 205 с. [Gibianskij L. Ya. Sovetskij Sojuz i novaja Jugoslavija, 1941—1947. M., 1987. 205 s.]

Гиренко Ю. С. Сталин — Тито. М., 1991. 432 с. [Girenko Ju. S. Stalin — Tito. M., 1991. 432 s.]

Коминтерн и Вторая мировая война : сб. док. / отв. ред. К. М. Андерсон, А. О. Чубарьян. Ч. 2 : После 22 июня 1941 г. М., 1997. 596 с. [Komintern i Vtoraja mirovaja vojna : sb. Dok. / otv. red. K. M. Anderson, A. O. Chubar'yan. Ch. 2 : Posle 22 iyunja 1941 g. M., 1997. 596 s.]

Костин А. А. Позиция США в отношении Югославии в январе — марте 1941 г. // Вопр. истории. 2002. № 1. С. 107—115. [Kostin A. A. Pozicija SShA v otnoshenii Yugoslavii v janvare — marte 1941 g. // Vopr. istorii. 2002. № 1. S. 107—115.]

ГРАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 639 : ЦК ВКП(б). Отдел внешней политики. Март 1948 г. (Секретный справочник «Группы национальных меньшинств в Соединенных Штатах», изданный в феврале 1945 г. в Вашингтоне Отделом национальных групп (директор Де Витт К. Пул) бывшего Управления стратегических служб США. Т. 1.) 278 л. [RGASPI. F. 17. Op. 128. D. 639 : CK VKP(b). Otdel vneshej politiki. Mart 1948 g. (Sekretnyj spravochnik «Gruppy nacional'nyh men'shinstv v Soedinennyh Shtatah», izdannyyj v fevrale 1945 g. v Vashingtone Otdelom nacional'nyh grupp (direktor De Vitt K. Pul) byvshego Upravlenija strategicheskikh sluzhb SShA. T. 1.) 278 l.]

ГРАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 1008 : Материалы сектора Балканских и Славянских стран Отдела внешней политики ЦК ВКП(б) по США. Янв. — авг. 1946. 268 л. [RGASPI. F. 17. Op. 128. D. 1008 : Materialy sektora Balkanskih i Slavjanskikh stran Otdela vneshej politiki CK VKP(b) po SShA. Janv. — avg. 1946. 268 l.]

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны, 1941—1945 гг. : сб. док. Т. 2 : Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав — СССР, США и Великобритании (28 ноября — 1 дек. 1943 г.). М., 1978. 175 с. [Sovetskij Sojuz na mezhdunarodnyh konferencijah perioda Velikoj Otechestvennoj vojny, 1941—1945 gg. : sb. dok. T. 2 : Tegeranskaja konferencija rukovoditelej treh sojuznyh derzhav — SSSR, SShA i Velikobritanii (28 nojabrja — 1 dek. 1943 g.). M., 1978. 175 s.]

Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941—1945 : документы и материалы : в 2 т. Т. 2. М., 1984. 575 с. [Sovetsko-amerikanskie otnoshenija vo vremja Velikoj Otechestvennoj vojny, 1941—1945 : dokumenty i materialy : v 2 t. T. 2. M., 1984. 575 s.]

Советско-английские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941—1945 : документы и материалы : в 2 т. Т. 2. М., 1983. 494 с. [Sovetsko-anglijskie otnoshenija vo vremja Velikoj Otechestvennoj vojny, 1941—1945 : dokumenty i materialy : v 2 t. T. 2. M., 1983. 494 s.]

Советско-югославские отношения, 1945—1956 : документы и материалы. Новосибирск, 2010. 843 с. [Sovetsko-yugoslavskie otnoshenija, 1945—1956 : dokumenty i materialy. Novosibirsk, 2010. 843 s.]

Тимофеев А. Ю. Четники. Королевская армия. М., 2012. 304 с. [Timofeev A. Ju. Chetniki. Korolevskaja armija. M., 2012. 304 s.]

Фалин В. М. Второй фронт. Антигитлеровская коалиция: конфликт интересов. М., 2000. 574 с. [Falin V. M. Vtoroj front. Antigitlerovskaja koalicija: konflikt interesov. M., 2000. 574 s.]

Юнгблюд В. Т. Внешнеполитическая мысль США 1939—1945 гг. Киров, 1998. 360 с. [Yungblyud V. T. Vneshnepoliticheskaja mysl' SShA 1939—1945 gg. Kirov, 1998. 360 s.]

Юнгблюд В. Т. Рospusk Kominterna в мае 1943 г.: отклики и анализ в США // Вопр. истории. 2013. № 2. С. 18—33. [Yungblyud V. T. Rospusk Kominterna v mae 1943 g.: otkliki i analiz v SShA // Vopr. istorii. 2013. № 2. S. 18—33.]

Юнгблюд В. Т., Костин А. А. Политика США в Югославии в 1941—1945 гг. Киров, 2004. 240 с. [Yungblyud V. T., Kostin A. A. Politika SShA v Jugoslavii v 1941—1945 gg. Kirov, 2004. 240 s.]

Adamic L. Dinner at the White House. N. Y., 1946. 276 p.

Adamic L. My Native Land. N. Y., 1943. 507 p.

Ambassador MacVeagh Reports: Greece, 1933—1947 / Ed. by J. Iatrides. Princeton, 1980. 769 p.

Auty Ph. Tito: A Biography. N. Y., 1970. 343 p.

Bogdan Raditsa, Writer and Diplomat, 89 [Electronic resource] // The New York Times. December 09, 1993. Obituaries. URL: <http://www.nytimes.com/1993/12/09/obituaries/bogdan-raditsa-writer-and-diplomat-89.html> (дата обращения: 05.01.2013).

Bohlen Ch. Witness to History, 1929—1969. N. Y., 1973. 562 p.

Brown A. The Last Hero: Wild Bill Donovan. N. Y., 1982. 891 p.

- Buchanan A.* «We Have Become Mediterraneanites». Washington's Grand Strategy in the Mediterranean, 1940—1945. A Dissertation (Ph.D.). N. Brunswick, 2011. 541 p.
- Burns J.* Roosevelt: the Soldier of Freedom. N. Y., 1970. 722 p.
- Communist Activities among Aliens and National Groups.* Hearings before the Subcommittee on Immigration and Naturalization of the Committee on the Judiciary, United States Senate, Eighty-first Congress, First session. Wash., 1950. 895 p.
- Congressional Record.* Vol. 88. Proceedings and Debates of the 77th Congress. Wash., 1942. 9666, A4454 p.
- Dallek R.* Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932—1945. N. Y., 1979. 657 p.
- De Santis H.* In Search of Yugoslavia: Anglo-American Policy and Policy-Making, 1943—1945 // *J.of Contemporary History.* Vol. 16. № 3 (July 1981). P. 541—563.
- De Santis H.* The Diplomacy of Silence. The American Foreign Service, the Soviet Union and the Cold War, 1933—1947. Chicago, 1980. 270 p.
- Eubank K.* Summit at Teheran. N. Y., 1985. 528 p.
- For the President.* Personal and Secret. Correspondence Between Franklin D. Roosevelt and William C. Bullitt. Boston, 1972. 655 p.
- Ford K.* OSS and the Yugoslav Resistance, 1943—1945. College Station, 1992. 249 p.
- Foreign Affairs.* 1944. Vol. 22, № 3.
- Foreign Relation of the United States.* Diplomatic Papers. 1942. Vol. 3 : Europe. Wash., 1961. 869 p.
- Foreign Relation of the United States.* Diplomatic Papers. 1943. The Conferences at Cairo & Tehran. Wash., 1961. 932 p.
- Foreign Relation of the United States.* Diplomatic Papers. 1944. Vol. 4 : Europe. Wash., 1966. 1473 p.
- Foreign Relation of the United States.* Diplomatic Papers. 1945. Vol. 5 : Europe. Wash., 1967. 1349 p.
- Fotitch C.* The War We Lost. Yugoslavia's Tragedy and the Failure of the West. N. Y., 1948. 344 p.
- Harriman A., Abel E.* Special Envoy to Churchill and Stalin, 1941—1946. N. Y., 1975. 596 p.
- Howard H.* Foreign Policy in the Second World War (1939—1946) // Yugoslavia / ed. by R. Kerner. Berkeley ; L. A., 1949. P. 338—352.
- Jukic I.* The Fall of Yugoslavia. N. Y., 1974. 315 p.
- Kennan G.* Memoirs: 1925—1950. Boston ; Toronto, 1967. 583 p.
- Marshall Tito* // *Life.* 1944. Vol. 17, № 17 (August 14). P. 35—38.
- Martin D.* Ally Betrayed. The Uncensored Story of Tito and Mihailovic. N. Y., 1946. 372 p.
- Memorandum for the President,* 28 October 1943 [Electronic resource] // CIA: Library: Center for the Study of Intelligence: Studies Archive Indexes: Memoranda for the President: From Peter to Tito. URL: https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol9no2/html/v09i2a07p_0001.htm (дата обращения: 05.01.2013).
- Murphy R.* Diplomat among Warriors. The Unique World of a Foreign Service Expert. N. Y., 1964. 470 p.
- Pribichevich S.* Down the Blue Hip // *Time.* 1944. Vol. 44? № 5 (July 31). P. 55—58.
- Roberts W.* Tito, Mihailovic and the Allies. 1941—1945. New Brunswick, 1973. 407 p.
- Time.* 1942. Vol. 40, № 24 (December 14); 1943. Vol. 42, № 11 (September 13); 1944. Vol. 43, № 1 (January 1).
- Tomasevich J.* War and Revolution in Yugoslavia, 1941—1945. Vol. 1 : The Chetniks. Stanford, 1975. 508 p.
- Voices of History,* 1945—1946. Speeches and Papers of Roosevelt, Truman, Churchill, Attlee, Stalin, De Gaulle, Chiang and Other Leaders. Delivered During 1945. N. Y., 1946. 810 p.
- War and Peace.* Aims of the United Nations: September 1, 1939 — December 31, 1942. Boston, 1943. 730 p.

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 769.2(470.5) + 622(470.5)

Д. Н. Антропов

ОБРАЗ ГОРНОЗАВОДСКОГО УРАЛА XVIII в. В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ «ОПИСАНИЯ УРАЛЬСКИХ И СИБИРСКИХ ЗАВОДОВ» Г. В. де ГЕННИНА

Исследуются иллюстрации рукописи де Геннина, отражающие образ промышленного Урала первой половины XVIII в. Выявляются особенности художественного языка рассматриваемых иллюстраций.

Ключевые слова: Г. В. де Геннин; книжная иллюстрация; образ горнозаводского Урала.

В XVIII в. Урал превратился в промышленный регион. С этого времени его промышленность стала неотъемлемой частью экономического и социального развития региона и страны, оказавшись встроенной в ассоциативно-образный ряд, связанный с Уралом.

На рубеже XVII–XVIII вв. появлялись изображения, в которых образ Уральского региона раскрывался объективнее и полнее, чем это делалось в более ранних картах и рисунках, часто носивших условный, а порой и фантастический характер. Во времена петровских преобразований появляются достоверные изображения уральской природы, городов- заводов и этнографических достопримечательностей, отражающие своеобразие уральского края [см.: Якимов].

От первой половины XVIII в. сохранилось относительно немного художественных памятников, помогающих реконструировать визуальный образ Уральского региона, каким он представлял перед современником. Одним из значительных памятников первой половины XVIII столетия, включивших в себя объемное собрание изображений Урала и более всего уральской горной промышленности, является рукопись одного из отцов-основателей Екатеринбурга

Георгия Вильгельма де Геннина «Описание Уральских и Сибирских заводов».

В 1722 г. по указу Петра I Г. В. де Геннину (1676–1750), знающему инженеру и артиллеристу, одному из лучших специалистов горного и металлургического дела [см.: Корепанов; Шандра], было поручено отправиться на Урал для расследования дела, связанного с разбирательствами между В. Н. Татищевым и местными частными заводовладельцами Демидовыми. На время разбирательства де Геннину было поручено заменить Татищева в деле строительства горных заводов. В результате де Геннин на двенадцать лет задержался на Урале и покинул его уже в период царствования Анны Иоанновны. Результат этого пребывания отражен со всей полнотой в рукописи «Описание Уральских и Сибирских заводов», ставшей, с одной стороны, отчетом о двенадцатилетней работе, с другой – своеобразным наставлением потомкам, в котором де Геннин передавал свой многолетний опыт заводского управления.

Труд Вильгельма де Геннина так и не был напечатан, но рукопись никогда не переставала привлекать к себе пристальное внимание исследователей. Горные специалисты в своих научных трудах переписывали из нее целые главы [см.: Шлаттер], ее копировали студенты Горного кадетского корпуса и частные заводовладельцы. В нескольких номерах «Горного журнала» за 1828 г. были опубликованы отрывки из рукописи, предварявшиеся «Жизнеописанием генерал-лейтенанта Вилима Ивановича Геннина, основателя российских горных заводов» В. Н. Берха (1781–1834), появившимся двумя годами ранее, в 1826 г. (№ 1–5). Сегодня труд Геннина продолжает привлекать внимание исследователей из различных областей науки.

Понимание того, что сочинение де Геннина является не просто производственной инструкцией, но текстом, формировавшим художественный образ Урала в национальном сознании, представлено в статье Л. Соболевой [Соболева, 2007, с. 156–174]. По мнению исследователя, в сочинении де Геннина создается основа для отбора и обобщения мотивов и сюжетов, характеров «в русле нового уральского бытия... По сути, это первая энциклопедия Урала, в которой систематически описываются разнообразные грани уральской жизни, упоминаются лидеры заводского строительства, характеризуются этнические и социальные группы населения, а также выявляются типы конфликтных ситуаций, присущих динамично развивающемуся краю» [Соболева, Соломенина, с. 310, 312].

В 1933 г. академик Н. Б. Бакланов обратился к иллюстрациям рукописи сначала в своей статье «”Натуралии” Де Геннина как источник по истории техники России», затем в книге «Техника металлургического производства XVIII века на Урале» [см.: Бакланов, 1933; 1935]. Первое полноценное издание текста с вкраплениями некоторых иллюстраций вышло лишь в 1937 г. под заголовком «Описание уральских и сибирских заводов» [Геннин, 1937], переизданное в 2009 г. [Геннин, 2009].

До сих пор не представляется возможным определить местонахождение оригинала рукописи, подаренной Анне Иоанновне. Н. Б. Бакланов в статье 1933 г. сравнил пять известных ему списков рукописи и пришел к выводу, что

все они являются копиями. Четыре хранятся сегодня в Санкт-Петербурге: один экземпляр — в Российской национальной библиотеке [ОР РНБ, ф. 10, ед. хр. 11]; два в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН (ранее они принадлежали Институту книги, документа и письма — ИКДП [Арх. Санкт-Петербургского института истории РАН, к. 115, оп. 1, д. 1161] и библиотеке Академии наук — БАН [Там же, д. 1160]); четвертый экземпляр — в библиотеке Горного института (ГИ). Пятый список принадлежит Государственному историческому музею в Москве (ГИМ). В 2003 г. в Нью-Йоркской публичной библиотеке (БНЙ) был обнаружен еще один список, близкий к рукописи ИКДП [см.: Касинец, Коган].

В ходе нашего исследования был также выявлен список третьей четверти XVIII в., хранящийся в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН, однако в нем отсутствует иллюстративный материал, представляющий предмет нашего научного интереса [Арх. Санкт-Петербургского института истории РАН, ф. 36, оп. 1, д. 1317].

Не меньше проблем с установлением авторства самой рукописи. В соответствии с последними изысканиями в этой области исследователи склоняются к тому, что авторство рукописи принадлежит не одному человеку, а коллективу под руководством де Геннина. Многочисленные авторы собирали материалы с 1725 по 1734 г., а в 1735 г. труд был представлен императрице и Сенату. Геннин скомпилировал материал по поручению Берг-коллегии и Сената [см.: Бакланов, 1933, с. 321; Корепанов, с. 270].

«Описание Сибирских и Уральских заводов. 1735» имеет ценность не только как источник по истории Урала, местных заводов и техники, но и представляет художественный интерес, благодаря тому, что важная часть книги — это всевозможные «ландкарты о ситуации <...> заводов, каждого порознь план и прошпект и рудником маркшейдерские планы, и показание с чертежами, как плотину и каждую фабрику с фундамента строить и что к тому надобно, и в тех фабриках всяким штукам» [ОР БАН, ф. 10, ед. хр. 11, с. 1]. Иллюстрации рукописи, безусловно, являются прекрасным художественным памятником своей эпохи и требуют искусствоведческого исследования.

Большой корпус иллюстраций «Описания» позволяет восстановить визуальный образ промышленного Урала и уральской промышленности, сложившийся в первой половине XVIII столетия. При установлении авторства рисунков мы сталкиваемся с той же проблемой, что и в случае с авторством текста. Сам Геннин в документах, где он описывает свое намерение включить рисунки в книгу, авторов рисунков не указывает [см.: Корепанов]. Рисунки, или «абрисы», создавались так же, как и текст, коллективными усилиями. Вероятно, в «Описание» вошли рисунки Михаила Кутузова. В 1727 г. Геннин поручил ему сделать чертежи всех рудников и заводов для отсылки в Кабинет и Берг-коллегию, в связи с чем запретил использовать для других дел [Сафронова, 2000]. Корепанов высказывает предположение, что часть рисунков могла быть выполнена маркшейдером Андреем Татищевым [Корепанов]. Берг-гешворену М. Кутузову и вице-маркшейдеру В. Горчакову для выполнения чертежей обербергамт разрешил привлекать учеников арифметической школы,

где преподавал Кутузов [Сафонова, 1989]. В 1735 г. школьники помогали переводить чертежи в единый формат для будущего «Описания».

Единственное имя, фигурирующее на единственном рисунке, — это Иван Ушаков. В прошпекте (ландшафтном виде) Екатеринбурга на странице 5 экземпляра РНБ встречается подпись: «Сочинял канцелярист Иван Ушаков при Екатеринбурге октября месяца 1734». В экземпляре БАН упоминание Ивана Ушакова встречается дважды: на виде Уктусского завода: «Рисовал канцелярист Иван Ушаков при Екатеринбурге 1732 года 1 дня месяца» и на виде рудника Егошихинского завода: «Рисовал канцелярист Иван Ушаков при Екатеринбурге 1732 года июля месяца». Провести более точную атрибуцию рисунков представляет собой столь же серьезную проблему, как установление авторства различных частей рукописи.

Главная проблема при изучении иллюстраций труда де Геннина — необходимость сличения рисунков, которые представляют собой копии с неизвестного протографа. В археографической справке к «Описанию Уральских и Сибирских заводов», изданному в 1937 г., указывается, что экземпляры БАН и РНБ ближе всего к оригиналам, остальные скопированы с них. Сопоставление различных экземпляров рукописи позволяет с определенной долей вероятности рассуждать об оригинальных изображениях, учитывая применявшуюся в XVIII в. практику копирования путем прокалывания контуров изображения. При этом лишь приблизительно можно судить о первоначальном исполнении рисунков, так как копировать изображения оригинала могли посредственные рисовальщики, либо первоначально более слабые рисунки могли исправляться при копировании.

В частности, в экземпляре ИКДП рисунки исполнены наиболее профессиональной, уверенной рукой: кроме технической стороны, в рисунках лучше, чем в других списках, переданы фигуры людей, более легкий и гармоничный колорит. В остальных экземплярах уровень исполнения иллюстраций постепенно снижается, хотя не всегда в ущерб художественному впечатлению. Последний экземпляр ИКДП по технике исполнения идет список РНБ, затем экземпляры БАН, далее ИКДП, за ними список ГИ, и замыкает этот ряд экземпляр ГИМ. Экземпляр БНЙ для сопоставления на данный момент, к сожалению, недоступен. Как мы видим, наиболее близкие к протографу экземпляры РНБ и БАН в плане мастерства исполнения находятся на более низком уровне, но экземпляр ИКДП имеет явное указание на то, что он скопирован для Григория Демидова. Если проанализировать рисунки всех списков, то явно прослеживается тот факт, что различные рисунки протографа были сделаны различными людьми, что подтверждается при сравнении и с копированными рисунками экземпляра ИК, так же как и в предполагаемом протографе, отличающимися друг от друга композиционными решениями, формальным совершенством.

Если сравнивать между собой наиболее близкие к протографу списки РНБ и БАН, то они также различны. В частности, в ряде иллюстраций, показывающих рабочий процесс, на экземпляре БАН отсутствуют фигуры рабочих (см. рисунки древопилки, медеплавильной фабрики), но там, где люди

присутствуют, они выполнены лучше, чем в экземпляре РНБ. При этом часть видов рудников и заводов из списка БАН выполнена явно примитивнее с точки зрения построения композиции. Итак, прямые указания на принадлежность отдельных рисунков конкретным авторам практически отсутствуют, и действительно создается впечатление, что оба экземпляра должны были быть скопированы с одного протографа. Ситуация также усложняется тем, что не выявлен оригинал рукописи и при перенесении в книгу часть рисунков первоначально была изменена, чтобы удовлетворить формату рукописи. Поэтому иллюстрации логичнее также считать коллективным произведением, по крайней мере на данном этапе исследования, и говорить обо всем корпусе иллюстраций обобщенно. При этом, как уже было отмечено, опираясь на технику копирования, мы можем с определенной уверенностью рассуждать о художественных качествах первоначальных изображений.

К сожалению, до сих пор эти рисунки так и не были достойно представлены в научных изданиях, и познакомиться с ними можно лишь при обращении к оригинальным рукописям. Репродукции доступны по публикации 1937 г., однако рисунки явно не привлекли пристального внимания издателей. Во-первых, опубликована приблизительно лишь четвертая часть рукописей. Во-вторых, репродукции далеки от оригинальных изображений. Несопоставимы форматы изображений: репродукции в 4 раза меньше оригиналов, имеющих размеры примерно 46 × 33 см. Репродукции даны в черно-белой цветовой гамме, что также не соответствует реальности. При всем этом даже по этим репродукциям можно судить о разнице в композиционных решениях различных рисунков.

Рисунки в рукописи можно поделить на оформительские, созданные исключительно для оформления (рисунки на фронтиспise, выходной аллегорический рисунок, фигура алтайца на плане Колывано-Воскресенского завода), и собственно иллюстрации текста.

Одну из более развернутых классификаций предложил Н. Б. Бакланов:

1. Чертежи и рисунки, изображающие производство, отдельные машины, части оборудования, планы фабрик.
2. Изображения деталей машин, инструментов и продукции.
3. Виды заводов и рудников.
4. Изображения различных уральских руд и минералов в красках, причем некоторые снабжены наклеенными пластинками слюды или посыпаны толченым минералом.
5. Карты отдельных местностей Урала.
6. Изображения, не имеющие прямого отношения к тексту рукописи.

Принимая во внимание наш интерес к рисункам рукописи как к художественным произведениям, мы предлагаем иную классификацию, также основанную на наличии образной составляющей изображения, сначала разделив их на техническую графику, которая нас будет интересовать минимально, а затем — на художественную.

Классифицировать художественную графику логичнее, если отталкиваться от предмета изображения:

- 1) аллегорические композиции;
- 2) пейзажные виды;
- 3) жанровые сцены (сцены из заводской жизни, сцены археологических раскопок и т. п.);
- 4) рисунки археологических находок.

Число рисунков в каждой рукописи разнится, но в среднем варьируется в пределах 170–180. Еще Н. Б. Бакланов указывал на то, что «иллюстрации во всех экземплярах исполнены в одной технике: чертеж или рисунок пером и тушью и затем оттушеваны кистью или однотонно, или с расцветкой» [Бакланов, 1933, с. 317], что являлось наиболее распространенной техникой оригинальной книжной графики того времени. В колорите всех рукописей преобладают преимущественно бледные тона зеленого и коричневого при передаче почвы и растительности, розового — в цветах городских и заводских построек, голубого — для расцветки неба и воды и серого — в одежде рабочих. Как было отмечено выше, цвета иллюстраций экземпляра ИКДП более яркие и насыщенные по сравнению с рисунками других списков. Видимо, личность и вкусы заказчика Григория Демидова продиктовали создание более эстетически привлекательных произведений.

Располагаются иллюстрации в рукописях сообразно тексту, исключая экземпляр ИК, где все рисунки собраны во втором томе. Изображения традиционно предшествуют каждой главе изложения. Наглядные иллюстрации, относимые нами к художественным, следуют за техническими, что показывает, что книга в первую очередь имеет технический характер.

Если технические чертежи, планы и карты представляют интерес скорее для историка техники или архитектуры, то перспективные виды городов- заводов, сцены производственного процесса, аллегорические рисунки, а также зарисовки археологических находок и прочие рисунки, не относящиеся напрямую к промышленности, но включенные в книгу вслед за текстом, имеют не только историческую, но и художественную ценность.

Иллюстрированный фронтиспис рукописи (в экземплярах РНБ, ГИ, ГИМ), разделенный на 9 секторов, включает изображение российского герба (двуглавого орла со скипетром и державой), поддерживаемого парой рабочих. У ног рабочих располагаются чертежные и геодезические инструменты, а также различные орудия производства. Ясно, что, посыпая свою рукопись Анне Иоанновне, де Геннин осознавал значение своего труда, направленного на умножение благ и богатств государства, что в аллегорической форме передано на рисунке. Это отвечает общему настроению технической литературы того времени, которая не уступала в своей пышности и многозначительности другим жанрам, особенно когда дело касалось посвящения знатному лицу [см.: Герчук].

Привлекает внимание сектор, в котором изображен покровитель торговли Гермес с привычными атрибутами: сандалиями-«талариями» и скипетром-«кадуцеем», в помещении, заваленном заводской продукцией. Архаично выглядит на этом рисунке фигура рабочего, которая вместе с заводским припасами несоразмерно мала по отношению к Гермесу. Такое сопоставление главных и второстепенных персонажей отсылает к традиции средневековой книжной

миниатюры. Стоит отметить, что совмещение примитивности в трактовке человеческих фигур или природных мотивов чертежной с точностью при изображении машин и заводских строений свойственно большинству иллюстраций в книге, что подчеркивает, чему авторы рисунков уделяли большее внимание, при всей наглядности сохраняя именно техническую точность изображения.

На фронтиспise также изображены фабрики, уральская флора и фауна, минералы и археологические диковинки. Большинство изображений на фронтиспise, как и во всей рукописи, имеет нумерацию и расшифровку на легенде. В целом, фронтиспis отвечает сдержанной парадности титульного листа и краткого введения с панегириком царской фамилии. При всей торжественности, в рисунках нет излишней изящности или красоты. В них в образной форме передан характер научной и технической мысли своего времени, когда все достижения высоко ценились, а при изложении сухого материала было принято иногда в ущерб ясности изложения доносить всю сопутствующую информацию и эмоционально окрашивать высказывание.

При своем научно-практическом характере рукопись Геннина снабжена иллюстрациями, далеко выходящими за рамки утилитарности. В экземплярах РНБ и ГИ есть выходной аллегорический рисунок, отсылающий к средневековым алхимическим представлениям. На нем изображены семь остроконечных гор, на вершинах которых расположены астрологические символы, соответствующие алхимическим металлам: Солнце — золото, Венера — медь, Марс — железо, Сатурн — свинец, Юпитер — олово, Меркурий — ртуть, Луна — серебро. На солнечном диске, возвышающемся над горами, на ивриите написано «Яхве», и это божественное солнце своими лучами озаряет каждую гору (ил. 1). В результате наших изысканий мы обнаружили, что такая композиция напрямую заимствована из издания XVII в. немецкого трактата господина Лазаря Эркера (*Lazarus Ercker*) о горном деле под названием «*Probierbuch*» (*«Aula subterranea»*), созданном еще в XVI в. [см.: Lazarus Ercker].

Под горами изображено проведение горных работ. Более чем вероятно, что де Геннину и авторам рисунков был известен один из первых горных трактатов — «*De re metallica*» Георгия Агриколы (*Georgius Agricola*). Сцены работы, разворачивающиеся на фоне гор в рассматриваемом рисунке, по мнению Н. Б. Бакланова, восходят к иллюстрациям из этого трактата эпохи Возрождения. Шахты, в которых трудятся рабочие, как и у Агриколы, даны в разрезе в профиль. Рисунки выполнены в параллельной перспективе, что привело к уплощению пространства, а также к несоблюдению масштабов, наславланию различных планов друг на друга. Однако это свидетельствует скорее о необходимости наглядно представить процесс работы, нежели о неумении художника правильно организовать пространство изображения. Все это также встречается в иллюстрациях к трактату Агриколы, но все же художественный язык иллюстраций этих двух рукописей различен, ведь их разделяет около трех веков. В рисунках «Описания» гораздо больше свободного пространства, что в немалой степени обусловлено различиями в технике исполнения. Здесь ис-

пользованы приемы прямой перспективы, колористически трактованы объемы, что отсутствовало в более древнем трактате.

В числе рисунков, созданных только ради украшения, можно выделить изображение алтайца в правом нижнем углу на плане Колывано-Воскресенского завода. Это единственный случай, когда на одном из планов в рукописи присутствует чисто декоративный элемент. Изображен монгольской наружности человек с ружьем в левой руке, опирающимся о землю, а в правой сжимающий колчан со стрелами.

Одну из существенных частей иллюстраций представляют многочисленные «прошпекты» городов- заводов. Кроме своих художественных качеств, они ценные еще и тем, что только благодаря подобного рода рисункам возможна реконструкция целостного образа городов- заводов новопетровского периода [см.: Лотарева]. Города изображены с высоты птичьего полета, в чем проявляется влияние западной картографической традиции. Такие виды позволяли наглядно продемонстрировать целостный образ города, однако это достигалось при допущении ряда художественных условностей. На видах, бытовавших в западной картографической традиции в XVI—XVII вв., нет единой точки схода перспективных линий, ландшафт вокруг города трактуется в предельно упрощенном виде, часто нарушен масштаб, основное внимание уделяется главным строениям, отличающимся увеличенными размерами и тщательной проработкой [см.: Ballon].

Виды уральских заводов передают один и тот же сходный во всех случаях образ, закрепившийся за этим типом поселений. Города- заводы возникали на реках, что диктовалось технологией промышленного производства XVIII в. Реки перегораживались плотинами, а к ним примыкали заводские строения. Формирующим ядром облика города, что отлично продемонстрировано на рисунках, становился металлургический завод с рекой и водопроводными путями, плотина и прилегающая часть пруда, а это задавало четкую иерархию в построении образа. Хотя основной функцией города- завода было подчинение природы воле человека, сам город еще органично вписывался в природный ландшафт [см.: Лотарева]. Несмотря на единую иконографическую схему, каждый рисунок в рукописи обладает неповторимой уникальностью, обусловленной не только различиями между конкретными городами, но и применявшимися художественными средствами. Часть рисунков находится совсем близко к традиции картографирования: распластанный ландшафт, увиденный сверху, и городские здания трактованные в изометрической перспективе (Алапаевский, Полевской, Лялинский заводы). Некоторые изображения ближе к пейзажным зарисовкам: есть линия горизонта, живописно трактованное небо и ландшафт, одна или несколько точек схода перспективных линий (Екатеринбург, ил. 2). Особой выразительностью отличаются виды заводов Демидовых, где передается неповторимый силуэт ландшафта. В ряде случаев узнаваемым образом делает изображение городских доминант — церквей или административных зданий. Так, на виде Пыскорского монастыря представлен Спасо-Преображенский собор и находящая в нем Никольская церковь, а на виде Невьянского завода возвышается знаменитая Невьянская башня. С одной

стороны, такое разнообразие в трактовке городских видов подтверждает то, что у иллюстраций нет единого автора, с другой — показывает, какими средствами художники пытались создать образ пространства. Проявляется то переходное состояние от средневековой картины мира и способа ее запечатления к картине мира Нового времени с его господством линейной перспективы.

Связь с ранними трактатами по горному делу прослеживается в изображениях различных цехов Екатеринбурга, которым посвящена значительная часть иллюстраций в рукописи. Главной задачей здесь была передача процесса производства. Так же как и при изображении заводов, рисунки в цехах даются с различных ракурсов: где-то вид сверху в изометрии, где-то вид в профиль. Основное внимание уделено изображению цехов и машин в действии, при этом фигуры рабочих, не обязательные на технических чертежах, заметно оживляют картину. Введение людей в изображение необходимо не только для передачи масштаба или заполнения пространства стаффажными фигурками, но и для иллюстрации тех функций, которые выполняли рабочие на производстве. Каждый рабочий является частью некоего всеобщего механизма завода, в чем воплощена свойственная эпохе Просвещения механистическая картина мира. Примечательно в этой связи то, что фигурки людей, по всей вероятности, просто дорисованы (возможно, другими художниками), нежели сами изометрические виды. В разных списках встречаются одни и те же цеха с рабочими и без (ил. 3, 4).

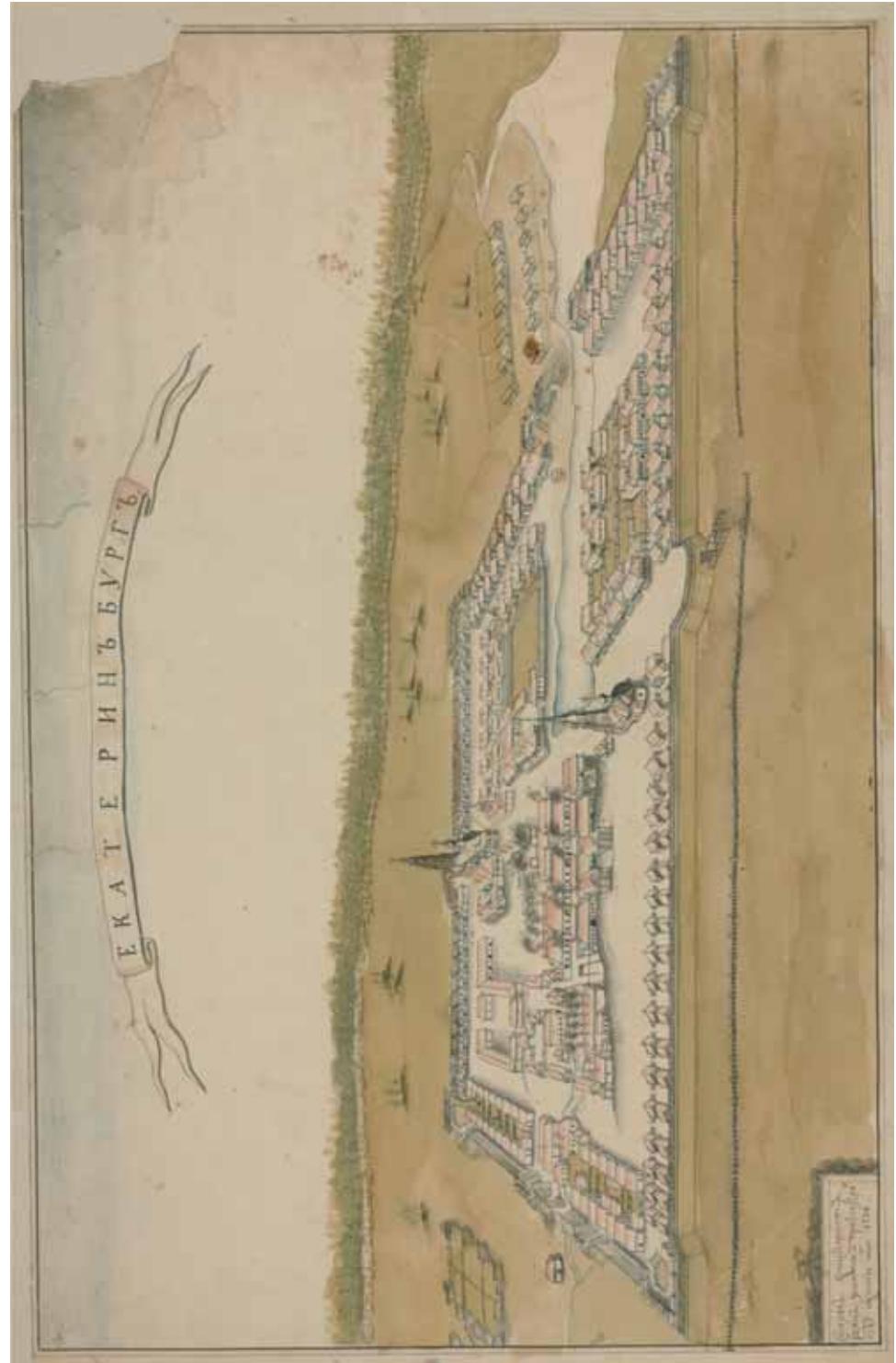
Как уже говорилось выше, в число рисунков в рукописи включены изображения, не имеющие прямого отношения к горному делу, но следующие за текстом. Например, в сцене тушения пожара, где, при всем схематизме и условности, предпринята попытка передать напряжение момента за счет диагонального построения композиции и S-образного расположения на плоскости фигур людей, занятых тушением, хотя общая механистичность сохраняется и на этом рисунке.

Обращает на себя внимание рисунок горы Косьвинский камень, где автор попытался передать общее настроение. Примитивно в виде ломаных стрел изображены молнии, с неба льет дождь, сама гора окружена мистической дымкой. Такие рисунки показывают, что стремление к точности и научности в начале XVIII в. еще сосуществуют с необходимостью передать человеческий эмоциональный опыт и приукрашиванием сухих схем личными впечатлениями.

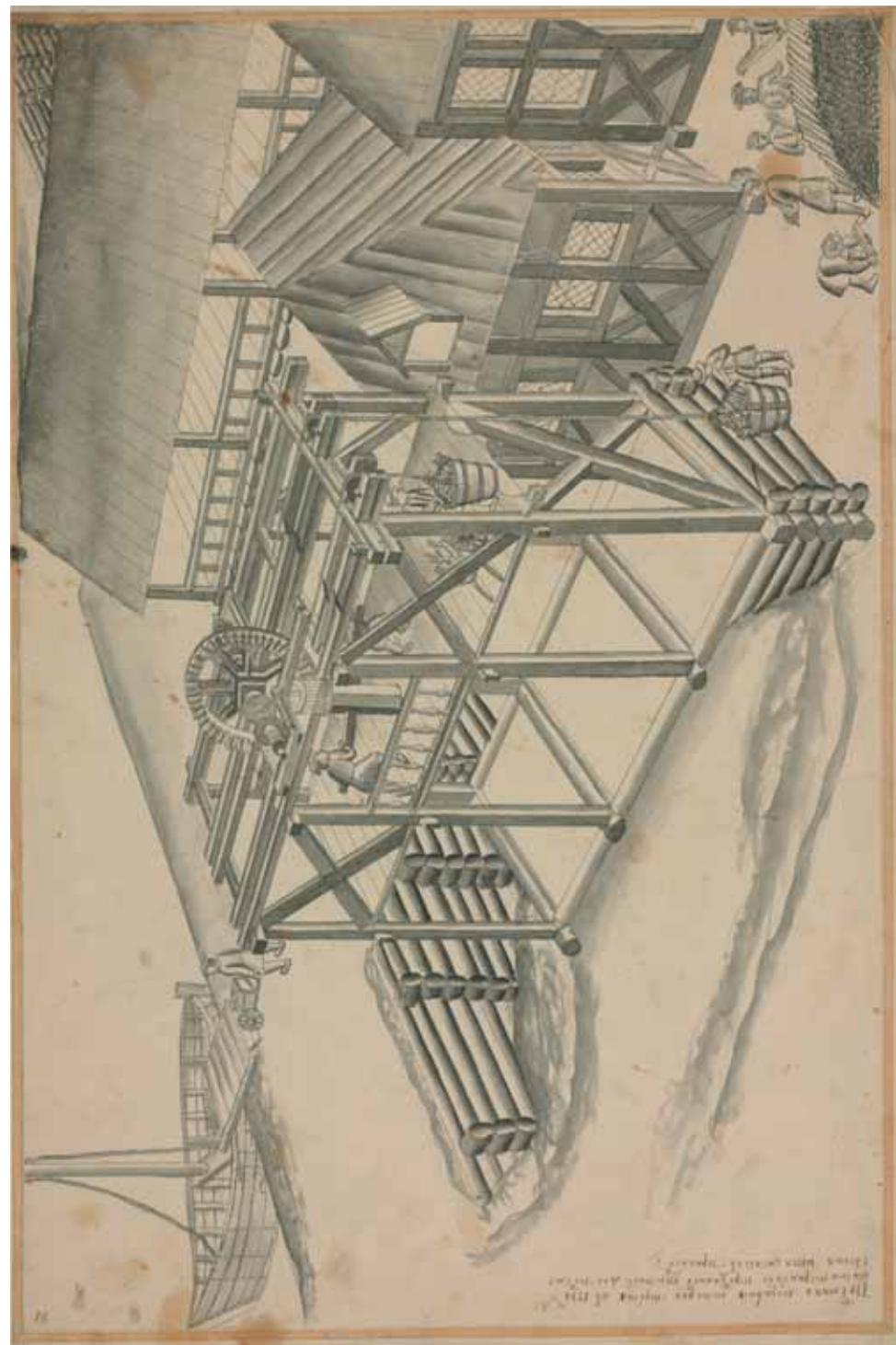
В книгу также вошли изображения, связанные с археологическими увлечениями де Генинина. На одном из рисунков показан «старинный бугор, или могила, каковы имеются между реками Обью и Иртышем около Семипалатинской крепости» [ОР БАН, ф. 10, ед. хр. 11, с. 650] с изображением раскопок. На нескольких листах показаны археологические находки, атрибутируемые скифским и хунно-сарматским периодами, а также относящиеся к южносибирской торевтике, к кругу тагарских древностей, культурам Приуралья [см: Дмитриева, Левашов; Худяков, Борисенко]. Рисунки точно воспроизводят предметы, передана фактура и цвет материала каждого изделия. Они являются важным дополнением книги, которая в своей иллюстративной части оказалась даже полнее материала, изложенного в рукописи.



1. Выходной аллегорический рисунок. 34 × 50,5 (л. 7)

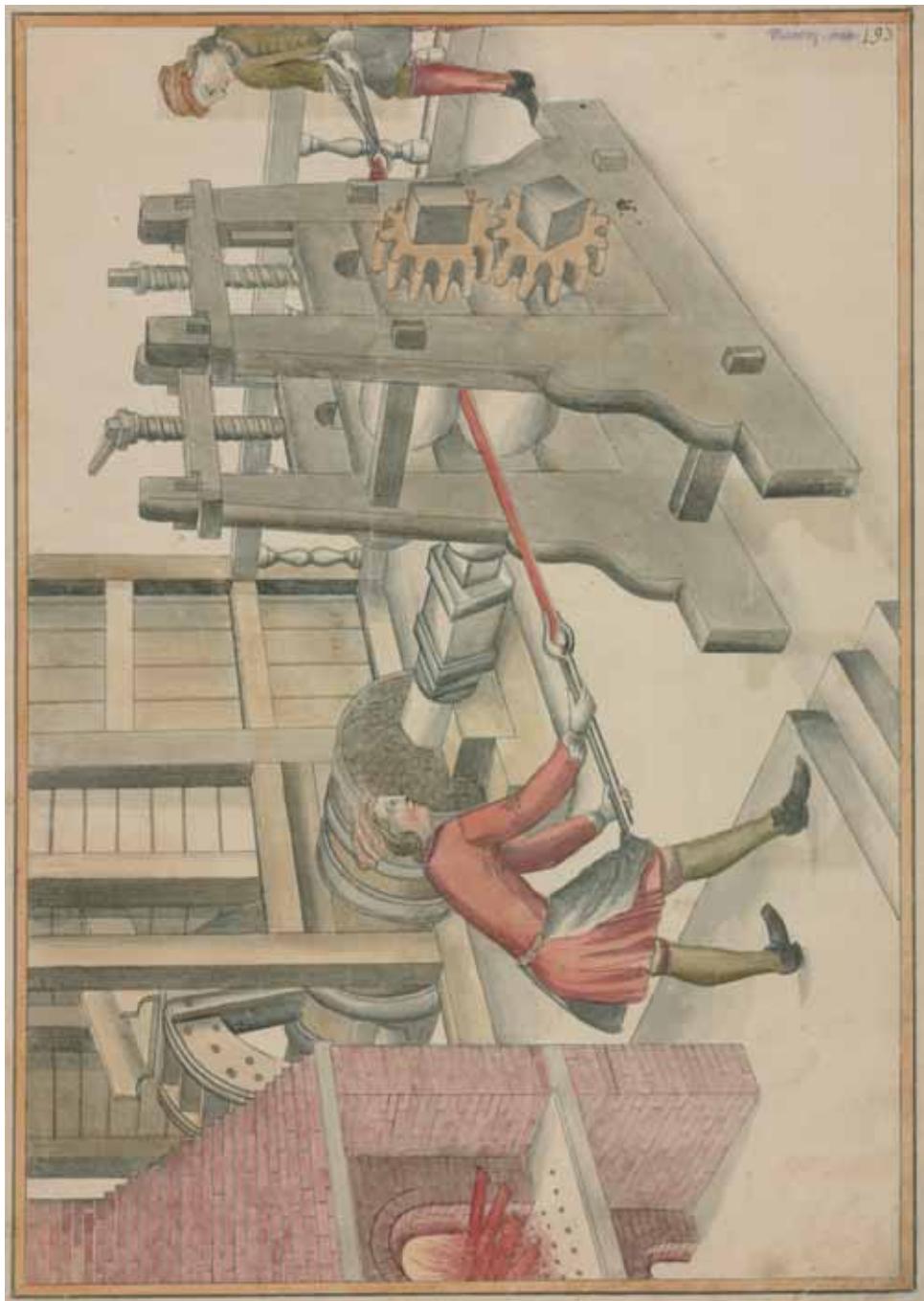


2. Екатеринбург. 34 × 50,5 (л. 8 об.)



3. Подъемная машина. 34 × 50,5 (л. 47)

4. Плющильная машина. 34 × 50,5 (л. 103)



Есть в числе рисунков «Показание како поставляетца урганыя земли владеца Галдан Черина». По всей вероятности, упоминается Галдан Церен, правитель ойратов, населявших Алтай в то время. На двух оборотах подробно отражен быт местного населения с не менее подробным описанием. Примечателен неподписанный рисунок древнего рудника на реке Яйве. Понять, что изображено, довольно просто из-за положения рисунка в тексте и благодаря обозначенной реке Яйве. На рисунке изображена экспедиция в бывший рудник, расположенный на крутых скалах на берегу реки. Видно стремление передать величие местной природы и дать более полное представление об исследовательской деятельности, в которой принимал участие Геннин.

Таким образом, иллюстрации «Описания Уральских и Сибирских заводов» представляют собой важнейший художественный памятник первой половины XVIII в. Особенное значение они имеют для искусства регионального. В иллюстрациях впервые с такой полнотой отражен художественный образ Уральского региона и российской промышленности начала века.

В рисунках, безусловно, отражается мировоззрение их создателей, представления, свойственные эпохе. Уникальность иллюстраций состоит в том, что в них сочетается техническая точность чертежных построений с художественным осмысливанием действительности. Механизмы посредством художественного осмысливания проникают в область искусства, хотя осмысливание эстетики технического объекта произойдет гораздо позднее, но восхищение техническими объектами вполне соответствовало общим воззрениям эпохи Просвещения. В иллюстрациях можно проследить те изменения, что постепенно происходили в художественном языке эпохи, когда от архаичных форм делали шаг навстречу современности.

Другой важнейшей особенностью иллюстраций было то, что в них отразился образ Урала, увиденный не глазами иностранных путешественников, собиравших диковинные впечатления и виды, а жителями самого региона, знаяшими изнутри работу на заводе и жизнь уральской глубинки.

Арх. Санкт-Петербургского института истории РАН. К. 115. [Arkh. Sankt-Peterburgskogo instituta istorii RAN. K. 115.]

Арх. Санкт-Петербургского института истории РАН. Ф. 36. [Arkh. Sankt-Peterburgskogo instituta istorii RAN. F. 36.]

Бакланов Н. Б. Техника металлургического производства XVIII века на Урале. М. ; Л., 1935. 324 с. [Baklanov N. B. Tekhnika metallurgicheskogo proizvodstva XVIII veka na Ura-le. M. ; L., 1935. 324 s.]

Бакланов Н. Б. «Натуралии» Де Геннина как источник по истории техники России // Изв. АН СССР. Л., 1933. С. 307–332. [Baklanov N. B. «Naturalii» De Gennina kak istochnik po istorii tekhniki Rossii // Izv. AN SSSR. L., 1933. C. 307–332.]

Василий Никитич Татищев и Вилим Иванович Геннин на Урале. Екатеринбург, 1999. 24 с. [Vasilij Nikitich Tatischev i Vilim Ivanovich Gennin na Urale. Ekaterinburg, 1999. 24 s.]

Геннин Г. В. де. Генералом-лейтенантом от артиллерии Георгием-Вильгельмом де Геннинным собранные натуралями и минерами камер в сибирских горных и завоцких дистриктах // Арх. Санкт-Петербург. ин-та истории РАН. Ф. 115. Оп. 1. Д. 1160. [Gennin G. V. de. Generalom-lejtenantom ot artillerii Georgiem-Vil'gel'mom de Genninnym sobrannye naturayami

i minerami kamer v sibir-skikh gornykh i zavotskikh distriktakh // Arkh. Sankt-Peterburg. in-ta istorii RAN. F. 115. Op. 1. D. 1160.]

Генин Г. В. де. Описание сибирских заводов// ОР РНБ. Ф. 10. Ед. хр. 11. [Gennin G. V. de. Opisanie sibirskikh zavodov// OR RNB. F. 10. Ed. khr. 11.]

Генин Г. В. де. Описание сибирских казенных и партикулярных заводов// Арх. Санкт-Петербург. ин-та истории РАН. Ф. 115. Оп. 1. Д. 1161. [Gennin G. V. de. Opisanie sibirskikh kazennykh i partikulyarnykh zavodov// Arkh. Sankt-Peterburg. in-ta istorii RAN. F. 115. Op. 1. D. 1161.]

Генин Г. В. де. Описание сибирских пермских и кунгурских горных заводов // Арх. Санкт-Петербург. ин-та истории РАН. Ф. 36. Оп. 1. д. 1317. [Gennin G. V. de. Opisanie sibirskikh permskikh i kungurskikh gornykh zavodov// Arkh. Sankt-Peterburg. in-ta istorii RAN. F. 36. Op. 1. d. 1317.]

Генин В. де. Описание Уральских и Сибирских заводов, 1735 / авт. предисл. М. А. Павлов. М., 1937. 664 с. [Gennin V. de. Opisanie Ural'skikh i Sibirskikh zavodov, 1735 / avt. predisl. M. A. Pavlov. M., 1937. 664 s.]

Генин В. де. Описание Уральских и Сибирских заводов, 1735 / предисл. М. А. Павлова. СПб., 2009. 662 с. [Gennin V. de. Opisanie Ural'skikh i Sibirskikh zavodov, 1735 / predisl. M. A. Pavlova. SPb., 2009. 662 s.]

Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги : учеб. пособие для студентов вузов. М., 2000. 320 с. [Gerchuk Yu. Ya. Istorija grafiki i iskusstva knigi : ucheb. posobie dlya studentov vuzov. M., 2000. 320 s.]

Дмитриева Е. Н., Левашова В. П. Материалы из раскопок сибирских бугровщиков // Сов. археология. 1965. № 2. С. 225–236. [Dmitrieva E. N., Levashova V. P. Materialy iz raskopok sibirskikh bugrovschikov // Sov. arkheologiya. 1965. N 2. S. 225–236.]

История литературы Урала. Конец XIV – XVIII в. / гл. ред. В. В. Блажес, Е. К. Созина. М., 2012. 608 с. [Istoriya literatury Urala. Konets XIV – XVIII v. / gl. red. V. V. Blazhes, E. K. Sozina. M., 2012. 608 s.]

Касинец Э., Коган Е. Вынесенная течением времени» [Электронный ресурс] : История одной рукописи из Нью-Йоркской публичной библиотеки. URL: <http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/6808.php> (дата обращения: 02.04.2012). [Kasinets E., Kogan E. Vynesennaya techeniem vremeni» [Elektronnyj resurs] : Istoriya odnoj rukopisi iz N'yu-Jorkskoj publichnnoj biblioteki. URL: <http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/6808.php> (data obrascheniya: 02.04.2012).]

Лотарева Р. М. Города-заводы России, XVIII – первая половина XIX века. Екатеринбург, 1993. 216 с. [Lotareva R. M. Goroda-zavody Rossii, XVIII – pervaya polovina XIX veka. Ekaterinburg, 1993. 216 s.]

ОР РНБ. Ф. 10. [OR RNB. F. 10.]

Сафронова А. М. Первые школы Екатеринбурга (1724–1734) : к 275-летию основания. Екатеринбург, 2000. 144 с. [Safronova A. M. Pervye shkoly Ekaterinburga (1724–1734) : k 275-letiyu osnovaniya. Ekaterinburg, 2000. 144 s.]

Сафронова А. М. Формы профессиональной подготовки учащихся горнозаводских школ Урала в первой половине XVIII в. // Промышленность Урала в период зарождения и развития капитализма : сб. науч. тр. Свердловск, 1989. С. 71–86. [Safronova A. M. Formy professional'noj podgotovki uchashchikhsya gornozavodskikh shkol Urala v pervoj polovine XVIII v. // Promyshlennost' Urala v period zarozhdeniya i razvitiya kapitalizma : sb. nauch. tr. Sverdlovsk, 1989. S. 71–86.]

Соболева Л. С. Урал XVIII в.: от словесности к литературе // Литература Урала: история и современность : сб. ст. Вып 3 : в 2 т. Екатеринбург, 2007. Т. 1. С. 156–174. [Soboleva L. S. Ural XVIII v.: ot slovesnosti k literature// Literatura Urala: istoriya i sovremennost' : sb. st. Vyp 3 : v 2 t. Ekaterinburg, 2007. T. 1. S. 156–174.]

Соболева Л. С., Соломеина В. Н. Трактат В. де Генина «Описание Уральских и Сибирских заводов, 1735 // История литературы Урала, конец XIV–XVIII в. М., 2012. Ч. 6. Гл. 3. С. 310–325. [Soboleva L. S., Solomeina V. N. Traktat V. de Genina «Opisanie Ural'skikh i

Sibirskikh zavodov, 1735 // Istorya literatury Urala, konets XIV—XVIII v. M., 2012. Ch. 6. Gl. 3. S. 310—325.]

Худяков Ю. С., Борисенко А. Ю. Археологические материалы скифского времени из коллекции Г. В. де Геннина из Прииртышья // Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 1999. С. 226—228. [Khudyakov Yu. S., Borisenko A. Yu. Arkheologicheskie materialy skifskogo vremeni iz kollektii G. V. de Gennina iz Priirtysh'ya // Itogi izucheniya skifskoj epokhi Altaya i sopredel'nykh territorij. Barnaul, 1999. S. 226—228.]

Шандра А. В. Административная и организаторская деятельность В. И. Геннина. Екатеринбург, 2004. 216 с. [Shandra A. V. Administrativnaya i organizatorskaya deyatel'nost' V. I. Gennina. Ekaterinburg, 2004. 216 s.]

Шллаттер И. Обстоятельное описание рудного плавильного дела : в 5 т. СПб., 1763—1784. [Shlatter I. Obstoyat'noe opisanie rudnogo plavil'nogo dela : v 5 t. SPb., 1763—1784.]

Якимов К. В. Портрет неведомой земли. Урал на картах и рисунках путешественников от древности до середины XIX века // Образ Урала в изобразительном искусстве / сост. Е. П. Алексеев. Екатеринбург, 2008. С. 25—48. [Yakimov K. V. Portret nevedomoj zemli. Ural na kartakh i risunkakh putestvennikov ot drevnosti do serediny XIX veka// Obraz Urala v izobrazitel'nom iskusstve / sost. E. P. Alekseev. Ekaterinburg, 2008. C. 25—48.]

Ballon H., Friedman D. Portraying the City in Early Modern Europe: Measurement, Representation, and Planning// The History of Cartography. Vol. 3 : Cartography in the European Renaissance. Pt. 1. Chicago, 2007. P. 687—696.

Ercker, L. Aula Subterranea [Electronic resource]. URL: <http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHO/docViewfull?url=/mpiwg/online/permanent/library/TFE6E98/pageimg&tocMode=thumbs&pn=5&mode=imagepath&start=1> (дата обращения: 02.04.2012).

Статья поступила в редакцию 12.11.2012 г.

УДК 7.046.3:27-312.47 + 27-277

Н. Л. Панина

ЛИЦЕВЫЕ СПИСКОВ КНИГИ О ИКОНЕ БОГОМАТЕРИ ОДИГИТРИИ ТИХВИНСКОЙ*

Дается краткая характеристика введенных в научный оборот лицевых списков Книги о иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской XVII — XIX вв., рассматривается вопрос о соотношении основных литературных редакций и изобразительного ряда. Разграничиваются полные и краткие варианты литературных редакций.

Ключевые слова: Тихвинская икона Богоматери; изобразительный ряд; Родион Сергиев; Симеон Погоцкий.

Лицевые сказания о чудотворных иконах занимают важное место в православной рукописной традиции. Тихвинская икона Богоматери «Одигитрия» входит в число таких икон и, помимо обширной литературной традиции, имеет развитую иконографию. С середины XVII в. к клеймам икон добавляются

* Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Соглашение № 14.B37.21.0532 (РГНФ), грант 13-04-00052а.

миниатюры лицевых рукописей, происходит оформление изобразительного ряда Сказаний о Тихвинской иконе в лицевое повествование Книги об иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской¹.

Текст предания о явлении иконы впервые был записан в конце XV в., наиболее ранние списки Сказания датируются XVI в. Текст Сказания был включен под 1383 г. в официальные летописи. На протяжении XVI–XVII вв. Сказание неоднократно перерабатывалось и дополнялось новыми сведениями. В первой половине XVI в. происходит отождествление Тихвинской иконы с константинопольской иконой Богоматери Одигитрии, исчезнувшей из столицы Византии. События Смутного времени и осады Тихвинского монастыря шведами в 1613 г. нашли отражение в воинской повести, которая затем была включена в состав летописи. Позднейшая распространенная редакция Сказания представляет описание осады Тихвинского Успенского монастыря на широком историческом фоне эпохи Смутного времени. Отдельные Сказания были составлены о пожаре в монастыре в 1623 г. и о поновлении иконы в 1636 г. игуменом Герасимом Кремлевым. С 1642 г. известна Повесть о начале иконописания, рассказывающая об истории иконы Богоматери Одигитрии до появления ее на Руси. Также к XVII в. относится служба явлению иконы. В середине XVII в. был создан иллюстрированный компилиативный свод, объединивший существовавшие к тому времени произведения и получивший название Книги об иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской, а в 1671 г. появилась его новая редакция. В XVIII–XIX вв. Книга неоднократно копировалась, часто с миниатюрами, в одной из этих двух редакций либо в их компиляциях.

Создание Книги об иконе Тихвинской как свода всех известных сюжетных повествований о знаменитой Одигитрии изначально с миниатюрами не вызывает сомнения и устойчиво атрибутируется известному иконописцу Тихвинского Успенского монастыря Родиону (Иродиону) Сергиеву (ок. 1615–1690) [Шалина]. Он считается не только создателем первоначальной полной редакции изобразительного ряда, но и автором собственно литературной компиляции [см. об этом: Филарет (Гумилевский), т. 2, № 217; Венгеров, т. 2, с. 503].

В последней трети XVII в. Книга в редакции Родиона Сергиева подвергается литературно-композиционной переработке известнейшим придворным поэтом-богословом своего времени Симеоном Полоцким (1629–1680), младшим современником Родиона Сергиева. Литературные опыты С. Полоцкого развивались в русле поэтики барокко, но при этом он активно работал с древнерусской литературной и иконографической традицией. К концу жизни Симеон Полоцкий стал первым в России редактором и издателем собственных сочинений, организовав «независимую» типографию в Кремле, которая не была подконтрольна Печатному двору и патриарху. Но и ранее он интересовался вопросами печати [см.: Гусева]. Возможно, одной из его задач была подготовка к изданию Книги о Тихвинской иконе Богоматери в числе других

¹ Рассматриваются только списки, в которых большинство глав сопровождается миниатюрами. О других типах поздних повествований о Тихвинской иконе, содержащих от одной до нескольких миниатюр, см: [Серебрякова, с. 268–273].

важных для утверждения православия и обоснования существования «оплотов» российской государственности текстов. Миниатюры родионовской редакции, очевидно, были или неизвестны Симеону Полоцкому, или проигнорированы им как не укладывающиеся в формат печатного издания. Изображения в списках симеоновской редакции скорее всего являются адаптацией изобразительного ряда редакции Родиона Сергиева.

Лицевые списки Книги о Тихвинской иконе Богоматери хранятся в библиотеках и архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Новосибирска и других городов. Здесь они представлены в хронологической последовательности, с учетом времени создания и редакции.

- XVII в. представлен четырьмя списками:

[I] РГБ. Собр. Егорова. № 885. 2⁰. Датируется 1680 г. [см.: Мильчик, с. 254]. Рукопись написана скорописью XVII в. на 24 листах, содержит цикл глав о явлении иконы и полный цикл миниатюр, соответствующих «Сказанию о явлении Тихвинской иконы». Представлен законченный цикл явлений иконы, которым открывается изобразительный ряд Книги об иконе Тихвинской. Иконография этого цикла устойчива в Книгах всех редакций, она сохраняется практически без изменений даже в самых поздних памятниках. Текст написан на лицевой стороне листа, миниатюра помещается на обороте предыдущего листа. Миниатюры по составу сюжетов повторяют клейма четырехчастных икон Богоматери Тихвинской в деяниях XVII в., атрибутируемых Родиону Сергиеву [Там же].

[III] РГАДА. Собр. Оболенского. № 112. 4⁰. Датируется концом XVII в. [Там же, с. 244, 254]. Рукопись написана скорописью XVII в. на 255 листах. Текст сопровождается 45 миниатюрами, орнаментальным фронтисписом и заставкой.

[III] ГАТО. Ф. 1409. Д. 1029. 4⁰. Датируется XVII в. [Там же, с. 254; см. также: Цветкова; Поздеева]. Рукопись написана полууставом на 224 листах. Текст сопровождается 40 миниатюрами, одной заставкой старопечатного орнамента с изображением десуса (для второй оставлено место) и тремя концовками, красными инициалами с растительными побегами (ими открываются главы). Миниатюры выполнены одним мастером в стиле очеркового рисунка.

[IV] ГИМ. Собр. Уварова. № 804 (1259). 4⁰. Датируется концом XVII в. [Леонид (Кавелин), с. 506–507; Серебрякова, с. 262]. Рукопись написана скорописью XVII в. на 424 листах. В рукописи насчитывается 109 миниатюр. Текст написан на лицевой стороне листа, миниатюра помещается на обороте предыдущего листа. В миниатюрах рукописи различимы порядка десяти разных рук. Смена почерка в подписях под миниатюрами и варьирование в подписях некоторых выражений, в частности «Богородичны иконы» или «иконы Божия Матере», совпадает со сменой рук в исполнении миниатюр.

- XVIII в. представлен одиннадцатью² списками:

[V] БАН. Собр. Бурцева. № 20. F. 1.5.92 2⁰. Датирована второй четвертью XVIII в. [Бубнов и др., с. 188–201], написана скорописью на 226 листах, насчитывает 95 миниатюр.

[VI] РНБ. F. I. 731. 1⁰. Датируется серединой XVIII в. [Книга, с. 13; Бычков, № 29, с. 64–65]. Рукопись написана полууставом на 248 листах, насчитывает 43 миниатюры. Под каждой миниатюрой проставлен ее порядковый номер. внизу лл. 2–33 идет запись владения книгой, датированная мартом 1747 г.

[VII] НБГЭ. № 246400. рк 1.15. 1⁰. Датируется 1761–1762 гг. [Емельянова, с. 57], написана на 250 листах полууставом одного почерка черными чернилами в один столбец, заглавия написаны красными чернилами вязью и полууставом. Насчитывается 123 миниатюры, три орнаментальные заставки, присутствует иерархия инициалов. Рукопись в целом и каждая миниатюра в отдельности оформлены роскошно.

[VIII] РНБ. Собр. Вяземского. F. 63. 1⁰. Датирована XVIII в. [Описание, с. 80–82; Книга, с. 13], написана на 80 листах мелким полууставом. Три миниатюры выполнены в виде рисунка, первая раскрашена, оставлены пустые рамки еще для тридцати миниатюр.

[IX] РНБ. Собр. Титова. № 205.3. 1⁰. Датируется третьей четвертью XVIII в. [Титов, № 1129, с. 425–427]. Рукопись написана полууставом на 215 листах, в ней 124 миниатюры.

[X] РНБ. Собр. ОЛДП. F. 38. 1⁰. Написана на 189 листах полууставом одного почерка, черными чернилами. Заглавия, инициалы разных уровней иерархии, номера глав на боковых полях написаны красной краской. Рукопись датируется 80-ми гг. XVIII в., предположительным местом ее изготовления является Тихвин [Книга, с. 14].

[XI] РГАДА. Собр. Мазурина. № 1709. 1⁰. Датируется второй половиной XVIII в. [Мильчик, с. 244]. Графическая манера миниатюр, близкая рукописям БАН, заставка с изображениями свв. Зосимы и Савватия заставляет предположить связь этой рукописи с центрами старообрядчества, близкими к Соловецкому монастырю. Рукопись написана крупным полууставом на 224 листах. Возможно, рисунки выполнены тем же художником, что и миниатюры следующего списка, Барсова 905, но раскраска их более грубая. Подписи под миниатюрами во многих случаях затерты и написаны заново.

[XII] ГИМ. Собр. Барсова. № 905. 1⁰. Датируется второй половиной XVIII в. [Серебрякова, с. 262]. Рукопись содержит 95 миниатюр, написана полууставом одного почерка, все миниатюры выполнены одной рукой. Ми-

² Кроме перечисленных, существует также список 80-х гг. XVIII в., хранящийся в музее-заповеднике Сергиева Посада [см.: Спирина].

ниатюры следуют сразу за текстом предыдущей главы — в верхней части, в середине или в самом низу листа.

[XIII] ГИМ. Собр. Барсова. № 2786. 4⁰. Представляет собой фрагмент Книги состоит всего лишь из четырех листов, но он является очень важным среди рукописей XVIII в., так как содержание фрагмента и особенности письма — поморского полуустава — позволяют определить его происхождение из выголексинской книжной мастерской [Серебрякова, с. 264]. Четыре листа представляют гл. 44—47 «Сказания об осаде». Миниатюры здесь тоньше и изящнее, чем в рукописи Барсова 905, но также выполнены в виде подцвеченного чернильного рисунка.

[XIV] ГИМ. Музейское собр. № 739. 1⁰. Датируется 60-ми гг. XVIII в. [Там же]. Написанная в лист крупным полууставом, она содержит 133 миниатюры. Миниатюры следуют традициям XVII в., но цвета их слишком яркие. Небольшие, в половину или в треть листа, они очерчены рамкой. Заставки, заглавия выполнены черными чернилами с имитацией старопечатного орнамента.

[XV] ГИМ. Собр. Щукина. № 449. 1⁰. Датируется 90-ми гг. XVIII в. и происходит из Тихвина [Там же]. Рукопись написана в лист крупным торжественным искусственным полууставом, насчитывает 125 глав и 123 миниатюры. Композиция миниатюр близка к схемам XVII в., различимы два стиля исполнения. Тонкий рисунок пером слегка подцвечен голубоватыми и розоватыми тонами в сценах явления иконы, а в миниатюрах «Сказания об осаде» рисунок становится жестче, раскраска гуще и пестрее.

- XIX в. представлен одним³ списком:

[XVI] ГПНТБ СО РАН. Собр. Тихомирова. № 26. 1⁰. (в собрание М. Н. Тихомирова попала из коллекции известного библиофила В. Ф. Груздева [Дергачева-Скоп, табл. 1]). По филиграням бумаги была датирована 1780—1784 гг. [Тихомиров, с. 25], что противоречит принципам исполнения изобразительного ряда. Бумага данного вида имела хождение в начале XIX в. Рукопись написана на 238 листах, содержит 135 миниатюр.

Перечисленные рукописи относятся к двум основным редакциям Книги об иконе Тихвинской: Родиона Сергиева (Родионовская) 1658 г. и Симеона Полоцкого (Симеоновская) 1671 г., а также к их сокращенным вариантам и компиляциям. Рукописи XVII в. сохранились только в более поздней редакции. Рукописи XVIII в. дошли до нас как в наиболее ранней редакции, так и в редакции Симеона Полоцкого, а также в компилятивной, наиболее поздней редакции.

К редакции Родиона Сергиева относится список XVIII в. [Х]. На основании близости состава сюжетов миниатюр к клеймам икон этого мастера можно

³ Так же существует лицевая рукопись XIX в., хранящаяся в библиотеке Хельсинкского университета и упоминаемая А. Яаскинен [Jaaskinen, p. 4]

отнести к его редакции также список XVII в. [I]. Краткий вариант этой редакции представлен списком XVIII в. [VIII]. К редакции Симеона Погоцкого полной относятся список XVII в. [II], списки XVIII в. [XI], [XII], [V]. К редакции Симеона Погоцкого краткой относятся списки XVII в. [IV] и [III]. Варианты компиляций представлены списками XVIII в. [IX], [VI], [XIV], [VII] и компилиативной редакцией по списку XVIII в. [XV] и списку начала XIX в. [XVI].

Фрагмент выговской рукописи [XIII] локализуется в Родионовской редакции, но мог быть и частью компиляции, в том числе особой выговской редакции Книги, в настоящее время известной по списку с одной выходной миниатюрой⁴.

Редакция Родиона Сергиева полная насчитывает 122 главы и включает «Служба явлению Тихвинской иконы Богоматери» (гл. 1); «Повесть об иконном изображении» (гл. 2); далее с главы «О пречестном изображении» следует «Сказание о явлении иконы и основании церквей и монастырей» (гл. 3–24). Гл. 22–23 содержат рассказ об истории Тихвинской иконы как иконы Влахернской Богоматери. Далее следует «Сказание об осаде Тихвинского Успенского монастыря шведами в 1613 г.» (гл. 25–67). Гла. 68 содержит рассказ о пожаре в Успенском монастыре 1623 г. и пророчество о нем Макария Унженского, за которым следует «Сказание о поновлении Тихвинской иконы игуменом Успенского монастыря Герасимом Кремлевым» (гл. 69). Редакция завершается циклами старых и новых чудес от иконы.

Редакция Родиона Сергиева краткая по списку [VIII] открывается «Повестью об иконном изображении», разделенной на «Предисловие» и «Сказание о начертании образа Богоматери». Далее следует «Сказание о пречестном изображении» и «Сказание о явлении иконы и основании церквей и монастырей» (гл. 3–24), за которым сразу идет «Сказание об осаде Тихвинского Успенского монастыря шведами в 1613 г.» (гл. 25–67). Редакция завершается рассказом о пожаре 1623 г., без всяких упоминаний о явлении и пророчестве Макария Унженского, с которых начинается эта глава во всех остальных рассмотренных здесь списках.

В редакции Симеона Погоцкого полной «Службу явлению иконы» не входит в число нумеруемых глав, так же как «Предисловие» и «Стихотворная похвала Богоматери». Как первая отмечается глава «О пречестном изображении чудотворных иконы Богоматери», за которой следует цикл глав о явлении иконы и основании церквей и монастырей (гл. 2–21). Отсутствуют главы об устройении Николо-Беседного монастыря. Гл. 18–20 содержат рассказ об истории Тихвинской иконы как иконы Влахернской Богоматери и историю Владимирской иконы как Лидской и позже Римской иконы Богоматери. Гл. 22–55 содержат цикл «старых» чудес от Тихвинской иконы, произошед-

⁴ БАН. Собр. Дружинина. 54 (78). Рукопись конца XVIII в. [Братчикова, с. 106]. Присутствие чуда о принесении в Успенский монастырь списка с Владимирской иконы Богоматери указывает на работу авторов с редакцией Симеона Погоцкого и позволяет отнести этот список к компиляциям с небольшой долей включений Симеоновской редакции.

ших до осады монастыря. Далее следует «Сказание об осаде Тихвинского Успенского монастыря шведами в 1613 г.» (гл. 56–69). За рассказом о пророчестве Макария Унженского (гл. 70) следует цикл «новых» чудес, произошедших после победы над шведами.

Редакция Симеона Полоцкого краткая до гл. 30 соответствует полному варианту. Гл. 22–30 содержат начало цикла старых чудес. Далее следует «Сказание об осаде Тихвинского Успенского монастыря шведами в 1613 г.» (гл. 31–44). Гл. 44 о заключении Столбовского мира является последней в этом варианте редакции.

Компилиативная редакция по спискам [XIV] и [XVI] «Предисловия» Симеона Полоцкого, за которым следует «Стихотворная похвала Богоматери». Далее помещаются «Службы иконе Богоматери Одигитрии и явлению Тихвинской иконы» и «Слово на день праздника явления Тихвинской иконы». Затем «Повесть об иконном изображении». Цикл глав о явлении иконы включает главы об устроении Николо-Беседного монастыря. За ним следуют «Сказание об осаде Тихвинского Успенского монастыря шведами» в редакции Родиона Сергиева, «Сказание о пожаре 1623 г. и о пророчестве Макария Унженского», «Сказание о поновлении Тихвинской иконы» игуменом Герасимом. Редакция завершается объединенным циклом старых и новых чудес от Тихвинской иконы.

В компиляции [VII] оглавление рукописи содержит 122 главы, составляющие редакцию Родиона Сергиева, однако «Сказание об осаде монастыря» дается в редакции Симеона Полоцкого, возможно, по ошибке, так как дополнительные главы «Сказания» по редакции Родиона Сергиева добавлены в конце рукописи.

В компиляции [IX] открывается «Службой иконе Богоматери Тихвинской», далее следуют «Предисловие» и стихотворная похвала Симеона Полоцкого, за которыми полностью воспроизводится редакция Родиона Сергиева. Завершает компиляцию глава из цикла новых чудес редакции Симеона Полоцкого о принесении списка с иконой Богоматери Владимирской в Тихвинский Успенский монастырь.

Компиляция с небольшой долей включений из редакции Симеона Полоцкого по спискам [XV] и [VII] представляет собой добавление симеоновского «Предисловия» к корпусу из 122 глав редакции Родиона Сергиева.

Расположение циклов новых и старых чудес Тихвинской иконы Богоматери является наиболее ярким типологическим отличием родионовской и симеоновской редакций. В редакции Родиона Сергиева в конце сборника помещены цикл старых чудес, затем цикл чудес новых. В редакции Симеона Полоцкого эти циклы разделены, старые чудеса помещены в середине, а новые — в конце сборника.

Вопросы авторства редакций и отдельных текстов нельзя считать окончательно решенными, тем не менее они представляются достаточно разработанными, чтобы послужить базой для изучения динамики текстуальных и изобразительных средств представления чудотворной иконы.

Братчикова Е. К. Выговская редакция Сказания о иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской (список из собрания В. Г. Дружинина) // Памяти Василия Григорьевича Дружинина (1869–1936) : материалы научных чтений, 10 августа 2010 г. СПб., 2010. С. 102–114. [Bratchikova E. K. Vygovskaya redakciya Skazaniya o ikone Bogomateri Odigitrii Tihvinskoy (spisok iz sobraniya V. G. Druzhinina) // Pamyati Vasiliya Grigor'evitcha Druzhinina (1869–1936) : materialy nautchnyh tchtenij, 10 avgusta 2010 g. SPb., 2004. S. 102–114.]

Бубнов Н. Ю., Братчикова Е. К., Подковырова В. Г. Лицевые старообрядческие рукописи XVIII – первой половины XX века. СПб., 2010. 672 с. [Bubnov N. Yu., Bratchikova E. K., Podkovyurova V. G. Licevye staroobryadtcheskie rukopisi XVIII – pervoj poloviny XX veka. SPb., 2010. 672 s.]

Бычков И. А. Каталог собрания рукописей Ф. И. Буслаева, ныне принадлежащих Императорской Публичной библиотеке. СПб., 1897. 359 с. [Bytchkov I. A. Katalog sobraniya rukopisej F. I. Buslaeva, nynje prinadlezhashih Imperatorskoj Publitchnoj biblioteke. SPb., 1897. 359 s.]

Венгеров С. А. Источники словаря русских писателей : в 4 т. СПб. (Пг.), 1900–1917. [Vengerov S. A. Istotchniki slovarya russkih pisatelej : v 4 t. SPb. (Pg.), 1900–1917.]

Вера и книга древней Твери, XIV–XVII вв. : путеводитель по выставке / Тверской государственный объединенный музей, Государственный архив Тверской области, Тверской государственный университет; авт.-сост. И. В. Поздеева. Тверь, 2000. 29 с. [Vera i kniga drevnej Tveri, XIV–XVII vv. : putevoditel' po vystavke / Tverskoj gosudarstvennyj ob'edinennyj muzej, Gosudarstvennyj arhiv Tverskoj oblasti, Tverskoj gosudarstvennyj universitet ; avt.-sost. I. V. Pozdeeva. Tver', 2000. 29 s.]

Гусева А. А. Оформление изданий Симеона Полоцкого в Верхней типографии (1679–1683) // ТОДРЛ. 1985. Т. 38. С. 457–475. [Guseva A. A. Oformlenie izdanij Simeona Polockogo v Verhnej tipografii (1679–1683) // TODRL. 1985. T. 38. S. 457–475.]

Дергачева-Скоп Е. И. Некоторые вопросы локализации рукописей. Коллекция В. Ф. Груздева в собрании М. Н. Тихомирова // Сибирское собрание М. Н. Тихомирова и проблемы археографии. Новосибирск, 1981. С. 37–46. [Dergatcheva-Skop E. I. Nekotorye voprosy lokalizacii rukopisej. Kolleksiya V. F. Gruzdeva v sobranii M. N. Tihomirova // Sibirskoe sobranie M. N. Tihomirova i problemy arheografii. Novosibirsk, 1981. S. 37–46.]

Емельянова Е. А. Рукопись «Сказания о иконе Тихвинской Богоматери» // Книжные памятники. Авторы, издатели, владельцы : сб. науч. ст. / Гос. Эрмитаж ; науч. ред. Г. В. Вильинбахов. СПб., 2004. С. 57–64. [Emel'yanova E. A. Rukopis' «Skazaniya o ikone Tihvinskoy Bogomateri» // Knizhnye pamiatniki. Avtory, izdateli, vladel'cy: sb. nautch. st. / Gos. Ermitazh ; nautch. red. G. V. Vilinbahov. SPb., 2004. S. 57–64.]

Книга об иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской / предисл., пер., comment. Е. В. Крушинецкой. СПб., 2004. 256 с. : ил. [Kniga ob ikone Bogomateri Odigitrii Tihvinskoy / predisl., per., comment. E. V. Krushel'nitskoj. SPb., 2004. 256 s. : il.]

Леонид (Кавелин), архим. Систематическое описание славяно-русских рукописей собрания графа Уварова : в 4 ч. М., 1893 – 1894. [Leonid (Kavelin), arhim. Sistematischeskoe opisanie slavyano-russkih rukopisej sobraniya grafa Uvarova : v 4 tch. M., 1893 – 1894.]

Мильчик М. И. Успенский монастырь на миниатюрах рукописей «Сказания о Тихвинской иконе Богоматери» // Памятники культуры. Новые открытия. Л., 1980. С. 241–255. [Mil'tchik M. I. Uspenskij monastyr' na miniatyurah rukopisej «Skazaniya o Tihvinskoy ikone Bogomateri» // Pamyatniki kul'tury. Novye otkrytiya. L., 1980. S. 241–255.]

Описание рукописей князя Павла Вяземского. СПб., 1902. [Opisanie rukopisej knyazya Pavla Vyzemskogo. SPb., 1902.]

Серебрякова Е. И. К вопросу о типах лицевых рукописных «Книг о Тихвинской иконе Богоматери» XVII–XVIII вв. // Тр. Гос. ист. музея. 2003. Вып. 136. С. 257–275. [Serebryakova E. I. K voprosu o tipah licevyh rukopisnyh «Knig o Tihvinskoy ikone Bogomateri» XVII–XVIII vv. // Trudy Gos. istoriemeskogo muzeya. 2003. Vyp. 136. S. 257–275.]

Спирина Л. М. Лицевая рукопись «Сказание об иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской» из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника // Христианская символика :

материалы XVI Рос. науч. конф. памяти свт. Макария : посвящ. 600-летию Можайского Лужецкого Богородице-Рождественского Ферапонтова монастыря. Можайск, 2009. С. 413–434. [Spirina L. M. Licevaya rukopis' «Skazanie ob ikone Bogomateri Odigitrii Tihvinskoy» iz sobraniya Sergievo-Posadskogo muzeya-zapovednika // Hristianskaya simvolika: materialy XVI Rossijskoj nautch. konf. pamyati svt. Makariya : posvyasch. 600-letiyu Mozhajskogo Luzheckogo Bogorodice-Rozhdestvenskogo Ferapontova monastyrja. Mozhajsk, 2009. S. 413–434.]

Титов А. А. Описание славяно–русских рукописей, находящихся в собрании чл.-корр. Императорского Общества любителей древней письменности А. А. Титова : в 6 т. СПб., 1893–1913. [Titov A. A. Opisanie slavyano-russkih rukopisej, nahodyashihsy v sobranii tchl.-korr. Imperatorskogo Obshestva lyubitelej drevnej pis'mennosti A. A. Titova : v 6 t. SPb., 1893–1913.]

Тихомиров М. Н. Описание Тихомировского собрания рукописей. М., 1968. 196 с. [Tikhomirov M. N. Opisanie Tihomirovskogo sobraniya rukopisej. M., 1968. 196 s.]

Филарет (Гумилевский), арх. Обзор русской духовной литературы : в 2 т. Харьков, 1859–1861. [Filaret (Gumilevskij), arh. Obzor russkoj duhovnoj literatury : v 2 t. Har'kov, 1859–1861.]

Цветкова Т.В. Собрание Гос. Архива Тверской области // Тверская старина. 1994. № 1/2 (6/7). С. 126–128. [Tsvetkova T.V. Sobranie Gos. Arhiva Tverskoj oblasti // Tverskaya starina. 1994. № 1/2 (6/7). S. 126–128.]

Шалина И. А. Сергиев Родион // Словарь русских иконописцев XI–XVII вв. М., 2003. С. 609–616. [Shalina I. A. Sergiev Rodion // Slovar' russkih ikonopistsev XI–XVII vv. M., 2003. S. 609–616.]

Jaaskinen A. The icon of the Virgin of Tikhvin : a study of the Tikhvin monastery palladium in the Hodegetria tradition. Suomen Kirkkohistoriallisent Seuran Toimituksia, 1976. 120 p.

Статья поступила в редакцию 21.06.2013 г.

УДК 791.622 + 7.097 + 792 + 7.03 + 366.63

К. К. Огнев

БУДУЩЕЕ ЭКРАННЫХ ИСКУССТВ: ОТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ

Рассматриваются вопросы эволюции экранных искусств, прежде всего кинематографа, изменение вектора их развития в условиях ускоряющегося научно-технического прогресса, внедрения цифровых технологий.

Ключевые слова: кинематограф; телевидение; театр; литература; искусство; инновационные технологии; массовая культура; глобализация.

Одним из аспектов, дающих богатейший материал для исследований, является история культуры и искусств цивилизаций, так как искусство не существует вне аудитории, а аудитория и есть то главное, что создает портрет человечества на том или ином этапе его развития.

В этом смысле индустриальное общество является собой уникальное явление: имея в своей основе научно-технический прогресс, оно породило сначала фотографию, сделавшую возможным получение видимого изображения

объектов, а затем и кинематограф с его способностью «мумифицировать» движение.

Как точно отмечает М. Жабский, «если “ожившая фотография”, поразив обывателя, явилась первым стимулом, который вызвал к жизни феномен массовости кино, то массовость, в свою очередь, была тем первым социальным свойством кинематографа, которое озадачило социальные институты...» [Жабский, с. 20].

Избрав в качестве отправной точки «кинематограф» Люмьера, а не «кинетоскоп» Эдисона [см. подробнее: Вопросы киноискусства, с. 151–180], и мастера, и теоретики кино позиционировали его как визуальное искусство нового поколения. И на протяжении XX в. именно искусствоведческая составляющая была определяющей при анализе произведений киноискусства. При этом классическое киноведение вскользь упоминало о противоречиях внутри самого кинематографа¹, делая акцент именно на генеральную линию его развития. Подобный подход был справедлив в рамках истории цивилизаций, где искусство как вид духовного творчества и часть культуры народа, с помощью которого производится духовное освоение окружающей действительности и ее творческое преобразование по законам красоты, занимало особое место.

Динамика научно-технического прогресса на определенном этапе вернула к жизни «кинетоскоп» Эдисона, принципы работы которого легли в основу телевидения. Примечательно, что интенсивное развитие цифрового телевидения исторически совпало с процессом становления постиндустриального общества, принципиальное отличие которого от индустриального определило вектор развития культуры и искусств, прежде всего затронув их визуальную², точнее, экранную составляющую.

Это потребовало иных оценочных параметров, отличных от принятых в классическом искусствоведении. И если в первые десятилетия становления ТВ искусствоведение подчеркивало его вторичность по отношению к кинематографу, то к началу XXI в. исследователи экранной культуры закономерно пришли к поиску общности, анализу процессов взаимосвязи и взаимовлияния не только кинематографа и телевидения, но и всех составляющих медиа, активно использующих инновационные технологии.

Собственно, если обратиться к истории, то и кинематограф, в основе появления которого лежали достижения научно-технического прогресса, на раннем этапе своего развития и в своей эстетике, и в своем художественном самоопределении находился в зависимости от родовых, жанровых и стилистических форм традиционных искусств: например, в области сюжета зависел от литературы,

¹ Мы имеем в виду, во-первых, две важнейшие составляющие нового искусства — игровое и неигровое; во-вторых, непрекращающийся спор между представителями игрового, неигрового и анимационного кино за право считаться родоначальниками кинематографа (*здесь и далее примеч. автора*).

² Несмотря на активное использование в классическом киноведении термина «визуальное искусство», мы вынуждены напомнить, что в английской, скажем, транскрипции одно из значений сочетания «visual art» означает «изобразительное искусство».

туры, в области режиссуры — от театра и т. д. Из транслятора и визуального пересказчика в создателя и первооткрывателя, обладающего собственным предметом и самостоятельной формой в качестве основоположника экранных искусств, кинематограф превратился в полной мере лишь к середине 1920-х гг., хотя приход звука вновь обострил дискуссию вокруг вторичности и своеобразия нового искусства. Но и тогда, и в последующие десятилетия исследователи так и не нашли однозначного ответа на вопрос, в чем суть родовых признаков кинематографа как искусства: в его синтетической или фотографической природе?

Данная антитеза теряет свой смысл, если задуматься об одной из важнейших составляющих искусства как понятия. Л. Н. Толстой в своем трактате «Что такое искусство» писал: «Вызвать в себе раз испытанное чувство и, вызвав его в себе, посредством движений, линий, красок, звуков, образов, выраженных словами, передать это чувство так, чтобы другие испытали то же чувство, — в этом состоит деятельность искусства. Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, чтобы один человек сознательно известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их» [Толстой, т. 15, с. 87]. Таким образом, какие бы художественные приемы (или технические открытия), будь то основанные на линии Мельеса или линии братьев Люмьер, ни лежали в основе экранных произведений, главной их задачей, как и задачей произведений других видов искусства, является взаимодействие со зрителем, слушателем, читателем, т. е. взаимодействие с аудиторией.

При этом искусство не порождается техникой, не возникает внутри технического прогресса как такового. Однако техника, как показывает опыт кино и других медиа, может стать предпосылкой искусства, предоставить новые возможности эстетического восприятия и эстетической деятельности, новые способы «сущностных сил» человека, осваивающего мир. В культуре и цивилизации XX и особенно XXI в. эти взаимосвязи между искусством и техникой стали актуальными как никогда ранее. При этом некоторые аспекты социально-экономической жизни человечества, появление такого понятия, как массовая культура, закономерно вносили корректизы в процесс эволюции всех видов искусств.

Опыт взаимосвязи искусства и техники человечество знало и раньше: появление печатной книги, ксилография, литография и т. д. способствовали репродуцированию произведений искусства, но никогда прежде — до появления кинематографа — принцип массового тиражирования не являлся принципиальной составляющей творческого процесса, никогда прежде произведения искусства не были нацелены на столь широкий охват аудитории. И именно эти процессы стали одной из причин бурного развития массовой культуры во второй половине XX в. Без сомнения, современные процессы глобализации и информатизации объединяют мир именно через внедрение массовой культуры, а она порождает особый тип мышления — дебольный, т. е. нечувствительный ко всякого рода метафориям, пытающимся создать единую

и цельную картину мира. В этом еще одна причина того, что новое поколение изначально плохо приспособлено к строгому системному рациональному мышлению. Массовая культура, которая нашла наиболее широкое развитие в экранной среде, все активнее размывает эталоны рационализма. На смену традиционному, привычному рационалистическому мышлению приходит новое, основанное прежде всего на образном восприятии мира. Рациональное на экране преподносится в форме образов. И здесь главным становится вопрос, насколько эти свойства ориентируют человека в сферах «понятийности» и «образности». С этой точки зрения новое сознание можно соотнести с так называемым мифологическим сознанием, когда логическая составляющая еще окончательно не отделилась от эмоциональной. В этом случае мы можем наблюдать нерасчлененность понятий «субъект» и «объект», «предмет» и «знак», где мифологическое мышление выступает и в чем-то доминирует в своей знаково-символической форме.

В своей работе «Азбука медиа» Норберт Больц отмечает, что современное общество демонстрирует черты новой «устности», предлагая разделить историю медиа «на этапы согласно смене господствующих образов: сначала — от устной культуры к буквенной, сегодня — от буквенной к цифровой» [Больц, с. 9]. Но мир медиа, о котором достаточно подробно говорят многие исследователи, не исключает существования мира тел (которым занимаются естественные науки) и мира духа (что является сферой искусства). И хотя дигитальные, или, как их чаще называют, интерактивные, технологии проникают и в мир искусства, процесс обратной связи здесь, как и в прежние века, гораздо сложнее и многообразней.

Другое дело, что стремительность научно-технического прогресса потребовала от кинематографистов активного поиска своеобразия, которое прежде всего стало проистекать именно из сферы своеобразия технологий. Отсюда определенная односторонность творческих решений, которые начали культивироваться в кино со второй половины 1950-х гг. Когда в кинопромышленности США наступил кризис, связанный с конкуренцией телевидения, был избран, казалось бы, беспрогрышный путь — усилить до возможных пределов те качества, которые не может оспорить телевидение. Отсюда появление «блокбастеров» и «суперколоссов», грандиозных кинозрелищ, снабженных богатством цветовой разработки, стереофонией, широким экраном, форматом и т. д. Новаторские технические составляющие, помноженные на экзотику и фантастику сюжетов, зрелищную яркость, сделали даже самые значительные фильмы этого направления явлениями не столько искусства, сколько массовой культуры. Да и истоки этих процессов лежали не столько в сфере искусства, сколько в сфере экономики, ставшей одним из определяющих понятий индустриального, постиндустриального, а затем и информационного обществ.

Принципиальным представляется еще одно обстоятельство. С появлением кинематографа ряд исследователей много и активно говорили о предстоящей смерти театра, не способного, как им казалось, конкурировать с киноискусством. Действительно, в начале XX в. возник кризис традиционного сценичес-

кого искусства, причина которого заключалась в том, что театр стал отставать от темпа и ритма реальной жизни.

Чтобы преодолеть кризис, Сергей Эйзенштейн, например, предложил привить кинематографический «дичок» к древу театра. И его ранние постановки еще до прихода в кинематограф («Противогазы», «Мудрец» и др.), собственно, и были попытками разыграть театральное действие как бы на съемочной площадке и как бы под кинообъективом. Переходы от одной мизансцены к другой в спектаклях уже строились по принципам, близким к принципам кинематографического монтажа. Поэтому, скажем, включение в спектакль «Мудрец» (по А. Островскому) экранного эпизода («Дневник Глумова») выглядело оправданным и органичным.

Другой взгляд на взаимоотношение сцены и театра продемонстрировал Лев Кулешов, призывавший кинематограф порвать с театром «переживания»³.

Третью позицию занимали такие театральные режиссеры, как Всеволод Мейерхольд, Александр Таиров, Константин Марджанов и др., которые в начале своего творческого пути полагали, что кино — это лишь механическое репродуцирование театрального искусства.

Иначе говоря, театр заметно модифицировался, о чем наиболее точно сказал в одном из интервью Питер Брук. «Если тебе кажется, что у тебя есть какие-то идеи, о которых обязательно должны знать другие люди, — пиши книгу, стихи или снимай фильм... Влияние кино и телевидения на людей очень велико. Этот факт словно освободил театр от ответственности. Но, я думаю, если бы до сих пор не было кино и телевидения, может быть, театр пошел бы по тому же неверному пути, по которому двинулось телевидение и большая часть кинематографа. Видя перед собой дурной пример телевидения и кино, театр должен еще яснее осознать свое место в современном мире и свою ответственность» [Брук].

Театр и сегодня продолжает трансформироваться под влиянием кино и телевидения. Но очевидно другое: социоэкономические аспекты в условиях постиндустриального общества начинают оказывать все более сильное влияние на основной вектор развития экранных искусств, смещая приоритеты в сторону массовой культуры. Это просматривается даже при сравнительном анализе опросов Американской и Британской академий киноискусства⁴, направленных на выявление лучших фильмов всех времен и народов в разные десятилетия второй половины XX и начала XXI в.: от «Броненосца «Потемкина» и «Золотой лихорадки» к «Гражданину Кейну» и «Похитителям велосипедов», а далее — к лентам «Бешеный бык» и «Крестный отец». Ни в коей мере не умаляя художественной значимости последних фильмов, отметим преобладающее значение интересов широкой аудитории в процессе реализации авторского замысла.

³ Тем же путем шли и молодые ФЭКСы — Г. Козинцев, Л. Трауберг и С. Юткевич, хотя практика последнего отличалась от высказанных им же теоретических принципов.

⁴ То же самое относится и к опросам ведущих кинематографических журналов, таких, например, как *Sight & Sound*.

В этом также проявляется влияние телевидения на общие процессы развития экранной культуры, «дичок» которого, судя по всему, внедряется в кинематограф⁵.

Проблема воздействия телевизионной продукции на разные виды искусств, а также общество в целом заботит сегодня многих исследователей — философов, культурологов, социологов, психологов, филологов и др. При этом контекст научных исследований неразрывно связан с внедрением в повседневную практику цифровых технологий. Это, в частности, отмечает Светлана Уразова, делая акцент на взаимосвязи/взаимозависимости технического прогресса в ТВ-вещании с творческой парадигмой телевизионного контента:

Научно-технический прогресс в области вещания, ТВ прежде всего, имеет социокультурную направленность (обеспечение массовых коммуникаций в национальном и глобальном масштабе), поскольку нацелен на ликвидацию информационного неравенства среди населения, на наибольший охват массовой аудитории познавательным и социально значимым информационным продуктом... В цифровой период функционирования ТВ все четче прослеживается причинно-следственная связь между технологическими инновациями, внедряемыми как в его производственную деятельность, так и в социальную действительность, семантикой телепрограмм и их культурной значимостью, а также творческим потенциалом создателей экранного продукта, получающего массовое распространение и оказывающего воздействие на коллективное сознание [Уразова, с. 4–5].

Данный вывод можно с полным правом отнести и к кинематографу. Подтверждением тому служит примечательный факт. Впервые в истории Американской академии киноискусства создатель фильма, отмеченного премией «Оскар» за спецэффекты, получил золотую статуэтку как лучший режиссер года. До этого — за более, чем 80-летнюю историю этого приза — картины-номинанты и призеры «Оскара» в категории лучшие спецэффекты никогда не попадали даже в короткий список претендентов на основные награды, к которым относится премия «Лучший режиссер года».

Подробно останавливаться на этой картине вряд ли стоит, так как заинтересованный зритель ее наверняка видел и, вероятно, читал основные тексты, ей посвященные. Приведу лишь фрагмент из интервью режиссера фильма «Жизнь Пи» Энга Ли, иллюстрирующий взаимосвязи между технологическими нововведениями и формированием в кино образного ряда:

Конечно, приступая к работе, я был очень взволнован, возбужден. Наверное, у меня не все получилось в той мере, в какой могло бы — ведь я новичок в этом деле. Но осмелюсь заявить, что это была новая кинематографическая среда, опыт... Давайте дадим шанс 3D, дождемся усовершенствования оборудования и системы проектирования, снижения стоимости, дадим возможность кинопроизводителям набраться опыта... Все зависит от бюджета. Я думаю, что теперь я предпочел бы 3D.

⁵ Судя по последнему высказыванию таких крупных кинематографистов современности, как Стивен Спилберг и Джордж Лукас, речь идет уже не о «дичке». Эти видные режиссеры полагают, что киноиндустрию в ее современном виде ждет крах, что контакт с аудиторией будет более продуктивен, если премьеры фильмов переместятся из кинотеатров на телэкран [подробнее см.: Steven Spielberg...].

Еще и потому, что для этого нужно использовать цифровую камеру, а к этому и так все ведется. Меня до сих пор смущает цифра, поскольку я привык к пленке. Но это новый язык, если так можно выразиться. Это очень увлекательный процесс — изучать и исследовать новые средства...» (разрядка наша. — К. О.) [Ли].

Технологическая составляющая (в данном случае 3D), проникшая уже и на телевидение, носит характер не только нового инструментария, но и свидетельствует об ускорении процесса, начавшегося миллионы лет назад с появлением стенопа и камеры-обскуры. Освоение экранного изображения в разрешении 3D, будь то в кино или на телевидении, — это еще одна попытка представить окружающий мир в его целокупности. Но, как полагают футурологи, в ближайшем будущем цифровой сигнал вновь уступит место аналоговому, технологии которого позволят передавать видеоизображение в глаз человека без «посредников» — преобразователей «свет — сигнал», телевизоров, экранов и других систем отображения. Так что, возможно, на каком-то этапе своей истории человечество вновь вернется к «устной культуре» на новом уровне ее развития, где главное место будет принадлежать визуальной составляющей. Исторический опыт показывает, что культура всех известных видов искусств, востребованных в прошлом, окончательно не исчезает. Она только совершенствуется, усложняясь и трансформируясь в соответствии с вызовами времени и социальными запросами.

Наступление этапа становления информационного общества таит в себе решение задачи с множеством неизвестных. В первую очередь это скажется на экранных искусствах. Одно то, что цифровые технологии и техника позволяют любителю, обладающему творческим мышлением и мотивацией, достичь при съемке видеосюжета профессионального качества, а затем популяризировать свое аудиовизуальное произведение в публичном пространстве порождает немало противоречий в сфере медиа. Налицо зреющая тенденция соревнования между профессиональным и самодеятельным творчеством. И кто в этом споре окажется ведущим, а кто ведомым — вопрос весьма значимый и далеко не последний, поскольку реалии социокультурной жизни общества на каждом из этапов его развития предъявляют свои требования к средствам массовых коммуникаций.

Больц Н. Азбука медиа. М., 2011. 136 с. [Bol'ts N. Azbuka media. M., 2011. 136 s.]

Брук П. «Я ненавижу слово «культура» // Известия. 2005. 3 марта. URL.: <http://izvestia.ru/news/300310> (дата обращения: 10.06.2013). [Bruk P. «Ya nenavizhu slovo «kul'tura» // Izvestiya. 2005. 3 marta. URL.: <http://izvestia.ru/news/300310> (data obrashcheniya: 10.06.2013).]

Вопросы киноискусства : сборник. Вып. 16. М., 1975. 302 с. [Voprosy kinoiskusstva : sbornik. Vyp. 16. M., 1975. 302 s.]

Жабский М. И. Социокультурная драма кинематографа : аналит. летопись. М., 2009. 775 с. [Zhabskij M. I. Sotsiokul'turnaya drama kinematografa : analit. letopis'. M., 2009. 775 s.]

Козлов Л. Произведения во времени. М., 2005. 448 с. [Kozlov L. Proizvedeniya vo vremenii. M., 2005. 448 s.]

Ли Э. «Жизнь Пи» — это вам не «Бэтмен» [Электронный ресурс]. URL.: http://www.kinonews.ru/article_25455/#comments (дата обращения 10.06.2013). [Li E. «Zhizn' Pi» — eto vam ne «Betmen» [Elektronnyj resurs]. URL.: http://www.kinonews.ru/article_25455/#comments (data obrascheniya 10.06.2013).]

Толстой Л. Н. Собрание сочинений : в 20 т. Т. 15. М., 1964. [Tolstoj L. N. Sobranie sochinenij : v 20 t. T. 15. M., 1964.]

Уразова С. Л. Телевидение как институциональная система отражения социокультурных потребностей : автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 2012. 61 с. [Urazova S. L. Televidenie kak institutsional'naya sistema otrazheniya sotsiaokul'turnykh potrebnostej : avtoref. dis. ... dokt. filol. nauk. M., 2012. 61 s.]

Хренов Н. А. Зрелища в эпоху восстания масс. М., 2006. 648 с. [Khrenov N. A. Zrelischa v epokhu vosstaniya mass. M., 2006. 648 s.]

Steven Spielberg Predicts ‘Implosion’ of Film Industry. URL.: <http://www.hollywoodreporter.com/news/steven-spielberg-predicts-implosion-film-567604> (дата обращения: 15.06.2013).

Статья поступила в редакцию 19.06.2013 г.

ФИЛОЛОГИЯ

УДК 81:39 + 811.161.1'28 + 811.162.1'28

Е. Л. Березович

Е. Д. Бондаренко

«ЛЕКСИЧЕСКИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ» В СЮЖЕТЕ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТА

Рассматриваются особенности проявления метаязыковой рефлексии носителей народной традиции в текстах русского и польского фольклора, так называемые лексические недоразумения — обыгрываемые в текстах ситуации, когда несовпадения лексического кода участников коммуникации ведут к коммуникативным неудачам. Выявляются языковые явления, лежащие в основе ситуаций «лексического недоразумения»: использование одного слова для обозначения разных реалий; употребление разных слов для обозначения одной реалии; игнорирование особенностей актантной структуры значения; мнимое отсутствие слова; буквализация внутренней формы слова / фразеологизма; фальсификация слов; нарушение лексического состава формул речевого этикета.

Ключевые слова: этнолингвистика; русский фольклор; польский фольклор; наивная лингвистика; диалектная лексикология; метаязыковая функция языка; языковая игра; коммуникативные неудачи.

В фольклорных текстах иногда представлена метаязыковая рефлексия их создателей и носителей. В произведениях различных жанров (присловья, загадки, анекдоты, бытовые и волшебные сказки и др.) актуализируются разные грани метаязыковой рефлексии. Так, в метаязыковых пословицах отражены народные представления об этике речевой деятельности: язык дает человеку возможность, с одной стороны, говорить с Богом («Язык с Богом беседует» [Даль ПРН, т. 2, с. 185]), а с другой — совершить больше грехов, чем тот, кто им не пользуется, молчит («И глух, и нем — греха не вем» [Там же, с. 186]); различие языков может свидетельствовать о различии вер (польск. *Jaka gwara, taka wiara* <Какой говор, такая вера> [SFP, с. 132]) и т. д. В волшебных

сказках осмысляется в первую очередь магическая функция языка: герой обретает дар понимать незнакомые языки, речь животных; разгадывание героем языковой загадки помогает добиться желаемого; и др.

Один из наиболее интересных путей проявления метаязыковой рефлексии — обыгрывание несовпадения элементов лексического кода у участников коммуникации (как героев произведения, так и его «затекстовых» адресатов). Например, рус. арх. присловье «— Здорово, *пинжак!* — Я ведь не *пинжак*, а маленькое пальтишко» [Тунгусов, с. 161] основано на смешении омонимов со значениями ‘житель Пинеги’ и простореч. ‘пиджак’. Шутливая польская поговорка *Lepsze pan Tomasz, niżli pan Jadam* <Лучше пан Томаш, чем пан Ядам> [Kolberg, s. 278] базируется на игре омоформами: имя *Tomasz* формально совпадает с глагольной конструкцией *to masz* <у тебя это есть>, *Jadam* (из *Adam*) — *ja dam* <я дам>.

Есть случаи, когда рассматриваемый феномен выступает не просто как поэтический прием, а как составная часть сюжета. Ср. ситуацию, описанную в прикамской сказке «Солдат и пельмени». Солдат заночевал у хозяев, которые потчевали его пельменями. Они разрезали каждый пельмень надвое, а солдат ел пельмени целыми. «Не вытерпел стариk: “Ты, солдат, *двой!*!” Солдат будто не понял — давай по два пельмения поддевать на вилку. Стариk сказал: “Ешь по-старому!”» [ЖЧРФ, вып. 2, с. 384]. Сюжет основан на игре значениями глагола *двоить*, образующими своего рода энантиосемичную пару: хозяин «задумал» окказиональное ‘делить на два’¹, проясняемое действием (разрезанием пельменей), а солдат опирался на лит. ‘сдваивать, удваивать’.

Случаи, когда несовпадения лексического кода говорящих ведут к коммуникативным неудачам, мы будем условно называть «лексическими недоразумениями». Такие феномены представляют немалый интерес и для фольклориста (например, в плане сюжетной типологии), и для лингвиста. Последнему они помогают восстановить pragматический контекст, способствующий сверке лексических кодов участников коммуникации, обнаружить обстоятельства, которые послужили причиной непонимания, и механизмы, «запускающие» этот процесс.

Таким образом, в центре нашего внимания — случаи включения лексических недоразумений в сюжет текстов устной традиции. Материалом послужили произведения русского и польского² устного народного творчества (главным образом прозаические) с разной степенью «фольклоризации» — от бы-

¹ Возможно, это значение не является окказиональным и функционирует в прикамских говорах, однако существующие словари не позволяют его обнаружить.

² В ходе исследования сначала были обработаны русские тексты, а затем было решено привлечь данные родственной лингвокультурной традиции для сверки механизма построения сюжетов. Причина выбора польского материала объясняется тем, что в польской науке существует богатейшая традиция сбора фольклора, имеется множество фольклорных источников, в том числе и неопубликованных. В частности, в данной статье используются материалы этнолингвистического архива Университета им. Марии Кюри-Склодовской в Люблине (АЕ UMCS). Сердечно благодарим сотрудников кафедры текстологии и грамматики польского языка этого университета за предоставленную возможность использования материалов архива.

товых нарративов до анекдотов и сказок. В бытовых нарративах ситуации лексических недоразумений могут подаваться рассказчиком как реальные истории, однако сюжетные ходы и даже лексические стимулы, инициирующие эти ситуации, нередко повторяются у разных рассказчиков, что свидетельствует в пользу клишированности и воспроизводимости текстов и делает правомочным рассмотрение их в одном ряду с «классическими» фольклорными жанрами.

Значительное место в кругу изучаемых фактов занимают нарративы, записанные сотрудниками Топонимической экспедиции Уральского федерального университета (в работе которой принимали участие авторы статьи) на территории Архангельской, Вологодской и Костромской областей. Особо выделим тексты, зафиксированные в 2009–2012 гг. в Верхнем Поветлужье – Октябрьском, Вохомском, Павинском районах Костромской области. Данная зона граничит с Вяткой, население разных областей активно контактирует. В результате наблюдается чрезвычайно активная метаязыковая рефлексия диалектносителей по поводу различий костромского и вятского говоров [специально об этом см.: Казакова, 2011, с. 38–42; 2012]. Все это порождает многочисленные тексты, где отражены «лексические недоразумения», возникшие, по мнению костромичей, из-за «странных» речи вятчан.

Материал будет подан в соответствии с языковыми явлениями, которые лежат в основе ситуаций лексического недоразумения. Ни в коей мере не претендую на полноту охвата материала, попытаемся лишь очертить круг таких явлений, привести соответствующие примеры и прокомментировать их³.

Вот перечень изучаемых явлений.

- Использование одного слова для обозначения разных реалий: полисемия (в одной языковой системе, междиалектная полисемия); омонимия (омофоны, омоформы, словообразовательные омонимы); паронимия.
- Употребление разных слов для обозначения одной реалии: синонимия (в одной языковой системе), междиалектная синонимия.
 - Игнорирование особенностей актантной структуры значения.
 - Мнимое отсутствие слова.
 - Буквализация внутренней формы слова/фразеологизма.
 - Фальсификация слов: квазислова (утрирование диалектных лексических особенностей; искажение лексики своего языка для имитации слов чужого языка; квазиимена как шифр для нарицательных слов);
 - Нарушение лексического состава формул речевого этикета.

³ Оговорим особенности подачи материала. За знаком ♦ приводится текст устной традиции – полностью или в пересказе (тогда не ставятся кавычки). Польские тексты даются, как правило, в сокращенном переводе, фрагменты текста, содержащие собственно лексическое недоразумение, даются в оригинале, а перевод в угловых скобках. Перед текстом приводится указание на место записи (обычно это административная область, край или воеводство, но если для понимания текста нужна конкретизация, вводится дополнительное указание на район и т. п.), а также на название текста (если есть). Далее, за знаком ~, дается наш комментарий, поясняющий, как создается эффект лексического недоразумения.

Использование одного слова для обозначения разных реалий

В данном случае недоразумения основаны на том, что в одну лексему/ лексическую конструкцию (или близкие по форме лексемы) говорящий и слушающий вкладывают разные значения – связанные между собой (полисемия) или не имеющие такой связи (омонимия, паронимия).

Полисемия

Полисемия в одной языковой системе

◆ рус. костр. «Смеялись бабки над маленькими ребятишками: “Сходи, посмотри, нет ли бычка?” А он: “Нет никакого бычка, одна телушечка ходит”» [ЛКТЭ].

~ Шутка основана на том, что дети не владеют переносным значением слова *бычок*: костр. ‘небольшое облако, тучка’ [ЛКТЭ].

◆ рус. костр. «“Гриша, сходи-ка посмотри: квашня-то *сходит* ли?” Он побежал, двери открыл, поглядел, захлопнул: “Нет, мама, ещё на голбце стоит, не сходит!” Она говорит: “Дак посмотри, тесто-то *поднимается* или нет, квашня-то сходит ли?” Он опять побежал, залез на голбец, посмотрел: “Нет, мама, ещё до края-то не дошло”» [ЛКТЭ].

~ Мать пытается пояснить мальчику, что означает глагол *сходить* применительно к тесту, поставив это слово в ряд с синонимом *подниматься*.

◆ а) рус. костр. «В школе девочка у нас спрашивает: “У вас *на себе* есть?” А мы будто не понимаем: “Есть. Платье на себе, всё есть на мне”. А она: “А *на себе* есть?” Мы опять будто не понимаем: “Платье есть, говорим”. Смеялись так. *На себе* – это по-женски» [ЛКТЭ]; б) рус. костр. «Первый раз у меня было. А я и не знала, чего и как. Мне Мария говорит: “У тебя, Клашенька, *гости пришли*”. А я: “Нет, Мариюшка, нет у меня гостей”. Не поняла ёй, не знала слов-то. А она: “С вечера приехали, ночевали”. А я опять: “Нет, гостей, штё ты”. Она и говорит: “Ты как цветок. Шпиншки аленьевые”. По шпинкам узнала про меня. Смеялись потом про гостей-то» [ЛКТЭ].

~ Девочки впервые сталкиваются как с самим явлением *menses*, так и с его диалектными эвфемистическими наименованиями *menses* – *на себе, гости пришли*.

Междиалектная полисемия

◆ а) рус. арх. устьянск. «У нас Сашка в армии служил, жёнку привез с Урала. Свекровка у ёй с Красноборска <Архангельск. обл.>. А стару *ветоши* жгали <жгли> по весне. Она и грит: “Сожгай-ко стару-то *ветошив*”. А та шасть в избу, вытащила ремков <старые тряпки> да прихватила свекровкину пальтушку и давай жгать. Свекровка увидела: “Батюшки!” А поздно» [КСГРС]; б) рус. влг. череповецк. «Девка с Нюксеницы <Вологодск. обл.> была, приехала к нам в Череповец, не понимала наших слов. Баушка ей говорит: “Покоси *вехоть-от*”. А та ко мне бежит: “Баушка мне велела *вехоть* покосить, научи как, косой-то несподручно”. Думала, та хотит на труники <старые тряпки> пустить одёжку, а косой-то не с руки. Вот мы схахали <смеялись> над ей» [КСГРС].

~ Свекровь и бабушка подразумевали арх., влг. (*старая*) *вётошь* или влг. *вёхоть* ‘прошлогодняя, оставшаяся нескошенной трава’ [СГРС, т. 2, с. 83–84, 89], а молодые женщины ориентировались на более распространенные слова: общенар. *вётошь* ‘ветхая одежда, тряпки’ или арх., влг. *вёхоть* ‘тряпка’ [Там же, с. 89]. Показательно, что у рассказчиков, подающих эти истории с позиций свекрови или бабушки, для значения ‘тряпка’ находятся другие диалектные слова (*ремки* или *трунки*).

◆ а) рус. костр. «Молодица была с Новосибирска. Решили её испытать, как она пекот <печет>. Говорят ёй: “Испеки *пирогов*!” А она: “А чем их начинять?” А мы смеемся: “У нас *пироги* не начиняли”» [ЛКТЭ]; б) рус. костр. «Приехала в гости, они говорят — ешь *пироги*. Я один сломала — нет ничё, другой — без начинки, дак какие там *пироги*! А еще говорят *пироги*. Я пекла без начинки — дак *мусники*, нет никакой начинки. Дак у них *пироги*, а у нас *мусники* называется» [ЛКТЭ].

~ Обыгрывается многозначность слова *пирог*: общенар. ‘мягкое выпечное изделие из раскатанного (обычно дрожжевого) теста с начинкой’ и диал. шир. распр. ‘хлеб’ [СРНГ, вып. 27, с. 40].

◆ рус. костр. «Приехали <костромичи> на Вятку. Хозяйка говорит: “Ладно, девочки, я пойду *постряплю*!” Вечером садимся за стол, я смотрю — никакой стряпни нет. Как так? На следующий день то же самое. А потом одна из гостей говорит: “А я посмотрела в окно, а она у коровы управляетъся!” У нас-то говорят *управляется*, а там *стряплютъ*» [ЛКТЭ].

~ Недоразумение произошло из-за того, что костромские гости имели в виду общенар. *стряпать* ‘выпекать какие-л. кушанья из муки и других продуктов’, а хозяйка с Вятки — сев.-рус., ср.-рус. *стряпать* ‘заниматься домашним хозяйством и ухаживать за скотом’ [СРНГ, вып. 42, с. 60].

◆ а) рус. арх. «У вас сени, у нас *мост*. Кто чужие, дак не знают. Матрена пошутила над невесткой: “Принеси с *моста* молока”. А та в потемках на реку пошла» [КСГРС]; б) влг. «Сени *мостом* звали. Племяннику из города сказал: “Сходи-ка на *мост*”. А он на реку ушел» [КСГРС]; в) костр. «Внучке говорю: “Пошли на *мост?*” Пришли: “Бабушка — тут чего?” — “<смеется> Да по-вашему *коридор*” [ЛКТЭ]; г) костр. «У меня Таня из Москвы приезжает, так *мост* *коридором* зовет. А я: “Ага, коридор у нас, как же. Это в Москве *коридоры*, а у нас деревянные *мосты*”» [ЛКТЭ].

~ Столкновение двух значений слова *мост*: молодые и ‘чужие’ ориентируются на общенар. ‘сооружение для перехода через реку’, а в речи старших функционирует сев.-рус., ср.-рус. *мост* ‘сеня’ [СРНГ, вып. 18, с. 287]. Рассказы «о двух мостах» являются, пожалуй, самыми популярными примерами лексических недоразумений на Русском Севере, что подтверждается полевым опытом авторов данной статьи и других диалектологов, с которыми нам довелось обсуждать метаязыковые сюжеты. Этой популярности способствуют широкая распространенность обоих слов, присутствие их в активном словарном запасе информантов и бытовая значимость самих реалий. Метаязыковые ремарки (вне сюжета недоразумения) не раз встречаются в качестве комментария к диалектному значению слова *мост*: влг. «Сейчас скажи *на мосту* —

дак внучка не поймет» [КСГРС], арх. «Мост — сени по-нынешнему, а раньше все говорили: “А ну-ка, сходи на мост, принеси чего-нибудь”» [Там же].

Омонимия

Омофоны

◆ рус. «Выдали девку замуж». «Выданная замуж девка воет: — Свет-то моя *крашенина*, у матушки на печи осталась». — «Какая *крашенина*: много ли аршин?» — «Да я в квасу хлеба накрошила густо-нагусто, и с лучком, и с маслицем!» [РБС, с. 231—232, № 161].

~ Комический эффект основан на игре омофонами: арх., влг., костр., нижегор., яросл. *крошенина* ‘кушанье из хлеба, накрошенного в квас, щи, уху или воду’ [СРНГ, вып. 15, с. 288] и литер. устар. *крашенина* ‘толстое, грубое полотно, окрашенное обычно в синий цвет’.

Омоформы

◆польск. опольск. «О Prusach» <О «прусах»>. Отец с сыном везут на ярмарку мешки пшеницы. Один мешок разорвался — и мука стала рассыпаться. Сын увидел это и кричит: «Tato, prusy <сыплется>⁴!» Отец не понял и ответил: «Prusy nie Prusy, ale mŁeka trza sprzedaj» <Прусы не прусы, а муку надо продать>. А когда приехали на торг, один мешок был пустой [Simonides, s. 85].

~ Игра омоформами: глагол *prusy* (*pruszy*) — 3 л. ед. ч. наст. вр. от *pruszuj* ‘сыпать’ и этноним *Prusy* ‘прусы’.

Нередко в качестве омоформ выступают имена собственные и совпадающие с ними нарицательные слова. Это явление наблюдается в ряде нижеследующих примеров.

◆ рус. псков. «Дом бычков». Баба с мужиком отдают своего бычка солдату, который уверяет их, что отправит его в город, чтобы тот «науку превзошел». Через три года солдат рассказывает им, что бычок в городе «выучился, разбогател, женился». Приехав навестить бычка, они спрашивают у прохожих: «Где дом бычков?» Им показывают дом, но его хозяин выгоняет их взашей. «Сколько ни образовывай — а сердце-то бычье осталось», — подумали они. Не поняли, что попали к купцу *Бычкову* [РБС, с. 194—195, № 131].

~ Притяжательное прилагательное *бычков* совпадает с фамилией *Бычков*.

◆польск. краков. «Świerszczyk» <Сверчок>. Наёмный работник предлагает своему хозяину купить у него муравьев за десять золотых. Тот, незаметно положив под шляпу *świerszczka*, говорит: «Куплю, если отгадаешь, что у меня под шляпой». Работник, которого тоже звали *Świerszczyk*, закричал от расположения: «Ej, Świerszczku, tuś przepadi!» <Эй, Сверчок, тут ты попал!>. Хозяин платит ему деньги, а по его избе расползаются муравьи [Kolberg, s. 227].

⁴ *Prusy* вместо *pruszy* вследствие замены шипящих свистящими (отражение мазурского произношения).

~ Здесь имеет место тождество нарицательного *świerszczyk* и прозвища *Świerszczyk*.

♦ польск. малопольск. «U piwowara» <У пивовара>. Пивовар говорит своему ученику Совизджалу: «Mój Kochany, nie zapomnijże tutaj włożyć chmielu do piwa <Мой милый, не забудь положить хмель в пиво>». Совизджал бросает в котел пса пивовара, которого звали *Chmiel* [Ciszewski, s. 61–62, № 6].

~ Совпадение нарицательного *chmiel* и зоонима *Chmiel*. При этом Совизджал не принимает во внимание различий в образовании формы вин. п. у одушевленных и неодушевленных существительных мужского рода.

♦ рус. «В - ч е м - я». Поп нанимает на работу Ивана-дурака. Иван соглашается, а в ответ на вопрос, как его зовут, отвечает: «В-чем-я». Поп ставит его служить за дьякона. За то, что Иван переврал слова молитвы, поп выгоняет его из церкви. Иван берет у попады деньги якобы на нужды попа и убегает, успев вылитъ в шляпу попу раствор из квашни. Поп, узнав об обмане Ивана, надевает шляпу и отправляется в погоню, спрашивая у прохожих: «Не видали ли вы В-чем-я?» Ему отвечают, понимая вопрос буквально: «Да кажись, в растворе, батюшка» [РНС].

~ Комический эффект основан на совпадении вопросительного предложения *В чем я?* и квазиимени *В-чем-я*.

♦ польск. любельск. «Był tu taki» <Был здесь такой>. Пришел парень наниматься на работу. На вопрос хозяина, как его зовут, ответил: «Меня зовут *Był tu taki*». Хозяин любил, чтобы перед сном ему расчесывали голову. Перед тем, как ложиться спать, он приказал новому работнику чесать ему голову. Пока тот расчесывал, хозяин уснул. Работник взял бритву и обрил хозяину на одну половину голову, бороду и усы — и скрылся. Утром хозяин просыпается, заглядывает в кухню, зовет: «*Był tu taki?*» Работники смотрят на него: «Нет, такого мы еще не видели, не было тут такого». Он смотрит в зеркало — а полголовы обрито [AE UMCS].

~ Текст строится аналогично представленному выше русскому примеру. Обыгрывается тождество вопросительного предложения *Był tu taki?* и квазиимени.

Словообразовательные омонимы

♦ рус. арх. Теща угождает зятя пирогами. Когда он пытается отломить пирог, теща говорит: «Ешь-ешь, а не *зачинай!* Ешь-ешь, а не *зачинай!*» Зять кладет пирог на место, потому что понимает, «что *не зачинай* дак что *не трогай*». Теща же предполагает, «что это надо, чтобы он целый взял и съел». Так зять и остался голодным [Каргопольский архив РГГУ; цит. по: Кабакова, с. 166].

~ В речи тещи в глаголе *зачинать* актуализируется контекстный смысл ‘не заканчивать, осуществлять что-л. не полностью, не целиком’. Зять же понимает *зачинать* в арх., влг. значении ‘приступать к потреблению, трате чего-л.’ [СРНГ, вып. 11, с. 178].

Паронимия

◆ рус. влг. Мать, посылая сына к теще, говорит: «Ты пойди туда... <...> покуражься немножко». В гостях у тещи парень вышел из-за стола и пошел в одной рубашке в лютый мороз на улицу. Когда его нашли, он сильно замерз: «Ты чево убежал?» — «А я, — г(овор)ыт, — к-к-кура-а-ажусь» [Морозов, Слепцова, с. 493].

~ По всей видимости, сын перепутал два близких по звучанию слова: карел. *куrájistysia* ‘веселиться’ [СРГК, вып. 3, с. 61] и арх. *куржíться*, свердл. *куржáться*, арх., влг. *ку́ржéть*, сев.-рус. *ку́ржáветь* и др. ‘покрываться инеем’ [КСГРС; СРНГ, вып. 16, с. 123–124].

Употребление разных слов для обозначения одной реалии

В нижеследующих ситуациях участники коммуникации используют синонимы или дублеты — разные слова для обозначения одного и того же предмета или явления.

Синонимия в одной языковой системе

◆ рус. влг. Хозяйка при угощении гостей говорит им *кушайте* или *эшьте* и только одному — *ешь*, что воспринимается им как оскорбление. Это слово бывает обращено к соседкам или к зятю, который в таких случаях может убежать из-за стола, сп.: «Теща <...> угощала, угощала зетя, а потом сказала: “Гости, пейте да *эшьте*, а ты-то, зеть, *ешь*”. Да он, зеть, вскоцил на стол да и перескоцил стол, да и убежал. Не понравилось — пошто на отличку» [Кабакова, с. 165; Морозов, Слепцова, с. 493].

~ Эти синонимы имеют разные оттенки значений: *кушать* (есть) ‘пробовать (пищу)’, *есть* ‘есть помногу и с аппетитом’. Выделяя одного человека словом *есть*, хозяйка намекает, что он голоднее остальных.

◆ рус. костр. «Учили буквы говорить, а паренёк смысленный был, всё по-своему скажет. Давно буквы знает, над мамкой смеется. — Скажи *рама*, *рама!*” — “Окольница”. — “Скажи *мясо*”. — “Говядина”» [ЛКТЭ].

~ Шутка основывается на «мнимом» незнании слов *рама* и *мясо*, которые трудны для произнесения и могут обнаружить неумение мальчика выговаривать дрожащий *r* и свистящий *s*. Находчивый мальчик в первом случае заменяет общепринятое *рама* на диал. шир. распространенный синоним *окольница* [СРНГ, вып. 23, с. 146–147], а во втором — гипероним *мясо* — на гипоним *говядина*.

Междиалектная синонимия

◆ рус. краснояр. Свекровь просит невестку (родом из других мест): «Молодуха, беги, *ступок* принеси!» Та не понимает: «Как, думаю, *ступок?* *Ступки!* Толочь, ну». Ищет ступку, не может ее найти: «Мамаша, дак нету *ступки!*» — «Да как нету, два ящика *ступок* лежит... стоит зараз!» В ящиках находит картошку, которую привыкла называть словом *беленька*: «У нас не зовут *ступком!*» — «А-а, дак недаром ты там долго искала» (по рассказу

А. С. Горбачевой, с. Карабула Богучанск. р-на Красноярск. края; видеоприложение к [СГБС, т. 1]).

~ Недоразумение из-за столкновения двух диалектных наименований сорта картофеля: *беленька* и *ступки*. Непонимание усиливается из-за того, что у последнего слова есть омоним в общенародном языке (*ступка*): именно на него ориентируется невестка.

◆ рус. краснояр. Невестка (та же, что в предыдущем рассказе) слышит от свекра: «На санях мои *кокольды* возьми иди!» Невестка, не понявши слово, долго искала, но нашла на санях только рукавицы: «Папаша, дак вот *рукавицы*, а больше никаких *кокольдов* там нету!» — «Ха-ха-ха, дак это и есть *кокольды*!» [Там же].

~ Свекор имел в виду байкал. *кокольды* ‘охотничьи рукавицы, сшитые из оленьей, собачьей, лошадиной шкуры, с прорезями на ладонях’ [СРГС, т. 2, с. 84—85], а невестка знала только общенародный эквивалент этого слова — рукавицы. Дополнительный маркер нарочитого создания ситуации языкового испытания — использование «странных», «смешных» слова *кокольды*.

◆ польск. любельск. «P i c h n a i w ś c i b a k» <Пасхальное яйцо и колечко>. Приходит парень к девушке в селение Красноброд, а девушка просит его: «Kup mje *wścibak!*» <Купи мне колечко>. Он не понимает, что надо купить. Спрашивает ее: «Dałaś mje *pichny?*» <А ты дала мне пасхальное яичко?>. Она тоже не понимает. Оказалось, она ему не подарила *pisanki* <пасхальные яйца> на Пасху, а он ей за это не купил *pierścionek* <колечко> [AE UMCS].

~ Молодые люди не понимают друг друга, поскольку используют диалектные синонимы для литературных слов: *pichny* вместо *pisanki* и *wścibak* вместо *pierścionek*.

◆ рус. костр. «У нас в ночёвках хлеб катают, у ветчанёнков <жителей Вятки> навоз носят. Соседка-ветчануха была у меня. Раз пошутила над нашей девкой: “Дай, говорит, ночёвки мне, надо навоз выносить”. Та говорит: “Как ты его выносишь в такой-то маленькой посудинке?” Ой, смеялись мы!» [ЛКТЭ].

~ Сев.-рус. и ср.-рус. *ночёвки* (*ночvá*, *ночvы*, *ночёвка* и др.) — корытце, деревянный лоток, используемый для различных хозяйственных надобностей: так, костромичи готовят в *ночёвках* тесто, подкидывая его вверх и снова ловя в это корытце; у жителей Вятки *ночёвки* больше размером и используются для переноски навоза [СРНГ, вып. 21, с. 296—297; ЛКТЭ]. Каждый считает свой способ использования реалии наиболее «правильным», а соседский — «неправильным». В нашем примере функции реалий вообще контрастны («высокая» — для хлеба / «низкая» — для навоза), что не может не вызвать комического эффекта.

◆ а) рус. костр. «В магазин пришла, говорю: “Надежда, *прикопотки* есть?” — “Чего?” — “Да *носки*, *носки* это — *прикопотки*”. Она молодая продавщица-то, а *прикопотки* — это старинное слово» [ЛКТЭ]; б) рус. костр. «Мне подруга рассказывала. Ее муж встретил в армии, он был солдатом, она — белоруска по национальности. Она приехала сюда, как раз в Троицу⁵. Приняли хорошо,

⁵ Троица — деревня в Вохомск. р-не Костромск. обл.

пошли в баню. Муж ушел вперед, ее свекровь и говорит: “Возьми подштанники и еще *прикопотки*”. Она говорит: “А я не поняла, что за *прикопотки*, у нас такого названия не было”. Молодая свекрови постеснялась спросить, так ушла без *прикопоток*. И пока шла до бани, все думала, как мужу сказать, что не принесла ему. Что же это такое — *прикопотки*? Она и представить не могла. Она пришла и говорит, нашла выход: “Ой, я *прикопотки*-то и забыла”. Он говорит: “Да ничего, я и босиком уйду”. И до нее дошло, что *прикопотки* как-то связаны с ногами» [ЛКТЭ].

~ Комический эффект основан на том, что молодая продавщица и женщина, приехавшая из Белоруссии, не знают костр. *прикопотки* ‘носки’ [ЛКТЭ]. Это слово воспринимается употребляющими его костромскими старожилами как «смешное» (в процессе сбора полевого материала мы не раз убеждались, что его упоминание вызывает улыбку информантов), что стимулирует попадание его в метаязыковые анекдоты.

♦ а) рус. костр. «“Сходи, Маша, в *клить!*” <просит бабушка>. Ладно, я выскочила в коридор. А куда идти? Не знаю. Двор — так это *двор*. Кладовка — так *кладовка*. Вернулась. — “Бабушка, ты куда меня послала?” А это, оказывается, *кладовка* по-нашему» [ЛКТЭ]; б) рус. костр. «У нас *сельник* называется, а у ветчанёнков *клить*. Оне к нам приедут, смеялись над ними. Пошлём их в *сельник*, а они и не знают, куда идти» [ЛКТЭ].

~ Здесь наблюдается столкновение общенар. *кладовка*, костр., вят. *клить* и костр. *сельник* ‘кладовка, хозяйственное помещение’ [ЛКТЭ]. Отметим, что наименования данной реалии в сознании носителей диалекта часто выступают как своеобразные маркеры различных говоров; типичны контексты вроде костр. «У нас *сельник* называется, а у ветчанёнков *клить*» [ЛКТЭ]. Как мы могли убедиться в ходе полевой работы, такие наименования неоднократно попадают в словарики «местных слов», составляемые диалектоносителями.

♦ рус. костр. «Вот когда мне первый раз сказали *скутать* печку, я ходила вокруг печи долго. Как печь *скутать*? Не знаю. “Ну, чего? *Скутала?*” — “Нет, а как, я не могла *скутать!*” — “Да, говорит, возьми *закрой* <печную вышку>!” У нас *закрывать печку*, а на Вожме — *скутать*» [ЛКТЭ].

~ Рассказ ведется от имени жительницы Вятки, которая попала в Вожомский район Костромской области, где значение ‘закрыть дымоход печи’ выражается глаголом *скутать* [ЛКТЭ], — в отличие от общенар. *закрывать* (печь), употребительного на родине рассказчицы.

♦ рус. костр. «Внук приехал, ходит по дому, я ему и говорю: “Возьми на *бурнучке лопоть* и унеси на *потолок*!” Вот он ходил-ходил, искал-искал, пришел: “Бабушка, я не знаю, что ты меня попросила”. Ну, я смеюсь, говорю: “Пойди на *крыльцо*, возьми *одежду* там и унеси на *чердак*”» [ЛКТЭ].

~ Бабушка, желая пошутить над внуком, «шифрует» общенар. *крыльцо*, *одежда* и *чердак* с помощью их диалектных аналогов, бытующих на территории Костромской области: *бурнучок*, *лопоть*, *потолок* [ЛКТЭ].

♦ польск. опольск. «Dwie żymły i bułka» <Две жимлы и булка>. Приходит однажды в пекарню паренек и просит: «Дайте мне две *жимлы* [жымёй] и одну *булку*!» — «Но это ведь одно и то же», — говорит пекарь. — «Куда

там! *Жимла* — это *жимла*, а *булка* — *булка*». Пекарь ему продал, а когда паренек уже собирался выйти из магазина, спросил (это был пекарь из Силезии): «Скажи мне, но почему это не одно и то же?» — «Видите, вот эти две *жимлы* — для бабушки и мамы, а вот эта *булка* — для тетки, а она из Сосновца⁶» [Godka.pl].

~ В этом тексте фигурируют два названия булки: польск. liter. *bułka* и силез. *żymła* [SŚ]. Отметим, что слово *żymła*, по-видимому, является фольклорным маркером силезского диалекта. Показателен польский анекдот под названием «O śląskim języku» <О силезском языке>: Дело было в плену во время последней войны. Сидели вместе англичанин, француз и поляк родом с Олесна⁷. И начали обсуждать, чей язык самый трудный. Англичанин говорит: «Ну вот смотрите, у нас пишется *Churchill*, а произносится *Чарчил*». — «А у нас, — говорит француз, — пишется *de Gaulle*, а произносится *Дэголь*». — «Это еще ничего, — говорит силезец, — а у нас пишется *bułka*, а произносится *жим[ү]а!*» [Simonides, s. 360].

Игнорирование особенностей актантной структуры значения

Владея ядром лексического значения, инициатор «лексического недоразумения» может игнорировать отдельные особенности актантной структуры значения, в частности включенный объект, задающий типовую сочетаемость слова в тексте. В польских сказках языковые ошибки такого рода регулярно делает нездачливый Совизджал⁸ — герой польского фольклора; бродячий ремесленник, плут и шут-озорник, надевающий на себя маску нездачливого простака. Он занимается подмастерьем к разным мастерам — и проваливает те задания, которые от них получает.

♦ малопольск. Портной, у которого учится Совизджал, дает ему задание: «*Przyrzucić mi te rękawy* <Приметай мне эти рукава>». Затем он застает Совизджала, приметывающего один рукав к другому. «Что же ты делаешь?» — «*Przyrzucam rękawy* <Приметываю рукава>, как мастер приказал». В ответ на возмущение мастера он заявляет: «Ха, так надо было понятней говорить»⁹ [Ciszewski, s. 61].

~ Значение глагола *przyrzucić* ‘приметать, пришить крупными стежками’ имплицитно указывает на присоединение более мелких деталей к основным. Совизджал пренебрег спецификой включенного объекта.

⁶ Сосновец — крупный город в Силезии на юге Польши.

⁷ Город Олесно долгое время входил в состав Силезских княжеств, ныне входит в Опольское воеводство.

⁸ Этот образ ведет свое происхождение из фольклора Северной Германии: Совизджал (*Sowizdrzał*, *Sowiżrzał*) — польский «собрат» Тиля Уленшпигеля.

⁹ На сходном с рассказами про Совизджала механизме основаны «Охотничьи рассказы» («Tales of the Long Bow») Г. К. Честертона. Каждый рассказ в сборнике построен по следующей схеме: в заглавии дается некий английский фразеологизм, а по ходу повествования образная ситуация, отраженная в нем, «буквализируется»: например, герой клянется: «*I will eat my hat on it!*» — и действительно, чтобы сдержать слово, он съедает в конце концов шляпу (которая оказывается из капусты). В другом рассказе о герое говорится: «*He will never set the Thames on fire*» — и в итоге поджигает Темзу.

♦ малопольск. Портной приказал *skroić parę butów* <скроить пару ботинок>. Совизджал скроил ботинки, но... для собак: «Trzeba było mówić, dla kogo się chce butow» <Нужно было говорить, для кого нужны ботинки> [Там же].

~ Совизджал проигнорировал, что «по умолчанию» ботинки носятся людьми, а не собаками.

Мнимое отсутствие слова

В данном случае в текстах обыгрывается мнимое незнание слов из непрестижного для героев языкового идиома. К примеру, герой, поживший в городе, делает вид, что забыл деревенскую речь, за что получает наказание. «Классический» сюжет такого рода представлен в распространенных в масштабах славянских и германских традиций (возможно, и шире) текстах о граблях.

♦ а) рус. псков. «Как называются грабли». Вернувшийся из Питера в деревню парень ломается перед отцом, желая показать свои городские манеры. Увидев грабли, он делает вид, что забыл этот предмет. Затем случайно наступает на них, получает по лбу и проговаривается: «Ах, проклятые *грабли!* Кой дурак их тут поставил?» [РБС, с. 269, № 198]; б) рус. «“Чертовы *грабли!*” — сказал семинарист, когда наступил на них, и они его ударили по лбу, а то и не знал, как их по-русски назвать» [Даль ПРН, т. 2, с. 271]; в) польск. опольск. «Zapomniał gądki» <Забыл, как говорят>. Парень возвращается из Берлина в родную деревню и говорит, что «już nic po polsku nie umie» <уже ничего по-польски не могу>. Наступив на грабли, которые ударяют его в лоб, он произносит ругательство «Farona kandego!» на родном диалекте и добавляет: «Oko bych stracił!» <Глаз мог потерять!>. Грабли напомнили ему, что он не немец, а поляк [Simonides, s. 98]; г) немецкий фразеологизм *wissen, was eine Harke ist* <знать, что такое грабли> ‘быть наученным’, по одной из версий, отсылает к средневековому сюжету шванка: сын, вернувшись издалека, не знает, что такое грабли, когда отец зовет его на работу, и вспоминает, когда наступает на них — и они ударяют его по лбу [Kupperg, s. 328].

Буквализация внутренней формы слова или фразеологизма

Иногда персонажи фольклорных текстов не знают значений слов или словосочетаний и ошибочно восстанавливают их по внутренней форме.

♦ рус. онеж. Чудь узнала, что русские собираются ее крестить. «Придав совсем иной смысл глаголу *крестить* (т. е. “четвертить”, рассекать на четыре части), они убоялись и убежали в непроходимые леса близ реки Онеги» [Смирнов, с. 59].

~ Чудь, которая, по мнению создателей предания, плохо знала русский язык, пытается понять неизвестное ей значение глагола *крестить*, представив буквально форму креста.

♦ рус. яросл. На свадьбе жениху подают блины и просят сначала *сыскать концы*, а потом разрезать и есть. Не знающие местных обычаяв женихи в замешательстве: «Блин круглый, где же тут искать концов?» Гости над ними сме-

ются. «Знающий обыкновение в ту же минуту *найдет концы*: это значит, что должно перекреститься, и тогда уже резать блины» [ЯОС, вып. 9, с. 94].

~ Жених проходит традиционное свадебное испытание, в данном случае языковое: он должен правильно понять значение фразеологизма *сыскать концы*. Не зная его, жених буквализирует образ, заложенный во фразеологизме, и тщетно пытается *сыскать концы* у круглых блинов.

◆ рус. костр. «Приехал сын в гости и говорит: “Мама, свари картошки в *мундире!*” Она думает: “Как в *мундире* сварить эту картошку... Где, какой *мундир*-от? К соседям идти, так и у соседей не слыхала, что *мундир* какой-то есть”. Думала – не знает, чего сделать. Сын проснулся и говорит: “Сварила ли картошки-то?” – “Дак у меня *мундира*-то нет! Как мне варить-то в нем, я не знаю, че за *мундир*-от?” Он говорит: “Свари нечищеную-то картошку, нечищеную свари в любой кастрюле, вот и будет в *мундире!*”» [ЛКТЭ].

~ Мать не понимает сына, потому что не знает сочетания *картофель* (*картошка*) в *мундире* ‘картофель, вареный или печенный нечищеным, в кожуре’, в котором представлено метафорическое употребление общенар. *мундир* ‘форменная, обычно парадная одежда’.

Фальсификация слов. Квазислова

Утрирование диалектных лексических особенностей

На утрирование диалектных особенностей обратил внимание Д. К. Зеленин, который привел примеры текстов, где многие слова «нарочно выдуманы, а в действительности никем не употребляются» [Зеленин, с. 46].

◆ рус. вят. уржумск. Сноха говорит свекрови: «*Ерзун-от ёрзат* <Горшок кипит>», та отвечает: «Возьми *шелспенъ* да и *лопень!* <Возьми ухват и выставь его!>» [Там же]¹⁰.

◆ рус. костр. вохомск. «Шли вохмяки и ветчаненок в Шабалино. Ветчаненок потерял два хлеба, два яйца – кнутом перевязаны. Жалуется вохмяку: “Потерял два *выкатка*, два *вылубка* и *стеганцом* перевязано”. А вохмяк говорит: “Я нашел два *мяконика*, два яйца и *кнутом* перевязаны”. Тот говорит: “Не мое”» [ЛКТЭ].

~ Обыгрываются лексические несовпадения в говоре ветчанят и вохмяков (жителей соответственно Вятки и Вохмы – Вохомск. р-на Костромск. обл.). Особенности речи ветчаненка в анекдоте намеренно утрируются, слова, приписываемые вятскому говору, являются выдуманными, искусственно

¹⁰ Данный текст сюжетно организован как перебранка снохи и свекрови, поэтому мы включили его в круг анализируемых фактов. Есть подобные примеры, которые функционируют как каламбуры, без сюжетной организации. К примеру, костромичи, посмеиваясь над жителями Вятки, рассказывают, что те называют похлебку из толокна со сметаной *заепёря с дрыгозой* [ЛКТЭ]. Стоит отметить, что при утрировании диалектных особенностей могут использоваться не квазислова, а реальные лексические факты чужого диалекта, однако комический эффект вызывает высокая концентрация их в тексте. Ср. костр. «Я в Петряеве <Вологодск. обл.> жила, хотела примыться, хозяйка говорит: “Возьми тряпку на плану под вырыцом”. А я ничего не пойму. Мне смешно. Вырец у них *рассадник*, а план – огород» [ЛКТЭ].

сконструированными, их значение можно понять благодаря прозрачной внутренней форме.

◆ польск. малопольск. «Węgier i góral» <Словак¹¹ и гураль>. Отправился словак в путешествие и взял с собой три *powolenia*, *naślik* масла. Положил все это во *wreciu* и привязал кнутом к коню. Пришел час обеда, словак ищет свой паек, а оказывается, что он его где-то по пути потерял. Решил вернуться назад. Навстречу ему едет гураль. Словак спрашивает его: «Эй, человек, не находил ли ты случайно три *powolenia* и *naślik* масла во *wreciu*?» Гураль (а он-то и нашел мешок) не понял, что ему сказал этот человек, и говорит: «Этого не находил, а нашел три *placki* <лепешки> и *krózlik* <круг> масла в *worku* <мешке>». Словак тоже гураля не понял и с грустью сказал: «Ах, это не то, что я потерял», — и пошел дальше искать свою потерю. А лепешки и мешок достались гуралю [Kosicski, s. 32].

~ Польский аналог анекдота, приведенного выше. В данном случае на квазиязыке говорит словак. Лексемы *powolenie*, *naślik*, *wreć*, по-видимому, также являются квазисловами: они отсутствуют в доступных нам польских диалектных словарях и в картотеке Словаря польских говоров [KSGP]. Единственным похожим словом является *wreco* (*wrecko*) ‘мешок’, заимствованное в польские диалекты из словацкого¹².

Искажение лексики своего языка для имитации слов чужого языка

◆ польск. хелмск. «Ojciec uczył jedynaka» <Отец учил единственного сына>. Отец узнал, что его сын, отправленный учиться в город, бездельничал и пропускал занятия. Он приехал за сыном:

- Ну, почему ты научился?
- Да латыни чуть-чуть научился.
- <...> А как «конь» будет на латыни?
- *Koniaczkyk*.
- А «пово́зка»?
- *Wozaczkyk*.
- А «вили»?
- *Widełczyk*.

— *Bierz wozaczkyka, bierz konianczyka, i zakładaj do tego wozanczaka, i bierz widełczyka i nakiadaj gumnianczyk!* <Бери повозку, коня, запрягай повозку, бери вили и накладывай навоз> [AE UMCS].

~ Ситуация импровизированного экзамена по латинскому языку, на котором невежественный, но находчивый сын «моделирует» латинские слова, подставляя к польским суффикс *-czyk*. Этот прием разгадан отцом, создавшим

¹¹ Текст записан на территории Гуральских Бескид, на границе Польши и Словакии. Скорее всего, в данном случае слово *wkgier* обозначает не этнического венгра, а словака (это предположение М. Якубович (Краков), которое опирается на диалектное употребление слова, известное в польских говорах).

¹² Сердечно благодарим М. Якубович за проверку слов по картотеке Словаря польских говоров и за информацию о лексеме *wreco*.

квазилатинский текст, с помощью которого он отправляет бездельника работать.

Квазиимена как шифр для нарицательных слов

Имена собственные с прозрачной внутренней формой могут зашифровывать какое-либо нарицательное слово. Такие «шифровки» обычно бывают развернутыми, включающими в себя несколько элементов, чтобы было легче обнаружить прием. В качестве примера можно привести распространенный сюжет о солдате, ставившем у жадных хозяев петуха (гуся) и т. п.

◆ рус. псков. «Петан Петанович». Солдат ночует у жадной бабы, которая его не кормит, а для себя тем временем варит петуха. Пока она отвернулась, солдат вытащил петуха из горшка, положил в свой ранец, а в горшок — лапоть. «Баба ему: “Вот что, кормилец-солдатушка, не слыхал ли ты, где проживает такой *Петан Петаныч, Печанской губернии, Заслонского уезду, Горшевской волости?*” Солдат будто не понял: “Как же матушка, слыхивал! Только он уехал в *Сумскую губернию, в Заплечный уезд*, а заместо его *Плетан Плетанович* живет”. Баба не поняла. А ушел солдат — хват за горшок, а там лапоть вместо петуха» [РБС, с. 198, № 137]¹³.

~ Герои подвергают друг друга взаимному испытанию: баба, гордая тем, что обманула солдата, укрыв от него петуха, хочет провести солдата еще «языковым» способом, предлагая ему загадку, где зашифрованы *петух, печь, заслонка, горшок*; солдат обращает «оружие» бабы против нее самой, предлагая ей ответную загадку, скрытыми денотатами которой являются *сумка, за плечами, лапоть*. Стоит обратить внимание на изобретательный «язык» шифра: используются квазиимена — «фантомные» антропонимы и топонимы, полученные в результате шифровки соответствующих нарицательных слов. При этом онимы обладают непривычно прозрачной внутренней формой, которую в то же время трудно прочитать, поскольку она не дает прямого указания на денотат, а лишь намекает на какие-то его свойства (*лапоть плетеный* → *Плетан*) либо гипертрофирует их (*печь* — микролокус, но названа *губернией*, а ее содержимое — *уездом и волостью*).

Нарушение лексического состава формул речевого этикета

◆ рус. костр. «Приветствие работающему человеку — “Богу на помочь”. Одна женщина перепутала приветствие и сказала обедающим: “Бога на помочь”. За это ее обсмеяли, да и она засмутилась. Она говорит: “Бога на помочь!” — а они-то ели!» [ЛКТЭ].

~ Героиня анекдота высмеивается за недостаточное владение формулами этикета и неумение «привязать» их к нужной ситуации.

◆ рус. костр. «Мужик один заяка <заика> был, вот и звали *Бырма*. Девка одна глупая была, решила уважить его, назвать поуважительней. Вот

¹³ Варианты этого текста см.: [ЖЧРФ, вып. 2, с. 383–384, 422; РБС, с. 199–200, № 138; и др.].

и обратилась к ёму — *Бырмáнтий*. А он ей врезал! На самом деле не уважила. Вот не понимают иные, как уважать-то. Языком ведь обидеть можно» [ЛКТЭ].

~ Героиня плохо владеет «официальным» стилем общения. Желая обращаться к собеседнику «поуважительней», она пытается образовать «полную» форму его имени, не зная, что Бырма — это отнюдь не деминутив от личного имени, а прозвище.

Подводя итоги, проанализируем коммуникативные ситуации, в которых проявляются лексические недоразумения.

Участники коммуникации противопоставлены по возрасту (ребенок — взрослый, молодой — пожилой), месту жительства (жители разных территорий, горожанин — житель деревни), социально-экономическому положению (барин, богач, хозяин — работник, слуга, солдат), семейному статусу (зять, невестка, сын, жених — теща, свекровь, мать, невеста), этноязыковой принадлежности (инородцы — сообщество говорящих на основном языке какой-л. территории, страны и др.). Они имеют разный языковой опыт, что и является причиной недоразумений. Больший опыт приписывается тем коммуникантам, которые перечислены в правой части оппозиций (обозначим их А), меньший — коммуникантам в левой части (Б).

Специфичны коммуникативные намерения говорящих.

Во-первых, выделяется интенция испытания собеседника: коммуникант А, владеющий «более правильным» (местным) языком, не знает границ языковой компетенции Б (как правило, «чужака», недавно введенного в новый коллектив) и невольно или намеренно (что чаще) «экзаменует» его (ср., к примеру, рассказы об испытаниях зятя и невестки, не знающих местного говора). Языковое испытание — один из способов социализации нового члена сообщества. Намерение испытать собеседника может сопровождаться интенцией обучения языку (особенно в тех случаях, когда в роли «испытуемых» выступают дети).

Во-вторых, присутствует интенция умышленного обмана: А знает объем языкового опыта Б и, пользуясь этим знанием, пытается обмануть его, поставить в неловкое положение и др. (сказки «В-чем-я», «Byi tu taki»). Возможен двойной обман: замысел обмануть А рождается у Б, опрометчиво недооценивающего языковой опыт собеседника, — и в результате А оказывается хитрее (сказка о Петане Петановиче, о сыне, говорящем с отцом на квазилатыни).

В-третьих, есть ситуация языковой ошибки Б, которая не инициирована преднамеренными действиями со стороны А (ср. предание о чуди, неверно понявшей глагол *крестить*, байку о парне, который *куражился* на морозе, и т. п.). Иногда выбирается специальный типаж «языкового дурака», регулярно совершающего подобные ошибки (например, Совизджал).

Интенции, проявленные в ситуациях языковых испытаний, могут быть выделены с разных позиций (по отношению к инициатору испытания) — изнутри и извне. Внутренняя позиция — это позиция самого героя фольклорного текста, высказываемая от лица участника коммуникации, «затеявшего» проверку собеседника. О внешней позиции следует говорить тогда, когда

в тексте не эксплицировано желание героя проэкзаменовать адресата, но оно присутствует в самой логике произведения, принадлежит как бы его автору, творящему текст с определенным намерением (ср., к примеру, польский рассказ о женихе и невесте, которые якобы не поняли, какой подарок каждый из них должен подарить другому).

Языковые явления, лежащие в основе ситуаций недоразумений, связаны с различными аспектами языка — как социальными, так и когнитивными. Чаще всего осмысляется социально обусловленная многослойность лексической системы, несовпадение и подвижность границ лексических групп для разных носителей языка, что приводит к обыгрыванию в текстах явлений полисемии (*бычок* ‘животное’ и ‘облако’, *сходить* — о человеке и о teste), в том числе междиалектной (*ночёвки* как емкость для выкатывания хлебов или переноски навоза), омонимии (польск. нарицательное *chmiel* и зооним *Chmiel*), междиалектной синонимии (*рукавицы* и *кокольды*, польск. *wścibak* и *pierścionek* ‘колечко’) и др. Внимание к этим феноменам во многом определяется «диалектностью» народного восприятия языка, не случайно в центре внимания носителей народной культуры оказываются прежде всего междиалектная синонимия и полисемия. Что касается когнитивных сторон языка, то в первую очередь обдумывается соотношение слова и вещи, слова и понятия (ср. попытки буквализации внутренней формы слов: *сыскать концы* ‘перекреститься перед едой’), изменения структуры значения (польск. *buty* ‘ботинки’ для собак, а не людей), придумывания новых имен для известных предметов (*Плетан Плетанович* — лапоть) и др.

Отражение в текстах различных языковых явлений имеет жанровую приуличность. Так, бытовые нарративы в основном обращены к феноменам лексической системности. В жанрах, ориентирующихся на вымысел (сказках), чаще используются «ирреальные» явления (например, принцип фальсификации слов).

Наконец, следует отметить, что сверка лексического опыта может осуществляться по некоторым типовым сценариям, при реализации определенных сюжетных ходов. Так, типичный сюжетный ход (особенно для интенции языкового испытания) — «Сходи туда-то, принеси то-то (обычно бытовой предмет)».

Итак, ситуации языковых испытаний встречаются в народной традиции сравнительно редко, но вместе с тем занимают значимое место в ряду форм общественного контроля за знанием языка, являющегося основным способом передачи социокультурного опыта. Носители традиционной культуры, конечно, не сдают экзаменов на знание языка, но коллектив говорящих контролирует эти знания «снизу», в том числе в форме игровых языковых испытаний. Такие испытания весьма разнообразны с точки зрения культурных сценариев, в которые они включены, состава участников, обыгрываемых языковых явлений и прагматического «рисунка» (сочетания различных намерений говорящих).

Даль ПРН — Пословицы русского народа : в 3 т. / сб. В. Даля. М., 1993. [Dal' PRN — Poslovitsy russkogo naroda : v 3 t. / sb. V. Dalya. M., 1993.]

ЖЧРФ — Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. М., 1991. Вып. 1 : Младенчество. Детство. М., 1994. 592 с. ; Вып. 2 : Детство. Отрочество. 525 с. [ZHCHRF — Mudrost' narodnaya. Zhizn' cheloveka v russkom fol'klore. M., 1991. Vyp. 1 : Mladenchestvo. Detstvo. M., 1994. 592 s. ; Vyp. 2 : Detstvo. Otrochestvo. 525 s.]

Зеленин Д. К. Народные присловья и анекдоты о русских жителях Вятской губернии : этнограф. и ист.-лит. очерк // Зеленин Д. К. Избр. тр. : статьи о духовной культуре (1901—1913). М., 1994. С. 59—105. [Zelenin D. K. Narodnye prislov'ya i anekdoty o russkikh zhitelyakh Vyatskoj gubernii : etnograf. i ist.-lit. ocherk] // Zelenin D. K. Izbr. tr. : stat'i o duchkovnoj kul'ture (1901—1913). M., 1994. S. 59—105.]

Кабакова Г. И. Родня за столом // Категория родства в языке и культуре. М., 2009. С. 159—169. [Kabakova G. I. Rodnya za stolom // Kategoriya rodstva v yazyke i kul'ture. M., 2009. S. 159—169.]

Казакова Е. Д. Вятка и вятчане в русской языковой традиции // Вопр. ономастики. 2011. № 2 (11). С. 19—50. [Kazakova E. D. Vyatka i vyatchane v russkoj yazykovoj traditsii // Vopr. onomastiki. 2011. N 2 (11). S. 19—50.]

Казакова Е. Д. Вятчане глазами костромичей // Живая старина. 2012. № 2. С. 41—44. [Kazakova E. D. Vyatchane glazami kostromichej // Zhivaya starina. 2012. N 2. S. 41—44.]

КСГРС — картотека Словаря говоров Русского Севера (кафедра русского языка и общего языкоznания УрФУ, Екатеринбург). [KSGRS — kartoteka Slovarya govorov Russkogo Severa (kafedra russkogo yazyka i obschego yazykoznanija UrFU, Ekaterinburg).]

ЛКТЭ — лексическая картотека Топонимической экспедиции УрГУ (кафедра русского языка и общего языкоznания УрФУ, Екатеринбург). [LKTE — leksicheskaya kartoteka Toponimicheskoy ekspeditsii UrGU (kafedra russkogo yazyka i obschego yazykoznanija UrFU, Ekaterinburg).]

Морозов И. А., Слепцова И. С. «Круг игры». Праздник и игра в жизни северорусского крестьянина (XIX—XX вв.). М., 2004. 920 с. [Morozov I. A., Sleptsova I. S. «Krug igry». Prazdnik i iga v zhizni severnorusskogo krest'yanina (XIX—XX vv.). M., 2004. 920 s.]

РБС — Русская бытовая сказка. Л., 1987. (Библиотека народно-поэтического творчества). [RBS — Russkaya bytovaya skazka. L., 1987. (Biblioteka narodno-poeticheskogo tvorchestva).]

РНС — Русские народные сказки // Интернет-портал. URL: <http://www.ru-skazki.ru/in-what-am-i.html> (дата обращения: 25.09.2012). [RNS — Russkie narodnye skazki // Internet-portal. URL: <http://www.ru-skazki.ru/in-what-am-i.html> (data obrashcheniya: 25.09.2012).]

СГБС — Афанасьева-Медведева Г. В. Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири. СПб., 2007—. Т. 1—. [SGBS — Afanas'eva-Medvedeva G. V. Slovar' govorov russkikh starozhilov Bajkal'skoj Sibiri. SPb., 2007—. T. 1—.]

СГРС — Словарь говоров Русского Севера. Екатеринбург, 2001—. Т. 1—. [SGRS — Slovar' govorov Russkogo Severa. Ekaterinburg, 2001—. T. 1—.]

СД — Славянские древности : этнолингвист. слов. : в 5 т. М., 1995—2012. [SD — Slavyanskie drevnosti : etnolingvist. slov. : v 5 t. M., 1995—2012.]

Смирнов Ю. И. Самопогребение чуди // Народные культуры Русского Севера : материалы российско-финского симпозиума. Архангельск, 2002. С. 58—64. [Smirnov YU. I. Samopogrebenie chudi // Narodnye kul'tury Russkogo Severa : materialy rossijsko-finskogo simpoziuma. Arkhangelsk, 2002. S. 58—64.]

СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. Вып. 1—6. СПб., 1994—2005. [SRGK — Slovar' russkikh govorov Karelii i sopredel'nykh oblastej. Vyp. 1—6. SPb., 1994—2005.]

СРГС — Словарь русских говоров Сибири. Новосибирск, 1999—2006. Т. 1—5. SRGS — Slovar' russkikh govorov Sibiri. Novosibirsk, 1999—2006. T. 1—5.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. М. ; Л., 1965—. Вып. 1—. [SRNG — Slovar' russkikh narodnykh govorov. M. ; L., 1965—. Vyp. 1—.]

ССРЛЯ — Словарь современного литературного языка. М. ; Л., 1948—1965. Т. 1—17. [SSRLYA — Slovar' sovremenennogo literaturnogo yazyka. M. ; L., 1948—1965. T. 1—17.]

Тунгусов А. А. «Кабы не Арза — не река...» : заговоры, частушки, загадки, пословицы, песни старины нашей. Изд. 2-е. Архангельск, 2006. 168 с. [Tungusov A. A. «Kaby ne Arza — ne rekha...» : zagovory, chastushki, zagadki, poslovitsy, pesni stariny nashej. Izd. 2-e. Arkhangel'sk, 2006. 168 s.]

ЯОС — Ярославский областной словарь. Ярославль, 1981—1991. Вып. 1—10. [YAOS — Yaroslavskij oblastnoj slovar'. Yaroslavl', 1981—1991. Vyp. 1—10.]

AE UMCS — Archiwum Etnolingwistyczne UMCS. Lublin, Polska (Люблин, Польша).

Ciszewski S. Lud rolniczo-górnictwowy z okolic Siawkowa w powiecie Olkuskim // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. Kraków, 1887. Т. 11. S. 1—130.

Godka.pl — Godka.pl// Силезский интернет-портал. URL: <http://www.godka.pl/kawaly/81-dwie-umy-i-buka.html> (дата обращения: 25.09.2012).

Kolberg O. Dzieła wszystkie. Wrocław ; Poznań, 1962. Т. 8 : Krakowskie. Cz. 4.

Kosiński W. Materiały do etnografii Gyrali Bieszczadzkiej // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. Kraków, 1883. Т. 7. S. 3—106.

KSGP — kartoteka Słownika gwar polskich (Zakład Dialektologii Polskiej IJP PAN, Kraków).

Küpper H. Pons-Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. Stuttgart, 1993. 959 s.

SFP — Słownik folkloru polskiego / pod red. J. Krzyzanowskiego. Warszawa, 1965.

Simonides D. Kumotry diobla. Opowieści ludowe śląska Opolskiego. Warszawa, 1977. 181 s.

ŚŚ — Słownik Śląski: System słownikowy [Electronic resource]. URL: <http://jazyk.slawek.info/zymla.html>.

Статья поступила в редакцию 21.06.2013 г.

УДК 82-191 + 82(091) + 808.1

О. Н. Турышева

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ КАК МЕТАФОРЫ ЧТЕНИЯ

Анализируется понятие образности, сложившейся в художественной литературе в отношении события чтения. Рассматриваются метафоры, связывающие чтение с эросом и танатосом. Выявляется специфика функционирования данных метафор в европейской словесности от Средневековья до XXI в.

Ключевые слова: метафора любви; метафора смерти; изображение читателя; изображение чтения.

Выработанная в недрах художественной словесности устойчивая метафора, связывающая чтение с наслаждением, сопоставимым с наслаждением любви (эрос), прочно и давно вошла в европейскую культуру. Существует и другой аспект метафорики художественной рецепции, сложившейся в литературе. Это аспект, в рамках которого чтение нередко сопрягается со смертью (танатос) читающего человека. Эрос и танатос как две универсальные метафоры чтения и составляют предмет данной статьи, нацеленной на выяснение характера функционирования этих метафор в художественной литературе разных эпох. Интересно, что в контексте уподобления читательской деятельности любви и смерти эти метафоры то образовывали бинарную оппозицию

(противопоставляя любовь к книгам смерти), то сопрягали противоречия чтения в единое целое (трактуя любовь к чтению как смерть читателя) — соответственно тому представлению о роли книги в жизни человека, которое регулировалось общими ментальными установками той или иной эпохи.

Корни уподобления удовольствия от чтения эротическому удовольствию следует искать в религиозной литературе Средневековья. Причем средневековая мысль привлекала данную метафору на почве двойного логического основания.

С одной стороны, о чтении как наслаждении, подобном любовному переживанию, Средневековье пишет в ключе категорически негативной оценки, имея в виду то, что страстное увлечение книгой может отвлекать душу читающего от вкушения истины, связанной с долгом познания Бога. Последнее, как известно, осуществимо для Средневековья в первую очередь в труде изучения и заучивания Священного Писания и церковных книг, составляющих необходимый комментарий библейского текста. Противопоставляя тяжелый труд воспитания души простому, легковесному и сиюминутному наслаждению, средневековая мысль однозначно противопоставила чтение сакральное и чтение светское, уничижительно отождествив последнее с увлечением эротического толка.

Такого рода отождествление мы находим во фрагменте «Божественной комедии» Данте, повествующем о загробном пребывании Франчески да Римини и Паоло Малатесты — героеv второго круга ада. Вместе читая роман Кретьена де Труа о Ланцелоте и Гениевре, они, напомним, цитируют поцелуй героев куртуазной истории. Чтение романа французского трубера фигурирует здесь именно как любовное событие. Сама Франческа в ответ на просьбу Данте рассказать историю своего грехопадения, целиком выводит свою вину из ситуации «сладостного» (как она говорит) чтения куртуазного романа. При этом себя она считает жертвой литературного соблазна, которому не смогла противостоять: «Повесть победила нас», — говорит она, сравнивая совративший ее роман с Галеотом — персонажем, имя которого, по свидетельству Р. И. Хлодовского, было во Флоренции дантовских времен синонимом вульгарного сводника («книга стала нашим Галеотом»). Франческа, таким образом, присваивает сводничество самому роману.

Осуждение «сладостного» чтения у Данте, конечно, связано с предписывающим характером средневековой идеологии, в рамках которой светское чтение осуждалось как источник моделей ложной самоидентификации. Однако изображение Франчески и Паоло окружено в поэме и сострадательными коннотациями. При этом сострадательное внимание жалобе Франчески сопряжено у Данте и с другим чувством — ужасом прозрения собственной вины в горестной истории этих читателей. Такую интерпретацию дантовской эмоции, вынесенную в завершение песни о Франческе и Паоло («Мука их сердец / Мое чело покрыла смертным потом, / И я упал, как падает мертвец») предлагает М. Андреев [см.: Андреев]. С его точки зрения, эти слова Данте следует читать как свидетельство открытия им того факта, что «сладостная» литература (и в том числе, «поэзия нового с ладостного» (разрядка наша. — О. Т.) стиля», одним

из основателей которой он был) ввергает своих читателей в круговорот чувств, перед властью которых они устоять не могут, нарушая в подражании литературным героям установленные нормы поведения и в итоге расплачиваясь страшным загробным воздаянием. «Сладостное» светское чтение, повторим, у Данте выведено как источник греха и забвения долга.

В этом плане кажется, что чтение сакральной литературы в словесности Средневековья должно быть не только свободно от эротических коннотаций, но и изображаться в качестве этического противовеса велениям страсти. Выразительный аргумент: Пьер Абеляр, описывая, как он «под предлогом учения преподавался любви» с Элоизой, в раскаянии противопоставляет свое «сластолюбие» именно философским и богословским занятиям: «Над раскрытыми книгами больше звучали слова о любви, чем об учении; больше было поцелуев, чем мудрых изречений; руки чаще тянулись к груди, чем к книгам, а глаза чаще отражали любовь, чем следили за написанным» [Августин Аврелий, с. 267].

Однако в средневековой словесности обнаруживается тенденция и чтение нормативных книг сопоставлять с эротическим наслаждением. Но в этом случае оно подавалось в качестве единственно верной альтернативы греховной земной любви. В рамках этого логического основания радость чтения противопоставлялась «всем другим сладостям мира», ибо они, как писал средневековый философ Иоанн Солсберийский, «горчат» в сравнении с «упражнениями чтения» [Солсберийский]. Последнее поэтому описывалось в метафорах духовного наслаждения, отвлекающего от грехов плоти. Такое толкование читательской активности встречаем, например, в трактате Ф. Петрапарки «Моя тайна», где устами Августина чтение богоугодной литературы трактуется как возможность «исцеления духовного недуга» Франциска — его любви к земной женщине Лауре. В общении со Священным Писанием Августин обещает Франциску обретение подлинного наслаждения в противовес любовному страданию, которым тот одержим.

Итак, в средневековой художественной рефлексии эротическая метафорика, предпринимаемая в отношении библейского чтения, призвана была вызвать те духовные дары, которые обретались в процессе работы читателя над сакральной литературой. Однако когда эротические коннотации использовались в изображении светского чтения, они, наоборот, служили его компрометации — в качестве препятствия на пути к спасению души и залога ее смерти. Но в любом случае, даже сопрягаясь с событием любви, чтение в рамках средневековой мысли трактовалось как полноценная, необходимая и возможная замена эротики духовной деятельности, направленной на познание Бога.

В свою очередь, такая оппозиция любви и чтения парадоксальным, но очевидным образом спровоцировала представление о соответствии друг другу радостей чтения и эротических радостей, а также представление о возможности описать одно через другое. Так, в рамках средневековой словесности чтение, как мы видели, описывается через совокупность эротических метафор¹, а более поздняя литература, наоборот, изображает любовь посредством метафор чтения.

Актуализация эротической метафоры в отношении художественного восприятия приходится на романтическую эпоху, что связано с «верой в высшую священную ценность произведения искусства» (С. Зенкин). В литературе романтизма эротическая метафора, конечно, служит возвышению рецепции как деятельности творческой, в энергии своего вдохновенного соучастия подобной авторскому труду. Однако эротическими коннотациями прежде всего в литературе было окружено изображение переживания музыки (например, в новеллах Гофмана «Дон Жуан» и Бальзака «Сарразин»). Чтение подобную метафоризацию также получило, но в особом содержательном ключе: вместо однозначной апологетики художественного переживания романтическая литература, обратившаяся к чтению, с помощью метафоры любви осмыслила его трагические противоречия. Изображенные в романтической словесности страстные читатели, как правило, сходят с ума на почве самоотождествления с любимыми героями или любимыми книгами. Причем любовь к книгам не просто лишает их рассудка, но и обрекает на смерть. Именно та наука о любви к книжной страсти здесь находится в центре литературной рефлексии (эротическое ее содержание для романтизма очевидно), и связана она оказывается не с выбором неправильной литературы (как в Средневековье), а с самоубийственной безмерностью любви к книге.

В качестве иллюстрации обратимся к двум почти одноименным новеллам французской романтической литературы, актуализирующими в описании любви к книгам эротическую метафорику. Одна из них («Библиоман») принадлежит перу директора библиотеки Арсенала Шарля Нодье, другая («Библиомания») — перу пятнадцатилетнего Гюстава Флобера. Следует сказать, что именно во французской литературе XIX в. феномен любви к книгам получил наиболее глубокое осмысление, вплоть до терминологического разграничения его разных видов.

Это разграничение было впервые предпринято Ш. Нодье. Любитель книг в его художественном и публицистическом творчестве имеет две ипостаси: первая — это любитель чтения, страстный читатель; вторая — это книжный коллекционер, страстный собиратель. Эти два типа последовательно разводятся в статье «Любитель книг» (1841). Здесь библиофилом именуется именно читатель — тот, кто «влюблен в творения гения, фантазии и чувства» [Нодье, 1989б, с. 170] и «от любви к далекому автору» «незаметно переходит к обожанию предмета, заменяющего этого автора», поэтому он «с наслаждением украшает предмет своей любви», он «холит свои книги, как король — своих наложниц» [Там же]². Глубоко личностное отношение библиофила к книге Нодье как раз и акцентирует посредством метафорики интимных чувств: биб-

¹ Выражение этой тенденции отчетливо ощутимо у М. Монтеня: в третьей главе третьего тома «Опытов» он описывает сомнения выбора лучшего типа общения, в конце концов предпочитая общение с книгами любовному общению. Для него эротическое событие оказывается уже равнозначно событию чтения.

² Нодье имеет в виду библиофильскую моду оправлять ценные книги в дорогие, искусно сделанные переплеты.

лиофил любит книгу, как «друг любит портрет друга, как влюбленный — портрет своей возлюбленной». По горькому убеждению Нодье, тип такого отношения к книге «вскоре исчезнет», «библиофилы, как и короли, уходят со сцены» [Там же], уступая в буржуазном мире место библиоманам. Библиоманией Нодье называет страстное книжное коллекционирование; библиоман — это тот, кто «сваливает книги, не читая», кто «копит их без разбора», в отличие от библиофила, который «ставит книгу на полку не раньше... чем изучит ее вдоль и поперек и уладит ею сердце и ум» [Там же, с. 177].

Библиофилическая страсть вызывает у автора сочувственное уважение, и эротические коннотации в ее описании безусловно поддерживают авторскую эмоцию. Описание библиомании в творчестве Ш. Нодье также поддерживается эротическими метафорами, но в этом случае их функция иная: они очевидностью призваны подчеркнуть перверсивный характер страсти коллекционирования книг.

Новелла «Библиоман» посвящена смерти библиофила. Трагический финал читателя здесь недвусмысленно связан с катастрофой его превращения в коллекционера: в истории героя Нодье первоначальная любовь к чтению оборачивается болезненной одержимостью обеспечить своим книгам достойное содержание. Сам механизм превращения библиофила в библиомана связывается в новелле с самоотождествлением героя с предметом своей любви — книгой.

Симптоматику столь парадоксального самоотождествления Нодье запечатлевал уже на первых страницах повествования, рассказав, в частности, об обиде своего героя на портного за то, что тот не сделал ему карманы ин-кварто. Абсолютное же свое выражение этот ракурс безумия героя находит в его автоэпитафии, в которой он прямо идентифицирует себя с книгой, а свою жизнь — с жизненным циклом книжного тома: «Здесь в деревянном переплете поконится экземпляр лучшего издания человека... Ныне это старая книжонка, потрепанная, грязная, с вырванными страницами и попорченным фронтисписом, изъеденная червями и наполовину скнившая» [Нодье, 1989а, с. 50].

Данная самоидентификация с легкостью объясняет тот маниакальный страх, который составляет центральное переживание героя. Это страх за сохранность книг. Он фетишизирует переплеты, оберегающие книжные страницы от губительного соприкосновения с внешним миром. Но в автоэпитафии книжный переплет странным образом оказывается тождествен деревянному гробу, который, как признается сам герой, не может защитить от тления и отменяет всякую возможность «переиздания». Система этих отождествлений, развернутая на страницах новеллы, очевидностью разоблачает манию служения книгам: библиоман оказывается могильщиком книг; его страсть, будучи сосредоточена на обеспечении им изысканных гробов-переплетов, оборачивается деятельностью сродни погребальной, хотя сам герой изначально проводил другую параллель: в себе он, конечно, видел не могильщика книг, а хозяина гарема, осыпающего своих наложниц драгоценностями. Перенос эротического переживания на книгу здесь доведен до гротескного размера: любовь к чтению, будучи подменена отчаянной заботой о сохранности материальной оболочки

книги, закономерно обворачивается безумием ревности к другим обладателям уникальных изданий и смертью героя. Очевидно, что для Нодье альтернативу убийственному коллекционированию составляет чтение как воплощение истинной любви к книгам.

Это противопоставление библиомана читателю поддерживает и юный Г. Флобер. Развивая мотив, заданный Нодье, Флобер завершает образ коллекционера книг как носителя разрушающей и саморазрушающей энергии. Новелла его имеет почти такое же, как у Нодье, название — «Библиомания» (1836), однако содержание книжной страсти во флоберовском варианте подразумевается несколько иное. В данном случае предметом изображения становится не столько безумие служения книгам, сколько безумие обладания книжными раритетами. Недаром отношение героя к книге описано в совокупности исключительно чувственных переживаний, возникающих на почве таких модальностей, как осязание книги, обоняние ее аромата, рассматривание ее издательского исполнения: «Он брал какую-нибудь книгу, перелистывал ее, щупал бумагу, рассматривал позолоту, переплет, шрифт, краску... потом он переставлял эту книгу на другое место... и часами созерцал ее заголовок и формы...» [Флобер, с. 159–160].

Страсть флоберовского коллекционера находит трагическое разрешение: будучи потрясен фактом существования второго экземпляра книги, которую он считал уникальной и стремление владеть которой заставило его рисковать жизнью, спасая ее из горящего дома своего соперника (а по предположению суда, — стало причиной и самого поджога), он признается во всех инкриминированных ему злодеяниях. Так, добившись смертного приговора, герой в то же время обманным способом завладевает вторым экземпляром книги и уничтожает его.

Итак, вслед за Нодье, Флобер подтверждает разрушительное содержание библиомании — страсти к книге, преследующей не удовольствие от чтения, а удовольствие от обладания. В обоих случаях гипертрофия чувственного начала в любви к книге обворачивается смертью всех участников коллизии: и самих библиоманов, и возлюбленных ими книг.

В модернистской разработке тема чувственного отношения к книгам в большей степени акцентирует страдальческое положение самих книг, выводя их обладателя бесчувственным маньяком, сосредоточенным на охране своих «наложниц». Однако и в такой версии библиофильский сюжет фиксирует человеческий распад бывшего читателя. Такую реализацию темы находим в новелле Ж. Дюамеля «О любителях» из цикла «Письма к другу-патагонцу» (1926).

Новелла сосредоточена на описании трех встреч повествователя с библиофилом Куртеном — человеком, «изнуренным» книжной страстью. Рассуждая о своем «безумии» во время первой встречи с повествователем, Куртен характеризует его как одержимость обладания. Дюамель присваивает своему герою вновь балансирующую на грани первверсии (как и у библиофилов Нодье и Флобера) страсть пополнять коллекцию все новыми «наложницами» в надежде испытать новые «почти чувственные», как он говорит, радости. «Разложив книги на столе, я раскрывал их, щупал, перелистывал, прочитывал наугад две-

три строчки, гладил углы переплетов, корешки и застежки. На другой день книги доставляли мне такое же живое, но уже менее острое наслаждение. <...> Еще через день я смотрел на них с чувством бесстрастного удовлетворения, как смотрят на законную жену... Конечно, я люблю их всех, но с чем сравнить медовый месяц?» [Дюамель, с. 227]. На фоне предшествующей традиции здесь особенно акцентировано отношение к книгам как немым телам, бессловесным объектам потребления сродни сексуальному; недаром, когда разговор заходит о чтении, герой пренебрежительно бросает, что он иногда в книги «заглядывает», иногда их «почитывает». Если предшествующие литературные библиофилы — герой Нодье и герой Флобера, напомним, связывали телесность книг с фактором их беззащитности и потребности в достойном хранении (первый) и с фактором их красоты или уникальности (второй); то герой Дюамеля — с их способностью удовлетворять его «странное», по его же собственному выражению, вожделение. О наличии у книг «души», по словам одного из повествователей, он и не подозревает.

Во время второй встречи героя с повествователем, отделенной от первой тремя годами, герой фиксирует «пресыщение» некогда любимыми книгами. Если раньше книги «ютились» в его доме «даже в местах, о которых неудобно говорить», то теперь они помещены в «два библиотечных шкафа, застекленных, зарешеченных и закрытых наглухо». Так любовник превращается в тюремщика, наложницы — в заключенных, наслаждение «почти чувственное» сменяется экономическим наслаждением от обладания дорогостоящими вещами (теперь уже даже не телами).

Третья встреча фиксирует последнюю стадию «умственной эволюции» библиомана. Вместо библиотечных шкафов с прозрачными дверцами повествователь наблюдает «герметически закрытые вместилища сурового вида»: как раньше гарем был заменен на тюремные камеры для избранных, особо дорогостоящих предметов коллекции, так теперь камеры сменились саркофагами. При этом герой декларирует отказ от каких-либо привязанностей и от чтения вообще. Сообщая, что он обладает всеми новинками модернистской литературы, он произносит: «Это не значит, что я их люблю или, чего доброго, читаю» [Дюамель, с. 234]. В finale новеллы деятельность коллекционера обретает откровенно гротескные контуры. Страсть к обладанию раритетами в конце концов извращается в фантасмагорию собирательства действительно уникальных «документов» авторского существования: счетов и расписок, обрезков ногтей, куска штукатурки из комнаты, где поэт появился на свет, и интимных предметов его гигиены. Книги в деятельности одержимого коллекционера оказываются низведены до элементарного свидетельства факта существования и письменной деятельности известного человека.

Как очевидно, рассмотренная новеллой эволюция библиомана вовсе не задана чтением. Наоборот, она является закономерным итогом отказа героя от читательского труда. Подмена интеллектуального наслаждения «почти чувственной» страстью, как и в предыдущих французских новеллах о библиофилах, становится фактором закономерного человеческого омертвления. Новелла Дюамеля с очевидностью фиксирует простую мысль о том, что только чтение

является тем естественным и обязательным регистром взаимоотношений между человеком и книгой, который противостоит как человеческому распаду читателя, так и смерти книги.

Таким образом, в рассмотренной парадигме библиофилических новелл³ (Нодье, Флобер, Дюамель) танатологические смыслы связаны с извращением взаимоотношений между человеком и книгой, что и подчеркнуто привлечением эротических коннотаций в описании страсти героев.

Впрочем, в литературе европейского модернизма была предпринята и противоположная трактовка — трактовка, в рамках которой, наоборот, в качестве фактора смерти читателя рассматривается любовь к чтению. Один из самых выразительных примеров находим в новеллистической притче Г. Гессе «Книжный человек» (1918), безымянный герой которой всю жизнь проводит в чтении, так удовлетворяя чувство голода «по очарованиям и потрясениям». Компенсаторный по отношению к живым связям с другими людьми характер чтения гессевского героя очевиден. Недаром итогом его «бумажного» существования становится горестное признание в том, что за годы добровольного заточения он не познал ни себя, ни жизнь, бушующую за порогом его библиотеки.

Трагическое открытие «книжного человека» получает свое оформление в образе стены из книг: в сновидении героя она становится откровенным символом отказа от живой жизни. В результате страстное чтение герой переживает как трагический самообман: «Он обманут — обманут по всем статьям! Читая... он жил бумажною жизнью; а за нею, за этой гнусной книжной стеной, бушевала настоящая жизнь» [Гессе, с. 53]. Бросаясь на улицу в погоне за «настоящей жизнью», герой мечтает «прожить [ее] сам», «всем своим существом, кровью и сердцем».

Символика книжной стены в притче Гессе представляется более объемной, нежели только связанной с семантикой самоизоляции героя от жизни. Ее смысловое содержание откровенно «прорастает» семантикой смерти и самоубийства. «Я был похоронен, заживо похоронен в бумаге», — произносит герой, прося помочи у сострадательной проститутки. Оплачена талерами любовь бледной и усталой девушки в воображении героя обирается смыслами преодоления книжного плена и возрождения. Обещание помочи в причащении к подлинной жизни, звучащее из уст не понимающей его женщины, скорбной нотой завершает историю Читателя у Гессе. В результате финал притчи лишается смысловой определенности: поражением Читателя выглядит не только его долгая «бумажная жизнь», но и его противоположное устремление — устремление к жизни живой, которая, возможно, окажется столь же исполненной самообмана и смерти, как и жизнь за книжной стеной.

Другой поворот той же темы самоубийственности уединенного и отъединенного от живой жизни чтения предпринят австрийским писателем Элиасом

³ Термин С. Н. Зенкина.

Канетти. В сюжете его романа «Ослепление» (1935) любовь и смерть вновь сопрягаются, но здесь это сопряжение имеет иные основания: у героя Канетти истовая любовь к чтению и книгам складывается на почве миро- и человеконенавистнической позиции. Все «слишком человеческое» в восприятии Кина отождествляется только с «пошлостью, корыстью и похотью». Возможное утешение он связывает с добровольным заключением в библиотеке, объявляя ее «лучшей родиной». Поэтому, будучи выброшенным из мира книг силой обстоятельств, Кин теряет разум.

Испытание вынужденной жизнью в мире дионасийского хаоса в результате оборачивается пароксизмом самоуничтожения в объятиях библиотеки, вновь обретенной после странствий в миру. Герой строит из книг «мощное укрепление» перед дверью в квартиру и одновременно поджигает ее, обрекая себя на смерть вместе со своими книгами. Так, в безумном аутодафе, обретает свой финал страстный любитель книг и чтения.

В рамках предложенного Гессе и Канетти решения библиофильской темы танатологические смыслы оказываются связаны с противостоянием мира библиотеки внешнему миру людей, а чтения — человеческой жизни. Эта тема, заданная в рамках европейского модернизма, получит свою дальнейшую, глубоко драматическую разработку и в целом ряде последующих библиофильских текстов, из совокупности которых мы остановимся на двух произведениях современной литературы — романе уругвайского писателя К. М. Домингеса «Бумажный дом» (2002) и повести Л. Улицкой «Сонечка» (1992).

Сюжет романа К. М. Домингеса образует история человека, вообразившего себя любовником библиотеки и в любви к книгам попытавшегося найти утешение в ситуации несбывшейся любви к женщине. Причем Карлос Бауэр, герой Домингеса, с эротическими переживаниями сопоставляет отнюдь не трепет обладания книгой (который так отличал библиофильские страсти героев французских новелл), а трепет герменевтического проникновения в ее содержание, трепет «завладевания смыслом», по его собственному выражению.

Не знающая пределов страсть описана в романе в совокупности изысканно-болезненных форм. Бауэр предоставляет книгам все пространство дома, заселяя ими не только комнаты, но также кухню, спальню и даже ванную. Он отказывается от использования горячей воды и принимает только холодный душ, опасаясь, что пар может испортить книги. Повествователь сообщает и о других почти гротеских формах проявления любви героя: он дарит другу машину, чтобы освободить гараж для новых библиотечных шкафов, или ужинает в обществе «чудесного издания» «Дон Кихота», располагая его на книжной подставке напротив себя и предлагая ему бокал изысканного вина. «Еще более странное откровение» явилось одному из гостей Бауэра, обнаружившему в спальне хозяина книги, тщательно разложенные на кровати так, «что они воспроизвели все объемы и контуры человеческого тела» [Домингес, с. 84]. Обращает на себя внимание то, что градация гротеских форм проявления книжной страсти героя не находит своего выражения в иронической тональности

повествования: повествование от начала и до финальной точки исполнено сокровенно печальной интонации.

Свое абсолютное выражение любовь Бауэра к книгам находит в изобретении особого способа каталогизации библиотеки. В основе библиографического изобретения героя — принцип учета смысловой связи между книгами. Предполагая расставлять книги в соответствии со своей идеей, Бауэр старается учесть те отношения, которые связывали их авторов, присваивая те же самые переживания и самим книгам. «К примеру, он не решался поставить книгу Борхеса рядом с томиком Гарсиа Лорки, которого аргентинец называл “профессиональным андалузцем”. Не мог поставить произведения Шекспира вместе с трагедиями Марло, принимая во внимание коварные взаимообвинения в plagiatе между этими авторами, хоть из-за этого ему пришлось нарушить серийную нумерацию томов своей коллекции. И, конечно, книга Мартина Эмиса не могла стоять рядом с книгой Джулиана Барнса после того, как эти двое друзей поссорились, а романы Варгаса Льосы не могли находиться рядом с Гарсией Маркесом» [Домингес, с. 78–79]. Герой убежден, что, освободив книги от бремени нежелательного соседства, он сможет обеспечить им комфортное «проживание» в его доме, что позволит ему надеяться на «ответную» любовь со стороны библиотеки, которую он, очевидно, понимает как способность книг дарить ему забвение одиночества, «удовольствием от текста» заглушая внутреннюю боль.

Однако из-за несчастливого стечения обстоятельств каталог погибает в пожаре. Утратив каталог, герой мучительно пытается разорвать узы с библиотекой: после пожара он продает дом и вывозит библиотеку на песчаный морской пляж, где, «онемев от собственной жестокости», строит из книг дом, скрепляя тома цементным раствором.

Кладка стен из книжных томов прямо противоположна библиографической идеи героя: она «отвратительно» связывает книги цементным раствором, заставляя их страдать от случайного соседства друг с другом. Безумие переноса на книги чувств, не осуществленных в отношениях с женщиной, повлекло за собой отрицание самого предмета любви — библиотеки — и метафорическое самоубийство. Месть библиотеке в итоге обернулась разрушением сущностных оснований жизни самого библиофилы.

Л. Улицкая склоняется к иному, но не менее трагическому варианту соединения смыслов, связанных с любовью к чтению и смертью читателя: представляется, что в повести «Сонечка» погружение читателя в книжный мир уравнивается с его уходом из живой жизни. «Обморок» чтения образует композиционное кольцо в истории героини. Будучи «закутана в кокон из тысяч прочитанных томов» и выйдя в жизнь из утробы книги, она очевидно осуществляет сюжет «вечной Сонечки», искренне упиваясь счастьем самоотверженной жизни для других. Но до конца исчерпав смысловую структуру этого архетипа русской словесности, героиня вновь возвращается в лоно литературы, чтением закрыв за собой дверь в жизнь.

Помимо очевидной отсылки к Сонечке Мармеладовой, повесть содержит еще один литературный код (может быть, менее заметный). Это код тургенев-

ского «Фауста», героиня которого открывается для жизни только после преодоления материнского запрета на чтение романов. Поздняя инициация этой героини в мир литературы оборачивается, напомним, ее гибелью. Но сам опыт чтения описан в повести как пробуждение от долгого сна. Недаром приобщение к чтению оборачивается выразительным изменением поведения героини: если раньше рассказчик удивлялся неизменности ее черт («...то же спокойствие, та же ясность, голос тот же, ни одной морщинки на лбу, точно она все эти годы пролежала где-нибудь в снегу» [Тургенев, с. 152]), то теперь он явно акцентирует внимание на эмоциональной насыщенности ее облика.

История Сонечки построена на выворачивании тургеневских смыслов: чтение здесь, наоборот, отождествляется со сном, обмороком, болезненной страстью, «добровольным наркозом». Если тургеневская героиня умирает, не выдержав накала чувств, инициированных чтением, то Сонечка Улицкой в чтении находит утешительную замену жизни, хоть и сложившейся в канонический сюжет спасения другого, но не принесшей счастья. Чтение для Сонечки — «замена счастью», подполье. Подлинное счастье она связывает с жизнью для другого человека. Именно на этой почве складывается ее странная благодарность судьбе, подарившей ей не только мужа и дочь, но и соперницу, требующую забот.

Столь краткий очерк литературы, сопрягающей в описании книжной страсти эротические и танатологические смыслы, позволяет тем не менее выявить ряд тенденций в сфере литературной рефлексии о чтении. Так, очевидной представляется линия в сфере осмыслиения страстного чтения как события и танатоса. В литературе Средневековья смерть читателя связывалась с увлечением «неправильными» книгами и с неразумным подражанием литературным героям, оскорбляющим единственную для Средневековья модель подражания — Христа. В словесности XIX — начала XX в. смерть читателя была рассмотрена литературой как результат извращенного «потребления» книги (не в качестве носительницы сокровенного текста, предназначенного для чтения, а в качестве уникального артефакта или предмета престижа). В литературе XX в. изображенное чтение оборачивается смертью читателя, сознательно или бессознательно противопоставившего живую жизнь общению с книгами.

В свою очередь, эротические коннотации, сопровождающие читательские истории, часто подчеркивают разрушительный характер библиофилической страсти. В этом плане выразительно звучит финальное признание героя тургеневского «Фауста»: переживая уход возлюбленной, он поддерживает справедливость запрета ее матери на чтение, хотя ранее неоднократно выражал в отношении него удивленный и «насмешливый» скепсис, первоначально трактуя чтение однозначно — как «самое чистое, самое законное наслаждение».

Очевидно, что вплоть до конца XX в. в повествовательной литературе о читателе эротическая метафорика чаще всего задается в целях компрометации того типа взаимодействия с книгой, который выбирает читатель, ищущий в чтении наслаждения сродни эротическому. Только в средневековой литературе эротические коннотации поддерживали идею ценности того переживания,

которое дарит правильно выбранная книга. В целом же, как констатирует британская писательница и доктор филологических наук А. Байетт, «писатели редко пишут о... живом и жгучем наслаждении от чтения», и предпринятый выше очерк вполне поддерживает это авторитетное суждение.

В связи с данным наблюдением особенно интересным становится тот факт, что в литературе XX в. была предпринята попытка *пересмыслить* характер того удовольствия, которое читатель обретает в чтении. Так, в романе самой А. Байетт «Обладать» (1990) эrotическое наслаждение было прямо противопоставлено наслаждению эстетическому. В объемном рефлексивном фрагменте романа писательница размышляет о принципиальной специфике «наслаждения словом» по сравнению с «чувством наслаждений», которые несут нам «еда, питье, разглядывание красивых вещей, жаркая плоть». С одной стороны, наслаждение словом, по А. Байетт, трудоемко: оно не дается непосредственно, а создается усилием. С другой стороны, наслаждение словом «убывчиво», так как «направлено обратно в свой источник»: оно рождается красотой и силой слова и на переживании красоты и силы слова сосредоточено же. Отсюда нередко результат чтения — это не непосредственная радость, а «лишь что-то сухое, бумажное, нарциссическое и вместе с тем неприятно отдаленное», ведь, хотя «воображение и трудится», часто исчезает «та первичность, какая заключена в живом» [Байетт, с. 587].

Поэтому, по А. Байетт, наслаждение словом и уступает другим видам наслаждений — и по характеру переживания, и по востребованности в качестве предмета изображения (писатели «редко пишут о наслаждении чтением», а когда пишут, то, как мы видели, часто рассматривают его в качестве источника трагической судьбы читателя). Однако выявление «негативной специфики» удовольствия от чтения позволяет английской писательнице обосновать его элитарность: оно доступно лишь «особым натурам», которые «в состоянии головокружительной ясности, сладостного напряжения чувств... пребывают именно тогда, когда в них, склоненных над книгой, пылает и ведет их за собою наслаждение словом» [Там же]. В романе «Обладать» талант подобного переживания присвоен филологу — профессиональному читателю, для которого чтение не просто вид профессиональной деятельности, но и важнейший предмет профессиональной рефлексии.

В связи с этим обратим внимание на то, что филологическая критика XX в. (в отличие от литературы) о наслаждении словом пишет много, предлагая разные версии для обоснования его специфики. Достаточно напомнить бартовское «удовольствие от текста»; противопоставление герменевтике чтения его «эротики» у С. Зонтаг; радость читательского самоузнавания, описанную Г. Г. Гадамером и, вслед за ним, представителями немецкой рецептивной эстетики; трактовку чтения как акта интуитивного переживания связи с миром в теории Г. Гумбрехта.

Напомним, кстати, что многие исследователи связывали гедонистический аспект чтения именно с необходимостью выполнения читателем определенной интеллектуальной работы. Так, для Р. Барта «удовольствие от текста» — это труд по разоблачению суггестивных технологий литературы, для Г. Г. Га-

дамера — труд самопознания, для В. Изера — труд моделирования читателем собственной личности в процессе чтения, для Ж. Старобинского (лидера жевенской школы критики сознания) — аналитический труд, направленный на достижение «герменевтической победы» — понимания текста.

Однако в отдельных случаях критика XX в. противопоставила читательский труд (труд сознательного проникновения в смысловую сторону текста) наслаждению от чтения. Так, с точки зрения С. Зонтаг, работа по толкованию текста насилиственна по отношению к нему и, следовательно, противоречит чистой радости общения с художественным словом. Наслаждение чтением у С. Зонтаг поэтому декларировано как внеrefлексивное, «эротическое». Г. Гумбрехт также связывает главную функцию литературы («формирование непосредственного переживания бытия») с интуитивным и чувственным переживанием «атмосферы», «аромата» текста, но не с трудом его понимания [см.: Гумбрехт].

У А. Байетт в основе ее объяснении специфики художественной рецепции также лежит расподобление герменевтики и эротики чтения, но при этом первое вовсе не исключает второе (как у С. Зонтаг и Г. Гумбрехта). Наоборот, по мысли писательницы, наслаждение словом достигаемо только через труд проникновения в его смысл, поэтому мыслительный, интеллектуальный, направленный на понимание регистр чтения в ее эстетике полностью обеспечивает чувственный эффект восприятия: наслаждение словом, по мысли писательницы, возможно только в сопряжении с трудом понимания. Только тогда, пишет А. Байетт, «приключается с нами самое удивительное, от чего перехватывает дыхание, и шерсть на загривке — наша воображаемая шерсть — начинает шевелиться: вдруг становится так, что каждое слово горит и мерцает перед нашим взором, ясное, твердое и лучистое, как алмазная звезда в ночи, наделенное бесконечными смыслами и единственno точное, и мы знаем с удивляющей нас самих неодолимостью, знаем прежде чем определим, почему и как это случится, что сегодня нам дано постичь сочинение автора по-иному, лучше или полнее» [Байетт, с. 589].

В рамках подобного расподобления чувственного и книжного опыта, очевидно ведущего к признанию того и другого равноценно значимыми регистрациями понимания жизни, литература XX в. предпринимает и совершенно оригинальное на фоне предшествующей традиции соположение образов любви и чтения. Если в рассмотренных выше текстах, присваивающих чтению характеристики эротического события, эрос фигурировал в качестве активной метафоры в описании читательской деятельности, то в литературе XX в. само эротическое событие было осмыслено как событие чтения: читательская деятельность превратилась в метафору изображения любви. И в этом случае за чтением закрепляются не танатологические смыслы, а смыслы, связанные с осуществлением жизни читающего человека. Возможно, такое переосмысление традиционной метафоры (не чтение книги как эротическое событие, а эротическое событие как чтение другого человека) связано с комплексом постмодернистских идей отекстуальности тела и телесности текста, с теоретическим обоснованием чтения как чувственной

практики (что ранее, напомним, было предметом только художественного изображения), а также, конечно, с пафосом европейской философии диалога, в рамках которой причастность «я» к «другому» была осмысlena в качестве абсолютной ценности бытия.

В романе И. Кальвино «Если однажды зимней ночью путник...» (1979) читательская страсть героя становится залогом любовного соединения с героиней, такой же страстной любительницей чтения. При этом и сама любовная сцена описана в романе как событие чтения: «Читательница, теперь ты прочитана. Твое тело подвергается подробному прочтению через информационные каналы осязания, зрения, обоняния. <...> Предметом чтения в тебе является не только тело. Тело значимо как часть некой суммы сложных элементов... с помощью которых представитель человеческого рода в определенных случаях полагает, что может прочесть другого представителя человеческого рода» [Кальвино, с. 109]. Именно эта метафора (метафора эrotического опыта как опыта чтения (познания) другого человека) и обеспечивает глубинную тему романа — тему преодоления смертной участи человека.

Таким образом, И. Кальвино, сопрягая образы любви и чтения, меняет традиционный вектор в осмыслении читательской деятельности: она становится не только источником наслаждения сродни чувственному, но и залогом обновления жизни. Танатос, столь часто сопрягаемый в предшествующей литературе с безумствами книжной страсти, в этом романе оказывается преодолен.

Августин Аврелий. Исповедь Абеляр П. История моих бедствий. М., 1992. [Avrelij. Ispoved'. P. Abelyar. Istorija moiikh bedstvij. M., 1992.]

Андреев М. Л. Восхождение к Данте [Электронный ресурс] : лекция первая. URL: http://culture.ru/app_dev.php/lecture/view/222 (дата обращения: 01.05.2013). [Andreev M. L. Voskhozhdenie k Dante [Elektronnyj resurs] : lektsiya pervaia. URL: http://culture.ru/app_dev.php/lecture/view/222 (data obrascheniya: 01.05.2013).]

Байетт А. Обладать : романтический роман. М., 2004. [Bajett A. Obladat' : romanticheskij roman. M., 2004.]

Гессе Г. Книжный человек : пер. с нем. // Гессе Г. Магия книги. М., 1990. [Gesse G. Knizhnuyj chelovek : per. s nem. // Gesse G. Magiya knigi. M., 1990.]

Гумбрехт Г. Чтение для настроения? : Об онтологии литературы сегодня // Новое лит. обозрение. 2008. № 94. [Gumbrekht G. Chtenie dlya nastroeniya? : Ob ontologii literatury segodnya // Novoe lit. obozrenie. 2008. N 94.]

Домингес К. М. Бумажный дом. М., 2007. [Dominges K. M. Bumazhnyj dom. M., 2007.]

Дюамель Ж. О любителях : из цикла «Письма моему другу патагонцу» // Корабли мысли : английские и французские писатели о книге, чтении, библиофилах. М., 1986. [Dyuamel' Zh. O lyubitelyakh : iz tsikla «Pis'ma moemu drugu patagontsu» // Korabli mysli : anglijskie i frantsuzskie pisateli o knige, chtenii, bibliofilakh. M., 1986.]

Кальвино И. Если однажды зимней ночью путник... СПб., 2000. [Calvino I. Esli odnazzhdy simnej nochjyu putnik... SPb., 2000.]

Нодье Ш. Библиоман // Нодье Ш. Читайте старые книги. Кн. 1. М., 1989. [Nod'e Sh. Biblioman // Nod'e Sh. Chitajte starye knigi. Kn. 1. M., 1989.]

Нодье Ш. Любитель книг // Нодье Ш. Читайте старые книги. Кн. 2. М., 1989. [Nod'e Sh. Lyubitel' knig // Nod'e Sh. Chitajte starye knigi. Kn. 2. M., 1989.]

Солсберийский И. Поликратик, или О забавах света и заветах философов // Библиотека в саду : писатели Античности, Средневековья и Возрождения о книге, чтении, библиофильстве. М., 1985. [Solsberijskij I. Polikratik, ili O zabavakh sveta i zavetakh filosofov // Biblioteka v sadu : pisateli Antichnosti, Srednevekov'ya i Vozrozhdeniya o knige, chtenii, bibliofil'stve. M., 1985.]

Тургенев И. С. Фауст // Тургенев И. С. Собр. соч. : в 12 т. Т. 6. М., 1979. [Turgenev I. S. Faust // Turgenev I. S. Sobr. soch. : v 12 t. T. 6. M., 1979.]

Флобер Г. Библиомания / пер. с фр. А. В. Гуревич // Корабли мысли : английские и французские писатели о книге, чтении, библиофилах. М., 1986. [Flöber G. Bibliomaniya / per. s fr. A. V. Gurevich // Korabli mysli : angljiskie i frantsuzskie pisateli o knige, chtenii, bibliofilakh. M., 1986.]

Статья поступила в редакцию 03.06.2013 г.

УДК 821.161.1-145 + 821.161.1-15 + 82:001.8

А. Г. Маслова

ЖАНРОВАЯ СИСТЕМА МАСОНСКОЙ ПОЭЗИИ XVIII В.

Анализируются жанры масонской поэзии XVIII в. из журналов «Утренний свет», «Вечерняя заря», «Покоящийся трудолюбец», «Магазин свободнокаменщический». Показано, что ведущими в масонском творчестве являются жанры, призванные отразить онтологическую и антропологическую направленность масонской философии и соотносимые с космическими началами, универсальными законами миропорядка и высшими силами бытия (молитвы, духовные оды, философские произведения), а также нравоописательные жанры, отображающие состояние земной жизни человека, находящегося на разных уровнях развития (притчи, басни, загадки, идyllии).

Ключевые слова: русская поэзия XVIII в; жанровая система; масонская поэзия; онтологические и антропологические универсалии в литературе.

Вопрос о необходимости глубинного изучения масонской литературы XVIII в. ставится в обзорной работе Ю. В. Стенника «Православие и масонство в России XVIII века» [Стенник]. Основные проблемы литературоведческого изучения «масонского направления» в литературе XVIII в. определяют авторы монографии «Масонство и русская литература XVIII — начала XIX века» В. И. Сахаров, Г. А. Давыдов, М. Л. Ровнер [см.: Масонство...]. Однако на сегодняшний день остается нерешенной проблема, какие именно тексты XVIII в. относить к данному направлению. Можно ли связывать с масонским направлением творчество писателей, принадлежность которых к вольным каменщикам документально не подтверждена (например, творчество С. С. Боброва)? Все ли литературные опыты авторов, имеющих прямое отношение к масонству, можно рассматривать как масонские или необходимо каким-то образом разделять их наследие на «масонское» и «немасонское», что актуально, например, при исследовании творчества М. М. Хераскова, В. И. Майкова,

И. Ф. Богдановича? Как быть с многочисленными анонимными текстами, близкими по духу к масонству, ведь далеко не всегда однозначно можно сказать, создано это произведение в масонской среде или за ее пределами? Не ставя перед собой задачу каким-либо образом ограничить круг поэтических текстов, имеющих непосредственное отношение к масонству, мы обращаемся в данном исследовании к произведениям, опубликованным в периодических изданиях Н. И. Новикова конца 1770-х — начала 1780-х гг., и в журнале «Магазин свободнокаменщеской», издававшемся в типографии И. В. Лопухина. Осознавая тот факт, что в журналах Н. И. Новикова печатались не только произведения писателей, являвшихся членами масонского братства, мы тем не менее считаем возможным причислять оригинальные поэтические тексты, опубликованные в этих журналах, к масонскому направлению, так как в них выражаются существенные идеи масонской философии.

Целью предпринятого исследования является выявление содержательной сущности жанровой системы масонских поэтических произведений, что позволит в определенной степени обозначить спектр репрезентативных для масонского направления русской поэзии XVIII в. мотивов и тем.

Конец 1770-х — начало 1780-х гг. — это период кризиса в России рационалистического масонства, восходящего к английской и шведско-берлинской системам, и обращения московских братьев к наиболее мистической ветви «вольного каменщества» — розенкрейцерству, или системе «теоретического градуса». Именно с мистическим масонством связано «возвращение» русских просветителей к идеализму традиционного вероучения. Основополагающими установками масонских братьев явились близкие православию идеалы: евангельская нравственность, любовь к Богу и ближнему, смирение перед земными тяготами, ниспосланными для испытания души, познание себя как Творения Божьего и приближение к Премудрости Божьей [см.: Стенник, с. 82–84].

Этическая составляющая масонского учения, безусловно, была одной из основных сторон, привлекающих в его круг русских дворян, стремящихся наполнить свою жизнь духовным смыслом. Антропологическое содержание масонской философии, утверждающей значимость человека и его роли в мировом пространстве, оказалось родственно нравственным устремлениям таких видных деятелей русского XVIII столетия, как И. П. Елагин, Н. И. Новиков, М. М. Херасков и др. Масонская философия привлекала своим особым «метафизическим пафосом», в частности «пафосом эзотеричности», как его определяет американский ученый Артур Лавджой [Лавджой, с. 17].

Упражнения в поэтическом осмыслиении мира и человека, чтение поэтических текстов, выявление их смысла — эффективное средство познания, сопровождающее необходимые ступени нравственного и духовного самосовершенствования: разум, чувство и (при достижении определенной степени «погружения» в скрытые аллегории и символы) откровение. Поэзия становилась средством передачи тайного знания, а также средством воспитания разума и души «вольного каменщика».

Многие из представителей русского масонства были литераторами, что, безусловно, сказалось на их творчестве. Как справедливо замечает В. И. Сахаров, масонская философия, ориентированная на развитие внутренних рациональных и духовных сил каждого человека, с ее таинственными и полными символического смысла обрядами была «богатым и оригинальным источником образов и тем для поэм, од и малых поэтических жанров» [Сахаров, с. 66].

Художественные тексты масонов как тексты представителей любого эзотерического течения имели двойное содержание: один смысл раскрывался обычным читателям, иной, более глубинный, был рассчитан на «посвященных». Окружающий мир воспринимался масонами как тайнопись, которую необходимо расшифровать с помощью языка символов и аллегорий, и в этом смысле поэтический язык как язык, способный создавать иконический образ, вполне соответствовал поставленной задаче. В то же время русская поэзия, создававшаяся в масонской среде не концентрировалась только на проблеме символического отражения масонской философии. Поэзия становилась и средством самовыражения автора, что открыло новые возможности для русской литературы. Как отметил В. И. Сахаров, именно в масонской поэтической школе рождалось новое отношение к литературе как «к лирическому, то есть высказывающему авторскую душу и сердце творчеству», именно орденская концепция «открывала новые горизонты и пути для подлинной лирики» [Сахаров, с. 79].

Таким образом, обращение к масонской поэзии XVIII в. позволяет изучить важнейший пласт литературы, влиявшей на сознание передовой общественности второй половины столетия, способствовавшей формированию особого поэтического стиля и остававшейся долгое время вне поля исследовательского зрения литературоведов.

Наиболее яркое представление о содержании масонской поэзии дают журналы масонского направления «Утренний свет» (1777–1780), «Московское ежемесячное издание» (1781), «Вечерняя заря» (1782), «Покоящийся трудолюбец» (1784–1785), «Магазин свободнокаменщеской» (1784). Спектр поэтических жанров, представленный в журналах, кажется на первый взгляд широким и разнообразным: это торжественные оды и стихи «на случай», духовно-религиозные оды и переложения псалмов, молитвы, сонеты, рондо, стансы, размышления, стихотворные письма, идиллии, анакреонтические песни и стихи, притчи, эпиграммы, поучительные сказки, басни, загадки, эпитафии. Однако более глубокое знакомство с поэтическими текстами показывает, что поэты-масоны (это понятие используется в данном исследовании условно, так как многие тексты, публикуемые в журнале, анонимны, и однозначно говорить о принадлежности их авторов к масонскому братству невозможно) проявляют особый интерес к одним жанрам и темам и редко обращаются к другим. Так, наиболее широко представлены жанры, связанные с духовно-религиозной, нравственно-философской и дидактической тематикой, значительно реже — оды, посвященные царствующим особам, и произведения любовного содержания.

Художественная значимость определенных жанров обусловлена их традиционной жанровой сущностью, способной отразить основные грани масонской

философии и масонского ритуала. Как доказано исследователями, «жанр предстает в неразрывной связи с жизненной ситуацией, в которой он функционирует, в частности с такими типическими моментами жизни аудитории, как разного рода ритуалы» [Тамарченко, с. 366]. Именно в масонском литературном творчестве оказывается важным то пространство, в котором функционирует художественный текст, поэтому масонскими авторами избираются литературные жанры с соответствующей «содержательной формой». В масонских журналах наиболее часто представлены поэтические произведения, типологически восходящие к ветхозаветной и новозаветной литературным традициям. Это группа литературных жанров, в которых «человек соотносится не столько с жизнью общества, сколько с космическими началами, универсальными законами мироустройства и высшими силами бытия» [Хализев, с. 362]. В произведениях данного типа проявляется особое внимание к изображению духовного начала человеческого бытия, устремленного к Богу, и в этом смысле эти тексты имеют непосредственную связь с онтологической и антропологической проблематикой.

К жанрам данного типа следует отнести такие жанры поэзии XVIII в., как переложения псалмов, духовные оды (которые следует отделять от переложений песен Давида), духовные гимны и песни, молитвы. Кроме того, к этой же группе могут примыкать произведения с соответствующим содержанием, написанные в форме сонетов, стансов, рондо, и стихотворения, жанр которых определяется масонами как размыщение (также развивающее соответствующие онтологические мотивы и образы). Онтологическая проблематика масонских поэтических произведений связана с признанием Бога как Великого архитектора вселенной, Строителя мирового храма бытия и Творца человека. Мир немыслим вне идеи Бога, который раскрывает себя через природу, в том числе и через человека. Безусловно, подобное содержание масонской философии предопределяет интерес масонских поэтов к жанрам, имеющим прямое отношение к религиозной и духовной поэзии.

Для псалмов и других жанров духовно-религиозной поэзии характерна особая хронотопическая ситуация, актуализирующая важные аспекты религиозной мистерии в целом и масонского ритуала в частности. «Содержательная» сущность пространственно-временной ситуации, связанной с созданием, «внутренним чтением» или произнесением вслух духовно-религиозных текстов, характеризуется направленностью вверх, в небесное пространство, и в бесконечность — вечное бытие Бога. Данная ситуация соотносима с мифopoетическим пространством, в котором «профаническая длительность разрывается, и все более и более сакрализующееся время в апогее как бы исчезает (как и пространство), слившись воедино с трехмерным пространством. Эта новая четырехмерная структура своей мифологической и бытийственной фундаментальностью <...> превосходит трехмерное пространство и одномерное время обычного профанического опыта...» [Топоров, с. 257—258]. Как место, в котором проходит работа масонской ложи, символически считается сакральным пространством, отделенным от окружающего профанного мира, так и момент, когда человек (или его душа) вступает в диалог с Богом, считается моментом сакральным, отделенным от обычного, повседневного времени.

Проблему исследования масонских элементов в русской религиозной поэзии XVIII в. затронул в своей работе американский ученый Александр Левицкий [Levitsky]. Отмечая сложность разграничения канонической ортодоксальной версии тех или иных заимствований, восходящих к библейским текстам, от их масонской интерпретации, А. Левицкий в то же время выявляет целый ряд мотивов и образов в текстах А. П. Сумарокова и М. М. Хераскова, непосредственно связанных с масонской символикой и ритуальностью. Ученый обращает внимание на необходимость подробного изучения масонской поэзии XVIII в., так как в произведениях масонских авторов разрабатывается культ чувства, дружбы, братства, характерный для русского романтизма, а также именно здесь закладываются основы романтической веры в то, что поэзия может проникать за пределы физической природы и раскрывать тайны «иного» мира.

Излюбленным жанром масонской поэзии становится жанр переложения псалмов, так как содержание многих песен Давида совпадало с мистическим мироцентризмом франкмасонства. К исследованию некоторых текстов переложений псалмов, выполненных масонскими авторами, обращались М. Л. Ровнер и Л. Ф. Луцевич [см.: Ровнер; Луцевич, с. 375–408].

В литературе, посвященной теоретическим вопросам изучения псалмопевческой поэзии, в качестве главного отличительного качества жанра переложения псалмов называется его антропологическая направленность, а именно «личностный характер» переданных в произведении чувств и эмоций [Семенова, с. 29]. Специфика жанра переложения псалмов, безусловно, восходит к своему прототипу — собственно псалму, жанру еврейской лирики, призванному выражать излияния одинокой души человеческой, обращенной к Богу. Определяющей тематикой псалмов (и, как следствие, их переложений) становится диалог между душой человека и Творцом [Там же, с. 30].

Масоны не стремились к абсолютно полной передаче смысла псалмов, им «достаточно было воспроизвести общий пафос или отдельные мотивы древнего текста, которые давали возможность вводить идеи, значимые для масонства» [Луцевич, с. 401]. Не ставя перед собой задачу проанализировать все псалмы, изданные в масонских журналах, обратим внимание на один из них, в котором ярко проявляется масонская символика и образность.

В «Покоящемся трудолюбце» приведено анонимное переложение 25-го псалма, который, согласно наблюдениям Л. Ф. Луцевич, почти не привлекал внимание масонских авторов, однако в данном случае именно этот псалом оказался наиболее приемлемым для выражения масонских взглядов и применения масонских аллегорий. В каноническом тексте псалма актуализируется тема упования на помощь и защиту Божью праведного человека, стремящегося жить в непорочности и невинности и избегать общения с людьми лживыми, коварными и нечестивыми. Основная идея псалма позволяет развить мотив противостояния праведности и порочности, который в русле масонской символики наиболее ярко реализуется в мистерии борьбы света и тьмы. Согласно легенде во времена строительства египетских пирамид и храма царя Соломона посвященных каменщиков (к которым исторически возводят себя масоны)

называли сынами Света. В тексте переложения, опубликованном в «Покоящемся трудолюбце», неоднократно используется солярная символика, несмотря на то, что в каноническом псалме Давида нет онтологических универсалий света и тьмы. Так, фраза из Библейского текста «Ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей» [Пс. 25 : 3] в масонском переложении звучит следующим образом: «Твою я милость пред очами / Всегда как солнце светло зрел, / И истины ходя стезями, / Тебе я угодить хотел» [ПТ, 1984, ч. 1, с. 69]. Если в псалме герой восклицает: «Господи! Возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей» [Пс. 25: 8], то в переложении образ Божественного дома неотделим от символики света: «Черног Твой блещущ лепотою / Любезен сердцу моему / И славы свет, что пред Тобою, / По сердцу будет в век ему» [Там же, с.70].

Используются в переложении и значимые в масонстве образы пути и храма [см.: Маслова], причем понятие «храм» здесь насыщается негативным смыслом, соотносясь с храмом льстивых, которого необходимо избегать вольному каменщику, стремящемуся идти «незлобным путем». В finale переложения появляется сигнальный масонский символ — образ камня, в данном случае — камня правды: «На камне правды укрепленна / Моя нога не поскользнет...» [Там же], тогда как в тексте псалма: «Моя нога стоит на прямом пути» [Пс. 25 : 12]. Камень символизирует в масонстве душу человека, и в цитируемом случае автор переложения использует образ камня в уникальном контексте, предлагая вместо канонического «прямого пути» образ «камня правды», который сам по себе, в своей конкретике, осмысливается как нечто основательное, незыблемое и прочное.

Другой популярный в масонской среде жанр, восходящий к библейской традиции, — м о л и т в а. Молитва символически воспроизводит «путь к Богу». В основе христианских молитв, которые могут быть хвалебными, просительными, покаянными, благодарственными, лежит одно главное чувство — желание общения с Богом.

Автор «Молитвы к Богу о ниспослании благодати» размышляет о причинах возникновения непреодолимых противоречий в душе человека и обращается к прошлому человечества, ко временам Адама, который «во преступленье впал, / Своим грехом, мой Бог, мою он плоть связал, / За преступленье казнь вошла во человека, / И естество, к добру созданное от века, / Ко злу грехом своим быть стало суждено» [ВЗ, ч. 3, с. 230–231]. Осмысление противоречий человеческой души и поиск способов их преодоления — одна из важнейших тем масонской поэзии. Свет и мрак борются в душе человека («Но темный некий мрак сей разум затмевает, / Он ложь со истиной в затмении мешает», «Свет истины пред ним покрыт сгущенным мраком» [Там же, с. 231]), но душа стремится к Богу, внимает его заповедям. Душа, согласно масонской терминологии, — «внутренний человек», понятие это проникает и в поэтическую «Молитву» неизвестного автора:

И се, о Боже мой! все то, что Ты изрек,
Внимает внутренний лишь только человек!
Он заповедь Твою в себя впечатлевает,

Он истину, и свет, и святость ощущает,
Изобличает нас во злобе и грехах...

[В3, ч. 3, с. 231]

К молитве примыкает жанр духовной песни. Иоанн Златоуст, толкуя Послание к колосянам, обращает внимание на то, что апостол Павел призывает учить и вразумлять самих себя в «псалмех, гимнах и песнях духовных». Первое христианское песнопение, согласно евангельскому повествованию, было принесено на землю ангелами в рождественскую ночь. Песнопения в богослужении приобрели простор вечности с евангельских времен: Божественные гимны неумолчно раздаются на небесах. В масонстве песни, исполняемые на заседании в ложе, «выполняли роль своего рода ритуальной обрядовой поэзии, близкой по своей функции к богослужебной стихотворной христианской традиции» [Луцевич, с. 386]. Немало текстов масонских песен опубликовано в журнале «Магазин свободнокаменнической». Будучи призванными «вразумлять» братьев-каменщиков на их духовном пути к свету истины, масонские песни также подчеркивали избранность собравшихся в ложе «посвященных», знаменовали их единение в стремлении к достижению века Астреи. Тексты масонских песен насыщены специфическими масонскими образами и идеями: противопоставление земного и небесного миров, дружеское единение и равенство, ожидание «золотого века». Одна из масонских песен, напечатанная в журнале «Магазин свободнокаменнической», воспевающая «сладкую дружбу», которая помогает вознести «ко храму мира, тишины», оставив «долу все земное» [МС, ч. 1, с. 135]. Один из хоров прославляет масонское братство, «дружбой сопряженно», в котором каждый может вкусить «век златой» [Там же, с. 140]. Непосредственно с масонскими обрядами связан образ масонского храма как аналога защищенного пространства, в котором, в отличие от всего окружающего мира, царят истинная дружба, добродетель и любовь:

Любезны братья! Днесь
Колико мы блаженны,
Когда все купно здесь
Во храме затворены;
Не видим мы сих бед,
И их мы не трепещем,
Нам правый светит свет,
Согласно да восплещем!

[Там же, ч. 2, с. 126]

Тот же мотив звучит и в другой песне: «Любовь, надежда и покой, / Здесь чистых душ блаженство, / Они для кратких совершенство, / Они блаженный век златой» [Там же, с. 127].

С нашей точки зрения, наиболее репрезентативным для выражения масонских идей является жанр духовной оды, создающийся, в отличие от переложений псалмов, без ориентации на текст-первоисточник, поэтому автор оказывается более свободным в выборе образов, в трактовке религиозной темы. Духовная ода — это не столько диалог с Богом, сколько текст, тесно

соприкасающийся с ораторскими жанрами и подразумевающий более широкую философскую, далеко не частную, тематику.

Духовные оды имеют как онтологическую, так и антропологическую направленность, причем последняя преобладает в масонской поэзии, так как центральное место в масонском учении занимает концепция человека. Человеку, сотворенному, как и весь мир, из безграничного Божественного милосердия и любви, предначертана особая миссия, в соответствии с которой человек, созданный «по образу и подобию Божьему», выделен из всего тварного мира. Человеку дан разум и свободная воля, чтобы он стремился в своем земном бытии «реализовать заложенную способность достижения “обожения”» [Аржанухин, с. 143], т. е. уподобиться Творцу. «Не создан к вечному истлению, / Но в образ Божий человек», — пишет М. М. Херасков в переложениях начальных глав из Премудростей Соломоновых [ТХ, ч. 7, с. 20]. Но человек одновременно принадлежит духовному и плотскому миру, поэтому в нем выделяются два уровня: внешний (плотский) и внутренний (духовный). Различные формы соединения в человеке духовного и телесного порождают иерархию человеческих типов: на вершине — Богочеловек, внизу — ветхий Адам. Задача масонской работы — возвращение ветхого Адама («дикий камень») в состояние Первоадама («совершенный многогранник») с помощью нового Адама — Богочеловека. Именно реальному «совлечению с себя» ветхого Адама и превращению в эдемического (райского) человека посвящены масонские обряды, символы, молитвы, посвятительские практики: «В философском пла-не это означало преодоление дуализма онтологической природы человека, обретение им высшего, сверхэмпирического и сверхразумного знания, а также прямое отождествление с ним. Розенкрейцеры, тяготевшие к вневероисповедной мистике, были убеждены, что человек в своей земной жизни способен “центрально слиться” (Лопухин) с Богом как “Высшим Солнцем чистого света”» [История русской философии, с. 86]. Не останавливаясь на анализе всех духовно-философских од, опубликованных в масонских журналах, рассмотрим в качестве примера хотя бы некоторые тексты.

В оде «Человек» автор обращается ко временам сотворения мира. Рисуются картины создания земли, исполненной чудесами, — света, атмосферы, прекрасной природы — все это было создано Богом для человека — самого великого Божественного творения. Падение человека — лишь временное явление, и автор оды высказывает твердую веру в то, что наступят другие времена:

Теперь греху ты платишь дани,
Повинен смерти стал грехом,
Душа твоя есть место брани,
Где зло сражается с добром,
Где все воюют тьма со светом,
Когда предел тому придет,
Все вновь к началу возвратится
И зло в добро преобрратится,
Как мгла от глаз, оно спадет.

[ПТ, 1785, ч. 3, с. 90]

Космогоническая мифология оды «Смерть», опубликованной в той же части «Покоящегося трудолюбца», содержит совсем иную окраску. Здесь воспроизводится история рождения зла: «родился Хаос, нощь настала / И верх над светом одержала, / Покрыла бездну ону мгла, / Родилось зло, и свет со тьмою / Сражаться стали меж собою, / И брань скончаться не могла» [Там же, с. 106–107]. Вместе со злом пришла в мир смерть, «владычица всех смертных рода, царица тварей всех земных». Первая часть оды нагнетает чувство ужаса от всемогущей смерти, управляющей миром и всюду несущей бедствие. Однако во второй части оды, согласно масонской концепции «любви к смерти», смерть провозглашается благом, смерть — «от жизни к жизни переход», переход «от тьмы ко свету»: «Тобой мы, смерть, животворимся, / Не умираем, но родимся: / Окончив наше житие, / О смерть! Сокровище драгое! / Ты преселяешь нас в другое / Непреходяще бытие» [Там же, с. 108–109]. Контрастные переходы от картин, призванных вызвать чувство ужаса в читателе, к изображению светлого блаженства в Божественном бытии, подчеркивают негативное отношение масона к профанному миру, его полную противоположность ему.

Антропологическое содержание ярко раскрывается также в жанре духовно-философской оды, восходящей к ветхозаветным текстам пророков Экклезиаста и Иова, а также к новозаветной тематике евангельского обновления мира и человека. Данная тематика разрабатывается также в форме сонетов, стансов, рондо, в жанре тренической элегии. Широко распространенным оказался также жанр эпистолы, развивающий сходные с духовно-философской одой темы, но не требующий необходимого для оды «парения», поэтому в еще большей степени позволяющий проявлять свободу в способах излияния религиозного чувства и выражении масонских взглядов. Обострение внимания к двойственной природе человека, являющегося одновременно в духе и во плоти, небесном и земном, «внутреннем» и внешнем, сакральном и профанном, подчеркивает значимость в художественном хронотопе масонских поэтических произведений «пограничной ситуации» перехода, а также образов, отражающих бинарность всего сущего (противостояние земного и небесного, света и тьмы, добра и зла и т. п.). Отношение масонов к пограничному существованию человека «между жизнью и смертью» наиболее ярко раскрывается в масонском правиле «любви к смерти». Смерть в масонстве — этап пути души к свету, или один из этапов жизни, так как масонство признает бессмертие души. Смерть — один из символов ухода от профанного мира, смерть масона символически обозначается как уход на Восток Вечный [Карпачев, с. 260]. Масонская добродетель, связанная с «любовью к смерти», выражается в многочисленных поэтических противопоставлениях земной жизни Божественному небесному миру, ночи плотского бытия духовному свету вечности.

В «Стансах», где субъектом речи выступает «дух умирающего добродетельного человека», рисуется картина вознесения души после смерти телесной оболочки к небесам, где ее встречает Творец, который предстает «в Ангельском его небесном лице» [ВЗ, ч. 3, с. 229], и душа наконец познает счастье, ощущив милость Божью и воспылав ненавистью к своей греховной земной жизни. В других «Стансах» («Взирая на поля, на рощи, на луга...») полное

тревоги и горести человеческое пребывание на земле противопоставляется всему радующемуся жизни миру, поэтому автор уверен, что для человека «другой назначен век, где он почивает, сколь счастлив человек» [УС, 1779, ч. 7, с. 79].

В эпистоле «Человек. К душе своей», опубликованной в первой части «Покоящегося трудолюбца», воссоздаются переживания души, связанные с воспоминаниями о моменте грехопадения:

Вспомни, трепеща, свою ты прежнюю часть,
С небес сниспала ты, подверглась в адsku власть,
Прекраснейшее быв Господнее творенье! <...>
Грехом своим себя ты с Богом разлучила,
Отторжен стал Господь, отторжен от тебя.
Ты скрыла свет его, покрыла тьмой себя.
Отверзла двери ты себе ужасна ада,
Ты смертоносного вкусила силу яда,
И из бессмертия ко смерти ты пришла!

[ПТ, 1784, ч. 1, с. 73–74]

Душа обречена странствовать «среди мирских сует», и только искреннее раскаяние в содеянном грехе может вернуть ее в «отчество», «к началу своему». Центральное событие христианской истории — воплощение Господа в человеческое тело и смерть его на Кресте — упоминается в эпистоле как мистерия, служащая аллегорией земного пути каждой души: через нисхождение в земную юдоль, преодоление испытаний и страданий, через смерть плоти душа может обрести спасение и вознести в «пресветлый чертог» вечной жизни, «возлететь» «к своему началу».

Увы! Душа моя! Распни ты плоть свою,
Ты, смертию ея, восставишаь жизнь твою!
Не шествуй более приятными стезями,
Гряди по тернию, дремучими лесами,
Сквозь камни, дебри, ты пучины проходи,
Змия в самой себе, чудовищ победи <...>
Возникни, о душа! Очисти Божий храм,
Тебе всесущедый Бог отверзнет двери сам,
На свой престол в тебе со славой воцарится,
С тобой встречаяся, с тобою сообщится
И вознесет тебя в пресветлый свой чертог —
На сей конец тебе дал жизнь всесущедый Бог!

[Там же, с. 75–76]

Если в переложениях псалмов и молитвах душа человека вступает в диалог с Богом, то в данной эпистоле воспроизводится диалог человека со своей душой, или общение «внутреннего человека» с самим собой, стремящимся преодолеть в себе противоречия и слабости «внешнего» человека.

Еще одна группа жанров, наиболее часто встречающаяся в масонских журналах, — это притчи, басни, нравоучительные сказки и по-

вести в стихах, идиллии, анакреонтические оды, эпиграммы, которые образуют группу этологических (или нравоописательных) жанров. К этой же группе, с нашей точки зрения, примыкают загадки и эпитеты. Этологические жанры, согласно классификации Г. Н. Поспелова, могут содержать как пафос отрицания, так и пафос утверждения, их цель — раскрывать «состояние национального общества или какой-то его части» [Поспелов, с. 207].

Рассмотрим в качестве примера поучительную стихотворную повесть, опубликованную в майском номере «Вечерней зари», «Фанид, или Спокойствие, дарованное премудростью». Фанид, забывший «прямой путь» к Истине, устремился к мирским благам, суета мирская «ослепила» его, но вдруг наступило прозрение, он понял, что спокойствия «в мятежном свете нет»:

Как будто окружен покровом темной ночи,
Куда ни обратит Фанид смущенны очи,
Сгущено облако вокруг себя он зрит,
Которо дневный свет узреть ему претит.

[ВЗ, ч. 2, с. 57]

Тогда, утомленный скучой и унынием, смущенный открывшимся ему зреющим окружающего мрака, Фанид «к уединению прибегнуть устремился, / В зеленые поля от града удалился. / Уж сельска тишина его сретает там, / Невинность путь во свой ему открыла храм» [Там же]. Здесь, в храме природы, переживает Фанид восторг души, всюду чувствуя присутствие Творца. Пройдя испытание — искушение роскошной жизнью, которая могла увлечь его «в бездну», «в пучину», Фанид осознает, что спокойствие и счастье можно обрести, разорвав «тяжкие оковы» плоти и отказавшись служить своим страсти. Фанид проживает остаток жизни, занимаясь познанием себя, природы и Творца в пространстве сельской тишины и уединении, найдя ограду от «прелестей» земной жизни в красоте природы, так «из бурных вод он стал волною извлечен, / Ко брегу тишины уже перенесен, / И в сельской простоте он дни препровождает, / К благополучию путь часто открывает» [Там же, с. 61]. Страсти не единожды стремятся направить его по ложному пути, но с помощью Премудрости Фанид преодолевает их. Фанид, достигший спокойствия в жизни, спокойно принимает смерть, которая «ко вечности врата пред ним открыла». Он переходит в бессмертие, дух его соединяется с Творцом в «светозарном» небесном чертоге.

Как можно убедиться, данное произведение является повествованием об образцовой жизни человека, победившего в себе все «внешние», ложные стремления и вставшего на путь Истины, ведущий к светозарному Храму вечности. В «Фаниде» мы находим практически все концептуальные хронотопические образы и мифологемы масонской поэзии: путь, храм, противопоставление мрака и света, бурного моря жизни спокойному берегу, города и природы, аллегории слепоты и прозрения, образ оков, символизирующий страсти человеческие, топос уединения, мотивы постижения Творца в природе, открытия ключа к таинствам природы, борьбы добра и зла во внутреннем пространстве человеческой

души, восприятие смерти как пути в вечность, в светозарный чертог Божественного бытия, где душа человека соединяется с вечным Божественным духом.

В масонской среде этологические жанры играют воспитательную роль, так как призваны выявить идеальные стороны человеческой жизни, с одной стороны, и показать пороки современного общества в целом и человека в частности — с другой. Особое внимание следует обратить на жанр эпитафии, связанный с важной для масонов темой смерти. Эпитафии встречаются практически во всех циклических подборках стихов в журналах, завершая их. Эпитафия призвана напомнить о бренности земного человеческого существования и необходимости проявления масонской «любви к смерти». Так, в эпитафии «Добродетельному» создается идеал земной жизни человека («В нем сердце чистою любовью пламенело / К Всевышнему Творцу и Богу своему, / Любило ближняго, желанием горело / Исполнить заповедь, благотворя ему» [ПТ, 1984, ч. 2, с. 235]), ведущий к бессмертию души:

Священным таинствам в нем разум поучался
И света он достиг, горев любви огнем,
К началу устремясь, живот его скончался,
Прохожий! Не стени, взорадуйся о нем!

[Там же]

Таким образом, онтологическая и антропологическая проблематика масонской философии наиболее ярко проявляется в таких жанрах масонской поэзии, как переложение псалма, духовная ода, философская ода, молитва и других, содержательно восходящих к традиции библейских жанров. Онтологическое содержание масонской поэзии связано с особым вниманием поэтов к космологическим и эсхатологическим темам, с признанием тварности мироздания и бесконечной Божественной любви к человеку, обладающему бессмертной душой. Антропологическая направленность масонской философии объясняет внимание поэтов к изображению двойственной человеческой природы, несовершенство которой раскрывается в широко распространенных в масонской поэзии образных оппозициях. Несоответствие «внутреннего» духовного человека несовершенному внешнему миру предопределяет особое внимание к хронотопической ситуации границы, или перехода, а существование в масонской практике различных степеней, соответствующих разным уровням развития человека (от ветхого Адама к новому Адаму), предполагает особую значимость в масонской поэзии образа пути, символически отображающего движение «внутреннего» человека к своему первообразу, созданному по подобию Божьему. Нравоиспособительные жанры (притчи, басни, нравоучительные сказки и повести в стихах, идиyllии, анакроонтические оды, эпиграммы, загадки, эпитафии) отображают состояние земной жизни человека, находящегося на разных уровнях развития. Группа этологических жанров утверждает (в том числе и через отрицание) необходимость преодолевать в себе «ветхого Адама» и возрождать качества, присущие человеку до грехопадения.

Аржанухин С. В. Философские взгляды русского масонства : по материалам журнала «Магазин свободнокаменщической». Екатеринбург, 1995. 224 с. [Arzhanukhin S. V. Filosofskie vzglyady russkogo masonstva : po materialam zhurnala «Magazin svobodnokamenshicheskoy». Ekaterinburg, 1995. 224 s.]

ВЗ — Вечерняя заря : ежемес. изд. Ч. 1—3. М., 1782. [VZ — Vechernyaya zarya : ezhemes. izd. CH. 1—3. M., 1782.]

История русской философии : учебник / под ред. М. А. Маслина. 2-е изд.. М., 2008. 638 с. [Istoriya russkoj filosofii : uchebnik / pod red. M. A. Maslina. 2-e izd.. M., 2008. 638 s.]

Карпацев С. П. Путеводитель по тайнам масонства. М., 2002. 407 с. [Karpachev S. P. Putevoditel' po tajnam masonstva. M., 2002. 407 s.]

Лавджой А. О. Великая цепь бытия. История идеи / пер. с англ. В. Софонова-Антомони. М., 2001. 376 с. [Lavdzhoj A. O. Velikaya tsep' bytiya. Istoriya idei / per. s angl. V. Sofronova-Antomoni. M., 2001. 376 s.]

Луцевич Л. Ф. Псалтырь в русской поэзии. СПб., 2002. 608 с. [Lutsevich L. F. Psaltyr' v russkoj poezii. SPb., 2002. 608 s.]

Маслова А. Г. Пространственно-временные символы и мифологемы масонской поэзии (по материалам масонских журналов 1770—1780-х гг.) // Вестн. Вят. гос. гуманитар. ун-та. 2011. № 4 (1). С. 124—128. [Maslova A. G. Prostranstvenno-vremennye simvoli i mifologemy masonskoj poezii (po materialam masonsikh zhurnalov 1770—1780-kh gg.) // Vestn. Vyat. gos. gumanitar. un-ta. 2011. N 4 (1). S. 124—128.]

Масонство и русская литература XVIII — начала XIX в. / под ред. В. И. Сахарова. М., 2000. 272 с. [Masonstvo i russkaya literatura XVIII — nachala XIX v. / pod red. V. I. Sakharova. M., 2000. 272 s.]

МС — Магазин свободнокаменщической. Т. 1, ч. 1—2. М., 1784. [MS — Magazin svobodnokamenschicheskoy. T. 1, ch. 1—2. M., 1784.]

Поспелов Г. Н. Проблемы исторического развития литературы. М., 1972. 269 с. [Pospelov G. N. Problemy istoricheskogo razvitiya literatury. M., 1972. 269 s.]

ПТ — Покоящийся трудолюбец. Ч. 1—4. М., 1784—1785. [PT — Pokoyaschijsa trudolyubets. CH. 1—4. M., 1784—1785.]

Ровнер М. Л. Масонские мотивы в переложениях псалмов А. П. Сумарокова // Масонство и русская литература XVIII — начала XIX в. / под ред. В. И. Сахарова. М., 2000. С. 119—129. [Rovner M. L. Masonskie motivy v perelozheniyakh psalmov A. P. Sumarokova // Masonstvo i russkaya literatura XVIII — nachala XIX v. / pod red. V. I. Sakharova. M., 2000. S. 119—129.]

Сахаров В. И. Русская масонская поэзия (к постановке проблемы) // Масонство и русская литература XVIII — начала XIX в. / под ред. В. И. Сахарова. М., 2000. С. 66—118. [Sakharov V. I. Russkaya masonskaya poeziya (k postanovke problemy) // Masonstvo i russkaya literatura XVIII — nachala XIX v. / pod red. V. I. Sakharova. M., 2000. S. 66—118.]

Семенова Е. В. Система жанров русской духовной поэзии XVIII — начала XIX в. М., 2001. 183 с. [Semenova E. V. Sistema zhanrov russkoj duchovnoj poezii XVIII — nachala XIX v. M., 2001. 183 s.]

Стеник Ю. В. Православие и масонство в России XVIII в. (к постановке проблемы) // Рус. лит. 1995. № 1. С. 76—92. [Stennik YU. V. Pravoslavie i masonstvo v Rossii XVIII v. (k postanovke problemy) // Rus. lit. 1995. N 1. S. 76—92.]

Тамарченко Н. Д. Теория литературы : учеб. пособие : в 2 т. Т. 1 : Тамарченко Н. Д. и др. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. 4-е изд. М.: Изд., 2010. 512 с. [Tamarchenko N. D. Teoriya literatury : ucheb. posobie : v 2 t. T. 1 : Tamar-chenko N. D. i dr. Teoriya khudozhestvennogo diskursa. Teoreticheskaya poetika. 4-e izd. M.: Izd., 2010. 512 s.]

Топоров В. Н. Пространство и текст // Текст: Семантика и структура. М., 1983. С. 227—285. [Toporov V. N. Prostranstvo i tekst // Tekst: Semantika i struktura. M., 1983. S. 227—285.]

TX — Творения М. Хераскова, вновь исправленные и дополненные : в 12 ч. М., 1796—1803. [TKh — Tvoresheniya M. Kheraskova, vnov' ispravlennye i dopolnennye : v 12 ch. M., 1796—1803.]

УС — Утренний свет. Ч. 1—9. СПб. ; М., 1777—1780. [US — Utrennij svet. CH. 1—9. SPb. ; M., 1777—1780.]

Хализев В. Е. Теория литературы : учебник. 3-е изд., испр. и доп. М., 2002. 437 с. [Khalizhev V. E. Teoriya literatury : uchebnik. 3-e izd., ispr. i dop. M., 2002. 437 s.]

Levitsky A. Masonic Elements in Russian Eighteenth-Century Religious Poetry // Russia and the World of the Eighteenth Century. Slavika published Inc. 1988. P. 419—436.

Статья поступила в редакцию 30.05.2013 г.

УДК 821.161.1 Набоков + 821.111 Набоков +
+ 82-94

А. Е. Литварь (Шапиро)

ЗАГАДКИ И ИТЕРПРЕТАЦИИ РОМАНА В. НАБОКОВА «ПОДЛИННАЯ ЖИЗНЬ СЕБАСТЬЯНА НАЙТА»

Исследуются различные теории расшифровки первого англоязычного романа Владимира Набокова «Подлинная жизнь Себастьяна Найта». Рассматриваются различные варианты интерпретации основных тем произведения, его концовки, а также интертекстуальные связи. Особое внимание обращено на образ рассказчика в этом романе.

Ключевые слова: В. В. Набоков; роман; русская и англоязычная критика; художественная биография; пограничные жанры; гипотезы.

«Подлинная жизнь Себастьяна Найта» (*The Real Life of Sebastian Kingt*) — первый роман Владимира Владимировича Набокова, написанный на английском языке. Начат он был в декабре 1938 г. в Париже, закончен за месяц — небывалый для писателя срок, вызванный необходимостью попасть на литературный конкурс в Лондоне. Роман был опубликован 18 декабря 1941 г. в издательстве *New Directions* по протекции влиятельного друга Набокова, американского критика Эдмунда Уильсона. К этому моменту Владимир Набоков известен лишь в эмигрантских кругах своими произведениями на русском, написанными под псевдонимом Владимира Сирина. В США известность автору принес роман «Лолита», вышедший во Франции в 1955 г. Посему знакомство с романом «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» у большинства критиков произошло *post factum*, значительно позже его выхода. Роман не избежал сравнения с более поздними произведениями Набокова, и сравнение это чаще всего оказывалось не в его пользу.

Сам автор позднее писал в предисловии к «Другим берегам», что находит в романе «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» (или «Истинная» в переводе Геннадия Барабтарло), «невыносимые недостатки» [Набоков, 2001, с. 8]. В письме

своему ближайшему другу, критику Эдмонду Уильсону, он разъяснял, что его смущает «множество неловких выражений и словесных ужимок, характерных для иностранца» [Nabokov – Wilson Letters, p. 57]. В четвертой главе своей книги «Сочинение Набокова», посвященной раскрытию тайны Найта, Г. Барабтарло предполагает, что и всю композицию романа Набоков находил «громоздкой» [Барабтарло, с. 154].

Молодой, не очень удачливый бизнесмен по имени В. (его полное имя так и остается для читателя загадкой) пишет посмертную биографию своего знаменитого сводного брата, писателя Себастьяна Найта. Он проводит практический детективное расследование и по крупицам собирает воспоминания всех людей, тем или иным способом связанных с жизнью и творчеством молодого писателя, трагически погибшего в возрасте 36 лет (почти возраст любимого Набоковым Пушкина). В. описывает воспоминания своей матери, мачехи Найта, свои детские впечатления, слова друга по университету, друзей последних лет жизни, косвенные данные, ложные показания его бывшего секретаря, первой возлюбленной и последней несчастной любви. Все эти отрывки перемешаны как во времени, так и в пространстве; поиски автора настолько хаотичны, что кажется, будто он был ведом самой судьбой, а не разумом и логикой. Этим обусловлена постоянная смена времени повествования (прошедшее и настоящее постоянно и неожиданно сменяют друг друга). Заметную часть произведения занимают отрывки из романов Найта и их анализ. Особенно важна концовка романа, в которой В. открывается истина, которую он так искал: «Какова бы ни была его тайна, я тоже узнал одну, именно: что душа — это лишь форма бытия, а не устойчивое состояние, что любая душа может стать твоей, если ты уловишь ее извины и последуешь им. И может быть, потусторонность и состоит в способности сознательно жить в любой облюбованной тобою душе — в любом количестве душ, — и ни одна из них не сознает своего переменяемого бремени. Стало быть — я Себастьян Найт. Я ощущаю себя исполнителем его роли на освещенной сцене. <...> А потом маскарад подходит к концу. Маленький лысый супфлер закрывает книгу, медленно вянет свет. Конец, конец. Все они возвращаются в их повседневную жизнь (и Клэр уходит в свою могилу), — но герой остается, ибо, как я ни силюсь, я не могу выйти из роли: маска Себастьяна пристала к лицу, сходства уже не смыть. Я Себастьян, или Себастьян — это я, или, может быть, оба мы — кто-то другой, кого ни один из нас не знает» [Набоков, 1993, с. 156–157].

Однозначно определить жанр романа сложно: основная его часть, безусловно, художественная биография, но присутствуют и элементы детектива, истории с привидениями. Текст изобилует анаграммами, аллюзиями, игрой слов, повторами наиболее значимых слов (*призрак, дух, смерть, истина, шахматные термины* и т. п.). Порядок повествования романа не линейный: казалось бы, начинается он с рождения героя, а заканчивается его смертью, но внутри расследования все сильно перемешано, писатель следует порядку появления «показаний», а не синхронности событий жизни Найта. Дочитав же роман до конца, мы понимаем, что в жизни В. последний абзац романа — это начало, а весь роман — лишь следствие принятого им решения написать биографию

брата после его гибели. Роман легко можно назвать «лабиринтом», как и многие произведения Набокова, именно из-за нарушенной хронологии, а также наличия различных загадок, головоломок и еще большего количества отгадок.

Вероятно, что необычная структура произведения и изобилующие языковые приемы, а не сюжет как таковой, дали почву столь многочисленным интерпретациям романа читателями и критиками.

Условно все версии можно распределить на несколько групп: 1) В. и Себастьян Найт — это одно лицо; 2) В. не существует, а роман написан самим Себастьяном Найтом; 3) не существует Найта: он лишь выдумка В. Кто-то из критиков концентрирует свое внимание на «шахматной» теме романа, кто-то — на теме «смерти» и «потустороннего мира». Практически все эти теории имеют право на существование, поскольку Владимир Набоков по традиции пишет лишь загадки, но никогда не подводит читателя к однозначной разгадке.

Рассмотрим некоторые из взглядов.

Айрис Барри, создатель отделения кинематографии в Музее современного искусства в Нью-Йорке, 25 января 1942 г. в журнале *New York Herald Tribune Books* (№ 12) написала рецензию на роман «Подлинная жизнь Себастьяна Найта». Она считает, что за всей этой, казалось бы, «нехудожественностью» текста скрывается короткий умный и сложный роман [Garland Companion..., р. 68]. С одной стороны, это попытка безымянного рассказчика раскрыть тайны жизни его недавно умершего брата, талантливого писателя. С другой — это головоломка: кусочки информации хитро разбросаны Набоковым по территории всего романа. Собрать их воедино — задача читателя. По ходу книги «подлинная» жизнь Себастьяна становится все более загадочной. В итоге становится ясно, что полностью раскрыть секреты жизни любого писателя невозможно. Книга Набокова полна колкостей и ловушек и заставляет читателя все время быть начеку. Автор преднамеренно и изысканно запутывает его.

Айрис Барри отмечает, что роман — это тончайшая работа, несмотря на свою, казалось бы, «нехудожественность» [Ibid., р. 68]. Набоков разбрасывает кусочки головоломки по всему пространству произведения, вместо того чтобы собрать их воедино. Подлинная жизнь Себастьяна Найта становится все более загадочной. Но прослеживается идея глобального одиночества каждого отдельно взятого человека, неопознанность его и невозможность написания настоящей биографии любого писателя.

Уолтер Эрнест Аллен, английский литературный критик и романист, написал рецензию на роман для журнала *Spectator* 3 мая 1946 г. Он оспаривает мнение Эдмунда Уильсона, находившего сходство Набокова с Прустом, Кафкой, Гоголем. Аллен категорически не согласен с последним абзацем романа и идеей, что любая душа может стать вашей, если вы можете следовать за ее изменчивостью.

По мнению автора статьи, метафизический подтекст сильно портит роман. Хотя в результате тяжелой работы рассказчик и создает роман не менее талантливый, чем тот, что написан Найтом, если судить по цитатам, приведенным в книге. Но поскольку и тот и другой написаны Набоковым, это не так удивительно.

тельно и ничего не доказывает. Равно как и сами эти цитаты не помогают создать иллюзию реального существования Найта. Читатель остается в подавленном состоянии, так часто вызываемом технически прекрасным произведением, не наполненным глубоким смыслом [Garland Companion..., р. 69–70].

Мария Толстая в своей рецензии на роман для «Нового журнала» в 1942 г. сравнивает первый англоязычный роман Набокова с его предшествующими русскими романами. Критик даже сбивается и называет автора Сириным (псевдоним, который писатель оставил, переехав в США). Она делает некий обзор критики в целом, говоря о том, что мнения сильно расходятся и сходятся лишь в том, что Набоков — писатель блестящий, обладающий ошеломляющим словесным мастерством. Зачастую Сирина называли «холодным», с чем критик, явно не согласна. Основной темой большинства произведений автора Толстая называет взаимоотношения творца и сформированного им мира и героев, самопознание. Она пишет: «Истинная жизнь Себастьяна Найта», как и большинство русских вещей Сирина, посвящена, по существу, по-прежнему «выяснению отношений» между творцом и его созданием. Движимый вначале простой братской привязанностью к Найту, усиленной преклонением перед ним как перед замечательным писателем, брат Найта в процессе своей творческой работы над описанием его жизни в конце концов настолько оказывается во власти его личности, что уже отождествляется с ним, делается его двойником, его тенью, его живым призраком». Мария Толстая отмечает, что сначала миры, видимые автором и его братом, сильно различны, но ближе к концу романа они все больше схожи. Видимо, в этом она и видит то единение душ, о котором пишет В. в последнем абзаце книги [см.: Классик без ретуши, с. 81].

Эдмунд Уилсон в письмах к Набокову писал, что он очарован романом, поражен тем, насколько хорошо Владимир Владимирович пишет по-английски и при этом насколько он не похож ни на одного английского автора. Он отмечает особую поэтичность романа [Nabokov — Wilson Letters, р. 55–56]. Позднее, если верить Семену Аркадьевичу Карлинскому, критик говорил, что это лучший роман Набокова [Ibid., р. 25].

Г. А. Барабтарло в качестве главного вопроса романа называет вопрос о том, кем же является Себастьян Найт. Он предлагает несколько вариантов ответа, приходящих читателю в голову по мере ознакомления с романом: 1) В. описывает жизнь своего покойного сводного брата; 2) дух Себастьяна водит В-а по фантастическим мирам сочинений Найта, подобно тому как дух Виргилия водит повествователя поэмы Данта; 3) В. сочинил своего двоюродного брата; 4) и сам В., и все его сочинение — плод воображения Себастьяна; 5) и В., и Себастьян выдуманы «третьим лицом», хотя неизвестно, за кем остается последнее слово [см.: Барабтарло, с. 154].

Критик также отмечает «шахматную тематику» романа. Найт (*Knight*) в переводе с английского означает шахматного коня; Бишоп (*bishop*), фамилия его возлюбленной, — «слон»; Туровец, фамилия второй возлюбленной Найта, указывает на «туру», т. е. «ладью», а ее псевдоним Лесерф (*LeCerf*) можно толковать как «ферзь» по-французски; Рокебрюн, место смерти матери Найта, похоже на рокировку (*roquer*); дядя Себастьяна Г. Стейтон (*H. X. Staiton*)

одной буквой отличается от Говарда Стонтона (*Staunton*), знаменитого английского шахматиста и знатока Шекспира; Сен-Демье, где умирает Себастьян Найт, содержит в себе слово *domier*, что в переводе с французского означает «шахматная доска». Критик Сиссон добавляет, что в сцене, где В. навещает Пал Палыча Речного, тот играет в шахматы с Черным. В переводе с немецкого *Schwarz*, фамилия шахматиста из романа Найта «Неясный асфодель», означает черный [The Garland Companion, p. 638]. Это может служить еще одним доказательством того, что герои произведений Себастьяна попадаются В. на пути к разгадке. Барабтарло считает, что «шахматная» тема романа предназначена для того, чтобы сбить читателя со следу.

Брайан Бойд во второй части биографии Набокова пишет о том, что по прочтении романа Эдмунд Уилсон позвонил писателю и сказал, что он разгадал шахматную игру в основе «Подлинной жизни Себастьяна Найта», и хотя автор заверил его, что это не так, Уилсон ему не поверил [Boyd, p. 72]. Позднее Набоков в своем интервью отмечает привлекательность шахматной теории, но отвергает ее. Но читатель должен знать, что Набоков — писатель изощренный и даже коварный в своих взаимоотношениях с публикой. Его словам в интервью не всегда можно верить: зачастую это такая же игра, как и сами произведения — головоломки.

Набоковед пишет о том, что В., очевидно, располагает большими знаниями, чем хочет показать, что его стиль письма сильно напоминает стиль самого Найта, если судить по приведенным отрывкам романов. Многие моменты психологической жизни писателя В. наверняка домыслил, поскольку знать о них не мог. Это наталкивает на сомнения относительно правдивости героя. Действительно ли он является тем, за кого себя выдает?

Барабтарло пишет, что сами романы Себастьяна Найта как бы подталкивают В. к определенным выводам и развитию сюжета. Так, описывается труп и сыщик, встречающий ряд препятствий на пути к месту, где лежит мертвый, а может быть, и не мертвый предмет его исканий; практически чеховская усадьба: отсюда имя несчастной русской любви Себастьяна — Нина Речная — Заречная (замужем за Речным), она же Нина Туровец и мадам Лесерф. Трупа же в конце не оказывается, его не существовало. Это заставляет задуматься, а не этот ли прием применяет Набоков по отношению к Найту. Если это он сам пишет роман, тогда не требуется объяснение всезнания В.

Некоторые из сцен романа и действия В. можно было бы объяснить присутствием духа Себастьяна в его жизни, ведущего брата в его поисках. Барабтарло также считает, что, возможно, Найта в принципе и не существовало, так же как и трупа в его романе. Доказательством может послужить тот факт, что имя героя — анаграмма. *Sebastian Night = Knight is absent*, т. е. «Найта нет» в переводе с английского. Именно к этому выводу склоняется критик, в результате колossalной работы, проделанной им при переводе романа на русский язык. Он приводит ряд доказательств в пользу этой теории. Во-первых, имя героя абсолютно не типично для аристократии того времени и, вероятно, понадобилось автору именно для зашифровки анаграммы. Во-вторых, роман писался для литературного конкурса в Англии и, по мнению критика, обладает

рядом других анаграмм. Например, Пратт может означать «ловушка» (*trap*); Гудман, которого В. называет «собакой-поводырем слепца», может содержать в себе часть этой фразы — собака человека (*dogo' man*); имя художника, друга Себастьяна, Рой Карсвель (*Roy Carswell*) может означать «всегда хуже» (*clearly wors[e]l*), имеется в виду, что его портрет Себастьяна заведомо уступает подлиннику; доктор Старов — анаграмма чеховского доктора Астрова, а его телефонный номер (61—93) — анаграмма 1936 г. — года смерти Себастьяна [Барабтарло, с. 165—167]. Приводится еще ряд примеров, но, как нам кажется, менее значимых.

Третьим и, наверное, самым главным пунктом исследования является разгадка того зашифрованного секрета, о котором Найт пишет в своем последнем романе. Этим секретом является тот факт, что человек — это книга, и, следовательно, он бессмертен, навеки остается жить в словах и вымыслах — самом важном, что есть в его жизни. Осознание важности творения пришло к Себастьяну еще раньше, а вся величина открытия поразила его лишь к концу жизни. Доказательство этой теории Геннадий Барабтарло видит еще в одной анаграмме — имя больного, которого В. принимает за умирающего брата (Киган), — книга. Когда В. произносит по буквам имя Найта (*Knigt*), сторож обрывает его на букве *g* (г), и получается незаконченное русское слово «книга». Найт умер, но остались его произведения.

Критик доказывает, что ключ к разгадке находится в имени героя, так как помимо наличия имени в заглавии, с него начинается и им заканчивается весь роман, а также четырнадцать глав из двадцати.

Из всего вышеизложенного Барабтарло делает вывод, что существование Найта и В. несущественно, что всем управляет их невидимый автор. Этот же ход он видит и в других произведениях Набокова — «Соглядатае», «Прозрачных вещах», «Отчаянии». «Человек — это и есть книга» [Набоков, 1993, с. 135].

С. А. Кибальник в своей статье «Газданов и Набоков (о романе Набокова «Подлинная жизнь Себастьяна Найта»)» отмечает ряд параллелей между двумя авторами-эмигрантами начала XX в. Он полагает, что Набоков пользовался отрывками и темами романов Гайто Газданова в качестве материала для построения своего художественного мира. Так, имена Клэр, возлюбленной Себастьяна, и Вирджинии, его матери, заимствованы из романов «Вечер у Клэр» и «История одного путешествия». Героями последнего являются два брата — Владимир и Николай, разница в возрасте которых шесть лет, так же как у В. с Себастьяном. Характеры обоих пар братьев аналогичны: в чем-то противоположны, а в чем-то, очень родственны. Взаимоотношения двух пар братьев — скорее зеркальны. Николай поддерживает связь с братом и помогает ему устроиться, в то время как Себастьян редко видится с В. В. По мнению С. А. Кибальника, имя *Владимир* может означать имя героя романа Газданова и имя самого Набокова. А инициалы Себастьяна Найта совпадают с фамилией и псевдонимом Набокова-Сирина. Ветреность героини Газданова Клэр Набоков передает роковой возлюбленной Себастьяна — Нине Лесерф. Газдановская Вирджиния боится умереть от родов, и именно эта судьба постигает набоковскую Клэр. Эпизод романа Найта «Утерянные вещи», описывающий

крушение самолета и уцелевшего пассажира-англичанина с зубной болью, С. А. Кибальнику кажется пародией на финал романа Газданова «Полет», большая часть которого была опубликована в «Русских записках» в 1939 г., как раз когда Набоков работал над своим романом. Произведения обоих авторов заканчиваются смертью и невозможностью героев проститься с умирающим. Исследователь приводит еще целый ряд схожих, на его взгляд, моментов и делает вывод о том, что все эти заимствования Набоковым элементов из романов Газданова послужили причиной откровенной соотнесенности героев в газдановском романе «Призрак Александра Вольфа», исследованию которого посвящена отдельная работа С. А. Кибальника [см.: Кибальник, с. 234–242].

Джонатан Б. Сиссон, американский поэт и редактор, автор «Космической синхронизации и потусторонних миров в работах Владимира Набокова», начинает свою статью о романе «Подлинная жизнь Себастьяна Найта со сравнением романа с более ранним произведением — «Дар». Он приводит цитату из романа: «Он старался, как везде и всегда, вообразить внутреннее прозрачное движение другого человека, осторожно садясь в собеседника, как в кресло, так, чтобы локти того служили ему подлокотниками и душа бы влегла в чужую душу, — и тогда вдруг менялось освещение мира, и он на минуту действительно был Александр Яковлевич или Любовь Марковна, или Васильев» [Дар, с. 47]. Эта цитата буквально соответствует последнему абзацу, написанному В. Это говорит о том, что теория «соединения душ», единения с другим человеком для Набокова не нова. Тема перевоплощения, метаморфозы, по мнению Сиссона, — одна из главных в романе. Два брата по жизни крайне далеки друг от друга, а смерть сводит их вместе. Вопрос только в том, смерть ли одного из них, обоих или чья-то выдуманная.

Критик также рассматривает сразу несколько теорий, представляет наиболее глубокие исследования, пишет обо всех поджанрах романа — истории о привидениях, пародийной биографии и детективном романе. Он также уделяет внимание интертекстуальным связям романа с другими произведениями. Из названия книги следует, что самого Сиссона больше всего интересует идея потусторонности в романах Набокова. Вполне возможно, что и в этом романе есть проявление этой темы. Поэт, по стопам Уильяма Роу и Владимира Александрова, обращает внимание на те несколько случаев, когда В. говорит читателю, что он чувствует присутствие Себастьяна, его призрак, ощущает его поддержку и то, что он как будто ведом братом [Rowe, p. 21]: «и дух Себастьяна, казалось, витал над нами в отблесках огня, отраженных медными шишеками очага» [Набоков, 1993, с. 38]. Подсчет показывает, что слово «призрак» или «дух» в тексте встречается 11 раз, что не удивительно, если речь идет о жизни умершего человека. Также используется множество глагольных форм, выраждающих поддержку Себастьяном В. в его исследовании («Незримый, вперяется через мое плечо» [Там же, с. 43] и т. п.). Слово «путник/путешественник» в романе самого Найта «Неясный асфодель» обозначает душу умершего человека. Сильберманн, сыщик, который помогает В. найти адреса последней возлюбленной писателя, по мнению Роу, не кто иной, как реальное воплощение господина Силлера из рассказа Себастьяна «Изнанка луны» и

посланный им помощник [Rowe, p. 22]. Силлер (*siller*) в переводе с шотландского — серебро, так же как *Silber* в немецком [Барабтарло, с. 161].

Сиссеном освещается и теория неродственности В. и Себастьяна, вызванная тем, что в самом начале в биографии господина Гудмана В. не упоминается вовсе, «читателям книги Гудмана я должен представляться несуществующим — поддельный родич, словохотливый самозванец» [Набоков, 1993, с. 8]. По большому счету, мы не находим никаких подтверждений слов автора о его родстве с Себастьяном, поэтому сомнение вполне логично. В конечном итоге в результате работы В. над романом, по мнению критика, эти отношения переходят в гораздо большую близость, чем кровная.

Согласно Сиссону, вода в произведениях Владимира Набокова зачастую играет роль проводника в другой мир. Так, например, фраза «Дождь хлестал и плыл по стеклу, и призрачные снежинки сбивались в угол окна и таяли» [Там же, с. 147] появляется в момент размышления В. над тем, успеет ли он застать брата в живых и что именно поведает ему Себастьян. Но, как мы узнаем позднее, именно в этот момент Себастьян умирает в больнице. Этот прием применялся Набоковым неоднократно.

Пародией на биографический роман это произведение Набокова можно считать потому, что и сам автор отзывался весьма нелицеприятно об этом жанре, и герой его «прибегнул к пародии как к своего рода подкидной доске, позволяющей взлетать в высшие сферы серьезных эмоций» [Там же (начало гл. 10)]. Так можно сказать почти обо всех произведениях самого Набокова. Поэтому кажется вполне вероятным, что и его вымышленный герой прибегает к пародии при написании своего романа — смеси всех трех вышеозначенных поджанров.

Большую часть статьи автор уделяет сравнению «Подлинной жизни Себастьяна Найта» и произведений Льюиса Кэрролла об Алисе, поскольку в основе этих произведений лежит шахматная игра. Набоков в «Память, говори» употребляет термин «мат самому себе» (*self-mate*) [Speak, Memory, p. 257]. В романе это может относиться к моменту, когда В. самолично сжигает письма Найта, которые, вероятнее всего, содержат ответы на все его вопросы. Или момент, когда он принимает другого пациента за Себастьяна и ждет его выздоровления, в то время как брат уже давно мертв. Но это нельзя рассматривать как поражение, ведь именно тогда В. открывается истина о родстве душ. Также интересен процесс самой шахматной игры. В произведении Кэрролла Алиса выигрывает игру, в романе Набокова В. становится всего лишь конем, но и этого перевоплощения достаточно для него. Даже если считать, что В. всего лишь «поддельный родич», который наполнил свою биографию недоказуемыми фактами из реальной и выдуманной жизни Себастьяна и даже если он, как и многие герои Набокова, кажется социально неадаптированным и невротичным, его биография освещена духовной метаморфозой, изменением души [The Garland Companion, p. 642].

Чарльз Николь в своей статье «Зеркала Себастьяна Найта» (The Mirrors of Sebastian Night) отмечает, что роман, несмотря на свою красоту и краткость, один из наиболее сложно сконструированных, которые ему когда-либо

приходилось читать. По его мнению, разгадка кроется в «системе зеркал», и этими метафорическими зеркалами критик считает произведения Себастьяна Найта [Dembo, p. 85].

Ссылаясь на В., который писал, что «его герои суть то, что можно расплывчато обозначить как “приемы сочинительства”» [Набоков, 1993, с. 74], критик предлагает рассматривать личность самого Себастьяна как совокупность методов написания о нем. В случае с В. это скучный интерес к фактам биографии и жгучий интерес к самому творчеству. Метод описания через окружение отсекается сразу, поскольку именно им воспользовался господин Гудман в своей вымышленной биографии писателя. А вот к романам самого Найта и обращается исследователь.

Первый роман («Призматический фацет») — пародия на детектив, скорее расследование литературного плана. Ему же соответствует первостепенная задача любого биографа — выяснить основные факты биографии. Конец романа вымышленного тоже схож с романом В. В одном случае мы узнаем, что умерший герой жив, в другом, что В. в каком-то роде является Себастьяном.

«Успех» (второй роман Найта) посвящен литературному сравнению, рассмотрению того, как можно прийти разными путями к одной и той же точке, или роли случая. Преграды на пути героев напоминают неудачи, постигающие В. на пути к умирающему брату или почти несостоявшемся знакомство Себастьяна с Клэр. А встреча возлюбленных в романе аналогична встрече Найта и мадам Речной в Блуберге.

«Потешная гора» (третья книга Найта) — уже не роман, а сборник из трех рассказов. В ней встречается господин Силлер, о котором уже говорилось выше. Критик предполагает, что в романе появляется и сам Набоков в лице Пал Палыча Речного, именно он держит в руках «черного коня», когда открывает дверь В. Возможно, это метафора, олицетворяющая то, как автор владеет своим героем, своим творением.

«Утерянные вещи» — самое автобиографичное произведение Себастьяна, согласно В. Именно из него молодой человек черпает множество «фактов» биографии брата, полагая, что произведение — в основном не вымысел. Если рассматривать все творчество Набокова, то прослеживается тенденция его «одалживания» событий и вещей из его жизни героям его произведений. Николь сравнивает В. и Себастьяна с двумя ипостасями самого Набокова: Себастьян пишет под фамилией матери — Набоков под псевдонимом Сирин; В. — начинаящий писатель, а роман Набокова — его первая неуверенная попытка писать на английском, именно этим можно объяснить последнюю фразу В: «Я Себастьян, или Себастьян — это я, или, может быть, оба мы — кто-то другой, кого ни один из нас не знает» [Набоков, 1993, с. 157]. Этот кто-то — Набоков.

«Неясный асфодель» — последний роман Себастьяна и наилучший источник для его портрета, ведь это роман о человеке, который умирает. Мы также узнаем, что человек — это книга, а значит, он вечен. Критик видит и других героев из жизни писателя в его вымышленных персонажах. Через полное погружение в роман В. ощущает себя Себастьяном, превращается в автора: «маска Себастьяна пристала к лицу» [Там же]. Заметим, что именно пристальное

внимание к самим произведениям, а не просто биографии Найта, приводит к сродству душ.

В своей книге «Художественные биографии. Английские романы Владимира Набокова» Г. Грабс посвящает первую главу роману «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» и ставит вопрос, насколько субъективна или объективна эта биография. На первый взгляд главной целью В. при написании книги является желание рассказать правду о своем сводном брате. Но при более детальном рассмотрении становится очевидно, что он позволяет себе оценивать источники (например, он считает, что негативный отзыв о Себастьяне Нине Речной объясняется ее скверным характером; его нетерпимость к господину Гудману можно понять, принимая во внимание тот факт, что последний не упомянул В. при описании семьи Найта), он сжигает две стопки писем — главный источник любого исследователя. Все свои действия В. объясняет внутренним сходством с братом, которое ощущает. И в конце это сходство доходит до полного единения. Смущает также его спекулятивное использование романов Найта для «заполнения пробелов» в биографии. Но при этом В. критикует Гудмана за аналогичный поступок.

Набоковская ирония наталкивает на мысль, что рассказчик ненадежен, что В. — тот самый тип «литературной гиены», который писатель блестяще описал в своем следующем романе — «Бледный огонь» [Grabes, p. 11]. Но на самом деле в тексте есть доказательства того, что В. имеет право на свои действия, и это совсем не кровное родство, в своей работе он придерживается структуры произведений Найта. Грабс ссылается на уже описанное выше исследование параллелей в вымышленных произведениях и самом романе Чарльза Николя. Таким образом, Набоков демонстрирует, что можно достичь единства реальности и вымысла в биографии, если писать ее по тем же канонам, что и сам автор.

Следующим шагом критика является анализ сходства между вымыслом и тем, что связано с его настоящим автором, Владимиром Набоковым. Он находит, что сходство очень велико, если источником считать автобиографию писателя «Память, говори». И важно даже не чисто фактическое сходство героя и его творца, но скорее то, что детальное описание работ Себастьяна отражает взгляд Набокова на литературу [Ibid., p. 1–18].

Люси Мэддокс в своей книге «Английские романы Владимира Набокова» сравнивает рассказчика В. с романом «Бледное пламя», ссылаясь на роман Набокова «Смотри на арлекинов», где его герой написал роман «See Under Real», который является собой нечто среднее между «Подлинной жизнью Себастьяна Найта» и «Бледным пламенем». Это художественная биография талантливого писателя, написанная шарлатаном, который дополняет все недостающие ему факты своими домыслами. Критик также находит аналогии с незаконченным романом «Solus Rex», позднее напечатанным в форме «Ultima Thule». Все три героя обманывают自己 же творческой энергией и заменяют мир реальности на придуманный мир. Критик предлагает взглянуть на роман с точки зрения хронологии не жизни Себастьяна, а написания романа В. Он сначала прозрел после смерти Себастьяна, а уже потом написал роман. Соответственно

еще в начале он понимает, что они с Себастьяном едины. Этим, наверное, и объясняется его свобода в обращении с фактами и интерпретацией жизни и произведений Найта. При этом откровение В. Люси Мэддоу считает ошибочным. Он не понимает, что Себастьян навсегда останется чужим и секреты его останутся нераскрытыми. Все остальное — это лишь навязчивая идея В. докопаться до сути [см.: Maddox, p. 39].

Дэвид Рэмптон посвящает четвертую главу своей книги о В. Набокове его экспериментам в середине жизни — «Приглашению на казнь», «Подлинной жизни Себастьяна Найта» и «Под знаком незаконнорожденных». Все три романа он считает инновационными и экспериментальными. Главной задачей романов он считает нахождение и выражение себя в языке. Господин Гудман представляется критику противником В., он не видит того, что видят брат, что Себастьян, как и Цинциннат Ц., отличается от остальных, что он «хрусталь среди стекла» [Rampton, p. 64]. Нам дают понять, что успех Себастьяна основан на новаторстве формы. По мнению критика, Себастьян Найт существует, но облечь его в плоть невозможно путем опросов собеседников и знакомых, это заведомо тупиковый путь. Модернизм романа заключается в том, что выдуманные герои словно оживают и ведут В. по дороге его поисков, читатели видят роман в романе, написанный якобы незрелым автором. Для Рэмптона очевидно, что в финальном абзаце речь идет не об обмане читательского ожидания и Себастьян не появляется на сцене живым, это стремление В. к «истине» доходит до своей кульминационной точки — и он полностью отождествляет себя со сводным братом. Важно заметить, что театральность финального абзаца напоминает конец «Приглашения на казнь», где рушатся декорации и герой остается на сцене один.

Дональд Мортон в своей книге о Владимире Набокове сравнивает два романа — «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» и «Под знаком незаконнорожденных». Причиной для этого послужила биография Набокова. Оба романа, по мнению критика, основаны на событиях 1919 — 1940 гг. жизни писателя. Особенное влияние оказали взаимоотношения Владимира со своим братом Сергеем, его смерть в концлагере в 1945 г. В произведении «Память, говори» Набоков пишет о том любопытстве, с которым он относился к брату. Возможно, это не случайность, что имя главного героя романа тоже начинается на «С».

Критик полагает, что роман построен на идеи о том, что «гиперактивный ум для писателя и ноша и дар одновременно, и успех искусства зависит от умения ее создателя поддаться своему гению» [Morton, p. 47]. Он считает, что сам роман построен по тому же принципу и посему представляет собой небезупречное произведение и своего рода любоностью литературную недакчу. Роман он находит затянутым, особенно в начале, из-за недостатка мотивации и напряженности повествования, вызванных тем, что В. подавляет свои стремления. Набоков позволил В. следовать за гением брата, но не за своим собственным. Самым мощным элементом произведения он считает концовку, когда В. отождествляет себя с Себастьяном. Это неудивительно, ведь все герои произведений Набокова должны быть его небольшими копиями,

а все рассказчики — гениальными стилистами, как он сам. Мортон считает, что Набоков, погрузившись в роль В., не может писать скромно и ровно. Как о себе пишет В., его стиль роскошен, и в этом ошибка писателя. Еще одним минусом романа Мортон считает постоянную смену времен от прошедшего, где речь идет о фактах биографии, к прошедшему и настоящему в описании поисков В. и его мыслей. Эта расчлененность повествования, по мнению критика, портит впечатление читателю. Все, что происходит с В., критик называет «необходимостью Набокова добавить драматизма вялой истории» [Там же, р. 52]. Он с удивлением отмечает, что, несмотря на все неудачи, роман «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» был очень высоко оценен такими именитыми критиками, как Герберт Голд, Эрскин Колдуэлл, Говард Немеров и Флэннери О'Коннор [Там же, р. 42–53].

Позволим себе не согласиться с этой точкой зрения. Представляется, что этот роман — скорее о единении творца с его творением, о том, как начинающий писатель, погрузившись в литературу своего более талантливого учителя, принимает его стиль, проникается к нему такой любовью и пониманием, что соединяется с ним в единое целое. Поэтому совершенно неудивительно, что В. даже не замечает, насколько хорош его стиль письма, процесс восприятия проходит для него незаметно, помимо его воли. Возможно, поэтому он придумывает потустороннее влияние: ему нужно найти объяснение той сверхъестественной связи с братом, которую он ощущает. Что же касается смены времен, то она как раз кажется наиболее логичным приемом, помогающим нам проследить за сменой между В. и Себастьяном. Чем больше в повествовании настоящего времени, тем ближе В. к точке единения со своим героем.

Себастьян Найт существует, так же как существует и В. В каком-то глобальном смысле, разумеется, они оба — Владимир Набоков, равно как и любой его герой, но в контексте этого романа, как нам кажется, важны не они как каждый отдельно взятый герой, а их единение в процессе творения. Для Набокова не было ничего важнее творчества, возможности найти выражение себя и окружающего мира в словах.

Не уверена, что могу согласиться с Эдмундом Уильсоном в том, что это лучший роман Набокова, но, на мой взгляд, он один из трех (наряду с «Даром» и «Смотри на арлекинов!»), наилучшим образом раскрывающий тему творчества, всю его важность и сложность. Последний абзац романа, который являет нам его суть, раскрывает процесс творения: В. пишет роман о другом человеке, и пока он его создает, он сам становится творцом. Творец всесилен. Нельзя не отметить и блестящий английский язык, на котором роман был написан: уникальное сочетание легкости стиля и глубины мысли, неимоверного числа приемов, анаграмм, головоломок, в итоге составляющих единое целое вне зависимости от того, насколько глубоко читатель проник в глубинные смыслы романа.

Кибальник С. А. Гайто Газданов и экзистенциальная традиция в русской литературе. СПб., 2011. 412 с. [Kibal'nik S. A. Gajto Gazdanov i ekzistentsial'naya traditsiya v russkoj literature. SPb., 2011. 412 s.]

Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова : крит. отзывы, эссе, пародии / под общ. ред. Н. Г. Мельникова. М., 2000. 688 с. [Klassik bez retushi. Literaturnyj mir o tvorchestve Vladimira Nabokova : krit. otzyvy, esse, parodii / pod obsch. red. N. G. Mel'nikova. M., 2000. 688 s.]

Набоков В. В. Дар. СПб., 2009. 480 с. [Nabokov V. V. Dar. SPb., 2009. 480 s.]

Набоков В. В. Другие берега : роман; Рассказы. М. ; Харьков, 2001. 463 с. [Nabokov V. V. Drugie berega : roman; Rasskazy. M. ; Khar'kov, 2001. 463 s.]

Набоков В. В. Bend Sinister : романы. СПб., 1993. 527 с. [Nabokov V. V. Bend Sinister : romany. SPb., 1993. 527 s.]

Boyd B. Vladimir Nabokov. American years [Vol. 2]. Princeton ; N. Y., 1991. 783 p.

The Garland Companion to Vladimir Nabokov / ed. by Vladimir E. Alexandrov. N. Y., 1995. 798 p.

Grabes H. Fictitious Biographies: Vladimir Nabokov's English Novels. Mouton. The Hague ; Paris, 1977. P. 140.

Maddox L. Nabokov's Novels in English. Athens, 1983. P. 177.

Morton D. E. Vladimir Nabokov. N. Y., 1974. P. 164.

Nabokov The Critical Heritage / ed. by N. Page. London ; Boston ; Melbourne and Henley, 1982. 252 p.

Nabokov the Man and His Work, Studies / Ed. by L. S. Dembo ; The University of Wisconsin Press. Madison Milwaukee ; London, 1967. 280 p.

Nabokov V. Novels and Memoirs, 1941 —1951. The Real Life of Sebastian Knight. Bend Sinister. Speak, Memory. The Library of America, 1996. 710 p.

Nabokov V. Speak, Memory. An autobiography Revisited. N. Y., 1966. 316 p.

The Nabokov —Wilson Letters : Correspondence between Vladimir Nabokov and Edmund Wilson, 1940 —1971 / ed., annotat. and with an introd. by Simon Karlinsky. N. Y., 2001. 388 p.

Rampton D. Modern Novelists. Vladimir Nabokov. N. Y., 1993. 143 p.

Rowe W. W. Nabokov's Spectral Dimensions. Library of Congress Cataloging in Publication Data. Ardis Publishers, 1981. 142 p.

Статья поступила в редакцию 25.09.2013 г.

УДК 821.112.2.09 + 821.112.2-311.3 + 82-94

А. С. Поршинева

СЮЖЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ПЕРЕХОД ГРАНИЦЫ» В РОМАНЕ К. МАННА «ВУЛКАН» (СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ БЕНЬЯМИНА АБЕЛЯ)*

Рассматриваются вопросы взаимодействия пространственной и сюжетной организации эмигрантского романа Клауса Манна «Вулкан». Анализируется осуществляющийся одним из главных героев переход символической границы между миром мертвых и миром живых, который предполагает пересечение границы между разными участками пространства эмиграции и обретение «своего» места в его окраинном «кольце». Необходимым условием перехода границы является событие с пороговым статусом.

Ключевые слова: Клаус Манн; эмиграция; эмигрантский роман; граница; пространство; сюжет; мертвое/живое; компенсация.

Эмиграция из Третьего рейха — очень масштабный феномен. Известно, что среди более чем 500 тысяч немецких эмигрантов около 5,5 тыс. составляли деятели культуры [см.: Möller, S. 48–49]. В их числе был писатель Клаус Манн, покинувший Германию в 1933 г. Он является автором двух романов о немецких эмигрантах — «Бегство на север» и «Вулкан».

Оба эти произведения могут быть рассмотрены в контексте немецкого эмигрантского романа. Тематически они примыкают к произведениям об эмигрантах, созданным Э. М. Ремарком и Л. Фейхтвангером, и демонстрируют существенное сходство с ними в организации пространства и построении сюжета.

В. Фрювальд и Ф. Шидер, размышляя об актуальных проблемах исследования эмиграции, задаются вопросом, изучались ли уже «структурообразующая роль эмиграции», «литературная топология эмиграции или как минимум эмиграция как структурная предпосылка литературы» [Fruhwald, Schieder, S. 15], и не дают на этот вопрос положительного ответа. Настоящая статья, посвященная вопросам взаимодействия сюжета и пространства в эмигрантском романе, вносит определенный вклад в ликвидацию данной лакуны в изучении немецкой эмигрантской литературы и продолжает серию публикаций, предметом исследования которых стал комплекс перехода границы и его роль в эмигрантском романе.

Как уже отмечалось ранее, в немецком эмигрантском романе важную роль в построении сюжета играет именно эта тематика, которая понимается нами как «перемещение персонажа через границу семантического поля» [Лотман, 1998, с. 223]. «Именно потому, что в структуру любой модели культуры входит невозможность проникновения через границу, наиболее типичным построением

* Исследование поддержано грантом президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых. Соглашение № МК-1009.2012.6.

сюжета является движение через границу пространства. Схема сюжета возникает как борьба с конструкцией мира» [Лотман, 2002, с. 128]. В эмигрантском романе основные семантические поля образованы различными по своему месторасположению и ценностной «заряженности» участками пространства.

Перемещение персонажа через границу связано с прохождением им рубежного пространства, которое М. М. Бахтин называет *п о р о г о в ы м*, или «переломным», хронотопом: «наиболее существенное его восполнение — это хронотоп *к р и з и с а* и жизненного *п е р е л о м а*» [Бахтин, с. 280]. Комплекс сюжетных событий, локализованных в этом пространстве и детерминированных его «переломным» характером, обеспечивает «компенсирующий», катарический характер сюжета [Поршнева, 2010, с. 61–71].

Пространство, по которому передвигаются герои романа «Вулкан», в очень большой степени детерминировано ситуацией эмиграции; выстроенное из перспективы героя-эмигранта пространство мы называем пространством эмиграции [см.: Там же]. Базой для его формирования является прежде всего география Европы.

Изучение пространственной организации романа «Вулкан» показало, что аксиологические характеристики пространства эмиграции, выстроенного из перспективы героев-эмигрантов, в структурном отношении воспроизводят концентрические круги пространства классического мифа при полной аксиологической его инверсии. Символически центральная часть мира — Третий рейх — осознается как враждебная земля, где царят беззаконие, ложь и насилие, ценностно негативная зона, не охваченная культурой. Окраинная зона — различные страны за пределами Европы (США, Латинская Америка, Палестина, Новая Зеландия, французские колонии), напротив, в картине мира героя-эмигранта обладает наиболее ценностно позитивным статусом. Располагающаяся «между» ними ненемецкая Европа (первое «кольцо» вокруг Рейха) представляет собой «проблематичный континент» — *«der problematische Kontinent»* (здесь и далее перевод наш. — А. П.) [Mann, S. 381]¹, в котором уравновешивают друг друга дружественное и враждебное отношение к эмигрантам, возможность самореализации и препятствия к ней, сопротивление и попустительство немецкой экспансии.

Концентрически выстроенное пространство ведет героев определенным маршрутом, «предписывая» им поэтапное удаление от темного центра пространства эмиграции, и те герои, которые способны привести свою систему ценностей в соответствие с инвертированной аксиологией пространства эмиграции, успешно проходят путь от центра до окраинной зоны, в которой они обретают «свое» пространство и «гасят» все травмы, нанесенные фактом возникновения национал-социалистического режима и вынужденной эмиграции.

Одним из таких героев является профессор Боннского университета Беньямин Абель. Он вынужден покинуть страну в 1933 г., так как, несмотря на свой профессиональный авторитет, уволен по национальному признаку. После отъезда

¹ Далее цитируется по данному изданию с указанием страниц в квадратных скобках.

из Германии Абель поселяется в Голландии, где первое время ведет уединенный образ жизни и отказывается от общения с коллегами и знакомыми. Позже Абель, преодолев первоначальное депрессивное состояние, принимается за работу и в качестве приглашенного профессора читает лекции в разных университетах Европы. Через некоторое время, получив приглашение от одного из американских университетов, Абель покидает Европу. В небольшом городке, где расположен университет, он знакомится с Марион фон Каммер, приехавшей туда в рамках турне. Вскоре Абель женится на ней и родившемуся у них ребенку дает свою фамилию.

Биография героя может быть разделена на несколько этапов. На первом из них он еще демонстрирует центростремительно ориентированные ценностные установки и скорбит о том, что утратил в связи с вынужденной эмиграцией: «Wie viele gute Dinge des Lebens würde man in der Fremde vermissen: die gemütlichen Kammermusik-Abende zum Beispiel, die Benjamin in seinem Häuschen zu Marienburg, zwischen Bonn und Köln, gepflegt hatte» [S. 109–110]². Интегрироваться в периферийное пространство, прижиться в выбранной им для проживания Голландии Абель какое-то время не может: «Benjamin Abel war ganz allein. Er ging herum wie in einem schlimmen Traum, und was er dachte, war immer nur: Was soll ich hier? Warum bin ich eigentlich in dieser fremden Stadt? Leider bin ich doch gar kein Holländer – warum gehe ich also in den Stra?en von Amsterdam spazieren? Freilich, freilich – erinnerte er sich, wirr und betrübt – man hat mich aus Deutschland herausgeschmissen, ich durfte dort nicht mehr bleiben...» [S. 114]³.

На следующем этапе герой отказывается от ностальгии по родине и принимает решение больше туда не возвращаться. Его чувства описаны следующим образом: «Auf was aber wartete Abel? Doch nicht auf „den Sturz des Regimes“ in Deutschland? Er meinte, innerlich mit dem Lande fertig zu sein, das ihn davon gejagt hatte. Täglich mindestens einmal sagte er sich selber: Ich wurde in dieses Land nicht zurückkehren, sogar dann nicht, wenn man mich riefe. Ich habe abgeschlossen mit Deutschland. <...> Nein, es war wohl wirklich nicht „der Sturz des Regimes“, dem er entgegenharrte. Er zahlte die Tage, weil er die Lebensumstände, in denen er sich befand, als durchaus provisorisch betrachtete. So konnte es doch nicht bleiben; so, wie es nun war, konnte es doch keinesfalls ewig weiter gehen» [S. 117–118]⁴. Поселившись на первое время в отеле, он отмечает, что «die

² «Как много хорошего придется с тоской вспоминать на чужбине: уютные вечера камерной музыки, например, которые Беньямин устраивал в своем домике в Мариенбурге, между Бонном и Кельном».

³ «Беньямин Абель был совсем один. Он бродил туда-сюда, как в дурном сне, и снова и снова обдумывал только одно: почему я здесь? Почему я, собственно, нахожусь в этом чужом городе? Ведь я, к сожалению, совсем не голландец — почему же тогда я гуляю по улицам Амстердама? Ах, да, конечно, — напоминал он себе, смутно и печально, — меня вышвырнули из Германии, я не имел права там оставаться...»

⁴ «Но чего ждал Абель? Он считал, что внутренне связался со страной, которая его выгнала. Как минимум раз в день он говорил себе: я не вернусь в эту страну, даже если меня туда позовут. Я покончил с Германией. <...> Нет, Абель ожидал вовсе не “падения режима”. Он считал дни, потому что рассматривал те жизненные обстоятельства, в которых находился, исключительно как временные. Так продолжаться не могло; так, как сейчас, дела ни в коем случае не могли обстоять вечно».

Nahe der „Centraal Station“ war ihm tröstlich; sie bedeutete ihm ein Symbol für das Unverbindliche, Vorläufige seines Zustandes⁵ [S. 118]. «Временный» характер ситуации Абеля перекликается с ощущением, присущим многим героям-эмигрантам: так, Анна Траутвайн у Фейхтвангера тоже воспринимает Париж как «промежуточную станцию» [Feuchtwanger, S. 161]. Абель задается такими вопросами: «Wo gehöre ich hin? Wo ist mein Vaterland? Wo werden meine Dienste verlangt? Was fange ich an mit den Gaben, die mit Gott gegeben? Wie verwende ich sie?» [S. 126]⁶. В качестве одного из возможных вариантов он рассматривает и такой, когда «die schmale, langgestreckte, schwarz lackierte Kiste wird zum Vaterland... <...> Eine dunkle Kutsche steht vor dem Tore und erwartet mich» [S. 126]⁷. Это позволяет квалифицировать ситуацию Абеля как пороговую, поскольку с Германией он «покончил», а новая стадия в его биографии еще не началась; по сути, в этот «промежуточный» момент своей биографии он делает выбор между жизнью и смертью.

Герой приходит к следующему заключению: «Ich habe doch noch manches in dieser Welt auszurichten, und es wird wohl irgendwo noch Leute geben, die mich brauchen können!» [S. 126]⁸. Отказавшись он ностальгии по Германии, он обретает способность «<sich> ...auf ...ernste Arbeit konzentrieren» [S. 126]⁹. Итак, сделав таким образом выбор в пользу жизни и начала нового ее этапа, Абель окончательно присоединяется к «живым» героям (подобно Марион, которая противопоставлена «лемурам» именно потому, что она живая [S. 161]), должен выйти из «промежуточного» пространства, перейти границу и обрести пространство «свое», поскольку Амстердам для него «чужой город» («fremde Stadt»), в котором он «совсем один» — «ganz allein» [S. 114] и который в силу этого не воспринимается им как конечный пункт его пути. В «амстердамских» главах неоднократно подчеркивается, что, несмотря на свою внешнюю привлекательность, для эмигранта Абеля этот город не может быть «домашним»: «Er versuchte, sich sein Zimmer mit Büchern und Photographien möglichst wohnlich zu machen. Aber er brachte es niemals fertig, sich in diesem Raum zu Hause zu fühlen. Jeden Abend fürchtete er sich vor dem Heimkommen, welches eigentlich gar kein „Heimkommen“ war» [S. 119]¹⁰. Абель живет в Амстердаме, «не чувствуя себя в нем „дома“» [S. 129]. «Внутренне развязавшись» с Германией и не обретя замены утраченному домашнему пространству, герой готов двинуться дальше и перейти границу, однако, как уже отмечалось, переход не может случиться

⁵ «...Близость “Центральной Станции” была ему утешительна; она была для него символом ни к чему не обязывающего, временного характера его состояния».

⁶ «Куда я отношусь? Где моя родина? Где требуются мои услуги? Что я могу сделать с теми способностями, что даны мне Богом? Как я их применю?».

⁷ «...Узкий, длинный, покрытый черным лаком ящик станет родиной... <...> Темный автомобиль стоит за воротами и ждет меня».

⁸ «Мне еще нужно кое-что сделать в этом мире, и, наверное, еще найдутся люди, которым я смогу быть полезен!».

⁹ «сконцентрироваться на серьезной работе».

¹⁰ «Он попытался с помощью книг и фотографий придать своей комнате как можно более жилой вид. Но ему никогда не удавалось почувствовать себя в этом пространстве как дома. Каждый вечер он испытывал страх перед возвращением домой, которое вовсе не было “возвращением домой”».

произвольно, в силу одного только желания героя. Чтобы переход стал возможен, он должен быть подготовлен событиями «порогового» характера.

Следует обратить внимание на то, что спасительный отъезд из Германии не проходит для Абеля безболезненно, поскольку там остается Аннета Леманн — женщина, с которой он состоял в связи в течение многих лет. После его отъезда она сначала периодически посыпает ему письма, содержание которых постепенно начинает вызывать у него недоумение: «Annette Lehmann versicherte ihrem alten Freund, er könne sich keine Vorstellung davon machen, was für ein Auftrieb und freudiger Elan im „neuen Deutschland“ spürbar sei. Ja, die liebe alte Annette schrieb wirklich: „im neuen Deutschland“...» [S. 127–128]¹¹. Процесс роста симпатий Аннеты к национал-социалистическому режиму, который находит выражение в этих письмах, завершается ее браком с «убежденным национал-социалистом» — «ein überzeugter Nationalsozialist» [S. 361]. Абель комментирует известие об этом так: «Lebt die Annette noch, an die ich mich erinnere? Eine andere, fremde spaziert nun durch die Straßen von Köln, am Arme ihres prächtigen Staatsanwaltes. <...> Ein Abgrund liegt zwischen mir und ihnen — ein Abgrund zwischen mir und Annette...» [S. 361]¹². Он по своей инициативе прекращает вести с ней переписку [S. 361] — и, смирившись с потерей подруги, которая для него практически умерла (поэтому он и сомневается, что она еще жива), тем самым отдает ее миру мертвых и остается «совсем один» («sehr allein») [S. 361]. В силу этого его логика в значительной степени повторяет логику фольклорного героя. Фольклорный герой, покидающий мир мертвых (который в сказках принимает форму «тридесятого царства» и подобных ему локусов), сталкивается с препятствиями, которые он должен задобрить подношениями [Пропп, с. 154–155]. Чтобы вернуться в мир живых, нужно преодолеть препятствие, а для этого он должен что-нибудь этому препятствию дать. Подобным же образом Абель не может перейти границу произвольно, только по своему желанию: он должны что-то отдать, и этим «выкупом» становится для него отказ от Аннеты, которую он оставляет миру мертвых.

Тогда же, когда Абель узнает о ее замужестве и смиряется с ним, в тексте романа настойчиво подчеркивается, что кризисы, связанные с приступами тоски по родине, у героя «nun überwunden. Er wünschte sich nicht mehr nach Deutschland zurück; seine Beziehungen zur Heimat hatten sich gelöst» [S. 360–361]¹³. В момент «уплаты» этого выкупа Абель начинает чувствовать себя «unverbraucht und frisch, bei aller Bitterkeit»¹⁴ и «entschlossen, nicht unterzugehen» [S. 361]¹⁵. Именно после отказа от Аннеты и повторного проговаривания желания жить и нежелания возвращаться в Германию — практически сразу —

¹¹ «Аннета Леманн уверяла своего старого друга, что он не может даже представить, какие подъем и радостное воодушевление чувствуются сейчас в “новой Германии”. Да, милая старая Аннета действительно написала: “в новой Германии”...»

¹² «Жива ли еще Аннета, которую я помню? Другая, чужая гуляет теперь по улицам Кельна под руку со своим прокурором. <...> Бездна лежит между мной и ими, бездна между мной и Аннетой...»

¹³ «...Теперь преодолены. Он больше не хотел в Германию; его отношения с родиной разрешились».

¹⁴ «...Полным нерастраченных сил и свежим, при всей горечи».

¹⁵ «...Решительно настроенным не погибать».

герой получает и принимает предложение поработать в одном из университетов США. Для эмигранта Абеля Америка является абсолютно «иным» на фоне Европы пространством, что находит свое выражение в полярных ситуациях, в которые он попадает в Европе и США. В Голландии, проживая в пансионе «Huize Mozart», Абель вынужден терпеть соседство наци — Феликса Вольфритца, брата хозяйки, который каждое утро включает государственный гимн. При попытке договориться с Вольфритцем об ограничении громкости прослушивания гимна Абель сталкивается с агрессивной реакцией последнего: «Sowas hat mir gerade gefehlt! Der Jude will mir verbieten, die Nationalhymne meines Vaterlandes in meinem Zimmer zu spielen. Bodenlose Frechheit! Man ist bei uns immer noch zu sanft mit den Juden! Sowie sie im Ausland sind, werden sie unverschämt!» [S. 137]¹⁶. Защитить себя от оскорблений со стороны наци Абель, хотя и находится уже за пределами Рейха, не может. В США он тоже сталкивается с немцем, выказывающим сочувствие национал-социалистическому режиму, — это происходит во время визита Марион фон Каммер в университет, где он работает. Абель выступает в защиту Марион и говорит следующее: «Wenn irgend jemand, so hat sie das Recht, die Entartung, den geistig-politischen Absturz Deutschlands zu rügen und zu beklagen, da sie selber bestes Deutschland ist. Und nun kommt dieser junge Herr aus Berlin, um uns boshaft zu examinieren: Ist es in Russland besser? — Lassen wir die Frage offen, ob es in Russland besser oder schlechter ist...» [S. 438]¹⁷. Этой отповедью Абелю удается заставить молодого немца прекратить агрессивные споры с Марион. Здесь мы наблюдаем моделирование образов двух качественно разных «кольец» пространства эмиграции с помощью создания диаметрально противоположных ситуаций, когда в случае конфликта со сторонником наци профессор в одном случае оказывается слабой, а в другой — сильной стороной конфликта.

Соответственно и осуществляемое Абелем перемещение из одного пространства в другое, принципиально «инаковое» по отношению к первому, можно квалифицировать как подлинный переход, который уже во время пересечения океана дает ему «gute Tage — die besten seit Jahren»¹⁸, которыми он «genoss... Stunde für Stunde» [S. 390—391]¹⁹. Подобно Марион, Абель осознает переезд в США как новое начало, при котором все предыдущие события — «schon Geschichte; Teil und Abschnitt meiner Lebensgeschichte, ein Kapitel aus meiner Biographie. — Und was fängt nun an?» [S. 391]²⁰; «Sollte ich nicht froh

¹⁶ «Только этого мне не хватало! Еврей хочет запретить мне включать гимн моего отечества в моей комнате. Какая безгранична дерзость! У нас все еще поступают с евреями слишком мягко! Как только они оказываются за границей, они теряют всякий стыд!»

¹⁷ «Если кто-то и имеет право порицать и жаловаться на вырождение и духовно-политическое падение Германии, то это она, поскольку сама она является лучшей Германией. И тут является этот господин из Берлина, чтобы злобно допрашивать нас: а в России дела обстоят лучше? Оставим открытым вопрос, лучше или хуже идут дела в России...»

¹⁸ «лучшие дни — лучшие за долгие годы».

¹⁹ «наслаждался час за часом».

²⁰ «уже история; часть, отрезок истории моей жизни, глава из моей биографии. А что начнется теперь?».

darüber sein, dass in diesem Lande etwas Neues für mich beginnt?» [S. 399]²¹; «Man gibt mir hier eine Chance — man gibt uns hier eine Chance. Die muss ich nutzen, für die muss ich dankbar sein. <...> Ein vernünftiger Grad von Optimismus ist angebracht; ein Wille zur Zukunft... Die Depression sei definitiv überwunden. Das Leben in Amerika fange an» [S. 400]²². Право осуществлять такой переход, при котором прошлое с его травмами станет неактуальным, Абель получает благодаря выкупу; соответственно выкуп — как альтернатива жертвоприношению (которое в романе «Вулкан» является ключевым фактором перехода границы, например, у Марион фон Каммер и Давида Дойча) — является составляющей сюжетно-пространственного комплекса пересечения границы и связан с катартическим завершением сюжетной линии героя.

Как и в случае с Марион, акт перехода границы становится толчком к тому, чтобы понесенные Абелем потери были скомпенсированы. Главными из этих потерь являются любимая работа и отношения с женщиной, которые он вынужден отдать в качестве выкупа. В США герой получает постоянное место работы в университете в штате Северная Каролина, что позволяет ему поселиться там насовсем и обрести тем самым потерянное «свое» место. Вместо же той привязанности, которой герой вынужден был пожертвовать, он получает Марион фон Каммер, на которой женится и сыну которой дает свою фамилию. В браке оба они обретают счастье, которого у них не было в Европе, — становятся «связанными воедино» («verbunden und vereinigt») и ощущают свою жизнь «полной смысла» — «sinnvoll» [S. 450]. Такой вывод напрашивается при сравнении сцен, описывающих любовь Марион и ее первого мужа Марселя и отношений Абеля и Аннетты, с одной стороны, и Абеля и Марион — с другой:

— Gefahren — Gefahren überall... Oh wir sind schon verloren!... Welche Schuld haben wir auf uns geladen, dass man uns zu solcher Strafe verdammt?²³ (Марион и Марсель);

— Hütet euch, Marion und Marcel! Furchtbar ist der Vulkan. Das Feuer kennt kein Erbarmen. <...> Warum flieht ihr nicht? Oder wollt ihr verbrennen?²⁴ [S. 165] (Марион и Марсель);

— ...kompromittierte seine Anwesenheit auch sie, Annette. ...sie sich von ihm zurückzog, sich nicht mehr öffentlich mit ihm zeigte [S. 111]²⁵ (Абель и Аннета);

— Mir ist Glück beschieden — wer hätte es je gedacht...! [S. 460]²⁶ (Абель и Марион).

²¹ «Разве мне не следует радоваться тому, что в этой стране начинается что-то новое для меня?».

²² «Здесь мне дают шанс — нам дают здесь шанс. Я должен его использовать, я должен быть за него благодарен. <...> Здесь уместен разумный градус оптимизма, воля к будущему... Депрессия определенно преодолена. Пусть жизнь в Америке начнется».

²³ «Опасности — опасности повсюду... О, мы уже потеряны! Какую вину мы навлекли на себя, что приговорены к такому наказанию?»

²⁴ «Страшитесь, Марион и Марсель! Ужасен вулкан. Огонь не знает пощады. <...> Почему вы не бежите? Или хотите сгореть?»

²⁵ «...его присутствие компрометировало и ее, Аннету. ...Она отдалась от него, избегала показываться с ним на людях».

²⁶ «Мне суждено счастье — кто бы подумал!»

В этом компенсирующем событийном комплексе не последнюю роль играет факт свадьбы героев. Архаический статус свадьбы, по мнению О. М. Фрейденберг, — это «обряд, тождественный триумфу и венчанию на царство... <...> Свадьба является собой не соединяющуюся по любви или рассудку пару: это действие победы над смертью, в котором жених и невеста — царствующие боги, и действие, происходящее в день поединка дня и ночи, или жизни и смерти. Поэтому это дни равноденствий и солнцеворотов, дни смен, дни новых переоценок (говоря по-нашему) вчерашних сил, дни кончающейся и начинающейся жизни» [Фрейденберг, с. 75]. Свадьбу героев также можно квалифицировать как подлинную. Абель женится впервые в жизни, и для него свадьба с Марион является тем самым важным поворотом, о котором пишет Фрейденберг и после которого «*das Glück wird kommen, nach so langem Warten*» [S. 450]²⁷. В своем внутреннем монологе Абель проговаривает, что именно свадьба с Марион является ключевым моментом его биографии, в то время как «*alles, was bis jetzt gewesen ist, war nur Vorbereitung und lange Übung; die brave Annette, das süße Stinchen, und die wenigen anderen — ich habe sie ganz vergessen*» [S. 450]²⁸.

Для Марион эта свадьба в еще большей степени представляет собой «действие победы над смертью», по словам Абеля — «вершину твоей богатой жизни» («*die Höhe deines reichen Lebens*» [S. 461]), поскольку она дает героине возможность сохранить жизнь еще не рожденному ребенку, в котором должен символически воскреснуть погибший в Испании Марсель Пуаре. (Для сравнения следует отметить, что первый брак героини, поводом к официальному заключению которого стала необходимость получить французский паспорт, подлинной свадьбой не является и «победы над смертью» в себе не содержит.) Важность свадьбы как механизма компенсации осознается героями, которые приходят к заключению: «*Wir tun das Richtige*» [S. 460]²⁹. Эпизод свадьбы героев, который, по А. Ж. Греймасу, «восстанавливает разорванный договор» [Греймас, с. 283], является в силу этого важным фактором катарического завершения сюжетных линий обоих героев.

Такое завершение не в последнюю очередь связано с тем, что герои, освободившись от Германии и связанных с ней травм, не собираются туда возвращаться. По словам декана факультета германистики Шнейдера, они станут «хорошими американцами» — «*gute Amerikaner*» [S. 465], и хотя он и пророчит им возвращение, Абель не намерен покидать Америку даже в случае краха национал-социалистического режима [S. 468].

Наконец, с переездом в Америку связана ликвидация еще одной травмы Абеля, обусловленной формированием в Германии национал-социалистического режима. Толчком к отъезду стало его увольнение из университета, организованное профессором Безенкольбом. В третьей главе третьей части романа «*Besenkolb erkundigte dich bei Schneider, ob es in den Staaten keine Chancen für*

²⁷ «счастье придет — после такого долгого ожидания».

²⁸ «все, что было до этого, было только подготовкой и долгим упражнением — славная Аннета, миловидная Штингхен, и немногие другие — я полностью их забыл».

²⁹ «Мы делаем то, что правильно».

einen beruhmten alten Germanisten gebe. In fast demütigen Wendungen bat er um Protektion. Er hatte das Nazi-Regime gründlich satt, er war enttäuscht und verbittert. <...> „Ich habe mir das anders vorgestellt. Mich hat der <Völkische Beobachter> angegriffen, weil ich meinerseits Goethe nicht scharf genug getadelt habe wegen seiner lahmen Haltung während der Freiheitskriege. <...> Ich will weg.“» [S. 465–466]³⁰. Ликвидация травмы, нанесенной Абелю, происходит практически симметричным образом: нападки в газетах использовал против него Безенкольб, чтобы выгнать конкурента из университета и вообще из Рейха, и нападки же в газетах побуждают думать об эмиграции самого Безенкольба.

Свою катарсическую «точку» линии Абеля и Марион, как и линия другого героя — Давида Дойча, обретают в эпизоде появления Ангела (*Engel der Heimatlosen*): «das Kind lächelte schon. Die Nähe des Engels war ihm angenehm... <...> Mit großer Vergnügen empfing er Blick und Kuss des Boten. Der Engel der Heimatlosen segnete und küsste Marions Kind» [S. 529]³¹. Ангел, целуя малыша, ликвидирует последний источник беспокойства героев — плач новорожденного сына. Поэтому можно утверждать, что сюжетная линия Беньямина Абеля получает катарическое завершение, которое обусловлено осуществляемым героем переходом границы. Каждый раз факт перехода вызывает к жизни цепочку событий компенсирующего характера, которые симметрично уравновешивают потери героя. Катарсический характер его сюжетной линии обусловлен именно фактом перехода границы; сюжет в данном случае тесно связан с организацией пространства.

По такому же принципу выстроены сюжетные линии и ряда других героев романа «Вулкан» (Марион фон Каммер, Давида Дойча), и многих персонажей произведений Э. М. Ремарка и Л. Фейхтвангера, которые либо приносят жертву (или в их пользу приносит жертву кто-то другой), либо осуществляют месть и тем самым ликвидируют препятствующие переходу невыполненные обязательства [см. об этом: Поршинева, 2010; 2012], либо платят выкуп и благодаря этому успешно проходят через пороговый хронотоп и присоединяются к миру живых. Однако в большинстве рассмотренных нами эмигрантских романов присутствует и другая категория персонажей, которые из свойственно-го героям-эмигрантам промежуточного состояния между жизнью и смертью переходят в мир мертвых (в романе «Вулкан» это, например, Мартин Корелла и Тилли фон Каммер).

Во всех случаях принадлежность героя к той или иной группе обусловлена соответствием или несоответствием его системы ценностей инвертированной аксиологии пространства эмиграции. Если эмигрант, как это происходит

³⁰ «Безенкольб осведомлялся у Шнейдера, нет ли у известного старого германиста каких-либо шансов в Штатах. В почти смиренных выражениях он просил о протекции. Он был сыр по горло режимом наци, разочарован и озлоблен. <...> «Я представлял себе это по-другому. В Фёлькишер Beobachter появились нападки на меня, потому что я недостаточно жестко критиковал Гете за его мягкую позицию во время освободительной войны». <...> Я хочу уехать».

³¹ «...ребенок уже улыбался. Близость ангела была ему приятна... <...> С большой радостью он принял взгляд и поцелуй посланника. Ангел лишенных родины благословил и поцеловал ребенка Марион».

в случае Абеля, осознает как ценностно позитивное именно окраинное пространство (а не покинутую родину), то он совершает переход границы, присоединяется к миру живых и может быть отнесен к числу успешных героев. Те персонажи, для которых вынужденно оставленная родина по-прежнему дорога и которые испытывают ностальгию по жизни в Германии, напротив, к переходу границы не способны и чаще всего умирают, что обусловлено их промежуточным положением между мертвыми и живыми. В силу этого наличие или отсутствие сюжетно-пространственного комплекса перехода границы может служить основанием для построения типологии персонажей эмигрантского романа.

Таким образом, переход границы, т. е. прохождение героя через переломный хронотоп, является полем интенсивного взаимодействия сюжетной и пространственной организации романа. Представляя собой пространственный феномен — перемещение из одного «кольца» пространства в следующее, принципиально иное, — переход границы обязательно должен быть подготовлен сюжетными событиями, имеющими «пороговый» статус; в случае Беньямина Абеля таким событием является уплаченный им «выкуп», в ходе которого он отдает Аннету «новой Германии» и ее режиму. Основным следствием перехода является, в свою очередь, появление героя в представленном Америкой пространстве окраинного «кольца», что освобождает его от травм немецкого и европейского периодов его жизни, ликвидируя «недостачу». Переход границы — феномен в основе своей пространственный — становится ключевым фактором катарсического завершения сюжетной линии Беньямина Абеля. Такая тесная взаимосвязь пространственной и сюжетной организаций характерна, на наш взгляд, для немецкого эмигрантского романа в целом.

Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе : очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М., 1986. С. 121–290. [Bakhtin M. M. Formy vremeni i khronotopa v romane : ocherki po istoricheskoy poetike // Bakhtin M. M. Literaturno-kriticheskie stat'i. M., 1986. S. 121–290.]

Греймас А. Ж. В поисках трансформационных моделей // Греймас А. Ж. Структурная семантика: поиск метода. М., 2004. С. 278–319. [Grejmas A. Zh. V poiskakh transformatsionnykh modelej // Grejmas A. Zh. Strukturnaya semantika: poisk metoda. M., 2004. S. 278–319.]

Лотман Ю. М. О метаязыке типологических описаний культуры // Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб., 2002. С. 109–142. [Lotman Yu. M. O metayazyke tipologicheskikh opisanij kul'tury // Lotman Yu. M. Stat'i po semiotike kul'tury i iskusstva. SPb., 2002. S. 109–142.]

Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Об искусстве: Структура художественного текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики : Статьи. Заметки. Выступления (1962–1993). СПб., 1998. С. 14–285. [Lotman Yu. M. Struktura khudozhestvennogo teksta // Lotman Yu. M. Ob iskusstve: Struktura khudozhestvennogo teksta. Semiotika kino i problemy kinoestetiki : Stat'i. Zametki. Vystupleniya (1962–1993). SPb., 1998. S. 14–285.]

Поршинева А. С. Пространство эмиграции в романном творчестве Э. М. Ремарка : Saarbrücken, 2010. 231 с. [Porshneva A. S. Prostranstvo emigratsii v romannom tvorchestve E. M. Remarka. Saarbrücken, 2010. 231 s.]

Поршнева А. С. Сюжетно-пространственный комплекс «переход границы» в романе Лиона Фейхтвангера «Изгнание» // Вестн. Перм. ун-та. Российской и зарубежной филология. 2012. № 3 (19). С. 140–149. [Porshneva A. S. Syuzhetno-prostranstvennyj kompleks «perekhod granitsy» v romane Liona Fejkhtvanger «Izgnanie» // Vestn. Perm. un-ta. Rossijskaya i zarubezhnaya filologiya. 2012. N 3 (19). S. 140–149.]

Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. 509 с. [Propp V. Ya. Istoricheskie korni volshебnoj skazki. L., 1986. 509 s.]

Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. 448 с. [Frejdenberg O. M. Poetika syuzheta i zhanra. M., 1997. 448 s.]

Feuchtwanger L. Exil. Berlin, 1976. 794 S.

Frühwald W., Schieder W. Gegenwärtige Probleme der Exilforschung // Leben im Exil: Probleme der Integration deutscher Flüchtlinge im Ausland, 1933–1945. Hamburg, 1981. S. 9–27.

Mann K. Der Vulkan: Roman unter Emigranten. Reinbek bei Hamburg, 1999. 572 S.

Möller H. Die Emigration aus dem nationalsozialistischen Deutschland : Ursachen, Phasen und Formen // hrsg. Markus Behmer. Deutsche Publizistik im Exil 1933 bis 1945: Personen – Positionen – Perspektiven; Festschrift für Ursula E. Koch. Munster ; Hamburg ; London, 2000. S. 46–57.

Статья поступила в редакцию 30.05.2013 г.

УДК 821.112.2 Грасс + 7.036.1

С. Н. Сатовская

«ЧУЖИЕ» НАРРАТИВЫ В РОМАНЕ Г. ГРАССА «МОЕ СТОЛЕТИЕ»: КОНТЕКСТ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Рассматривается проблема реконструкции прошлого в творчестве Г. Грасса (на материале автобиографического романа «Мое столетие»). Роман исследуется в контексте немецкой «литературы памяти» как специфического явления в литературе Германии второй половины XX – начала XXI в. Анализируется также специфика повествования в романе, в частности коллаж «чужих» нарративов как формы речевой маски автора.

Ключевые слова: немецкая литература; Грасс; нарратив; преодоление прошлого; литература памяти; реализм; полифония.

Интерес к феномену исторической и индивидуально-личностной памяти в немецкой культуре XX столетия имеет свое обоснование: проблема преодоления прошлого, которая сформировала в итоге своеобразный национальный проект, становится центральной в послевоенном немецком дискурсе и поныне многое определяет в немецкой культуре. Исследованием «литературы памяти» занимаются крупнейшие западные, прежде всего немецкие, литературоведы, культурологи, философы, такие как Я. Ассман, А. Ассман, Э. Агацци, М. Браун, Э. Шютц, А. Эрлль и др.

Драматическая история Германии XX в. породила уникальный феномен национальной авторефлексии в категориях ответственности и вины. Немецкая исследовательница Ю. Франк так обозначила сущностные вопросы этой

национальной авторефлексии: «Кто может рассказывать, кто хочет вспоминать о себе, кто хотел бы возвысить свой голос... кому принадлежит история? Только немцы — о своей истории, о своем разделении и своей границе? Только жертва о жертве? Только очевидец событий о своем времени? Кто может, кому можно, кто должен — и кто кому раздает запреты?» [Frank, S. 21] В рамках этой критической национальной авторефлексии и сформировалась немецкая «литература памяти».

В своей монографии исследователь М. Браун так определяет сущность «литературы памяти»: «Воспоминание является объектом литературы (*genitivus objectivus*), ее медиумом... В этом смысле литература памяти является символической системой (*Symbolsystem*): она вспоминает историю, поскольку рассказывает истории» [Braun, S.113]. В качестве важных свойств «литературы памяти» М. Браун называет жанровую и стилевую авторефлексивность, акцентуацию процесса и медиума (персонажа, нарратора) воспоминания. И здесь следует подчеркнуть, что именно в характере и особенностях медиума, субъективного носителя повествующего начала, состоит художественная специфика «литературы памяти».

В рамках «литературы памяти» процессы рассказывания (например, «Мое столетие» Г. Грасса) и чтения (например, «Чтец» Б. Шлинка) тематизированы как формы культурной памяти. Субъект обретает свою духовную целостность, восстанавливает непрерывность личного времени только в контексте коллективной истории. Возвращение и переосмысление прошлого возможны только в слове, точнее, в саморефлексивном вербальном погружении личности в пережитое — собственное или чужое — бытие. (И эта смена ракурса изображения — с фабулы на нарратора — особенно важна в исследовании поэтики романа Грасса «Мое столетие».)

Но если литература военного и послевоенного (1950—1970-е) времени (в частности, произведения Г. Бёлля, Ф. Дюрренматта, ранние произведения Г. Грасса) была сосредоточена на локальной исторической эпохе (нацизм, Вторая мировая война, первые послевоенные годы), то литература рубежа XX—XXI вв., к которой относится и роман Грасса «Мое столетие» (1999), вовлекает в художественное исследование духа времени (*Zeitgeist*) более обширный временной пласт. Это взгляд на целое столетие, охват незначительных и великих событий, совмещение крупного плана и детали, малой личностной истории и большей истории Германии и Европы.

Эту особенность хронотопа памяти, в частности, отмечает и упомянутый выше немецкий литературовед М. Браун: «Современная литература оставила позади XX век. Но XX век не оставил современную литературу» [Braun, S.109]. М. Браун ссылается на всплеск «литературы памяти» на рубеже XX и XXI вв., когда в процесс художественной реконструкции прошлого вовлечены сразу несколько поколений (этот прием, кроме Г. Грасса, используют также М. Байер, К. Хаккер, У. Тимм, Б. Шлинк, К. Хайн, Т. Бруссиг, У. Дрезнер, Р. Ротманн и др.).

В парадигму «литературы памяти» может быть, без сомнения, вписано и творчество Г. Грасса. Начиная с первых произведений Грасса, прежде всего

с «данцигской трилогии» (1959–1963), именно личное авторское воспоминание определяет смысловую, сюжетную, композиционную и образную организацию произведений. Все последующие романы и повести Грасса («Из дневника улитки», 1972; «Встреча в Тельgte», 1979; «Широкое поле», 1995; «Мое столетие», 1999; «Луковица памяти», 2006; «Фотокамера», 2008) реконструируют ближайшие или отдаленные во времени события национальной истории Германии. Коллективная память переплетается у Грасса с автобиографической реконструкцией прошлого, образуя нерасторжимое целое.

В «Моем столетии» Грасс воссоздает исторический образ Германии целого века через фиксацию малых нарративов, т. е. историй «маленьких людей»¹, которые и оказываются объектами манипуляции различных политических режимов и одновременно субъектами — носителями различных политических, социально-исторических и прочих мифов. Самостоятельным и исключительно значимым объектом многосторонней рефлексии в малых нарративах становится феномен вины, как собственной, личностной, так и коллективной, общенациональной. Рефлексией по поводу вины и/или осознания собственной вины нарратора проникнуто большинство малых нарративов. Это проявляется в различных «оговорках» персонажей, в отсылках к реалиям времени, в их «наивной» трактовке как на уровне явных («...aus zwei bronzenen Kandelabern... zerletzte Flammen fauchen... Reue fuer alle im deutschen Namen begangenen Untaten...» [Grass, S. 258]²), так и на уровне неявных маркеров («Koennen Sie ruhig lesen all das. Hab ich fuer meine Urenkel aufgeschrieben fuer spaeter. Glaubt einem ja heut keener, was damals hier los war in Barmbek und ueberall» [Ibid. S. 101]³).

Особенного внимания при исследовании повествования у Грасса заслуживает прием «точки зрения» (ф о к а л и з а ц и и⁴). Данным приемом может быть отмечено не только автобиографическое или мемуарное повествование: прием «точки зрения» в разных вариантах присутствует практически во всей художественной прозе XX столетия. Осознание художественных возможностей индивидуализации нарратива приходит в европейскую литературу достаточно поздно: в романтизме разрабатывались философские основания этого индивидуалистического поворота, но собственно художественные достижения пришли позже — в периоды позднего реализма и модернизма. Осознание формы художественного повествования как характерологической значимости, важнейшего инструмента воссоздания самого образа нарратора, а вместе с тем

¹ Понятия «нarrатив» и «нarrатор» используются здесь и далее в соответствии с определением и классификацией В. Шмидта [см.: Шмид, с. 15].

² «Из двух бронзовых канделябров рвутся... языки пламени... выражая раскаяние за все злодеяния, совершенные именем немецкого народа» [Грасс, 2009, с. 232].

³ «Можете все это читать спокойно. Я это записывала для своих правнуков, на потом. Сегодня ведь никто не поверит, что тогда творилось здесь, в Бармбеке» [Там же, с. 91].

⁴ Термин «фокализация», означающий фиксированную точку зрения в повествовании, наиболее развернуто раскрывается французским постструктуральным Ж. Женеттом в его книге «Повествовательный дискурс» [Женетт, с. 61–281]. Именно особенности «фокализации» определяют нравственную, психологическую, политическую модальности и автора, и героя. Наряду с «фокализацией» в литературный обиход вошло как родственное и понятие «точки зрения».

и образа событий достигает кульминации в литературе модернизма. Как отметил С. Н. Бройтман, освоение индивидуализированных нарративов могло прийти только в эпоху «автономного статуса субъекта» [Бройтман, с. 258].

Несомненно, подобные нарративы и нарраторы, в том числе в форме «авторских масок»⁵, присутствовали и в литературе прошлых эпох. Таковы, например, маски пикаро и простака в плутовском романе (Ф. де Кеведо, Я. Х. К. Гrimmельсгаузен, К. Рейтер), маски чудака-поэта или филистера в произведениях Гофмана, речевые маски «униженных и оскорбленных» в романах Достоевского, сказовые приемы у Лескова и Гоголя и пр. Однако только в XX в. с появлением литературы «потока сознания» наступает эпоха разработки «чужих» нарративов как размножившихся и разнообразно варьирующихся «альтер эго» автора (Джойс, Фолкнер, Дёблин, Хаксли, В. Вулф и др.). В постмодернизме прием «точки зрения», утрачивая свою психологизирующую функцию, чаще всего становится объектом стилевой игры, освоения гедонистически-эстетической функции текста (ср. высказывания Р. Барта об «удовольствии от текста»).

Г. Грасс использует художественные возможности «чужих» нарративов от лица вымышленных героев-рассказчиков как в реалистическом, так и в модернистском ключе. В первом случае устная повествовательная манера нарраторов служит цели создания стилевого и психологического портрета, а соответственно и реконструкции мировоззренческой позиции, которая определяет оценочную модальность переживания истории. Во втором случае осуществляется гипотетическое моделирование речевого поведения и взглядов исторических персон (например, в воссоздании образов кайзера, Гитлера, Эриста Юнгера, Эриха Марии Ремарка) в «Моем столетии». Здесь Грасс достигает определенной степени авторской мифологизации истории.

Одной из существенных черт автобиографизма Грасса в «Моем столетии» является перенос композиционного и аксиологического акцента с личности рассказчика на малые истории персонажей, подлинных и вымышленных, в контексте большой истории страны и века. Стратегия «маскировки», ухода от доминирования «я» отчасти может быть соотнесена с полифонической поэтикой Достоевского, как она была описана М. М. Бахтиным [Бахтин, с. 67]. В рамках такого подхода автор дает возможность высказаться многочисленным персонажам в рамках конкретного сюжета. Непосредственно в «Моем столетии» Грасса им отведена роль не столько идеологов, сколько рассказчиков, очевидцев катализмов и бытовых, заурядных событий, наполнивших каждый год XX в.

С одной стороны, достоверность повествования, с другой — отход от принятых методологий исторического исследования, все это достигается за счет расщепления большой истории на личные нарративы очевидцев, среди которых большинство — представители той непубличной, неполитизированной части нации, которая словно бы и не подозревает о своей сопричастности

⁵ Терминология, предложенная американским критиком К. Малмгреном [Malmgren, p. 62, 68].

истории. В «Моем столетии» история трактуется «снизу», как «ситуация поворота» [Чугунов, с. 6], большая история изображается через малые нарративы обыденных персонажей.

Такое построение текста на основе коллажа «малых» нарративов, с одной стороны, создает эффект своеобразной маскировки авторской позиции, а с другой — достаточно подчеркнуто обнажает прием псевдомаскировки, с помощью которого авторская позиция выявляется более отчетливо. При всем внешнем полифонизме голосов персонажей «перст указующий» [Бахтин, с. 128] автора чувствуется повсюду, причем значительно отчетливее, чем у Достоевского. Сам выбор носителей частных правд, нарраторов, их точек зрения и мировоззренческих позиций безусловно подчинен выражению авторской позиции самого Грасса. Среди грассовских нарраторов нет ни одного убежденно-го нациста, ни одного носителя квазинацистских взглядов, ни одного полемически настроенного по отношению к Грассу героя, всерьез и критически оценивающего авторскую позицию. «Was will man noch von mir hören! ... Ihr... wisst sowieso alles besser. Die Wahrheit? Was zu sagen war, hab ich gesagt.» [Grass, S. 78]⁶. Подобными фразами как четкими маркерами авторской позиции не-редко начинается та или иная глава романа.

Одна из важных черт в создании чужих нарративов Грассом — выбор типа непрофессионального нарратора (по классификации В. Шмидта [см.: Шмидт, с.79], который выделяет 28 типов нарраторов). Все нарраторы, представленные в каждой из 99 эпизодов-глав романа, — рассказчики собственных «ма-лых» историй: историй своих жизней, иногда каких-то их отрезков.

Манера повествования воспроизводит стилистические, социальные, психологоческие особенности каждого отдельного нарратора, что задано художественной манерой самого Грасса (например, продажа завода «Опель» глазами простого рабочего: «Und uff eimol warn wir all Amerikaner. Eijo, die ha nuns eifach gekauft» [Grass, S.105]⁷). В выборе в качестве рассказчиков «непрофессиональных» нарраторов сказывается общая тенденция современной литературы, повторяющей виток послевоенного «неореализма», к подлинности, к избавлению от орнаментальности, иллюзорного приукрашивания, утопизма модернистской и массовой культуры, к общей установке на антириманизм (ср. итальянский неореализм, документализм французской «новой волны», «новое немецкое» кино, «вещизм» во французском новом романе, «арте пове-ра» в итальянском изобразительном искусстве и т. п.).

Своеобразие художественной манеры Грасса в «Моем столетии» заключается также в органичном соединении документальных реалий и вымышенных житейских историй. Автор создает пестрый коллаж эпизодов, заполняющих каждую клеточку хроникального «пазла» XX столетия. Особенный интерес в этой связи вызывает преднамеренное создание Грассом впечатления того,

⁶ «Господи, ну что вы хотите от меня услышать? Вы... и без того все прекрасно знаете. Правду? Я и так уже сказал все, что мог» [Грасс, 2009, с. 70].

⁷ «И вдруг мы прям все как один стали американами. Они, знаешь, это самое, нас просто на корню скрутили» [Там же, с. 94].

что «говорящие» персонажи словно не подозревают о судьбоносности дат, в которые слушаются с ними те или иные события. Они пребывают в неведении относительно будущего, в то время как автор, сплетая полифоническое, поли-субъектное повествование, напротив, обозревает логику всего исторического процесса столетия, и эта логика диктует композицию фрагментов.

Достаточно обратить внимание на то, какими событиями заполняет автор столь знаковые (впоследствии, с точки зрения еще не сбывшегося для персонажа будущего) вехи, как 1900 (рубеж столетий, а для героя Грасса — зажигательная речь кайзера об Аттиле и гуннах), 1901 (начало нового века, в главе — описание содержимого лотков «блошиного» рынка), 1918 (трагическое поражение Германии в Первой мировой войне, в главе — встреча Юнгера и Ремарка), 1933 (начало диктатуры Гитлера, в самой главе — описание обычавтелей в закусочной), 1945 (капитуляция Германии, в главе — командировка некого военного журналиста в Исландию и Алжир).

По мере приближения к периоду 1960—1990-х гг. личный, автобиографический, контекст — знакомства с будущими женами и разводы с ними, многочисленные перипетии с детьми от разных браков, политическая карьера писателя, пестрые и многообразные реалии писательского быта, его друзья и путешествия — становится все более значимым. Мир романа становится уже субъективно-личностным. Это позволяет говорить о динамике внутри композиции: документальное трансформируется в автобиографическое, и причастность писателя к знаковым событиям эпохи получает имплицитную убедительность. Таким образом, чужие нарративы перемежаются с собственно авторскими. («Dieses Messehallengemurmel... „Blechtrommel“... und dieses Partygeflüster — „Jetzt endlich ist sie da, die deutsche Nachkriegsliteratur“... aber das war nicht Oskar Mazerat, der „Jimmy the Tiger“ mit einer Dame vim Fernsprechamt aufs Parkett legte, das waren eingetanzt Anna und ich, die Franz und Raoul, ihre Sohnchen, bei Freunden untergestellt hatten...» [Grass, S. 212—213]⁸).

Ведущую роль при этом сохраняет воспоминание, ретроспекция. Как писал Грасс в своем более позднем произведении «Луковица памяти» (2006), именно из мелочей, деталей, из «оторванной пуговицы или ржавого гвоздя от подковы» [Грасс, 2008, с. 330] складывается неповторимая (и необратимая по последствиям) фактура жизни, жизни отдельного индивида и жизни целой нации.

Первую и последнюю главы романа «Мое столетие» закольцовывает основная мысль автора, переданная устами рассказчиков: «den da alleweil Krieg war...» [Grass, S. 7]⁹; «Krieg war, immerzu Krieg mit Pausen dazwischen» [Ibid., S. 375]¹⁰. И даже идиллическая картина в главе «1999» (воображаемое любование давно умершей матери автора ныне живущими правнуками, катающимися на скейтах) нарушается финальными размышлениями об угрозе войны, которая никуда не

⁸ «Предположения... „Жестяной барабан“... и этот светский шепоток: „Вот наконец она возникла, немецкая послевоенная литература“... Но отнюдь не Оскар Мацерат на пару с дамой с телефонной станции отплясывал “Джимми-тигра”, это танцевали мы с Анной, подбросившие друзьям своих сынишек Франца и Рауля» [Грасс, 2009, с 192].

⁹ «Непрерывно шла какая-нибудь война» [Там же, с. 7].

¹⁰ «Была война, все время война с небольшими перерывами» [Там же, с. 340].

ушла из человеческой культуры и цивилизации, а лишь на время залегла «в тылу»: «Nun kommt meine Tochter doch Ende Februar. Und ich freu mich auf all die Urenkel, wenn sie dann wieder unten im Park rumflitzen auf ihren Skaetern, waehrend ich vom Balkon runterguck. Und auf 2000 freu ich mich auch. Mal sehen, was kommt... Wenn nur nicht Krieg ist wieder... Erst da unten und dann ueberall...» [Grass, S. 379]¹¹.

Значима и самая первая фраза анонимного нарратора (человека в армейском строю) в первой главе романа: «Ich, ausgetauscht gegen mich, bin Jahr fuer Jahr dabeigewesen. Nicht immer in vorderster Linie, dann da alleweil Krieg war, zog sich unsereins gerne in die Etappe zurueck» [Ibid., S. 7]¹².

В данном вступлении к масштабному полифоническому повествованию о целом столетии представлен весьма характерный для художественного мира Грасса герой. Это «маленький человек», который не стремится на передовую, позиция которого предельно подвижна (это и позволяет ему в решающие моменты «подменять», «разменивать» собственное целостное «я» на некие безопасные роли).

Речь кайзера перед отплытием германских войск в Китай в 1900 г., кратко пересказанная анонимным повествователем, служит для читателя своеобразным прологом к исторической трагедии немецкого народа. В этой речи и призыв к жестокости в обращении с врагом («Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht...» [Grass, S. 7]¹³, и узнаваемое (по позднейшим обещаниям Гитлера) обращение к великой истории Германии времен Нibelунгов («Die Hunnen belobigte er, wenngleicht sie recht grausig gehaust haetten» [Ibid.]¹⁴), и провозглашение культуртрегерской миссии немецкой нации («Oeffnet der Kultur den Weg ein fuer allemal» [Ibid., S. 8]¹⁵).

Но на фоне прозрачной имперской риторики читатель видит полную безучастность рассказчика к подлинному смыслу политических событий, некритическое восприятие ура-патриотического пафоса. Именно такой тип исторического сознания и предопределил трагедию национал-социализма как массовой тоталитарной идеологии, требовавшей конформистского вживания в заданную национальную мифологию, иррациональной коллективной причастности к мифу о «великой» нации, о «Deutschland über alles». Национальная депрессия, в которой пребывала Германия после Первой мировой войны, сформировала тип «маленького человека», который в итоге компенсировал свою несостоятельность соучастием в проекте Третьего рейха.

¹¹ «И все-таки моя дочь согласилась приехать в конце февраля. И я уже загодя радуюсь, что увижу всех своих правнуков, как они будут носиться по парку, на своих скейтах, а я буду смотреть с балкона. И еще я рада, что на подходе двухтысячный год. Посмотрим, что будет... Если только опять не начнется война... сперва там, внизу, на юге, а потом везде...» [Грасс, 2009, с. 344].

¹² «Я, подменяя себя самого самим собой, неизменно, из года в год при этом присутствовал. Конечно же, не всегда на передовой линии: поскольку непрерывно шла какая-нибудь война, наш брат куда как охотно перемещался в ближний тыл» [Там же, с. 7].

¹³ «Никакой пощады врагу, пленных не брать...» [Там же, с. 8]

¹⁴ «Гуннов Его Величество называл достойными подражания, хотя проявляли они себя с излишней жестокостью» [Там же].

¹⁵ «Раз и навсегда откройте дорогу культуре!» [Там же].

В подавляющем большинстве случаев одна глава соответствует одному нарратору, который одновременно является и предметом собственного повествования. Однако в несколько эпизодов (главы «1914», «1915», «1916», «1917», «1918»), где рассказывается о вымышленной, отсутствовавшей в исторической реальности встрече Эрнста Юнгера и Эриха Марии Ремарка, введены три участника. Роль посредника между оппонентами, апологетом героического мифа Юнгером и пацифистом Ремарком, выполняет швейцарская журналистка, причем ее гражданская принадлежность к данной стране выбрана Грассом не случайно. Политика швейцарской конфедерации в европейской истории XX в. была построена на принципах нейтралитета и невмешательства. Поэтому именно швейцарская журналистка и ведет эту непростую беседу с идеяными противниками, слаживая парадоксальность ситуации. («Mag sein, dass mir, der jungen Frau, mehr Glueck zufiel und ich obendrein als Schweizerin mit dem Bonus der Neutralitaet ausgestattet war» [Grass, S. 52]¹⁶).

И Ремарка, и Юнгера, и «столкнувшего» их Грасса объединяет то биографическое обстоятельство, что они добровольцами отправились на фронт и получили опыт познания смерти в непосредственном приближении, однако выводы, к которым они приходят в результате этого опыта, совершенно различны. Грасс, вводя в свой роман истории простых людей, жертв и участников проекта Третьего рейха, достигает срединной позиции: он одинаково далек от обвинительного и защитного пафоса по отношению к историческим событиям, он лишь пытается вскрыть психологические пружины пассивности личности в истории. Его позиция наблюдательно-аналитическая.

Грасс использует ироническое очуждение: эпохальные даты раскрывает через неприметное и малозначимое, но сама символика даты и упоминание — иногда всколызь — тех реалий, которые в будущем изменят облик страны и мира, создают глубинную семантику событийного плана.

Так, например, глава «1902» содержит самовлюбленный рассказ некоего поклонника шляпной моды о предмете своего пристрастия — шляпах. Динамика истории отражена здесь сквозь намеренно уменьшенный масштаб темы. Упомянутая мимоходом ссылка на оптимистический лозунг из газет («решительно во всем был объявлен прогресс» [Грасс, 2009, с. 12]) откликается комично: рассказчик оценивает прогресс переменами в фасонах шляп. «Damals war vieles neu. Zum Beispiel brachte die Reichspost reichseinheitliche Briefmarken in Umlauf, drauf die Germania metallbusig im Profil. Und weil allerorts Fortschritt verkuendet wurde, zeigten sich viele Strohhuttraeger neugierig auf die kommende Zeit» [Grass, S. 13]¹⁷.

На фоне этих вполне милых и обыденных пристрастий выглядит мрачным предзнаменованием упоминание будущего идола националистической Герма-

¹⁶ «Возможно, мне повезло больше, как молодой женщине, и к тому же я как швейцарка была освящена статусом нейтралитета» [Грасс, 2009, с. 8].

¹⁷ «В ту пору все было внове. Так, например, единая государственная почта выпустила в обращение единые марки, на которых в профиль была изображена богиня Германия с закованной в латы грудью. И поскольку решительно во всем был объявлен прогресс, многие носители соломенных шляп с любопытством ожидали, что будет дальше» [Там же, с. 12].

нии — богини Германии, изображенной на марках выпуска 1902 г. Этот образ одновременно предвещает и трагическую судьбу страны в двух войнах, и послевоенный травматический опыт, а также содержит ироническую реплику, в которой для читателя звучит мотив непредсказуемости в начале века масштаба будущих несчастий. Каждая фраза в приведенном выше пассаже может быть прочитана с двух точек зрения — точки зрения рассказчика (его кругозор ограничен) и точки зрения автора и читателя во временной позиции рубежа XX—XXI столетий.

Эффект очуждения создается за счет монтажа контекстов, выявляющего принципиальные различия в объеме знаний нарратора и читателя: нарратор ограничен перспективой настоящего, он существует синхронно своей эпохе, а читатель оценивает изображаемое с позиции «будущего» этого нарратора, он знает неизмеримо большее, его исторический кругозор углублен.

На приеме очуждения выстроен, например, и повествовательный рисунок главы «1989», где эпохальное для немцев событие — разрушение Берлинской стены, воссоединение Западной и Восточной Германии — перемежается с рассуждением нарратора (в данном случае это авторское «я») о зимних покрышках. На первый взгляд речь идет о бытовых реалиях, однако их социокультурный и даже политический смысл перекликается со знаменательной новостью: Берлинской стены больше не будет. Символ разделения Германии на социалистический и капиталистический лагеря обыгрывается в шутливой беседе двух восточных немцев: одному, занятому в материальном производстве, ничего не стоит постелить дорогой паркет в квартире и достать дефицитные покрышки для автомобиля, в то время как другому, живущему на зарплату архивного работника, это не по карману¹⁸. Архивист «надеется при содействии своего знакомого разжиться новыми покрышками. У того, кто при реально существующем социализме может за свой счет постелить новый паркет, наверняка есть доступ и к специальным покрышкам с надписью «Г+С», что означает «Грязь плюс Снег» [Грасс, 2009, с. 301]). После судьбоносного радиосообщения о падении Стены два восточных берлинца прерывают беседу о покрышках, и далее речь уже идет о реалиях тех дней, в частности о пробках на дорогах по пути к бывшей границе. Заключительный абзац вновь возвращает читателя к теме покрышек, но уже с демонстрацией незначительности этой бытовой детали на фоне главного события: «Ich vergass, meinen Bekannten zu fragen, wie und wann und gegen welches Geld er endlich doch noch an Winterreifen gekommen sei... Denn irgendwie ging das Leben ja weiter» [Grass, S. 334–335]¹⁹.

На ироническом столкновении построена глава «1991», представляющая собой диалог двух немцев (их имена, возраст, род занятий, место разговора никак не обозначены автором) о войне в Персидском заливе. Диалог строится на скрытой полемике с постмодернистским утверждением о фиктивности

¹⁸ Тема архива, составления примечаний к историческим документам появляется здесь исподволь, с комическими комментариями, но она не работает на магистральную тему работы памяти с прошлым.

¹⁹ «Я только забыл потом спросить своего знакомого, когда и за какие деньги он обзавелся наконец новыми покрышками... Потому что так ли, иначе ли, но жизнь продолжалась» [Грасс, 2009, с. 302].

современной реальности, следуя которому войны в Персидском заливе не было. Глава построена как диалог о смысле войны в заливе, и основная мишень критики Грасса — это попытка заинтересованных сторон прикрыть цели и подлинный облик этой войны («Bluet fuer Oel!», «Tote sieht man nicht» [Grass, S. 340–341]²⁰). Новый облик войны — ее массмедиийная театрализация («Die Show, die CNN mit dem Pentagon saeuberlich arrangiert hat und die nun der Normalverbraucher auf der Mattscheibe mitkriegt...Guckt man sich an wie Sciencefiction und knabbert Salzstangen dazu...» [Grass, S.341]²¹), что позволяет политикам отвлечь зрителя и от реальных жертв, и от экономических механизмов разжигания новой международной бойни.

Подводя итог, следует выделить основные атрибуты малых нарративов в контексте построения образа Большой Истории в романе Г. Грасса «Мое столетие»:

- индивидуализация исторического опыта через создание частных историй и введение их в широкий исторический контекст;
- фрагментаризация эпического исторического нарратива за счет дробления его на личные эпизоды в жизни нарраторов;
- уравнивание в правах на рассказывание нарраторов различного социального и культурного статусов (рассказчиками выступают как политики, учёные, писатели, так и «простые люди»: продавцы, шахтеры, архивисты, до-мохозяйки и пр.);
- уравнивание в правах, композиционное нивелирование нарративов, по-данных через чужие голоса, и автобиографического нарратива (автор представляет как носитель одного из многих голосов);
- уравнивание в исторических правах частных и публичных событий (в один смысловой ряд ставятся покупка шляпы, обсуждение продуктовых пайков и карточек, война в Персидском заливе, падение Берлинской стены и пр.);
- стилевая индивидуализация повествования (раскрытие одного из аспектов приема точки зрения);

Смысл полифонического повествования в «Моем столетии» состоит в создании коллективного, полисубъектного, полистилевого портрета нации в ее исторической ретроспективе и перспективе. Грасс творит историю повседневности, в которой исторические события отражаются в форме бытовых, мен-тальных, психологических микроизменений и тем самым позволяют почувствовать историческую реальность через призму авторского оценивающего взгляда.

Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. 470 с. [Bakhtin M. M. Problemy poetiki Dostoevskogo. M., 1972. 470 s.]

²⁰ «Проливать кровь ради нефти», «а покойников не видишь» [с. 306–309].

²¹ «Шоу, устроенное на пару между Пентагоном и Си-эн-эн и предъявленное потребителю на экране телевизора... Можно смотреть как фантастику и при этом грызть соломку» [Там же, с. 307].

- Бройтман Н. С. Историческая поэтика : хрестоматия-практикум : учеб. пособие. М., 2004. 352 с. [Broitman N. S. Istoricheskaya poetika : khrestomatiya-praktikum : ucheb. posobie. M., 2004. 352 s.]
- Грасс Г. Мое столетие. СПб., 2009. 450 с. [Grass G. Moe stoletie. SPb., 2009. 450 s.]
- Грасс Г. Луковица памяти. М., 2008. 589 с. [Grass G. Lukovitsa pamyati. M., 2008. 589 s.]
- Женетт Ж. Повествовательный дискурс // Фигуры: в 2 т. Т. 2. М., С. 60—281. [Zhenett Zh. Povestvovatel'nyj diskurs // Figury: v 2 t. T. 2. M., S. 60—281.]
- Чугунов Д. А. Немецкая литература 1990-х: ситуация «поворота» : дис... доктор филол. наук. Воронеж, 2006. 413 с. [Chugunov D. A. Nemetskaya literatura 1990-kh: situatsiya «povorota» : dis... doktor filol. nauk. Voronezh, 2006. 413 s.]
- Шмид В. Нарратология. М., 2003. 312 с. [Shmid V. Narratologiya. M., 2003. 312 s.]
- Agazzi E. Erinnerte und rekonstruierte Geschichte. Drei Generationen deutscher Schriftsteller und die Fragen der Vergangenheit. Goettingen, 2005. 175 S.
- Assmann A. Erinnerungsraeume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedaechtnis. Muenchen. 1999. 424 S.
- Assmann J. Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München. 2007. 344 S.
- Beyer M. Kaltenburg. Frankfurt a/M., 2008. 400 S.
- Braun M. Die deutsche Gegenwartsliteratur. Koeln ; Weimar ; Wien, 2010. 247 S.
- Brussig Th. Am kürzesten Ende der Sonnenallee. Frankfurt a/M., 1999. 157 S.
- Draesner U. Spiele. Frankfurt a/M., 2007. 494 S.
- Erl A. Kollektives Gedaechtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einfuehrung. Stuttgart ; Weimar, 2011. 243 S.
- Franck J. Die Überwindung der Grenze liegt im Erzählen // Franck J. (Hrsg.). Grenzübergänge. Autoren aus Ost und West erinnern sich. — Frankfurt a/M., 2009. 222 S.
- Grass G. Mein Jahrhundert. Göttingen , 1999. 379 S.
- Hacker K. Eine Art Liebe. Frankfurt a. M. Suhrkampf Taschenbuch, 2003 — 268 S.
- Hein Ch. Landnahme. Frankfurt a/M., 2004. 360 S.
- Malmgren C. D. Fictional Space in the Modernist and Postmodernist American Novel. Lewisburg, 1985. 240 p.
- Rothmann R. Milch und Kohle. Frankfurt a/M., 2000. 211 S.
- Schlink B. Der Vorleser. Zürich, 1997. 207 S.
- Schütz E. Zwischen Heimsuchung und Heimkehr: Gegenwartsromane und Zeitgeschichte es Nationalsozialismus // Boesch F., Goschler K. (Hrsg.). Public History. Offentliche Darstellungen des Nationalsozialismus jenseits der Geschichtswissenschaft. Frankfurt a/M. ; N. Y., 2009. 290 S.
- Timm U. Am Beispiel meines Bruders. Köln, 2003. 159 S.

Статья поступила в редакцию 03.06.2013 г.

УДК 821.111 Льюис + 792.026.8 + 7.035.93 + 391.8

Д. С. Туляков

АНТИЧНЫЙ ТЕАТР И МАСКА В ДРАМЕ УИНДЕМА ЛЬЮИСА «ВРАГ ЗВЕЗД»*

Рассматривается функционирование театральной образности в поэтике пьесы У. Льюиса «Враг звезд» (1914). Через обращение к теории и истории античного театра (по современным и известным Льюису научным источникам) раскрывается и интерпретируется античная специфика театральных образов пьесы. Определяется ключевая моделирующая роль масок главных героев в автореференциальной экспозиции «Врага звезд», отражающей проблематичность соотношения действительности и произведения искусства, равно как и вербального и визуального, в поэтике Льюиса — писателя и художника.

Ключевые слова: английская литература XX в.; Уиндем Льюис; «Враг звезд»; античный театр; маска; визуальность.

Творчество английского художника и писателя, одного из основателей английского авангардного движения вортицизм¹ Уиндема Льюиса (Wyndham Lewis, 1889—1957) в России малоизвестно: ни одно из его произведений не переведено на русский язык, а внимание к нему отечественных исследователей ограничивается несколькими небольшими статьями и единственной диссертацией. На Западе он, напротив, признается ключевой фигурой модернизма и рассматривается наравне с такими признанными художниками слова, как Т. С. Элиот, Джеймс Джойс или Вирджиния Вулф.

В центре нашего внимания — раннее произведение автора, пьеса «Враг звезд» (*Enemy of the Stars*), вышедшая в переломном 1914 г. в авангардном журнале-манифесте «Бласт», издававшемся под редакцией Льюиса. О значимости пьесы в творческом становлении писателя, а по некоторым оценкам — и в истории англо-американского модернизма в целом свидетельствует большое количество посвященных ей статей, глав монографий и диссертаций. Предметом исследования становились следующие аспекты пьесы: стилистические [см.: Beatty; Dasenbrock, р. 127—151], характерологические [см.: Ayers, р. 57—70; Hickman, р. 77—88], жанровые [см.: Edwards, р. 139—166] и перформативные [см.: Graver; Wu]. Столь важные составляющие поэтики «Врага звезд», как театральная образность и маска, насколько нам известно, до сих пор специально не исследовались.

Начало всего произведения в журнале обозначено отдельной страницей с расположенными по центру словами «Враг звезд» [Lewis, р. 51]. За ней следует страница, на которой к заголовку добавлено указание «Краткое содержание в Программе» [*Ibid*, р. 53]. Тогда как первая страница обозначает начало

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Экфрастические жанры в классической и современной литературе», проект № 12-34-01012a1.

¹ *Vorticism* — от англ. *vortex* — воронка, вихрь.

«Врага звезд» в целом, вторая страница имитирует обложку включенной в него театральной программы, существующей отдельно от самой пьесы. Об окончании программы и начале пьесы сигнализирует отдельная страница с расположенным по центру заголовком «Пьеса» [Ibid., р. 57]. Из этого следует, что в программу входит страница, озаглавленная «Реклама» [Ibid., р. 55], и цикл иллюстраций [подробнее см.: Туляков, 2012].

Согласно приведенному в начале журнала списку опечаток, страница с заголовком «Пьеса» должна находиться между 60-й и 61-й страницами. По авторскому замыслу в программу должны входить, таким образом, еще две страницы: повествовательный пролог, озаглавленный, как и пьеса, «Враг звезд» [Lewis, р. 59], и «Сценические указания» [Ibid., р. 60]. К ним примыкает следующая страница, завершающаяся ремаркой, свидетельствующей об окончании программной части: «Действие начинается» [Ibid., р. 61]. Состоящая в таком случае из четырех страниц словесная часть программы обладает собственной целостностью и не входит в пьесу, а дополняет ее. Загадочные перемещения начала пьесы свидетельствуют о проблематизации ее композиционных и жанровых границ.

Анализируемая часть «Врага звезд» может быть определена как экспозиция, поскольку в ней содержится «необходимая для читателя информация о мире, в котором будет развертываться действие, об участвующих в нем персонажах и обстоятельствах, непосредственно предшествующих главным событиям» [Ищук-Фадеева, с. 300]. Кроме того, что эта экспозиция имеет форму театральной программы к «поставленному на страницах журнала “Бласт” представлению» [Graver, р. 485], она изнутри пропитана образами, связанными с античным цирком и театром.

В рекламедается следующая характеристика места действия: «Some bleak circus, uncovered, carefully-chosen» [Lewis, р. 55]². В первую очередь слово «цирк» обозначает здесь место демонстрации зрелищ. В подтверждение этому действующие лица названы клоунами, атлетами и цирковыми зверями, а главный герой пьесы — гладиатор [см.: Ibid., р. 60–61].

По замечанию исследователя, «Льюис использует слово “цирк”... для обозначения многоуровневой декорации места действия» [Beatty, р. 43]. Выступающие на арене этого цирка клоуны — одновременно и гладиаторы, дерущиеся насмерть. Пьеса Льюиса становится предвосхищающей Беккета «не-пьесой, вербальным конструктом взаимоотрицающих аспектов» [Ibid., р. 74]. В качестве парной цирку и «отрицающей» его оппозиции выступает театр, поскольку слово «цирк» соотносится также и с античным амфитеатром — местом проведения драматических представлений. В финальной части экспозиции Льюис указывает, что по мере необходимости арена превращается в сцену, однако признаки театрального представления появляются и раньше.

К театру отсылает называние главного героя протагонистом [Ibid., р. 59]. Этот термин берет начало в античном театре, где им обозначался «исполнитель

² «Пустынный цирк, открытый, тщательно подобранный». Здесь и далее перевод автора статьи.

главной роли, в переносном смысле — главный боец за идею» [Ирмшер, Йоне, с. 468], «первый актер» [Головня, с. 54]). Во «Враге звезд» Аргол действительно играет первую и главнейшую роль, причем, говоря об этом, автор использует почти те же выражения, что и автор одного из современных Льюису изданий о театре Древней Греции А. Е. Хэй (выделены разрядкой): «First he is alone. A human bull rushes into the circus. This super is no more important than lounging star overhead. He is not even a “star”» («Сначала он один. На арену врывается человек-бык. Этот статист не более важен, чем праздная звезда над головой. Он даже не “звезда” (представления. — Д. Т.)») [Lewis, p. 59]. В своей книге Хэй указывал, что протагонист в греческом театре играл большую роль, чем «звезды» сцены («which might be more important personage than even the “star” in a modern company»), а остальные участники представления практически не имели значения («where of no importance») [Haigh, p. 56].

С античным театром соотносится также называние действующих лиц в сценических указаниях актерами. Так же как и место действия, они условны: это не соотносимые с внеэстетической реальностью люди, а клоуны, актеры, персонажи, элементы обстановки для которых — реквизит [см.: Lewis, p. 59].

О повышенной мере условности и автореференциальности текста свидетельствует и указание на то, что исполнители пьесы — «you and me» («вы и я») [Ibid., p. 55]. Смысл этой ремарки не только в том, чтобы главные действующие лица пьесы Аргол и Хэнп были увидены как аллегории автора и читателя или «художника и толпы». Указание также подразумевает, что настоящие актеры пьесой для чтения не предусмотрены; на их месте оказываются вступающие в диалогические отношения автор, создавший текст, и читатель, «разыгрывающий» пьесу на умозрительной сцене в своем сознании [подробнее см.: Туляков, 2010].

Льюис на глазах у читателя заполняет условную сцену действующими лицами и реквизитом. Учтена и зрительская аудитория, которая смотрит на представление сверху вниз в соответствии с законами построения античного амфитеатра [Lewis, p. 59]. Время действия этого архаичного представления — «the Thirtieth centuries» («тридцатые столетия») [Ibid.], а сами зрители — бездействующие потомки современного Льюису человечества, с самого начала представления входящие в транс [Ibid., p. 61]. На арене «Врага звезд» сталкиваются не только смерть и клоунада, театр и цирк, но и прошлое и будущее, из-за чего действие приобретает абстрактный, одновременно архаичный и футуристический характер.

Пренебрежительное и унизительное описание молчащей и жалкой публики [Ibid., p. 55], как и образ цирка («чистого» зрелища, далекого от сложного эстетического освоения действительности античным театром), снижает статус действия, которое могло бы быть поставлено на такой сцене. В то же время именно цирковая арена превращается в экспозиции «Врага звезд» в сцену — «тщательно подобранное» обособленное пространство, предназначеннное для целенаправленного эстетического восприятия. В примитивной, отточенной зрелищности цирка, таким образом, заложен некий исходный, первобытный —

не интеллектуальный, а физический; не постигаемый умом, а зримый смысл. В экспозиции цирковое не дискредитирует театральное, а, напротив, выступает как необходимая для самого существования искусства и неотделимая от него генетическая оппозиция.

Как предполагают принципы античного театрального представления, действующие лица пьесы Льюиса являются масками: «*Masks fitted with trumpets of antique theatre*» [Ibid., p. 60]³. В уже упомянутой работе Хэй говорит о таких особенностях античной маски, как преувеличение черт, придающее ей выражение сверхчеловеческого достоинства или ужаса; резкость линий, позволяющая рассмотреть ее даже сидящим далеко зрителям; широкое отверстие на месте рта, позволяющее голосу звучать громко⁴; самодостаточность маски для передачи представления о характере и положении героя [Haigh, p. 214, 219–221]. Как будет показано ниже, во «Враге звезд» Льюис ориентируется на многие из перечисленных Хэем свойств маски античного театра.

Впервые слово «маска» появляется в описании протагониста Аргола в прологе «Враг звезд»: «One is in immense collapse of chronic philosophy. Yet he bulges all over, complex fruit, with simple fire of life. Great mask, venustic and veridic, type of feminine beauty called “man[n]ish”» [Lewis, p. 59]⁵.

То, что маска Аргола является маской античного театра, подтверждается следующим прочтением. Во-первых, она огромна, как и пристало быть античным театральным маскам, которые должны быть хорошо видны из всех точек амфитеатра. Во-вторых, в предложении не сказано «маска Аргола» — Аргол назван маской. Аргол — маска, поскольку маски в античном театре «достаточно, чтобы дать зрителям вполне точное представление» о герое [Haigh, p. 221]. Все, о чем в данном указании сказано, должно быть в маске визуализировано. Маска Аргола одновременно *venustic* (лат. *venustus* — изящный) и *veridic* (лат. *veritas* — истина), т. е. обладает качествами античной маски как произведения изящного искусства. Она, с одной стороны, является чем-то видимым, материальным, с другой — способна заставить зрителя «поверить» в себя, увидеть в себе смысл.

В-третьих, маска Аргола совмещает мужские и женские черты. Известно, что в Древней Греции маски могли использоваться одним актером для исполнения разных ролей и мужчинами, исполнявшими женские роли [Hastings, p. 36]. Сочетание мужского и женского в Арголе, его отсылающая к эстетизму «женоподобная апатия» [Hickman, p. 83] косвенно связаны, на наш взгляд, и с семантическим ореолом античной маски.

³ «Маски с прикрепленными к ним рупорами античного театра».

⁴ Мнение о том, что в античном театре к маскам были прикреплены рупоры, чтобы актеров было лучше слышно, встречается нечасто и в современной науке подтверждения не нашло: считается, что «греки решали проблему недостаточной слышимости голоса при помощи организации театрального пространства» [McCart, p. 249]. О рупорах Льюис мог прочитать, например, в посвященном греческой драме первом томе издания «Драма: ее история, литература и влияние на цивилизацию», где указывалось, что в греческой маске «было лишь одно отверстие для голоса, круглое или квадратное, с неким устройством, напоминающим рупор» [Bates, p. 37].

⁵ «Герой переживает грандиозное крушение хронической философии. Тем не менее он до предела наполнен, сложный плод, простым огнем жизни. Огромная маска, изящная и достоверная, того типа женской красоты, который называется “мужеподобным”».

Другие предложения приведенного абзаца характеризуют не внешний вид Аргола-маски, а внутреннее состояние протагониста. Герой находится в глубоком противоречии между не оправдавшим себя и испытывающим кризис интеллектуальным, философским мировоззрением⁶ и природной естественностью. Сложными плодами в ботанике называются плоды, образующиеся не из одного, а из двух пестиков. Таким образом, в этой метафоре заявлена не только естественность, но и интеллектуально-природная двойственность Аргола (см. оппозиции *philosophy – life, complex – simple*), заставившая его, как мы узнаем из пьесы, бросить городскую жизнь и учебу (в том числе философию), чтобы работать подмастерьем у своего дяди в степи. При этом в Арголе противоречия не просто существуют — они предельно обострены. Образ сложного плода предстает, как и маска (ср. связанные с ней оппозиции *venustic – veridic; feminine – mannish*), внешней оболочкой, распираемой изнутри и еле сдерживающей сложное внутреннее содержание.

О втором главном герое пьесы, Хэнпе, говорится следующее: «*Mask of discontent, anxious to explode, restrained by qualms of vanity, and professional coyness*» [Lewis, p. 59]⁷.

Здесь, как и в случае с Арголом, не описывается внешний вид маски, а передается то, что за ней скрыто. Мaska Хэнпа вот-вот разорвется под напором сдерживаемых ею несовместимых тщеславия и застенчивости подмастерья колесного мастера. Стремление маски разорваться, подобно распираемому сложному плоду — Арголу, подчеркивает напряжение между ее пластической формой, не видимой нами, и драматическим содержанием, предельным выражением которого она должна быть.

Структура маски всегда двухэлементна и «предполагает наличие двойного объекта изображения — без маски и с нею», а художественный эффект маски, «использующий наложение, построен на том, что и как маска скрывает» [Исаев, с. 14–15]. В образе маски, таким образом, изначально заключен потенциал противоречий, поскольку «между Я и маской существует неразрешимый конфликт» [Софронова, с. 349].

«Словесные маски» Аргола и Хэнпа соответствуют своим персонажам, а не диссонируют с ними. Тем не менее они выражают сущность героев, противоречащих самим себе, а не своим маскам. Мaska, знаменовавшая в античном театре «выход человека на сцену, преодоление границы между жизнью и искусством» [Там же: 344], не подменяет лицо ложным образом, а, напротив, абстрагирует значимое, выделяет в личности наиболее существенные драматические качества. Совершенно справедливо утверждение, что «исконная маска не только деформирует, но и “закрепляет” воспроизведимые черты» [Исаев, с. 15]. Более того, именно «в связи с театральной маской формируется представление о роли и личности. На это указывает этимология этруссского *fersu* («маска») из греческого, откуда и лат. *Persona*, и позднейшие названия

⁶ О формах выражения кризисного сознания на рубеже веков см., в частности: [Бочкирева].

⁷ «Маска недовольства, стремящаяся разорваться, сдерживаемая приступами тщеславия и профессиональной застенчивостью».

персональности, индивидуальности, личности» [Иванов, с. 34]. В «словесных масках» Аргола и Хэнпа такие существенные черты и качества, «сталкивающиеся» в личности, названы напрямую существительными и прилагательными с обобщенной, абстрактной семантикой (*philosophy, life, type of beauty, feminine, manly; discontent, vanity, coyness*).

В самом принципе «словесной маски» (как и в идеи словесного опосредования сценической ситуации в экспозиции пьесы) заложен парадокс репрезентации: маска, визуальный элемент театрального искусства, существует во «Враге звезд» как аллегорический словесный образ. Читатель знает, что перед ним маска, и посредством понятий и поэтических образов узнает, выражением чего она является, однако он ее не видит. Льюис, почти не касаясь внешних, видимых характеристик, лишь указывает на существование некоего визуального образа — выпуклой формы, соответствующей всей сложности заложенных в персонажах-масках противоречий, которая, как в античном театре, одновременно отражает и абстрагирует их.

Экспозиция заканчивается небольшой сценой, разыгрываемой в построенном Льюисом условном театральном пространстве. Эта сцена и является кратким содержанием, заявленным в начале программы. Если в «словесных масках» героев как в зародыше уже содержатся характеры, предопределяющие их поступки, то действие сцены-синопсиса предвосхищает события основной части пьесы: «The red walls of the universe now shut them in, with this condemned protagonist. / They breathe in close atmosphere of terror and necessity till the execution is over, the red walls recede, the universe satisfied» [Lewis, p. 61]⁸.

Смерть Аргола от руки Хэнпа в конце пьесы может быть увидена как казнь проклятого протагониста на глазах у (при участии?) зрителей — читателей пьесы. Как и в экспозиционной ремарке, Вселенная в finale пьесы чувствует облегчение и благодарное умиротворение: «The night was suddenly absurdly peaceful, trying richly to please him with gracious movements of trees, and gay precessions of arctic clouds. / Relief of grateful universe» [Ibid., p. 84]⁹.

После завершения программы читатель переносится с заполненного аудиторией античного амфитеатра во двор колесного мастера. Только в этот момент мы погружаемся в события на сцене и перестаем видеть ее со стороны. Маски становятся лицами, актеры и персонажи — людьми, а сцена — колесным двором. Привычная для начальных страниц пьесы театральная и цирковая образность почти полностью скрывается, оставаясь в основном тексте пьесы лишь отдельными отголосками уже завершенной экспозиции. Садящемуся солнцу дается определение «Rouge mask in alluminum mirror» («Нарумяненная маска в алюминиевом зеркале») [Ibid.], гнующиеся деревья — «impassible acrobats» («неуязвимые акробаты») [Ibid., p. 62]), лицо дерущегося Аргола или Хэнпа —

⁸ «Красные стены Вселенной затем запирают их [эрзителей] с этим проклятым протагонистом. Они вдали отдают давящую атмосферу ужаса и неизбежности до тех пор, пока исполнение приговора не завершается, красные стены отступают, Вселенная удовлетворена».

⁹ «Ночь стала внезапно абсурдно умиротворенной, пытающейся щедро угодить ему [Хэнпу] грациозными движениями деревьев и веселыми процессиями арктических облаков. / Облегчение благодарной Вселенной».

«Mask stoic with energy» («Стоическая маска энергии») [Ibid., p. 75], а Бог и Судьба — «constant protagonists» («постоянные протагонисты») [Ibid., p. 65]. Цирк, сцена и античное представление, обозначенные в экспозиции, не исчезают, но отходят на второй план, становятся подтекстом пьесы.

В целом, экспозиция пьесы Уиндема Льюиса «Враг звезд» может быть охарактеризована как подготовка арены (сцены) к зрелищу (театральному представлению). Сведения о времени и пространстве готовящегося действия заключаются в характеристике места действия как вынесенного в далекое будущее пространства античного цирка (театра). Информация об участниках представления раскрывает статус действующих лиц — актеров и масок античного театра — и предвосхищает судьбу протагониста.

Образ античного зрелища (представления) позволяет понять, почему «Враг звезд», по словам Ричарда Олдингтона — «пьеса, или рассказ, или стихотворение, или что бы это ни было» [цит. по: Hickman, p. 75], является именно пьесой. Экспозиция нужна Льюису для того, чтобы сообщить, что происходящее в пьесе не является «эпизодом из жизни», а имеет место на сцене в абстрактном будущем, т. е. в автономном, сконструированном условно пространстве-времени. От драмы Льюис берет не организацию текста в виде строгой последовательности речевых действий персонажей, а принцип условности, игры (*Play*) по известным правилам. Везде в экспозиции доминирует идея «сделанности» представленного произведения. Поэтому для читателя происходящее в пьесе (на созданной в экспозиции сцене) одновременно и условно, так как разворачивается в специально созданных для представления условиях и реально, так как обладает видимой достоверностью и основывается на реальных, скрытых под маской и отраженных в маске жизненных противоречиях. Экспозиция пьесы, подобно маске в античном театре, очерчивает грань между сценой и действительностью, искусством и жизнью, которую читатель должен увидеть и которая сама по себе является предметом творческой рефлексии Льюиса.

Бочкарёва Н. С. Формы выражения кризисного сознания в литературе и культуре рубежа веков // Вестн. Перм. ун-та. Российская и зарубежная филология. 2010. Вып. 2(8). С. 111–118. [Bochkareva N. S. Formy vyrazheniya krizisnogo soznaniya v literature i kul'ture rubezha vekov // Vestn. Perm. un-ta. Rossijskaya i zaru-bezhnaya filologiya. 2010. Vyp. 2(8). S. 111–118.]

Головня В. В. История античного театра. М., 1972. 397 с. [Golovnya V. V. Istorija antichnogo teatra. M., 1972. 397 s.]

Иванов Вяч. Вс. Маска как элемент культуры // Культура сквозь призму идентичности. М., 2006. С. 27–41. [Ivanov Vyach. Vs. Maska kak element kul'tury // Kul'tura skvoz' prizmu identichnosti. M., 2006. S. 27–41.]

Ищук-Фадеева Н. И. Экспозиция // Поэтика : словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч. ред. Н. Д. Тамарченко. М., 2008. С. 300–301. [Ischuk-Fadeeva N. I. Ekspozitsiya // Poetika : slovar' aktual'nykh terminov i ponyatij / gl. nauch. red. N. D. Tamarchenko. M., 2008. S. 300–301.]

Иршмер Й., Йоне Р. Словарь Античности. М., 1989. 704 с. [Irshmer J., Jone R. Slovar' Antichnosti. M., 1989. 704 s.]

Исаев С. Г. Литературно-художественные маски: теория и поэтика. СПб., 2012. 336 с. [Isaev S. G. Literaturno-khudozhestvennye maski: teoriya i poetika. SPb., 2012. 336 s.]

Туляков Д. С. Поэтика визуальности в пьесе Уиндема Льюиса «Враг звезд» // Вестн. Перм. ун-та. Российская и зарубежная филология. 2010. Вып. 4(10). С. 135–144. [Tulyakov D. S. Poetika vizual'nosti v p'ese Uindema L'yuisa «Vrag zvezd» // Vestn. Perm. un-ta. Rossijskaya i zarubezhnaya filologiya. 2010. Vyp. 4(10). S. 135–144.]

Туляков Д. С. Абстракция и иллюстрация: «Враг звезд» Уиндема Льюиса // Мировая литература в контексте культуры. 2012. Вып. 1(7) С. 221–226. [Tulyakov D. S. Abstraktsiya i illyustratsiya: «Vrag zvezd» Uindema L'yuisa // Mirovaya literatura v kontekste kul'tury. 2012. Vyp. 1(7) S. 221–226.]

Софронова Л. А. Мaska как прием затрудненной идентификации // Культура сквозь призму идентичности. М., 2006. С. 343–360. [Sofronova L. A. Maska kak priem zatrudnennoj identifikatsii // Kul'tura skvoz' prizmu identichnosti. M., 2006. S. 343–360.]

Ayers D. Wyndham Lewis and Western Man. Basingstoke, 1992. 251 p.

Beatty M. «Enemy of the Stars»: Vorticist Experimental Play // *Theoria*. 1976. Vol. 46. P. 41–60.

Bates A. Greek Drama. L. ; N. Y., 1903. 334 p.

Dasenbrock R. W. The Literary Vorticism of Ezra Pound and Wyndham Lewis: Towards the Condition of Painting. Baltimore ; L., 1985. 284 p.

Edwards P. Wyndham Lewis: Painter and Writer. New Haven ; L., 2000. 592 p.

Graver D. Vorticist Performance and Aesthetic Turbulence in «Enemy of the Stars» // *PMLA*. 1992. Vol. 107, № 3. P. 482–496.

Haigh A. E. The Attic Theatre. A Description of the Stage and Theatre of the Athenians, and of the Dramatic Performances at Athens. Oxford, 1889. 376 p.

Hastings Ch. The Theatre. Its Development in France and England, and a History of its Greek and Latin Origins. L., 1902. 382 p.

Hickman M. The Geometry of Modernism The Vorticist Idiom in Lewis, Pound, H.D., and Yeats. Austin, 2009. 358 p.

Lewis W. Enemy of the Stars // BLAST: Review of the Great English Vortex. 1914. № 1. P. 50–86.

McCart G. Masks in Greek and Roman Theatre // The Cambridge Companion to Greek and Roman Theatre. N. Y., 2007. P. 247–267.

Wu P. Y. Visualising *Enemy of the Stars* as a Theatrical Narrative : A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements of the University of Brighton for the degree of Doctor of Philosophy. Brighton, 2008. 288 p.

Статья поступила в редакцию 19.04.2013 г.

«РУССКИЕ ЕВРОПЕЙЦЫ» XX в.

К 110-летию со дня рождения
Гайто Газданова и Бориса Поплавского



Г. Газданов



Б. Поплавский

После смерти Бориса Поплавского в 1935 г. его ровесник и товарищ по русско-монпарнасскому эмигрантскому литературному сообществу Гайто Газданов написал о нем своеобразный некролог, где поэтично, точно, тонко воспроизвел не только внешний и внутренний облик Поплавского, но и высказал то понимание себя, жизни и литературы, которое было свойственно всей молодой генерации русских эмигрантских писателей: «О нем трудно писать еще и потому, что мысль о его смерти есть напоминание о нашей собственной судьбе, — нас, его товарищей и соратников, всех тех всегда несвоевременных людей, которые пишут бесполезные стихи и романы и не умеют ни заниматься коммерцией, ни устраивать собственные дела; ассоциация созерцателей и фантализеров, которым почти не остается места на земле. Мы ведем неравную войну, которой мы не можем не проиграть — и вопрос только в том, кто раньше из нас погибнет...»

Вопреки трагической горечи этих строк, «бесполезные» стихи и романы бывших аутсайдеров русской словесности XX в., как показало время, оказались не только востребованными, но и популярными, по-новому актуальными в начале XXI столетия. Им подражают, из них черпают, о них пишут и думают.

УДК 821.161.1 Газданов + 7.036 + 325.2

Т. Н. Красавченко

ГАЙТО ГАЗДАНОВ КАК ПИСАТЕЛЬ КУЛЬТУРНОГО ПОГРАНИЧЬЯ

Рассматриваются главные компоненты художественного сознания Газданова, позволяющие говорить о существовании особого — пограничного — модуса его творчества, пограничной идентичности его как писателя: культурно-этнический (осетинский) субстрат, экзистенциальная культурфилософия, усвоение традиций русской и западноевропейских литератур, этико-философское воздействие масонства, склонность к буддизму, влияние французского языка, эстетическая эволюция. Творчество Газданова оценивается как основанный на эстетическом синтезе феномен культурного пограничья.

Ключевые слова: творчество Г. Газданова; культурное пограничье; этнический субстрат; экзистенциализм; утопия; масонство; буддизм.

Само пребывание в эмиграции — это особое пограничное состояние человека, вступающего в зону взаимодействия двух культур — той, из которой он вышел и неизбежно принес ее с собой, и той, в которую он вошел. Требуется время и осознанные и/или бессознательные усилия, чтобы человек соотнес, сбалансировал эти разные миры. Эмигрантскую культуру как целое можно описать в понятиях теории лиминальности английского и американского антрополога В. У. Тёрнера¹. Согласно Тёрнеру, «лиминальный человек» ускользает из классификационной сети, он «ни то ни се», «ни там ни здесь», ибо обитает в «межпространстве». Именно таково самоощущение, «авторефлексия» представителей молодого поколения первой волны русской эмиграции — Г. Газданова, В. Варшавского и др.

Каковы главные компоненты «лиминального» художественного сознания Газданова? Это культурно-этнический (осетинский) субстрат, порожденная в основном личным опытом писателя экзистенциальная культурфилософия, традиции русской классической и западной литературы, этико-философское воздействие масонства, реакция на Россию, склонность к буддизму.

Как личность и писатель Газданов — яркий выразительный образец «пограничности». Если бы даже он остался в России, не эмигрировав в 1920 г., то все равно был бы писателем русско-осетинского культурного пограничья (как, допустим, ныне Тимур Кибиров), ибо изначально как личность формировалась «не собственно русским, а российским культурным пространством» [Земсков, 2005, с. 8], Кавказ — его прародина. И хотя родился он в Петербурге, по-осетински не говорил и впоследствии писал только на русском, тем не менее основополагающая часть его жизни (детство) прошла в осетинской семье. Генетический код его как личности — осетинский, недаром 29 апреля 1930 г. в письме осетинскому общественному деятелю, писателю, бывшему владикав-

¹ Лиминальность — переходное, пороговое, пограничное состояние человека, когда он потенциально предыдущий социальный статус в структуре, но еще не получил нового [Тернер, с. 169].

казскому главе Г. Баеву, жившему в ту пору в Берлине, он назвал себя «чистокровным осетином» [Газданов, т. 5, с. 46]. В основе творческой индивидуальности Газданова — глубинные интимные национальные коды, генетически усвоенные им в осетинской культуре. В его жизни и творчестве мы наблюдаем универсализацию понятий кланового братства и рыцарской корпорации, основанных на принципах взаимопомощи и благородства. И это первое, изначальное «культурное пограничье», основанное на совмещении осетинских и русско-европейских архетипов, определило особую природу его творчества, особое его обаяние, «другое зрение, другой слух, другую каденцию речи» [Земсков, 2005, с. 8].

Второе и, пожалуй, еще более важное «пограничье» Газданова — его принадлежность культуре русской эмиграции первой волны во Франции. Эта культура, существовавшая на уровнях быта и бытия в западном контексте, — сама по себе яркий феномен пограничного цивилизационного образования со всеми его признаками, такими как неоднородность, расколотость, фрагментизированность цивилизационной базы, постоянное взаимодействие противоположенных культурных тенденций (Запад — Восток и т. д.), незавершенность и нереализованность культурного синтеза, культурный симбиоз как ее «культурообразующий механизм и структурная цивилизационная основа» [Земсков, 1999, с. 242].

Вероятно, основная особенность культурного пограничья — переплетение различных традиций, но при этом качество традиций, типов их взаимодействий между собой, качество «пограничности» отличаются различной степенью зрелости и устойчивости.

Тут крайне важно понимание того, что формирование Газданова как личности и писателя (он начал печататься через шесть лет после отъезда из России) происходило и завершилось в эмиграции, где он не истощал, как многие русские писатели-эмигранты, а мучительно нарабатывал свой «культурный ресурс», создавая из разных источников (русских и западноевропейских) свой универсум. В отличие от писателей старшего поколения, Газданов не «зациклен» на русской теме, он задается вопросами, которые диктует ему опыт человека, рожденного российским культурным пространством, но осознавшего себя как личность и писатель в другом, чужом, мире — в мире культурного пограничья, где он остро ощущает свое одиночество. И как писатель он ведет диалог со всем доступным ему пространством культуры, осознанно или нет используя модернистское представление о традиции как «единовременном ряде», поэтому Гоголь оказывается у него в одном ряду с Э. А. По и Мопассаном («Заметки об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане», 1929).

Более того, уже в 1920—1930-е гг. эмигрантская критика предъявляла Газданову (как и Набокову) обвинения в «нерусскости». Он одним из первых в русской эмигрантской литературе (рассказ «Биография» с французскими персонажами написан в 1928 г.) начал изображать иностранцев — французов, ибо в каком-то смысле ему было все равно, кто по национальности его персонажи: ему важны глубинные проблемы человеческого бытия — смысла жизни, индивидуальной судьбы, счастья.

И тут проявилась существенная особенность его писательского мастерства. Как заметил писатель-эмигрант Яков Горбов, Газданов склонен к «пересаживанию» русской души во французское тело, его персонажи «заболевают» проклятыми русскими вопросами о смысле жизни своей и других людей [Горбов]. Уже в «Биографии», одном из его ранних рассказов, не замеченных ни эмигрантской, ни более поздней критикой, о жизни и смерти французской проститутки четко просматривается этико-эстетическая матрица писателя, который в безвоздушное, беспросветное, натуралистическое повествование в духе Золя или Мопассана вдруг ввел понятие «душа» и тем самым «взорвал» его вспышкой света. Возможно, ради этой «вспышки» (в авторе явно ощущим наследник Достоевского) и был написан этот рассказ. Не случайно Ю. В. Матвеева определила главное слово в «словаре» прозы Газданова — «душевное», обладающее поистине неограниченными возможностями сочетаемости — от «душевной жизни» до «душевной тошноты» [Матвеева, с. 20–21]. Газданов русифицирует своих героев: в «Заметках...» Мопассан у него «гоголеподобен», он не реалист, т. е. автор не общепризнанных «Милого друга», «Пышки» и т. д., а «Horla», фантастического повествования о страхе и безумии, а Эдгар По в рассказе «Авантюрист» похож на персонаж из ранней гоголевской прозы.

С русской литературой — Гоголем, Лермонтовым и особенно Толстым — у него особые отношения, о чем свидетельствует сама ткань его произведений. Первый же его роман «Вечер у Клэр» (1930), за которым еще стоит Россия, по своему эпическому дыханию напоминает «Степь» Чехова. Русская эмигрантская критика, реагируя на поэтику «потока сознания», слышала там более всего голос Пруста. Пожалуй, гораздо очевиднее в романе поток сознания в духе Л. Толстого и присутствие принципиально важных для эстетики Газданова традиций лермонтовского романтизма и толстовски остроненного взгляда на мир. От Лермонтова (см. «Валерик»), как и Толстого, он унаследовал (или нашел созвучный себе) метафизический взгляд на жизнь, способность к «остановке» в суете жизни и взгляду на нее как бы сверху, с позиций вечности. В этом уникальном романе у Газданова нет непосредственных предшественников. Какой русский писатель после В. Розанова, Ф. Сологуба, А. Белого мог без иронической ухмылки написать в то время лирическую, романтическую драму юной любви на фоне жестокой жизни, драму погони за призраком любви и ее крахе? Газданов, светлая романтическая душа, не искушенная играми и перверсиями Серебряного века, который он, в сущности, «по возрасту» и в силу биографических обстоятельств «пропустил», стал непосредственным наследником русской классической традиции.

И даже в «Ночных дорогах» (1939), повествовании о Париже как современном чистилище и аде, неожиданно, но отнюдь не случайно вдруг возникает воспоминание/видение/размышление автора или его автобиографического героя о детстве, старом доме и «лермонтовском дубе над спокойной моей могилой...» [Газданов, т. 2, с. 599]. Глубокая символика таится в этом обыгрывании последних строк вообще крайне важного для русских литераторов-младоэмигрантов «программного» лермонтовского «Выхожу один я на дорогу»: «Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, / Про любовь мне сладкий голос пел, /

Надо мной чтоб, вечно зеленея / Темный дуб склонялся и шумел». Это лично-стно прочувствованное видение лермонтовского дуба как идеального образа, осеняющего «покой» смерти не как «холодного, безжизненного», а как прекрасного сна — еще одно свидетельство преемственности особого, метафизического взгляда на мир. Таким образом, русские матрицы, прежде всего русская литература, действуют на уровне бессознательном и нередко ведут перо Газданова.

Теперь о западной традиции. Тот же роман «Ночные дороги» написан в «русле» французского писателя Луи Фердинанда Селина (1894—1961), который из всех французских писателей-современников, уступая разве что М. Прусту, произвел, вероятно, наибольшее впечатление на русских младоэмигрантов — и как стилист, и как метафизик, тем более он «архетипический» писатель-экзистенциалист, существенно повлиявший на формирование романа экзистенциалистского типа, и прежде всего экзистенциалистского героя — «молодого человека без коллективной значимости... просто индивида» (слова Селина из его пьесы «Церковь»). «Путешествие на край ночи» (1932), пожалуй, главный его роман, который произвел впечатление на русских младоэмигрантов.

Газданова сближает с Селином стремление к внушению читателю чувства абсолютной правдивости изображаемого: без искажающих культурных мифологем, маргинальность персонажей, образ Парижа как одного из кругов ада, воссоздание «потока жизни» как жестокого «экзистенциального приключения» в мире, где бездействуют аксиомы морали. «Ночные дороги» — книга беспощадная, в чем упрекала Газданова эмигрантская критика (В. Арсеньев, А. Слизской). Но нельзя забывать, что писатель сам познал жизнь дна (в период 1923—1927 гг. ему пришлось быть даже клошаром). Как и у Селина, его город — это «царство ночи», обиталище опустившихся людей. Но повествователь Газданова испытывает к этому миру чувство не только презрения, но и жалости, по сути неведомое персонажу Селина Бардамю. В отличие от французского писателя, создавшего «мрачную прозу человеческого ничтожества» (ни один его персонаж не вызывает симпатии, сочувствия, лишь у Бардамю крайне редко «проклевывается» что-то, похожее на человечность), у Газданова неизменно сохраняется способность видеть в человеке человека, его душу, загнанную существованием «на край ночи». Жизнь унижает человека, он и сам унижает себя, но никому не закрыта дверь к блаженству, душа и дух способны воспарить, казалось бы, даже у самых падших — таков лейтмотив своеобразного продолжения «Ночных дорог» — рассказа «Панихида» (1960).

В сущности, Газданов сразу отмежевался от Селина (в одной из своих черновых тетрадей в начале 1930-х гг. он сделал запись об «аморальности и безразличии Селина...» [Газданов, т. 5, с. 510]), ибо, в отличие от него, постоянно сохраняет чувство «человеческой нормы» и ощущение «другого измерения».

Трудно при исследовании «селиновского эха» в творчестве Газданова четко обозначить границы «влияния» или «типологического параллелизма»: видимо, «сработало» и то и другое. Сопоставление выявляет важные элементы общности европейского модернистского художественного сознания, в частности

формирующегося феномена литературного экзистенциализма, и вместе с тем демонстрирует специфику его русского варианта, обусловленную различием пережитого русскими и французскими писателями исторического опыта, их принадлежностью к разным литературным и культурно-цивилизационным традициям. Литературная традиция Селина — Ф. Рабле (о чём писал сам писатель), Э. Золя, явное воздействие на него техники кинематографа, путь от Селина шел к Ж. П. Сартру и А. Камю (Рокантен из «Тошноты» и Мерсо из «Постороннего» Камю — «младшие братья» Бардамю). Крайне важно и то, что Селин — писатель, презирающий человека, испытывающий к нему отвращение (русской литературной традиции это не свойственно). Более того, он писатель сухой, неэротичный, и, возможно, отсутствие этого «измерения», обозначенное Л. Кельбериным как отсутствие любви в его мире, и есть главное отличие его от Газданова и других русских писателей. Селин, отметивший отсутствие у Бардамю того, что делает человека больше «себя», — любви к «чужой жизни», определил тем самым свое отличие от русских авторов, признававших существование «другого».

Младоэмигранты чувствовали себя в равной мере дома «во французской и русской литературных традициях», утверждает Леонид Ливак в книге «Как это делалось в Париже. Русская эмигрантская литература и французский модернизм» (речь идет главным образом о Б. Поплавском, Г. Газданове, Ю. Фельзене, В. Яновском) [Livak, p. 204]. Едва ли это было так. Трудно сказать, где они вообще чувствовали себя «дома». Судя по всему, они действительно хорошо знали французскую литературу, но ни в коей мере не вписались в нее (для этого надо было перейти на французский), не стали «компонентом» французского модернизма. Учитывая особенности «быта и бытия» российских младоэмигрантов во Франции, это было маловероятно. Попытки сближения русских и французских литераторов были, но в целом контакты были ограниченными. Например, известно, что Газданов участвовал в двух заседаниях Франко-русской студии (1929—1931), где собирались русские литераторы-эмигранты и французские писатели и, как правило, на французском делали доклады (один — с французской стороны, другой — с русской), потом проходила дискуссия. Газданов выступил в дебатах на первом заседании 29 октября 1929 г. по поводу доклада «Тревога в литературе» французского писателя и критика Робера Себастьяна, одного из основателей студии (наряду с русским поэтом и публицистом Всеволодом Фохтом), объяснил тревогу, беспокойство русских жаждой неведомого, в которой увидел отличительную особенность русских, говорил о влиянии Эдгара По в России, о Гоголе — видимо, о том, о чём написал в эссе «Заметки об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане» [Le Studio Franco-Russe, p. 60]. На третьем заседании, 18 декабря 1929 г., после докладов русского литературного критика, редактора еженедельника «Россия и славянство» (1928—1934) Кирилла Зайцева («Проблема Достоевского») и французского романиста, эссеиста, литературного критика Рене Лалу («Достоевский и Запад») он полемизировал с обоими докладчиками [Ibid., p. 118]. В стенограммах остальных заседаний (всего их было 14) он не упоминается; видимо,

отсутствовал (с 1928 г. он уже работает ночным таксистом), но, вероятно, читал или просматривал их материалы, печатавшиеся в парижском журнале «*Cahiers de la Quinzaine*». Все это надо учитывать, но, конечно, погоды это не делало.

Участие Газданова в русской эмигрантской жизни и общение на протяжении жизни с русскими литераторами (М. Слонимом, М. Осоргиным, Б. Поплавским, Г. Адамовичем, А. Гингером, В. Вейдле, Л. Ржевским и др.) явно «перевешивает» и находится на другом уровне. Известно его участие в заседаниях Союза молодых поэтов и писателей, литературного объединения «Кочевье», с декабря 1928 г. он — член Союза писателей и журналистов в Париже, 2 июня 1932 г. — русской масонской ложи «Северная звезда» и т. д. К тому же следует учесть и специфику первой волны русской эмиграции, по справедливому замечанию В. Б. Земского, отличавшейся от всех других эмиграций не только масштабностью, но и системностью: «Это был не просто осколок России, а как бы “вся” русская культура, в уменьшенном виде перенесенная в другое пространство... Русская культура, выплеснувшись за рубежи, в таких местах, как Париж, как бы продолжала свою автономную жизнь со всеми ее особенностями, внутренними противоречиями, оппозициями, дальнейшими расколами и объединениями. Обладая самодостаточностью, она вполне четко обозначала в загранице и свои границы» [Земсков, 2004, с. 11] Русские эмигранты, в их числе и младоэмигранты, несмотря на все «внешние контакты», за некоторыми исключениями, существовали словно в коконе. «В эмиграции продолжал работать механизм притяжения-отталкивания по отношению к Западной Европе, всегда свойственный русской культуре. И он регулировал, часто в утрированном виде, самоидентификационную охранительность» [Там же, с. 9].

Об экзистенциализме Газданова и русских младоэмигрантов сказано уже немало [см., например: Красавченко, 2000, с. 239–270; 2005; Матвеева, с. 62–93; Кибальник; Семёнова, с. 507–588; и др.].

Органику младоэмигрантского экзистенциализма, осознанно или подсознательно, изначально определила и «реакция на Россию». Как заметила С. Г. Семенова, писатели молодого поколения «органично для себя выразили одну из важнейших черт экзистенциального сознания: отталкивание от... общих понятий и идей... всего общественного... коллективного» как «нечто обратное духу и процессам в магистральной линии литературы метрополии... XX век — время омассовления истории, громад идеологий и идеократий; выцарапать из под них живую душу, спасти неповторимую экзистенцию от всякого присложения к якобы большему, чем “я”» [Семенова, с. 508]. Это стремление свойственно Газданову, как и другим писателям его поколения.

Вместе с тем творчеству Газданова присущи архетипные черты европейского экзистенциализма как философии, основанной на антропоцентристской концепции бытия: признание одиночества человека в этом мире, алогичности и трагизма его бытия, ориентация на глубоко личностную истину, признание уникальности индивидуального, личного, человеческого существования, сто-

ицизм. Можно говорить и об его «типологически» экзистенциалистском герое — личности, противостоящей миру, постоянно рефлексирующей, пребывающей в состоянии печали (у Ж. П. Сартра — «экзистенциальная тревога», у А. Камю — скука) как естественной реакции человека, сознавшего конечность всего сущего, т. е. экзистенциалистское бытие-к-смерти. Но если в западном экзистенциализме человек обречен на одиночество, то Газданов, особенно в позднем творчестве с его явно утопическим вектором, движется против траектории западного экзистенциализма, пытаясь найти для человека выход, спасение; недаром Л. Диенеш назвал Газданова «экзистенциальным гуманистом» [см.: Dienes]. Он явно выходит за рамки матриц французского экзистенциализма прежде всего потому, что сохраняет нравственные императивы: любовь к ближнему, идеал человеческого братства, верность дружбе.

Утопический вектор мировосприятия, идея братства органичны для Газданова. Тут сыграли свою роль изначальные этнические истоки его мировосприятия. Другой важный источник его утопизма — этико-философское кредо масонства (как известно, Газданов был масоном в течение тридцати девяти лет своей шестидесятивосьмилетней жизни, т. е. большую ее часть).

Что привлекло его в масонстве, этой тайной квазирелигиозной организации с универсалистскими целями и мистико-просветительской ориентацией? Одиночка по своему экзистенциальному положению, но не по типу личности, Газданов искал выход из одиночества в нетрадиционных формах братского объединения, вне и вразрез с существующими партиями и группировками. После того, что произошло в России, у него возникла идиосинкразия на революции, политические партии, группировки — общественные формы спасения. Масонство привлекло его верой в необходимость и возможность личного совершенствования человека, противопоставляемого глобальным общественным утопиям. В отличие от более или менее «политизированных» русских масонских лож («Свободная Россия», «Юпитер»), ложи Газданова («Северная звезда», «Северные братья») были мистико-просветительскими. Со временем органичные для писателя иозвучные масонству утопические мотивы в творчестве Газданова все более усиливались. Это прежде всего вера в возможность духовного и нравственного возрождения человека, построения храма в душе. Очевидно, что общественным утопиям он противопоставлял утопию личную. Он перенес утопическое начало, идеал из сферы социальной мысли в литературу, в свой художественный мир, что определило сюжеты, типы персонажей, их эволюцию во многих романах, их счастливые концовки, позволило ему ввести идеальных персонажей типа Николая и Артура («История одного путешествия»), Анри («Пробуждение»), Рожэ («Пилиграмы»).

В связи с темой «культурного пограничья», пожалуй, особого внимания заслуживает последний завершенный роман Газданова «Эвелина и ее друзья» («Новый журнал», 1968–1971), в известном смысле идиллический роман о сохранившейся на протяжении всей жизни — с университетских лет — дружбе (трансформированная идея братства и вариация идеала лицейской дружбы). Его не стоит называть итоговым, ибо каждый роман писателя в своем роде

уникален, но в нем сошлись многие важнейшие для Газданова линии — лучи его творчества, просвечивающие его именно как писателя культурного пограничья.

И именно здесь, как прежде, в частности в романе «Возвращение Будды» (Новый журнал, 1949—1950), возник буддийский, близкий русским младо-эмигрантам, и особенно Газданову, мотив нирваны [см.: Кибальник, с. 279—310; и др.] — свободы от желаний, страданий, привязанностей, т. е. отличной от эмпирической формы величного бытия. Именно в этом типичном, «актуальном» для русского литератора-младоэмигранта состоянии или в стремлении к нему пребывает явно автобиографический герой «Эвелины...», русский писатель: он пишет о пустоте, в которой находится, о потере интереса к происходящему, о нехватке сил для преображения собственной жизни, об идеальной душевной пустоте, о состоянии, которое не требует никаких усилий и исключает такие понятия, как необходимость, желание, стремление, действие, но отрицает погружение в небытие [Газданов, т. 4, с. 162, 173, 205]. В сущности, в силу множества обстоятельств, он выбирает созерцание, а не жизнь как участие, движение, погружается в пустоту, инкорпорирующую невозможность воплощения, в известном смысле это разновидность или преддверие смерти. Ощущая это, Эвелина, явно неравнодушная к нему, отстраняется от него и возвращается к нему лишь тогда, когда он пробуждается от душевной спячки, а точнее, именно ощущение присутствия любви в жизни, тепло самой Эвелины и пробуждает героя. Траектория движения героя «Эвелины» — преодоление «буддийского» ничто и индифферентности к миру. Очевидно, что в своем последнем романе писатель делает ставку на любовь: именно она согревает героя, вытягивает его на поверхность жизни из «черного квадрата»

Вместе с тем при чтении романа порой возникает странное ощущение, будто читаешь русский перевод с французского: автор, возможно, думает сначала по-французски, а потом переводит на русский. Тут немало примеров, конечно, они могут показаться спорными, ибо балансируют на грани «русской нормы», но, безусловно, долгие годы жизни во Франции (французский — очень заразительный язык, очень естественный для мышления) сказались на стиле Газданова.

Например, повествователь говорит своему другу — Мервилю: «...я не представляю себе в е щ е й (здесь и далее в цитатах разрядка наша. — Т. К.), которые могли бы мне дать то бурное чувство счастья, о котором ты говоришь как о потерянном рае» [Там же, с. 144]. По-русски сказать «вещи» в этом контексте не слишком естественно, скорее тут было бы что-то вроде: «я не представляю себе н и ч е г о, что могло бы мне дать...», это явно перевод с французского — «je n' imagine pas l e s c h o s e s....». То же далее: «И так как вещи, которых я был свидетелем, казались мне недостаточно значительными...» [Там же, с. 164] — тут естественно было бы по-русски сказать: «... так как то, свидетелем чего я был...», но следует инверсия, вероятно, продиктованная калькой с французского «вещей, которых я был свидетелем...». Или: «Он посмотрел на меня... Потом он сказал...» [Там же, с. 184], или: «Она могла не думать об этом, но

безошибочным своим инстинктом она знала, что дело было не в том, что она скажет или чего она не скажет» [Там же, с. 212], или: «Я не сказала ему, что я думаю о его философии» [Там же, с. 308]. Естественно было бы опустить «он», «она», «я» во втором случае, но по-французски надо непременно упомянуть местоимение в сочетании с глаголом — вот и получается нередкое для Газданова нагромождение местоимений — возможно, продиктованное неосознанным калькированием с французского. Таких примеров немало [Там же, с. 250; 273, 293 и т. д.].

В романе разные персонажи — Эвелина, повествователь, его друзья Мервиль, Андрей — часто обращаются друг к другу: «Мой милый», «милый мой», «мой дорогой» [Газданов, т. 4, с. 148, 149, 193, 195, 234, 265, 268, 279, 282, 293, 304, 329, 332, 354], в обращении Эвелины к повествователю просто «милый», «дорогой» было бы естественнее, а рассказчик и Мервиль так бы не обратились друг к другу или это анахронизм, старомодность, но, вероятно, в романе это происходит именно потому, что автор думает по-французски («cher» или «mon cher») и дает кальку: «мой милый», «мой дорогой».

А вот явные «акцент», французская инверсия и «вмешательство» французского *subjunctif* — сослагательного наклонения. Рассказчик об Эвелине: «...она всегда была настолько занята своей личной жизнью и созданием того абсурдного мира, которого она была смешающимся центром...» [Там же, с. 255] или о Лу: «У нее для этого были данные, которых не было бы у другой женщины» [Там же, с. 291, см. также с. 211—212 и др.], «...я так рада тому, что ты изменил твоё отношение ко мне...» [Там же, с. 332] и т. д.

Все это действительно делает роман немного похожим на перевод с французского, придает ему легкий акцент, французский «флёр». Возможно, это намеренная стилизация, продиктованная тем, что практически все герои — французы, кроме русского рассказчика, но скорее всего это происходит у Газданова бессознательно. Тем не менее парадокс и эстетическая тайна состоят в том, что, обретая некоторую странность, роман от этого не утрачивает своей эстетической привлекательности.

В романе наблюдается и противоположная тенденция: автор русифицирует имя своего друга André — называет его Андреем, хотя это можно расценить как прием, т. е. автор, как и прежде, стремится «пересадить» русскую душу во французское тело, приблизить идею дружбы пятерых друзей по французскому университету к идеи русского лицейского братства, внедрить русский и одновременно утопический идеал дружбы в ткань романа о французах. Герой-рассказчик говорит своему другу Мервилю: «...Ты очень хорошо знаешь, что если после долгого отсутствия ты явишься к нам, потеряв все свое состояние, усталый и отчаявшийся во всем, — мы тебе все устроим, и ты будешь спокойно жить, не нуждаясь в самом необходимом и ожидая наступления лучших времен. Потому что нам не нужны ни твои деньги, ни твоё положение, и если завтра ты станешь нищим или миллиардером, то ни то, ни другое не изменит нашего отношения к тебе» [Газданов, т. 4, с. 252]. И Эвелина говорит рассказчику языком и в круге его понятий: «Хорошо, что ты все-таки существуешь, и я знаю, что если наступит день, когда у меня ничего не останется, когда я

буду бедна и несчастна, я приду к тебе и ты отворишь мне дверь» [Там же, с. 263]. Или Андрей: «Я предложил вам собраться здесь сегодня, чтобы отпраздновать еще раз наш союз... Каждый из нас знает, что он не одинок и что бы с ним ни случилось, есть товарищи, на которых он во всем и всегда может рассчитывать...» [Газданов, т. 4, , с. 319]. А вот и прямая перекличка с пушкинским «Куда бы нас ни бросила судьбина» (*«19 октября»*) в словах рассказчика: «Сколько раз мы все убеждались, что у нас есть дом и каждый из нас может вернуться, куда бы ни заносила его судьба» [Там же, с. 320].

«Эвелина и ее друзья» — последний, исповедальный роман Газданова о себе — русском авторе, которого всю жизнь сопровождала бытовая тяжесть — «национальность, возраст, биография» [Там же, с. 256].

К чему приводит Газданова долгий опыт жизни в «пограничном состоянии»? Судя по обнаруженным к настоящему дню данным, он даже не имел французского гражданства, найден только его вид на жительство (хотя он был участником французского Сопротивления во время Второй мировой войны и вроде бы имел право на французское гражданство). Тем не менее, видимо, и на бытовом, и на бытийном уровне он так и балансировал на пограничье двух миров. Эволюцию его можно определить по-разному. Можно рассматривать ее как эволюцию от первоначального балансиования на грани реального-ирреального (еще одно пограничное состояние) — отсюда в ранний период его интерес к Гоголю, Эдгару По и Мопассану как «фантастическим писателям», знаяшим одиночество и грань безумия, к теме безумия человека, «не выдерживающего слишком много реальности», начиная с *«Повести о трех неудачах»* (1927) — записок Ильи Аристархова, несвоевременного и несовременного русского человека, умершего в сумасшедшем доме в Шарентоне, во Франции. А позднее отказ от Гоголя и всего этого «безумия жизни» в эссе *«О Гоголе»* (1960), предпочтение Толстого, жизни, «здравого смысла» [Красавченко, 2009].

Можно определить эволюцию Газданова и как сначала зигзагообразное, потом плавное движение от изображения сущего — экзистенциального бытия человека в *«Вечере у Клэр»*, *«Ночных дорогах»*, *«Призраке Александра Вольфы»*, *«Возвращении Будды»* (т. е. в его лучших произведениях) — к должно-му, к идеалу, утопии в *«Истории одного путешествия»*, и особенно в романах о чуде, чудесном — *«Пробуждении»*, *«Пилигримах»*, в *«Эвелине и ее друзьях»*. Эта эволюция свидетельствует о постепенно нарастающей творческой и, вероятно, душевной драме Газданова: идет процесс постепенного истощения его творческого ресурса.

И тут особенно важна эволюция его отношения к творчеству. В иерархии его ценностей с самого начала его творческого пути творчество — высшая форма сопротивления распаду, спасательный круг, поднимавший его со дна жизни на ее поверхность, из мрака ночного Парижа к свету дневной жизни. Ссылки на культуру прошлого и настоящего в его прозе, воплощающие его *«тоску по мировой культуре»*, частые упоминания Леонардо да Винчи, Джотто, Тициана, Веронезе, эпиграфы и цитаты, зашифрованные и явные, из Пушкина, Лермонтова, Паскаля, Блока, Бодлера, Рильке — все это компонент мировоззрения писателя, верящего в связь времен, в реальность и силу искусства.

Традиция для него не только «компонент метода», она проецируется на реальность. И цель писателя не просто выжить, а выстоять, противопоставить «низу» жизни, пропасти падения, воронке, затягивающей человека на дно, мир культуры, «верху бытия». Противовес трагической растерянности перед разрушительной силой истории был найден в традиции, в творчестве, в эстетической реальности, и тут уже не важно — в русской или западной. Творчество в его иерархии ценностей — высшая форма сопротивления и жизни, что придает его прозе особый накал.

Но в «Эвелине» очевидно, что его взгляд на творчество несколько меняется. Когда один из персонажей — Артур, которому Ланглау, богатый клиент с уголовным прошлым, заказал книгу, приходит к повествователю и просит о помощи, ибо не знает, как писать, так как жизнь его клиента «пуста», духовно бедна, повествователь предлагает ему прибегнуть к вымыслу и замечает: «Ты это упорно называешь фальсификацией, и теоретически ты прав. Но представь себе кого-нибудь, кто ничего не знает о Ланглау и прочтет книгу его воспоминаний. И Ланглау не будет в живых. Тогда для читателя этой книги он будет таким, каким ты его описал. И вот вопрос: что важнее? То, каким он был на самом деле, или то, каким он возникает со страниц своей книги? В первом случае это биография человека с уголовным прошлым. Во втором — это романтизм, движения души, созерцание, понимание того, что всякая любовь неповторима. Действительность и фальсификация. Что лучше, Артур?». Артур возражает: «...для тебя это стилизация, нечто вроде упражнения, и тебе все равно, соответствует ли это действительности или нет», и тут автор-рассказчик говорит главное: «Но ты мне можешь сказать, что такое действительность? Или, вернее, какое отношение она имеет к искусству, в частности к литературе?» [Газданов, т. 4, с. 313]. Перед нами типично постмодернистский подход к литературе. Равновесие соотношения действительности и литературы нарушено, автор явно разбалансирован. Причины, вероятно, самые разные: и накопившаяся усталость от далеко не простой жизни, и утомительная, истощающая творческий ресурс, хотя и обеспечивающая материально работа на радио «Свобода».

И тем не менее особый взгляд на литературу как концентрат духовной силы и воображения все-таки, хоть и в некоем остаточном виде, сохраняется, ведь, как замечает умная, любимая автором Эвелина рассказчику: «...ты сберег твою душевную силу. И потом ты все-таки жил воображаемой жизнью в твоих книгах, это то, чего нет у большинства людей [Там же, с. 331].

В связи с книгой о Ланглау возникает своего рода перекличка Газданова с Набоковым, писавшим в «Лолите» о «спасении в искусстве» как об единственном бессмертии, «которое мы можем с тобой разделить, моя Лолита» [Набоков, с. 349]. А вот что пишет газдановский лжеавтор Ланглау (а точнее, его друг Артур вкладывает в уста Ланглау): «... побудило меня писать эту книгу... в сущности, — своеобразная жажда бессмертия... Моя книга — это борьба против власти забвения, на которое я обречен. И если через много лет после того, как меня не станет, на земле найдется хоть один

человек, который прочтет эти строки, то это будет значить, что я недаром прожил свою трудную и печальную жизнь» [Газданов, т. 4, с. 333]. Невольно возникает вопрос: почему же эти слова принадлежат не автобиографическому герою Газданова? Вероятно, это было бы уместнее. Возможно, тут сыграл роль свойственный Газданову иронизм: он избегает «говорить красиво», а может быть, тут (скрытая полемика) — своеобразное желание снижения «высокого стиля» Набокова, Газданов и тут хочет показать (как в рассказе «Панихида»), что никому, даже самым падшим, не закрыт путь к блаженству. Таковы, казалось бы, итоги писателя в этом романе, но он еще не поставил точку. Заканчивается роман обещанием рассказчика написать книгу об Эвелине, которую он любит (и, по сути, как и Набоков, тем самым разделить с ней «единственно возможное бессмертие»).

В общем же, как и прежде в рассказах «Биография» и др., в этом романе и в целом в творчестве Газданова мы наблюдаем объемный культурный парофраз — культурогенный (в данном случае семантический, грамматический и синтаксический) перевод - переход, обусловленный явным балансированием автора между двумя мирами, и рождение особой культурной «инаковости».

Мы наблюдаем сосуществование в творчестве Газданова разнородных культурных пластов, имеющих разные статусы (можно даже сказать — разную иерархию). В том, что касается осетинской традиции и русской литературы речь, как правило, идет не столько о воздействиях и влияниях, приходящих извне, сколько о «генетически», подсознательно усвоенных культурных кодах, а вот восприятие западной литературы существует на уровне «выборочного влияния»: скажем, дадаизма (в рассказе Газданова «Водяная тюрьма»), Ф. Д. Селдина (в «Ночных дорогах»). В рассказах «Ход лучей» (1930), «Последний день» (1942) видно, как Газданов «примерял» на себя эстетику сюрреалистов и Кафки [см.: Красавченко, 2000].

В том-то и дело, что у Газданова не было осознанной цели «русификации» или ориентации на русскую литературную традицию, он работал в «русле экзистанса», но при взаимодействии заложенных в его художественном сознании кодов наиболее сильным оказался изначальный — русский эстетико-философский код.

В целом же мы слышим в его творчестве многоголосицу разных культурных кодов, разных культур. Главный вопрос: как они сочетаются, идет ли речь об имитации, симбиозе или синтезе, единстве? Очевидно, что мы наблюдаем именно своеобразный культурный синтез, феномен новой, особенной, уникальной литературы, рожденной русской эмиграцией.

Газданов Г. Собрание сочинений : в 5 т. / под общ. ред. Т. Красавченко. М., 2009.
[Gazdanov G. Sobranie sochinenij : v 5 t. / pod obsch. red. T. Krasavchenko. M., 2009.]

Горбов Я. Н. Литературные заметки 1 : Гайто Газданов. Панихида. Рассказ. Новый журнал. Вып. 59... // Возрождение (Париж). 1962. Кн. 105. С. 131. [Gorbov Ya. N. Literaturnye zametki 1 : Gajto Gazdanov. Panikhida. Rasskaz. Novyy zhurnal. Vyp. 59... // Vozrozhdenie (Parizh). 1962. Kn. 105. S. 131.]

Земсков В. Б. Проблема культурного синтеза в пограничных культурах // Рос. цивилизационный космос : (к 70-летию А. Ахиезера). М., 1999. С. 240–252. [Zemskov V. B. Problema kul'turnogo sinteza v pogranichnykh kul'turakh // Ros. tsivilizatsionnyj kosmos : (k 70-letiyu A. Akhiezera). M., 1999. S. 240–252.]

Земсков В. Б. Экстерриториальность как фактор творческого сознания (варианты: русский, западноевропейский, восточноевропейский, американский и латиноамериканский // Русское зарубежье: приглашение к диалогу : сб. науч. тр. / отв. ред. Л. В. Сыроватко. Калининград, 2004. С. 7–14. [Zemskov V. B. Eksterritorial'nost' kak faktor tvorcheskogo soznaniya (variants: russkij, zapadnoevropejskij, vostochnoevropejskij, amerikanskij i latinoamerikanskij // Russkoe Zarubezh'e: priglashenie k dialogu : sb. nauch. tr. / otv. red. L. V. Syrovatko. Kaliningrad, 2004. S. 7–14.]

Земсков В. Б. Писатели цивилизационного «промежутка»: Газданов, Набоков и другие // Гайто Газданов и «незамеченное поколение»: писатель на пересечении традиций и культур : сб. науч. тр. / отв. ред. Т. Н. Красавченко. М., 2005. С. 7–15. [Zemskov V. B. Pisateli tsivilizatsionnogo «promezhutka»: Gazdanov, Nabokov i drugie // Gajto Gazdanov i «nezamechennoe pokolenie»: pisatel' na pereschenii traditsij i kul'tur : sb. nauch. tr. / otv. red. T. N. Krasavchenko. M., 2005. S. 7–15.]

Кибальник С. А. Гайто Газданов и экзистенциальная традиция в русской литературе. СПб., 2011. 412 с. [Kibal'nik S. A. Gajto Gazdanov i ekzistentsial'naya traditsiya v russkoj literature. SPb., 2011. 412 s.]

Красавченко Т. Н. Газданов — экзистенциалист // Возвращение Гайто Газданова / отв. ред. М. А. Васильева М., 2000. С. 239–270. [Krasavchenko T. N. Gazdanov — ekzistentsialist // Vozvraschenie Gajto Gazdanova / otv. red. M. A. Vasil'eva M., 2000. S. 239–270.]

Красавченко Т. Н. Лермонтов, Газданов и своеобразие экзистенциализма русских младоэмигрантов // Гайто Газданов и «незамеченное поколение»: писатель на пересечении традиций и культур : сб. науч. тр. М., 2005. С. 27–49. [Krasavchenko T. N. Lermontov, Gazdanov i svoeobrazie ekzistentsializma russkikh mladoemigrantov // Gajto Gazdanov i «nezamechennoe pokolenie»: pisatel' na pereschenii traditsij i kul'tur : sb. nauch. tr. M., 2005. S. 27–49.]

Красавченко Т. Н. Л. Ф. Селин и русские писатели-младоэмигранты первой волны (В. Набоков, Г. Газданов, В. Яновский и др.) // Русские писатели в Париже. Взгляд на французскую литературу, 1920–1940 : междунар. науч. конф., Женева, 8–10 дек. 2005. М., 2007. С.80–99. [Krasavchenko T. N. L. F. Selin i russkie pisateli-mladoemigranty pervoj volny (V. Nabokov, G. Gazdanov, V. Yanovskij i dr.)// Russkie pisateli v Parizhe. Vzglyad na frantsuzskuyu literaturu, 1920–1940 : mezhdunar. nauch. konf., Zheneva, 8–10 dek. 2005. M., 2007. S.80–99.]

Красавченко Т. Н. Смена вех. Газданов о Гоголе // Литературовед. журн. 2009. № 24. С. 121–132. [Krasavchenko T. N. Smena vekh. Gazdanov o Gogole// Literaturoved. zhurn. 2009. N 24. S. 121–132.]

Матвеева Ю. В. Превращение в «любимое». Художественное мышление Гайто Газданова. Екатеринбург, 2001. 99 с. [Matveeva Yu. V. Prevrashchenie v «lyubimoe». Khudozhestvennoe myshlenie Gajto Gazdanova. Ekaterinburg, 2001. 99 s.]

Набоков В. Лолита. М., 1989. 368 с. [Nabokov V. Lolita. M., 1989. 368 s.]

Семенова С. Г. Русская поэзия и проза 1920–1930-х годов. Поэтика — Видение мира — Философия. М., 2001. 590 с. [Semenova S. G. Russkaya poeziya i proza 1920–1930-kh godov. Poetika — Videnie mira — Filosofiya. M., 2001. 590 s.]

Тернер В. У. Символ и ритуал / сост. и авт. предисл. В. А. Бейлис М., 1983. 277с. [Terner V. U. Simvol i ritual / sost. i avt. predisl. V. A. Bejlis M., 1983. 277s.]

Dienes L. Russian literature in exile: Life and Work of Gaito Gazdanov. München, 1992.

Le Studio Franco-Russe 1929–1931. Textes réunis et présentés par Leonid Livak. Sous la rédaction de Gervaise Tassis. Toronto, 2005. 632 c.

Livak L. How it was done in Paris: Russian Émigré literature and French modernism. Madison, 2003.

УДК 821.161.1 Газданов + 7.036 + 82-31 +
+ 821.161.1 Гончаров

С. А. Кибальник

РОМАН Г. ГАЗДАНОВА «ПОЛЕТ» КАК ПОЛЕМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МЕТАРОМАНА И. А. ГОНЧАРОВА

Рассматривается роман Гайто Газданова «Полет» как гипертекст особого типа русского классического романа, в котором изображается семейная драма главного героя-рационалиста (прежде всего — «Обыкновенной истории» и «Обломова», т. е. своего рода метаромана Гончарова). Не бинарная (как обычно считается), а тернарная структура этого метаромана сознательно трансформирована в «Полете». Интертекстуальная и повествовательные стратегии Газданова направлены главным образом на реабилитацию деятельного метагероя (Петр Адуев, Андрей Штольц), который в произведениях Гончарова обвиняется в холодности и бессердечности. Писатель XX в., преодолевая некоторый схематизм художественного мышления русских классиков XIX в., стремится увидеть подлинное многообразие и неуловимость реальности.

Ключевые слова: художественный мир; роман; гипертекст; рационалист; интертекстуальный; интерпретация метаромана.

К сожалению, при изучении русской классической литературы XIX в. нередко ощущается определенная недооценка изучения ее мета- и гипертекстов. Между тем они открывают смысловой потенциал классического произведения и позволяют более четко очертить его художественные границы. Однако это происходит только при условии сосредоточенности на авторской стратегии и смыслах интертекстуальности.

Рассмотрение романа Гончарова только в парадигме классического русского романа XIX в., с нашей точки зрения, способствует воспроизведению некоторых, может быть не совсем верных, представлений о художественной природе его романов. Например, художественный мир «Обыкновенной истории» часто характеризуется как диалогический, что синонимично понятию «бинарный», и такая сюжетно-образная структура считается сохранившейся в русской литературе вплоть до чеховской «Дуэли» [Манн, с. 57; Гончаров, с. 708]. Между тем Гончаров, с нашей точки зрения, является одним из первооткрывателей терновой сюжетно-образной структуры, действительно сохраняющейся, хотя и в видоизмененной форме, еще и в «Дуэли» Чехова. Суть этой структуры заключается в том, что оба находящиеся в диалогическом конфликте героя оказываются неправы, а трагическую неосуществимость идеала воплощает все понимающая, но страждущая героиня (у Чехова место такой героини занимает все понимающий и всем стремящийся помочь доктор Саймойленко).

Как известно, гипертекстуальность — это отношение, при котором один текст прививается к другому тексту (за исключением комментария). В противоположность метатекстуальности, гипертекстуальность предполагает между двумя или несколькими текстами отношение не включенности,

а прививки [Пьеге-Гро, с. 56]. Роман Гайто Газданова «Полет», опубликованный в 1939 г., представляет собой гипертекст не вообще русского классического романа XIX в., а определенного его типа — прежде всего романа, в центре которого лежит семейная драма героя-рационалиста. Конкретно для газдановского «Полета» ближайшими гипотекстами оказываются «Анна Каренина», а также «Обыкновенная история» и «Обломов», т. е. своего рода метароман Гончарова. Впрочем, гипертекстуальность «Полета» носит и более широкий характер: в частности, она связана также и с метароманом Тургенева [см.: Кибальник, с. 125–138]¹.

В настоящей работе будет рассмотрен другой частный аспект этой общей темы, а именно роман Газданова «Полет» как полемическая интерпретация метаромана Гончарова. При этом под метароманом Гончарова имеется в виду драма героя рационалистического склада, деятельного, умного и правильно обо всем рассуждающего, который, однако, вследствие нехватки каких-то важных душевных качеств, не в состоянии составить счастье любимой женщины. Следовательно, это драма не Александра Адуева и Обломова, а Петра Ивановича, Штольца и, в какой-то степени, Алексея Александровича Каренина.

При этом в случае с «Полетом» имеет место не факультативная, а необходимая интертекстуальность, т. е. такая, какую, по характеристике М. Риффтера, читатель «не может не замечать в силу того, что интертекст оставляет в тексте неустранимый след, некую формальную константу, играющую для читателей роль императива и управляющую расшифровкой данного сообщения в его литературном аспекте» [цит. по: Пьеге-Гро, с. 57]. Общие отсылки к «Обыкновенной истории» и «Обломову» имеют в «Полете» отчетливый, даже нарочитый характер; вдобавок они подкреплены конкретными референциальными сигналами, отсылающими к сюжетно-образной структуре романов Гончарова.

Эту «необходимую» гончаровскую интертекстуальность в общей форме уже сформулировала Т. О. Семенова: «Ещё один литературный “треугольник”, к которому отсылает текст Газданова, — Пётр Иванович Адуев, его жена Лизавета Александровна (таково и полное имя героини Газданова) и его племянник Александр из “Обыкновенной истории” Гончарова. Так, в отношениях Лизы и Серёжи повторяется пылкая доверительность взаимоотношений Лизаветы Александровны и Александра, “искренние излияния” и эмоциональность которых поначалу противопоставлены у Гончарова холодной разумности и рассудительности Петра Ивановича. Знаменитые споры Петра Ивановича с Александром о необходимости именно рационального подхода к жизни повторяются в беседах Сергея Сергеевича с влюбчивым и наивным Фёдором Слётовым. “Разбросанные” же по всему роману характеристики

¹ Автор единственной работы о классическом интертексте «Полета» Т. О. Семенова необоснованно, на наш взгляд, включает в круг гипотекстов «Полета» также «Войну и мир» и «Грозу» Островского [см.: Семенова], хотя частные интертекстуальные связи с этими произведениями в романе, безусловно, есть.

Сергея Сергеевича составлены главным образом из скрытых цитат, взятых у Гончарова из описаний Петра Ивановича» [Семенова].

В «Обыкновенной истории» эта схема осложнена существованием двойников: так, Юлия Тафаева — безусловный двойник Александра, а умная, расчетливая Надинька в какой-то степени похожа на Петра Ивановича. В появившемся почти столетие спустя после «Обыкновенной истории» газдановском «Полете» эта схема, естественно, осложнена. В центре ее — аналогичный гончаровскому треугольник: Сергей Сергеевич, его любовница и одновременно сестра его жены Лиза, которая в романе, как правило, именуется «тетя Лиза», поскольку она часто оказывается в повествовательном поле ее племянника Сережи, а то и «Елизавета Александровна» (поскольку ее имя и отчество полностью совпадают с именем и отчеством гончаровской героини) и, наконец, сам этот племянник Сережа. Родственные отношения внутри гончаровского треугольника «Обыкновенной истории», таким образом, немного изменены, но все же узнаваемы. Впрочем, поскольку Сергей Сергеевич не дядя, а отец Сережи, а Лиза не его жена, а сестра его жены и в недавнем прошлом любовница, то роман между тетей и племянником оказывается не такой уж значительной изменой Лизы Сергею Сергеевичу. Кроме того, образная структура «Полета» более разветвленная и сложная: у Сергея Сергеевича есть жена Ольга Александровна и друг Слётов, представляющий собой совершенно несомненного двойника Ольги Александровны («он был похож на Ольгу Александровну своим характером и своей неисчерпаемой верой в любовь с большой буквы») [Газданов, с. 339].

На первый взгляд в «Полете» сохраняется гончаровский треугольник: герой-резонер Сергей Сергеевич — наивный и романтический настроенный Сережа (только не племянник, а сын его) — и страдающая от своего двусмысленного положения в этой семье и делающая это еще более двусмысленным, соблазнив своего племянника Сережу, «тетя Лиза». У Газданова, следовательно, оказываются реализованными некоторые художественные интенции романа, отмечавшиеся еще в его прижизненной критике (в частности, в рецензии Л. В. Бранта, в которой подчеркивалось, что симпатия и внутреннее родство между Александром Адуевым и Лизаветой Александровной могли перерастти в нечто большее [см.: Гончаров, с. 724]). И это несмотря на то, что Газданов сознательно заостряет возрастную разницу между этими героями, значительно увеличив ее до 15 лет [Газданов, с. 299], между тем как Лизавета Александровна лишь незначительно старше Александра Адуева.

При этом в романе Гончарова сохраняются и имеют референциальный характер целый ряд указаний на красоту и обольстительность газдановской «тети Лизы» («Папа, а ты обратил внимание, какая у нас тетя Лиза красавица?», «и вошла Лиза, в очень открытом черном платье, с голой спиной, обнаженными — прохладными, подумал Сережа, — руками и низким вырезом на груди. Глаза ее казались больше, чем обычно, под прямыми ресницами, и возбужденная улыбка была не похожа на всегдашнюю» [Газданов, с. 298, 300]), опирающихся на ряд аналогичных сцен у Гончарова («Александр все еще сидел, опервшись головой на руки. Кто-то дотронулся до его плеча. Он поднял

голову: перед ним молодая, прекрасная женщина, в пеньюаре, в чепчике *a la Finoise*. — *Ma tante!* — сказал он. Она села подле него, поглядела на него пристально, как только умеют глядеть иногда женщины, потом тихо отерла ему платком глаза и поцеловала в лоб, а он прильнул губами к ее руке. Долго говорили они»; «В другой раз не пускала его в театр, а к знакомым решительно почти никогда. Когда Лизавета Александровна приехала к ней с визитом, Юлия долго не могла притти в себя, увидев, как молода и хороша тетка Александра. Она воображала ее так себе теткой: пожилой, нехорошой, как большая часть теток, а тут, прошу покорнейше, женщина лет двадцати шести, семи, и красавица!» [Гончаров, с. 309–310, 370, 371].

Другие трансформации в структуре образов связаны с тем, что «тетя Лиза» в самого начала обрисована как героиня (так же как и Сергей Сергеевич) рационалистического склада, а вот ее сестра Ольга Александровна и друг Сергея Сергеевича Слётов, страстно отдающиеся то одному, то другому любовному увлечению, представляют противоположный полюс. При этом, постоянно упрекая Сергея Сергеевича в отсутствии сердца и неспособности к настоящей любви, они оба живут за его счет (напомним, что Петр Иванович только один раз дает денег Александру, да и то взаймы), своей неразборчивостью в любовных связях дискредитируют всякую идею свободного чувствоизъявления и вызывают у читателя сугубо юмористические ассоциации: «—Что такая ценность вообще, ценность чувств в особенности, чем она определяется? Его исключительностью, его, если хочешь, единственностью. От него идут разветвления во все концы, во все закоулки твоей личной жизни. А ведь у тебя там живого места нет. — Все единственно, все неповторимо. Сережа — Но ты-то все равно тот же самый. — Нет, — серьезно сказал Слётов. — Я постоянно возрождаюсь. — Знаешь, Федя, тебе бы анекдоты рассказывать» [Газданов, с. 342].

Здесь мы подходим к первому из способов сюжетно-образной трансформации метаромана Гончарова, который использует Газданов. Способ этот затрагивает существенные стороны метаромана Гончарова: герой-романтик, или герой — «золотое сердце», дискредитируется в этом метаромане и тем, что он говорит, так и в особенности тем, что делает, а герой-практик — тем, что он, по мнению автора и других героев, испытывает недостаточно сильные чувства, при том что слова и действия его, в общем, безукоризненны. Между тем у Газданова представление о любых героях, высказанное автором и другими героями, существенным образом корректируется их поведением.

Постреалист XX в. Газданов в качестве одной из своих нарративных стратегий делает как раз подчеркивание важности и объективности совершаемых человеком поступков и одновременно изображение субъективности и даже произвольности истолкования движимых им мотивов. Так, у самого Гончарова Петр Иванович, не находящий в своем сердце и «следа страсти», испытывает тем не менее «необходимость» в Лизавете Александровне и готов ради нее многим пожертвовать, по крайней мере в финале романа [см.: Гончаров, с. 460, 456]. Недоверие к словам в сравнении с делами, и в особенности недоверие к авторскому голосу, который в поэтике романа XX в., как правило, уже не имеет метанarrативного характера, очевидно,

вызывало у Газданова недоумение по отношению к настойчивому стремлению повествователя «Обыкновенной истории» снизить образ Петра Ивановича Адуева.

Если Александр без неназойливого, хотя и по виду равнодушного наставничества Петра Ивановича, и в особенности Обломов без деятельной заботы о нем Штольца просто не смогли бы устоять на ногах, то в газдановском «Полете» все без исключения главные и еще масса второстепенных героев романа безбедно существуют только благодаря щедрости и, пожалуй, чрезмерной снисходительности Сергея Сергеевича. Однако если у Гончарова все это дано на фоне постоянного критического авторского комментария по отношению к Штольцу и Петру Ивановичу, то у Газданова, у которого повествовательная инстанция автора, как и у всякого писателя XX в., естественно, сужена, все время раздаются в адрес Сергея Сергеевича критические ремарки со стороны других, им же благодетельственных героев (здесь в какой-то степени начинает уже действовать психологическая логика Достоевского, согласно которой именно благодеяние-то и нельзя простить).

В этом и заключается второй способ полемической трансформации Газдановым метаромана Гончарова: критика в адрес главного героя, будучи целиком переведенной из области авторского и субъектно-геройного в только субъектно-геройное повествование, естественно теряет авторитетность. Гончаровское не раз повторенное в отношении Петра Ивановича: «Он понимал все тревоги сердца, все душевые бури, но понимал — и только. Весь кодекс сердечных дел был у него в голове, но не в сердце. В его суждениях об этом видно было, что он говорит как бы слышанное и затверженное, но отнюдь не прочувствованное. Он рассуждал о страсти верно, но не признавал над собой их власти, даже смеялся над ними, считая их ошибками, уродливыми отступлениями от действительности, чем-то вроде болезней, для которых со временем явится своя медицина» [Гончаров, с. 314], — под пером Газданова превращается в бесконечные упреки-уколы со стороны Лизы, Ольги Александровны, Слетова: «Ты говоришь о хорошем отношении. Я, Сережа, говорю о любви»; «Я больше так жить не могу, ты понимаешь? Все всегда очень мило, всегда шутки, всегда этот всепрощающий ум — и полное отсутствие страсти, крови, желания»; «Нет, нет, не стыдно, у тебя вместо души железо, ты этого никогда не поймешь»; «Машина ты, а не человек, — сказала Ольга Александровна со вздохом. — Довольно милая машина, но машина» [Газданов, с. 319, 344].

В других случаях этот субъектный критицизм рассеивается как дым, попадая в иное повествовательное поле: «Он [Сережа] знал, что мать называла его машиной, что, когда Лиза говорила о нем, у нее, сквозь всегдашнее ее спокойствие, чуть-чуть сквозила либо насмешка, либо раздражение. Что они могли иметь против этого очаровательного человека, с которым никогда не было скучно и который всегда на все соглашался?» [Там же, с. 394].

Наконец, третий способ интертекстуальной полемики Газданова заключается в том, что герой-рационалист не пассивно принимает всю эту критику, а в какой-то момент поднимается до протesta, отказываясь принять на себя все те обвинения в недостаточной душевности, которые более-менее

спокойно воспринимают Петр Иванович и Штолыц (они тоже иногда защищают правомерность своей жизненной позиции, но практически никогда не переходят в наступление).

Иногда этот протест принимает форму саркастической самозащиты:

- Знаешь, Сережа, у тебя в лице есть что-то мертвое.
- Ты же по мужским лицам не специалист, Федя.
- Нет, Сережа, я не шучу. Знаешь, вот эта твоя всегдашая улыбка, точно ты постоянно чему-то рад, — это как в музее восковых фигур. Веселые такие глаза и слишком правильные зубы, как с рекламы для пасты, что-то уж очень неестественное.
- Что делать, природа обидела.
- Да нет, наоборот. Но чего-то тебе не хватает.
- Сердца, Федя, сердца.
- Это тоже верно.
- Ну хорошо. Спокойной ночи, пока что. И подумать, что в эту минуту Лили, быть может...
- Не говори мне о ней, ее нет.
- Да, Федя. Жизнь кончена, спокойной ночи.
- Спи, если можешь. Я не могу.

Но уж через полчаса Слетов хрюпал и вскрикивал во сне, потом поднимался на постели и открывал глаза, но ничего не было видно, все было темно, и только издалека слышался заглушенный звук струящейся воды: Сергей Сергеевич принимал ванну [Газданов, с. 348].

А иногда газдановский герой поднимается до откровенной полемики:

— Нет, нет, не стыдно, у тебя вместо души железо, ты этого никогда не поймешь. Глаза Сергея Сергеевича вдруг сделались задумчивыми, и потом он сказал фразу, настолько поразившую Слетова, что тот поднял голову и внимательно посмотрел на Сергея Сергеевича.

— А тебе, Федя, никогда не приходило в голову, что это неверно? Слетов опустил голову, и когда он поднял ее, на лице Сергея Сергеевича была уже прежняя, давно знакомая, радостная улыбка.

— Сегодня концерт Шаляпина, — сказал он, — пора собираться. Едем, Федор Борисович [Там же, с. 344].

В особенности открытой эта полемика становится в отношении Лизы по мере того, как приоткрывается тайна ее любовной связи с Сережей:

- Вот, Лиза, ты некоторых вещей не можешь понять, тут для тебя стена. — И эти вещи имеют ценность?
- Общего порядка, Лиза, общего порядка. Ты понимаешь, что личных упреков я тебе не мог бы делать, ты слишком совершенна. Лиза насмешливо на него посмотрела. Полные губы Сергея Сергеевича были раздвинуты в восторженной улыбке.
- Хорошо, какие же вещи?
- Вот, ты решительно ничем не могла бы поступиться для других. Доводя «до», получилось бы: если бы на путь твоего счастья, выражаясь торжественно, кто-либо стал...
- Сергей Сергеевич вытянул вперед правую руку и дернул указательным пальцем незримую чашечку воображаемого револьвера [Газданов, с. 351].

Наконец, она принимает форму окончательного и открытого контрападения:

— То есть как? Неужели ты действительно неспособна от этого отказаться? Какая же тогда цена твоей любви?

— Не говори о любви, ты ее не знаешь.

— Я слышал это много лет от тебя и от твоей сестры. Я ее не знаю — наверное, потому, что любить в твоем представлении значит приносить все в жертву чувственности. Ничто не существует — ни любовь настоящая, ни забота о том, кого ты любишь, ни его интересы, ни твои обязательства, ни стыд — ничего! И даже возможность отрешиться на какое-то время от этого физического томления, чтобы понять какую-то необходимую частицу справедливости. Да, в этом смысле я любви не знаю, действительно. Я не бросил бы на произвол судьбы дом, жену и сына — только потому, что мне приятно проводить время с любовницей. Но настоящую любовь знаю я — а ты ее не знаешь. Леля лучше тебя, она бы меня поняла. Она чувственная и легкомысленная, но у нее прекрасное сердце, и она десять раз принесла бы себя в жертву, если бы это было нужно. А ты неспособна даже это сделать.

— Я не могу все это слышать! — закричала Лиза. — Ты не имеешь права говорить это мне, ты вообще не имеешь права говорить что бы то ни было. Я тебя давно ненавижу, — сказала она с силой, — потому что ты — машина, автомат, потому что ты не способен понять ни одного человеческого чувства. Разве ты не видишь, как все пустеет вокруг тебя? Леля ушла, я ушла, Сережа ушел. Ты требуешь от меня этой жертвы — это значит моей жизни! Да, для тебя такая жертва легка, конечно.

— Все, что ты говоришь, несправедливо, Лиза, — ответил из темноты его медленный голос. — Разве ты знаешь, что такое страдание, жертвы, несчастье? Ты не имеешь об этом отдаленного представления, и ты считаешь не заслуживающими ни внимания, ни сожаления всех, кто не похож на тебя, ты никогда не сделала ни одного усилия, чтобы их понять — вроде этого несчастного Егоркина, который, однако, при всей его наивности и том, что он *ridicule* (смешон), представляет из себя большую человеческую ценность, чем ты. Я тебя очень хорошо знаю.

— Это ты мне говоришь такие вещи?

— Смотри, Лиза, что для тебя важнее всего? Алчность и эгоизм. Что тебе, если несчастный и доверчивый мальчик исковеркает всю свою жизнь из-за тебя? Об этом ты не думаешь. Зато ты приятно проведешь время — до тех пор, пока не встретишь кого-нибудь, кто тебе понравится больше Сережи, — и вот тогда-то ты от него откажешься с необыкновенной легкостью, эту жертву ты, конечно, принесешь [Газданов, с. 478].

При внимательном прочтении романа бросается в глаза, что Сергей Сергеевич с самого начала воспринимался как герой рационалистического склада только по недоразумению. Поскольку, если отвлечься от его характеристик из уст других героев, то он постоянно оказывается псевдорационалистом. Так, с самого начала в его удачной судьбе и деловой деятельности играли особую роль удача и интуиция:

...он был — широкий, небрежный и велиководушный — в делах умен и, в сущности, осторожен, и то, главным образом, что всю жизнь ему сопутствовала слепая удача; Он никогда не задумывался над важными решениями; они с самого же начала казались ему ясными и исключающими возможность ошибки, которая была бы

просто очевидной глупостью. Он понимал все так быстро, что отсюда у него образовалась привычка не кончать фраз [Газданов, с. 301, 304–305].

А рационалистически обосновывающей свое право на счастье, в авторской характеристике — неменяющейся, твердой и идущей к своей цели, несмотря ни на что, оказывается как раз тетя Лиза:

...Существование Лизы было лишено каких бы то ни было неправильностей; Тетя Лиза отличалась от всех тем, что в ней ничего не менялось; ее ответы никогда не удовлетворяли Сережу, потому что в них не хватало чего-то главного, может быть, этой уютности и теплоты [Газданов, с. 296, 297, 299].

За ним также все преимущества умения обращаться и привлекать на свою сторону простые сердца: например, художника Егоркина, чувствующего себя весьма неуютно в присутствии Елизаветы Александровны. Это противопоставление содержит отчетливые отсылки к временному гармоническому союзу романика Александра с представителем простого сознания Костяковым, функционально близкого к отношениям между газдановскими Сережей и художником Егоркиным. Это соответствие подчеркивается прямыми референциальными сигналами в виде упущенной во время рыбной ловли Александром Адуевым и все же пойманной героем Газданова, хотя бы с его собственных слов, огромной щукой: в одном случае десяти («щука фунтов в десять» [Гончаров, с. 395]), а в другом — пятнадцатифунтовой («Уж я на что не специалист и то однажды щуку в пятнадцать фунтов поймал» [Газданов, с. 402]).

Полемическую интерпретацию метаромана Гончарова у Газданова венчает финальная трагическая развязка. Сережа пытается покончить жизнь самоубийством, а аэроплан, на котором собираются едва ли не все главные герои романа (за исключением Ольги Александровны и Слетова) лететь к нему в Лондон, падает в Ламанш, и все его пассажиры погибают. Прилетевшая следующим аэропланом Ольга Александровна утешает оставшегося в живых Сережу. О тете Лизе более не сказано ничего, а заключительные строки романа отданы признательной памяти о Сергеевиче: «Был холодный и ветреный день, было около двух часов пополудни — и в кабинете Сергея Сергеевича в Париже Федор Борисович Слетов, которому только что позвонили по телефону, сидел, опустив голову на письменный стол Сергея Сергеевича, и плакал навзрыд, как ребенок» [Там же, с. 490].

Таким образом, интертекстуальная стратегия Газданова направлена на сознательную трансформацию сюжетно-образной структуры метаромана Гончарова и связана главным образом с тенденцией к реабилитации деятельного метагероя, творящего добро, и с освобождением его от несколько огульных, какими они выглядят в гипотексте, обвинений его в чрезмерном рационализме и недостаточной сердечности.

Актуализация этих смыслов интертекстуальности сопутствует иному, как раз менее рационалистическому и менее определенному взгляду на вещи,циальному человеку ХХ в. Так, тайна поведения Сергея Сергеевича в конечном счете формулируется следующим образом:

Весь опыт его жизни убеждал его в том, что нет или почти нет вещей, на которые можно было бы положиться, что политические взгляды, государственные принципы, личные достоинства, моральные базы и даже экономические законы — это он знал наверное — суть условности, по-разному понимаемые различными людьми и сами по себе почти лишенные какого-либо содержания. И оттого, что он это знал, происходила его широкая терпимость ко всему, его одобрение многих явно не заслуживающих одобрения вещей, словом, то, что приписывалось его великодушию, щедрости и идеальному характеру и что в самом деле было результатом неуверенности [Газданов, с. 468].

С нашей точки зрения, Т. О. Семенова напрасно отказывает в некотором метанарративном значении следующего финального пассажа, предшествующего изображению заключительной катастрофы [см.: Семенова]:

И так же, как за видимым полукругом неба скрывается недоступная нашему пониманию бесконечность, так за внешними фактами любого человеческого существования скрывается глубочайшая сложность вещей, совокупность которых необъятна для нашей памяти и непостижима для нашего понимания. Мы обречены, таким образом, на роль бессильных созерцателей, и те минуты, когда нам кажется, что мы вдруг постигаем сущность мира, могут быть прекрасны сами по себе — как медленный бег солнца над океаном, как волны ржи под ветром, как прыжок оленя со скалы в красном вечернем закате, — но они так же случайны и, в сущности, почти всегда неубедительны, как все остальное [с. 487—488].

В конечном счете реабилитация гончаровского героя-практика опирается у Газданова на его собственную, программную убежденность в том, что «область логических выводов, детская игра разума, слепая прямота рассуждения, окаменелость раз навсегда принятых правил — исчезают, как только начинают действовать силы иного, психического, порядка — или беспорядка — вещей» [Газданов, с. 716—717].

Таким образом, роман Гайто Газданова «Полет» представляет собой гипертекст такого, в частности, типа русского классического романа, в центре которого лежит любовная и семейная драма героя-рационалиста (отчасти «Анна Каренина», «Обломов», и прежде всего «Обыкновенная история»). Тернарная, а не бинарная, как ее принято рассматривать, и вдобавок осложненная двойниками сюжетно-образная структура «Обыкновенной истории» в «Полете» подвергнута еще большему усложнению и сознательной трансформации. В романе Газданова оказываются реализованными некоторые внутренние художественные интенции метаромана Гончарова, который оказывается в нем, таким образом, предметом сознательной полемической интерпретации. При этом интертекстуальная стратегия Газданова направлена главным образом на реабилитацию деятельного метагероя, которому в гипотексте Гончарова со стороны других героев и автора предъявлены обвинения в душевной черствости.

Переживший «апофеоз беспочвенности» человек XX в., отказываясь от некоторого схематизма художественного мышления авторов русского классического романа, стремится увидеть за ними подлинное многообразие и многосторонность реальности, меняющейся в зависимости от оптики восприятия и не сводимой ни к каким абстрактным схемам и жестким обобщениям.

Газданов Г. Собрание сочинений : в 5 т. Т. 1. М., 2009. [Gazdanov G. Sobranie sochinenij : v 5 t. T. 1. M., 2009.]

Гончаров И. А. Обыкновенная история // Полн. собр. соч. : в 20 т. Т. 1. СПб., 1997. [Goncharov I. A. Obyknovennaya istoriya // Poln. sobr. soch. : v 20 t. T. 1. SPb., 1997.]

Кибальник С. А. Гайто Газданов и экзистенциальная традиция в русской литературе. СПб., 2011. [Kibal'nik S. A. Gajto Gazdanov i ekzistentsial'naya traditsiya v russkoj literature. SPb., 2011.]

Манн Ю. В. Диалектика художественного образа. М., 1987. [Mann Yu. V. Dialektika khudozhestvennogo obraza. M., 1987.]

Пъеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. М., 2008. [P'ege-Gro N. Vvedenie v teoriyu intertekstual'nosti. M., 2008.]

Семенова Т. О. «... Мир, который населён другими». Идея децентрации в творчестве Г. И. Газданова 1920—30-х годов // Studia Slavika (Opole). 2001. № 6. [Semenova T. O. «...Mir, kotoryj naselyon drugimi». Ideya detsentratsii v tvorchestve G. I. Gazdanova 1920—30-kh godov // Studia Slavika (Opole). 2001. N 6.]

Статья поступила в редакцию 04.10.2013 г.

УДК 821.161.1 Газданов + 7.036 + 82-312.2 +
+ 82-97 + 325.2

Е. Н. Прокурина

СЮЖЕТЫ О СМЕРТИ И ЖИЗНИ В РОМАНАХ Г. ГАЗДАНОВА

Анализируется мортальный сюжетно-мотивный комплекс романов Г. Газданова. Выявляется отношение писателя к смерти, определяющее и его отношение к жизни. Исследуются архетипические библейские сюжеты, послужившие основой темы смерти в романах писателя.

Ключевые слова: Г. Газданов; литература младоэмигрантов; сюжетика смерти; архетипические библейские сюжеты.

Отношение к смерти в исторической перспективе — одна из главных антропологических проблем, приобретающая в последнее время все больший научный интерес и ставшая предметом многих исследований [см., например: Арье; Бессмертный; Гуревич, 1989; Левин; Постнов; Рингрол; Уоллис Бадж; Хисматулин, Крюкова; и др.] в силу особости самого события смерти в человеческом бытии, его неизбежности для каждого конкретного человека и, таким образом, «одного из коренных “параметров” коллективного сознания» [см.: Гуревич, 1992]. В литературе важность события смерти означает-ся тем, что выступает «одним из самых частотных кульмиационных моментов» [Капинос, с. 138] не только в драме и эпосе, но и в лироэпике (баллада), организует сюжет таких лирических жанров, как элегия, эпитафия, а также сюжет некролога. Но в то же время, как отметил П. Бицилли в своей работе о Л. Толстом, «отношением к смерти... как всеобщему, непреложному и

неизбежному в жизни... определяется у каждого отношение к жизни. У художника, следовательно, им определяется все его творчество» [Бицилли, с. 278].

Анализ сюжетики смерти в творчестве Г. Газданова, яркого представителя литературы первой эмиграционной волны, в большой степени показателен для поколенческого самосознания писателей-младоэмигрантов, конституированного картины мира этой социально-культурной общности¹. Вместе с тем исследование названной проблемы не только дает возможность увидеть отличия в сознании молодой эмиграции от сознания «старших», но и своеобразие ментальности самого Газданова, его бытийной позиции, определивших особое место писателя в литературной среде своего поколения.

Романы Газданова выделяются своей парадигматичностью — в том значении понятия, которое введено работами В. И. Тюпы и подразумевает соответствие сюжета художественного произведения мировой археомодели [см.: Тюпа], что дает основание объединить все девять завершенных произведений в единый романний корпус, движимый идеей духовного «довоплощения» героя. Эмигрантское положение героя шести «русских» романов как чужого среди чужих, его принадлежность к «незамеченному поколению» (В. Варшавский) младоэмигрантов обусловливает в лиминальной (пороговой) фазе испытания смертью центральное место в метароманном сюжете. Данный принцип сохраняется и в двух поздних романах Газданова — «Пилигримы» (1953—1954) и «Пробуждение» (1950-е—1964), хотя они написаны на французском материале и не касаются эмигрантской темы. Объемную группу мотивов составляют визионерские сны, видения героя, особенно частотные в «русских» романах, чем обозначается его пограничное существование между жизнью и смертью. Визионерство героя втягивает в пространство его реальных и виртуальных воспоминаний всю историю человечества, проявляющуюся в смене культур, эпох, поколений, в том числе поколений эмиграции, через сохранение либо затухание памяти об оставленной России. Это самые лиричные и, наверное, самые поэтичные фрагменты газдановского текста. Приведем лишь один из наиболее пронзительных, взятый из романа «Возвращение Будды»:

Темная вода все так же беззвучно двигалась перед моими глазами. Если исключить из жизни то убогое наслаждение, — я думал о Павле Александровиче, — которое дают чисто телесные ощущения, тепло, обед, кровать, Лида, сон, то что остается? Восторженное лицо Будды? исступление святого Иеронима? смерть Микеланджело? Для того, кто знал эту холодную притягательность небытия, — что могла значить эта биологическая дрожь существования? «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет». И то, что происходит сейчас, здесь, если смотреть на это со стороны, как-то особенно нелепо: зима, февраль, Париж, мост над Сеной, глаза, которые смотрят на темную реку, и безмолвный поток мыслей, образов и слов, в невероятном смешении времен и понятий — Павел Александрович Щербаков, Лида и вся ее жизнь, Будда, святой Иероним и Откровение Иоанна, кавалерийская атака, бинокль, небытие и случай-

¹ О проблеме поколенческого самосознания младоэмигрантов см.: [Каспэ; Матвеева].

ный физический облик человека, который стоит в синем пальто, опершись локтями о тяжелые перила... [Газданов, т. 2, с. 192–193]².

В темной воде реки, словно смешивающей в себе воды жизни с водами смерти, как отражения, улавливаемые взором наблюдателя, возникают образы настоящего, сиюминутного и прошлого, реального и сакрального, объединяясь в единый вечный поток бытия, в котором герой Газданова оказывается в роли участника и одновременно рефлексирующего тайнозрителя.

Трагическое чувство, растворенное в поэтическом мире газдановских романов, основывается на авторской убежденности в том, что история мира началась «в тот день, когда Каин убил своего брата» [т. 2, с. 102], точнее, в момент, когда человек ощущил в самом себе, собственной своей природе «безличную притягательность убийства» [Там же]. Возникающий в речи одного из героев романа «Призрак Александра Вольфа» (1947) этот библейский мотив братоубийства становится смыслообразующим для всего метароманного сюжета Газданова, объясняя обилие реальных и потенциальных смертей в его произведениях, объединяющихся в мортальный сверхсюжет «жизнь под знаком смерти». Высокая частотность сюжетного мотива «болезнь к смерти» маркирует онтологическую поврежденность человечества, утерявшего свое изначальное бессмертие. При этом выделяется такой вариант мотива, как «смерть от чахотки», однозначно связанный у Газданова с социальным неблагополучием героев, их отверженным положением (в «Ночных дорогах» это нищий князь Нербатов и уличная проститутка Алиса; в «Возвращении Будды» — обитель парижского «дна» Мишка, бывший российский товарищ героя, и нищая чахоточная проститутка Мадо, предвидящая свою скорую смерть; в «Пилигримах» — молодой рабочий, внук одинокой старухи, после смерти которого она остается без опеки, и др.). В такой привязанности данного мотивного варианта к социальной проблематике мерцает отголосок «петербургского текста», одним из модусов которого является заболевание героя чахоткой как знак инфернальности «болотного» городского пространства, что семантически обогащает параллель газдановского Парижа с российской северной столицей. Так, например, в романе «Ночные дороги» характеристика Парижа как злого и фантастического города отсылает к художественным мирам «Пиковой дамы», «Медного всадника» Пушкина, «Петербургским повестям» Гоголя, Петербургу Достоевского и др. Хотя сам образ Петербурга наделен у Газданова светлыми коннотациями — как город детства, юности, первой любви его автобиографического героя. Особенно отчетлива эта модальность в «Вечере у Клэр».

Чувство трагизма бытия своеобразно соединяется с жизнеспособностью газдановского героя, являющегося во всех романах писателя ценностно непревзойденной фигурой: в довольно частых ситуациях поединка со смертью он всегда остается жив. Исключение составляет только судьба героя «Пилигримов» Фреда,

² Далее произведения Г. Газданова цитируются по данному изданию с указанием тома и страниц в квадратных скобках.

с чем связана, с одной стороны, экзистенциальная составляющая сюжета, с другой, морализаторский призвук финала: герой своей несвоевременной внезапной смертью словно расплачивается за совершенные ранее преступления.

Однако сюжетная ситуация поединка, которой отмечен каждый роман Газданова, по законам жанра «требует жертв», каковыми оказываются «двойники» героя (дядя Виталий в «Вечере у Клэр» (1930), Александр Рябинин в «Истории одного путешествия» (1934), Сергей Сергеевич в «Полете» (1939), Александр Вольф в «Призраке Александра Вольфа» (1947), Павел Александрович Щербаков в «Возвращении Будды» (1949)), а также в отдельных случаях — героиня, всегда находящаяся в подчиненной к герою позиции (Лиза в «Полете», безымянная возлюбленная героя в «Ночных дорогах» (1939?1941), Катрин в «Возвращении Будды»). С нарастанием морализаторских тенденций в романном корпусе Газданова добычей смерти становятся персонажи, выполняющие антигеройную функцию в сюжете.

Любовь героев во всех девяти романах также является частью экзистенциального сюжета *жизнь под знаком смерти*. Особенno рельефно данная модель реprезентированa «русскими» романами, в которых герой-эмигрант находится в бытийной позиции бездомья и безвременья. Но и типологический образ геройни Газданова тоже предстает в красках смерти, несмотря на ее кажущуюся легкомысленность, куртуазность. Образцом поэтики послужил для писателя стиль ар-деко, а красно-черные цвета, в которых чаще всего появляются его героини: черное платье, черные чулки, ярко красные губы — соотносится с поэтикой кабаре. Вместе с тем траурный семантический оттенок этому сочетанию цветов придается комплексом мотивов, содержащих идею трагедийности бытия. Это мотивы печали, горечи, чувственного и з неможни, сопровождающие тему любви и часто предрекающие трагическое ее завершение. Архетипическим претекстом является здесь библейская Песнь Песней, на уровне же автодиалога — ранний рассказ Газданова «Черная капля» (предположительно начало 1930-х гг. [см.: Красавченко, с. 239]), о чём нам подробно уже приходилось писать [см.: Проскурина, с. 52?78]. Таким образом, традиционная археомодель единство эроса и танатоса приобретает у Газданова особое смысловое наполнение, актуализирующее «смертельное» начало в его любовном сюжете.

Угасающая память о родине, ее тускнеющий образ в сознании героев-россиян придают особый драматизм эмигрантской теме в романах Газданова, все более нарастающий в процессе творчества. В то же время данная группа мотивов лишь косвенно касается той традиции русской классической литературы, которая связана с темой разрушения/опустыния родовых гнезд и является доминантной в прозе «старших» эмигрантов, например в творчестве Бунина. В корпусе «русских» романов Газданова мотив разрушения дома, гибели семьи наиболее отчетливо прописан только в дебютном «Вечере у Клэр», пунктирно обозначен в «Истории одного путешествия» и лишь эскизно намечен в одном из «проходных» эпизодов «Полета». В основном же весь подцикл объединяет экзистенциальная идея движения человеческой истории в неизвестность, гибели цивилизаций, культур, городов, персонифици-

рованная многочисленными смертями исторических личностей, деятелей искусства, в конце которой, однако, мерцает картина Страшного суда. Апокалиптичность мировосприятия рождает в душе автобиографического героя страх смерти, часто борющийся с безотчетным притяжением смерти. Особое место в этом ряду занимает сюжетная ситуация смерти отца в «Вечере у Клэр», открывающая у юного героя Коли Соседова «ген смерти» и служащая отправным моментом в формировании метароманного лейтмотива страха смерти. Мотив притяжения смерти также впервые появляется в «Вечере у Клэр» — в оконном эпизоде, где маленький Коля Соседов, зачарованный звуками пилы, раздающимися за окном, и завороженно наблюдающий за работой пильщиков во дворе, все больше свешивается из окна, почти выпадая из него и уже чувствуя холодный воздух — дыхание смерти. Эта сцена становится предчувствием визионерских путешествий героя, в которых он словно выходит за пределы реальности, погружаясь в мир своих грез, снов, видений. Звук пилы внезапно возникает в памяти героя в тот момент, когда он, пройдя опыт Гражданской войны, отправляется из Крыма в эмиграцию на корабле. Ассоциации с областью смерти усиливают мортальную семантику мотива морского перехода к другим берегам в этом финальном эпизоде романа, символизируя вступление героя в пространство инобытия. В дальнейшем этот мотив варьируется в «Полете» (смерть при пожаре на корабле Роберта, одного из любовников Лизы), «Призраке Александра Вольфа» (смерть родителей Елены Армстронг в морском путешествии: пароход взорвался на мине), «Возвращение Будды» (морской путь героя к Катрин изображен в красках последней переправы) — как намек на всеприсутствие и непредсказуемость смерти.

Мотивы разрушения дома, семьи в первом романе «французской» дилогии «Пилигримы» связаны с иной по сравнению с «русскими» романами сюжетной ситуацией, восходящей к социальному-бытовому жанру, где герой является нелюбимым потомком бедного семейства, губящего себя в пьянстве, разврате и криминальных столкновениях. Остающийся один на один с жестоким миром, он строит отношения с ним по тому образцу, который перенят из собственного детского опыта. Таков Фред, таково начало самостоятельной жизни Жанины. Во втором «французском» романе («Пробуждение») смерть родных обостряет в герое — «среднем французе» Пьере Форэ — чувство одиночества и растерянности перед будущим, активизирует созидательные интенции организации собственного мира. В обоих романах ситуация смерти родных становится исходной для построения притчевого сюжета о духовной смерти-воскресении героя.

Романы Газданова отмечены многочисленными случайными, немотивированными смертями, такими как смерть чиновника в «Вечере у Клэр», неловко разряжавшего ружье на охоте и выпустившего «себе в лоб весь заряд крупной дроби» [т. 1, с. 57], смерть случайного пассажира на потерпевшем катастрофу авиалайнере в «Полете», неожиданная смерть мужа Елены Армстронг и др. За подобными, казалось бы нелепыми, ситуациями у Газданова скрывается экзистенциальное первоначало тайны бытия и человеческой

судьбы, экспликация идеи «смерть повсюду». Вместе с тем нередко такого рода смерти содержат семантический призвук заслуженного воздаяния за неправедную жизнь, т. е. придают экзистенциальному сюжету притчевую модальность. Кроме нравственно уязвимых героев «Полета», словно специально собранных автором на погибший авиаилайнер, в «Возвращении Будды» это утонувший во время купания в море старший брат Щербакова, отказавшийся ранее от своих братских отношений; в «Пилигримах» — упавший ночью в пропасть бывший убийца и сутенер Фрэд, по-разному погибшие в автокатастрофах шантажист Шарпантье, Валентина и ее безымянный случайный любовник; в «Эвелине и ее друзьях» (1951?1968) — скупец Жорж, как и старший Щербаков, отказавшийся от своего брата Андрея.

Военная часть биографии Газданова (он служил в белой армии, затем с ее остатками покинул Россию через Крым, Галлиполи, Константинополь, обосновавшись наконец в Париже), давшая ему опыт непрерывного, ежедневного существования перед лицом смерти, отразилась на отношении его героя к смерти, к собственному умиранию, за которым также чувствуется нравственная подкладка. На этом строится военная часть романа «Вечер у Клэр», где стержнем сюжета является не описание военных событий, а восприятие юным героем Колей Соседовым тех людей, с которыми свела его война, их поступков в военном быту и во время боев. Особую подгруппу составляют здесь романтические мотивы смерти друга (умерший от тифа однокашник героя по фамилии Диков в «Вечере у Клэр») и несостоявшейся обещанной встречи друзей после войны («Эвелина и ее друзья»). Немногочисленность этой подгруппы обусловлена отсутствием богатого и разнообразного опыта дружбы у самого Газданова, даже в эмигрантской среде старавшегося держаться обособленно и независимо, что, однако совмещалось с добротой и благородством души, о чем есть множество свидетельств окружавших его людей [см.: Диенеш, с. 85], а также его собственные признания, сделанные от лица героя-повествователя в «Вечере у Клэр»:

Я быстро привыкал к новым людям и, привыкнув, переставал замечать их существование. Это была, пожалуй, любовь к одиночеству, но в довольно странной, непростой форме. <...> Впоследствии я понял, что, поступая так, я ошибался, я лишился одной из самых ценных возможностей: слова «товарищ» и «друг» я понимал только теоретически [т. 1, с. 61].

Но далее герой признается, что чувство дружбы становится для него особенно близким тогда, «когда появлялся призрак смерти или старости, когда многое, что было приобретено вместе, теперь вместе потеряно. Я думал: дружба — это значит: мы еще живы, а другие умерли» [Там же]. Здесь в тему смерти вплетаются элегические мотивы жизненного величия и упадка, отцветшей молодости, быстротечности жизни. В реализации этого мотивного ряда особое место принадлежит «Ночным дорогам», объединившим в своем фрагментарном сюжете множество судьб «бывших»: бывшей дамы полусвета Ральди, бывшего богача князя Нербатова, бывшего ресторатора, бывшего респектабельного парижанина по прозвищу Платон, бывших россиян и пр. и

пр., умирающих, как Ральди, либо живущих в предчувствии скорой смерти, как Платон.

Значимое место в творчестве Газданова занимает криминальная тема («История одного путешествия», «Полет», «Ночные дороги», «Призрак Александра Вольфа», «Возвращение Будды», «Пилигримы», «Эвелина и ее друзья»), что сближает его романы с беллетристической прозой и организует соответствующее сюжетное гнездо к р и м и н а л ь н ы х с м е р т е й . Хотя ее истоком служит та же исходная мысль Газданова о поврежденности человеческой природы Каиновым грехом, что придает криминальной теме его романов экзистенциальное звучание. Другой семантический аспект данной группы сюжетов связан с социальной проблематикой, мотивирующей случай убийства необустроенностю жизни героя-преступника, скудостью его сознания (Курчавый Пьеро в «Призраке Александра Вольфа», Амар в «Возвращении Будды», Дуду и Фрэд в «Пилигримах» и др.). Частыми поэтическими элементами при описании жизни парижских низов — нищих, в том числе нищих русских эмигрантов, проституток, случайных встречных автобиографического героя — становятся мотивы с а м о у б и й с т� а и и с ч e з n o в e n i я , где мотивацией поступка служат отчаяние, отсутствие смысла существования, потеря родины, социального положения и пр.

Одним из ключевых способов преодоления ужаса смерти служит в романах Газданова авторская ирония, проявляющаяся чаще всего в сопутствующих сюжетных линиях. Так, изображая любовную драму героев «Полета», он, словно вскользь, упоминает роман Федора Слетова и владелицы похоронных бюро, варьируя ту же ситуацию в «Возвращении Будды» (в эпизоде свадьбы дочери консьержки и служащего похоронного бюро), что вносит ироническую модальность в сюжетный архетип «Единство эроса и танатоса». Еще отчетливее авторская ирония звучит в ситуациях, варьирующих классический сюжет л ю б в и п р i м e r t v o m . В «Полете» это сцена «неудержимого желания» к Лоле врача, приехавшего засвидетельствовать смерть ее любовника, в «Пробуждении» — «удовлетворение страсти» Жюстины и ее любовником при только что умершем в любовной постели Жюстины друге ее любовника. Нами приведены лишь некоторые варианты иронического обыгрывания Газдановым темы смерти.

Можно заключить, что мортальный сюжетно-мотивный комплекс в романах Газданова объединяется одной главной формулой: ж и з н ь — э т о т е н ь с м e r t i . В контексте его главной максимы — история мира началась с братоубийства — такое существование оказывается оправданным, поскольку невиновных в человечестве нет, на каждом из потомков Каина лежит генетическая печать первой библейской драмы. Тем отчетливее выsvечивается стоическая позиция автора и его романного *alter ego*: находясь в этой экзистенциальной позиции, и тот и другой ищут противостояния «тени смертной», возможности личностной самореализации, достижения полноты бытия. Главными путями к намеченной цели для обоих становятся любовь и творчество.

Своим жизненным и творческим стоицизмом Газданов противостоит практически всему молодому поколению первоэмигрантов. Борис Поплавский,

например, в своей статье «О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции» пишет: «Христос агонизирует от начала и до конца мира. Поэтому атмосфера агонии — единственная приличная атмосфера на земле. <...> Как жить? — Погибать <...> Эмиграция — идеальная обстановка для этого» [Числа, с. 309]. В собственной судьбе Поплавский, как и многие его современники, реализовал идею жизни как гибели. В книге В. Варшавского «Незамеченное поколение» этот мартиролог занимает более полстраницы [Варшавский, с. 170?171]. Судьба же Газданова принадлежит к числу редчайших исключений, разрушающих «смертельный» порядок сложившихся обстоятельств, и может служить примером состоявшейся личностной и творческой инициации.

Ар'ес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992. [Ar'es F. Chelovek pered litsom smerti. M., 1992.]

Бессмертный Ю. Л. Жизнь и смерть в Средние века. М., 1991. [Bessmertnyj Yu. L. Zhizn' i smert' v Srednie veka. M., 1991.]

Бицилли П. Проблема жизни и смерти в творчестве Толстого // Современные записки : обществ.-полит. и лит. журн. (Париж). 1928. № 36. [Bitsilli P. Problema zhizni i smerti v tvorchestve Tolstogo // Sovremennye zapiski : obschestv.-polit. i lit. zhurn. (Parizh). 1928. N 36.]

Варшавский В. Незамеченное поколение. Нью-Йорк, 1956. [Varshavskij V. Nezamechennoe pokolenie. N'yu-Jork, 1956.]

Газданов Г. Собрание сочинений : в 3 т. М., 1996. [Gazdanov G. Sobranie sochinenij : v 3 t. M., 1996.]

Гуревич А. Я. Смерть как проблема исторической антропологии: о новом направлении в зарубежной историографии // Одиссей. М., 1989. [Gurevich A. Ya. Smert' kak problema istoricheskoy antropologii: o novom napravlenii v zarubezhnoj istoriografii // Odissej. M., 1989.]

Гуревич А. Я. Предисловие [Электронный ресурс]. Филипп Ар'ес. Смерть как проблема исторической антропологии // Ар'ес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992. URL:http://www.pedlib.ru/Books/6/0233/6_0233-1.shtml (дата обращения: 9.03. 2013). [Gurevich A. Ya. Predislovie [Elektronnyj resurs]. Filipp Ar'es. Smert' kak problema istoricheskoy antropologii // Ar'es F. Chelovek pered litsom smerti. M., 1992. URL: http://www.pedlib.ru/Books/6/0233/6_0233-1.shtml (data obrascheniya: 9.03.2013).]

Диенеш Л. Гайто Газданов. Жизнь и творчество. Владикавказ, 1995. [Dienesh L. Gajto Gazdanov. Zhizn' i tvorchestvo. Vladikavkaz, 1995.]

Капинос Е. В. Тезаурус смерти в творчестве Бунина // Капинос Е. В. Малые формы поэзии и прозы (Бунин и другие). Новосибирск, 2012. С. 115–145. [Kapinos E. V. Tezaurus smerti v tvorchestve Bunina // Kapinos E. V. Malye formy poezii i prozy (Bunin i drugie). Novosibirsk, 2012. S. 115–145.]

Каспэ И. Искусство отсутствовать. Незамеченное поколение русской литературы. М., 2005. [Kaspé I. Iskusstvo otsutstvovat'. Nezamechennoe pokolenie russkoj literatury. M., 2005.]

Красавченко Т. Н. Газданов-экзистенциалист. Два рассказа и фрагмент из архива в Гарварде // Возвращение Гайто Газданова : [материалы] науч. конф., посвящ. 95-летию со дня рождения, 4–5 дек. 1998. М., 2000. С. 239–243. [Krasavchenko T. N. Gazdanov-ekzistentsialist. Dva rasskaza i fragment iz arkhiva v Garvarde // Vozvrashenie Gajto Gazdanova : [materialy] nauch. konf., posvyasch. 95-letiyu so dnya rozhdeniya, 4–5 dek. 1998. M., 2000. S. 239–243.]

Левин Ст. Кто умирает? Киев, 1996. [Levin St. Kto umiraet? Kiev, 1996.]

Матвеева Ю. Самосознание поколения в творчестве писателей-младоэмигрантов. Екатеринбург, 2008. [Matveeva Yu. Samosoznanie pokoleniya v tvorchestve pisatelej-mladoemigrantov. Ekaterinburg, 2008.]

Постнов О. Г. Смерть в России X—XX вв.: историко-этнографический и социокультурный аспекты. Новосибирск, 2001. [Postnov O. G. Smert' v Rossii X—XX vv.: istoriko-etnograficheskij i sotsiokul'turnyj aspekty. Novosibirsk, 2001.]

Прокурин Е. Н. Единство иносказания: о нарративной поэтике романов Гайто Газданова. М., 2009. [Proskurina E. N. Edinstvo inoskazaniya: o narrativnoj poetike romanov Gajto Gazdanova. M., 2009.]

Ринпоче С. Книга жизни и практики умирания. Рангдрол Т. Н. Зеркало полноты вни-
мания. М., 1998. [Rinpoche S. Kniga zhizni i praktiki umiraniya. Rangdrol T. N. Zerkalo polnoty
vnimaniya. M., 1998.]

Туира В. И. Фазы мирового археосюжета как историческое ядро словаря мотивов //
Материалы к «Словарю сюжетов и мотивов русской литературы». От сюжета к мотиву :
сб. науч. тр. Новосибирск, 1996. С. 16—23. [Tuipa V. I. Fazy mirovogo arkheosyuzheta kak
istoricheskoe yadro slovarya motivov // Materialy k «Slovaryu syuzhetov i motivov russkoj
literatury». Ot syuzheta k motivu : sb. nauch. tr. Novosibirsk, 1996. S. 16—23.]

Уоллис Бадж Е. А. Путешествие души в царстве мертвых (египетская Книга мертвых).
М., 1997. [Uollis Badzh E. A. Puteshestvie dushi v tsarstve mertvykh (egipetskaya Kniga
mertvykh). M., 1997.]

Хисматуллин А. А., Крюкова В. Ю. Смерть и похоронный обряд в исламе и зороастриз-
ме. СПб., 1997. [Khismatulin A. A., Kryukova V. Yu. Smert' i pokhoronnyj obryad v islame i
zoroastrizme. SPb., 1997.]

Числа. 1930. № 2/3. [Chisla. 1930. N 2/3.]

Статья поступила в редакцию 04.10.2013 г.

УДК 821.161.1 Газданов + 7.036 + 82-95 +
+ 821.161.1 Поплавский + 325.2

Л. В. Сыроватко

НОВЫЙ ИОВ: «МЕТАФИЗИКА СЧАСТЬЯ» В ПРОЗЕ ГАЙТО ГАЗДАНОВА И БОРИСА ПОПЛАВСКОГО

Рассматриваются постановка и решение проблемы счастья в творчестве представите-
лей «молодой эмиграции», подробно анализируются произведения начала 1930-х гг.,
когда эта проблема становится предметом дискуссии между старшим и молодым
поколениями литераторов, — роман Поплавского «Домой с небес» и рассказ Газда-
нова «Счастье».

Ключевые слова: аксиология; эмиграция первой волны; Поплавский; Газданов;
экзистенциализм; журнал «Числа»; мифологизация.

В русле полемики вокруг журнала «Числа», которая постепенно перехле-
стнула уровень обсуждения отдельного печатного издания и в какой-то мере
рассматривалась как уточнение позиций старшего и молодого поколений рус-
ской эмиграции, появились две статьи Б. Поплавского — «О смерти и жало-
сти в “Числах”» (1931) и «Вокруг “Чисел”» (1933). Обе имели характер мани-
феста, однако манифестировали на первый взгляд трудно сопоставимые поня-
тия. Если основной пафос первой статьи — «жалость сильного существа

к погибающим», «мистическая обида умирать», абсолютность страдания, в вопросе о «смерти и жалости» как «основной вопрос литературного творчества» (здесь и далее в цитатах разрядка наша. — Л. С.) [Поплавский, т. 3, с. 63]¹, то в статье 1933 г. «Вокруг “Чисел”» парадоксальным образом столь же часто, как «смерть и жалость» в статье предыдущей, повторяется слово «счастье»: «Мы — литература правды о сегодняшнем дне, которая, как вечная музыка голода и счастья, звучит для нас на Монпарнасском бульваре, как звучала бы на Кузнецком мосту...» [т. 3, с. 126].

«Личность, свобода и жизнь, счастье — пишет Поплавский, — равнозначные понятия» [Там же]. Круг «Чисел», в представлении Поплавского, — группа литераторов, отдающих себе отчет в том, что счастье возможно и в эмиграции, вне родины. При этом уточняется само понятие родины, русской идеи: это не только высоты духа, «Пушкин и Рублев», но и любые «феномены», значимые для конкретной личности, даже такие, как Земско-городской союз, березки за окном и «Русские ведомости». Поскольку путь в Россию закрыт и иллюзий на возвращение во временных пределах человеческой жизни не осталось, нужно сказать себе, что «...в России или в эмиграции, в Берлине или на Монпарнасе человеческая жизнь продолжается, с вечными ее полюсами — счастливой личной судьбой и одиночеством, но не в отвратительном, скрежещущем, жалком чеховском стиле: что, мол, “личная жизнь все равно, подая, продолжается, ничего с ней не поделаешь”, а Личная Жизнь с большой буквы, по-западному, с искренним уважением к ней как средоточию всего содержания, всей глубины жизни вообще» [Там же, с. 125].

Каждая «нестыковка» высказанного Поплавским в двух вышеназванных статьях, которые разделяло менее двух лет, посвященных одному журналу «Числа», одной и той же плеяде авторов, отражает не только повороты полемики (ответ на непрекращающиеся в печати и на литературных собраниях упреки молодым авторам в «нерусскости», «похоронных настроениях», «упадничестве»), не только эволюцию самого Поплавского, но объективную ситуацию литературного процесса. В конце 1920-х — первой половине 1930-х гг. появляется целый ряд произведений авторов «молодой эмиграции» (как примикиавших к «Числам», так и дистанцировавшихся от них, а порой и откровенно враждебных), где проблема счастья звучит как центральная, причем не как некий обратный страданию и одиночеству полюс, не как противопоставление «пощлого благополучия» смыслу, но органическое единство их.

Попытка изобразить счастливого человека, создать свою «метафизику счастья» становится в это время одним из главных испытаний мастерства писателей молодой эмигрантской волны. Сирин замышляет роман «Счастье» (роман так и не будет написан, но некоторые наброски к нему превратятся в рассказы), Берберова посвящает изображению счастливого человека глазами несчастного повесть «Аккомпаниаторша». Во всех этих произведениях вопрос о счастье ставится и решается на эмигрантском материале, а само счастье нуждается

¹ Здесь и далее все тексты Б. Поплавского цитируются по этому изданию с указанием в скобках соответствующего тома и страницы.

ся в оттенении страданием, бедой, тоской, нищетой — чем-то, что должно быть (чаще всего внерионально) преодолено состоянием счастья или переплавлено в него. По-своему видят счастье и такие разные авторы, как Борис Поплавский и Гайто Газданов.

С самого начала в романе Б. Поплавского «Домой с небес» в полную мощь, без стыда и эвфемизмов возникает тема счастья: Аполлон Безобразов, направляющийся вместе с Олегом, главным героем романа, в Сен-Тропез, «бросился в эту поездку, как в воду, сжавши мускулы и расширив ноздри, как в драку с еще не виданным им, но сразу угаданным противником — величественно ослепительной красотой мира, юга, дачного счастья» [т. 2, с. 237]. Парадоксальным образом тяга к счастью возникает от метафизического отчаяния, ведь погоня за счастьем, заставляющая героя сесть на поезд и, как все знакомые, устремиться к побережью, — это подмена подлинной цели: «романа с Богом», поиска подлинных вещей и настоящих отношений (в романе они перечислены: отношения мужа с женой, Бога с человеком, между товарищами по войне или профессии). Счастье — это «дом», но дом мнимый, потому что настоящий дом человека после того, как он потерял Эдем, — «на небесах»; земля перестает быть домом после грехопадения. Так и Олег в романе «горячо потянулся» «домой с небес», заблудившись в «небесах», в метафизических поисках, «отчаявшись в безрелигиозно-протестующей боли за всех и самую жизнь». Поиск счастья сравнивается с прыжком в воду, с нырком, на этот раз во что-то напоминающее огненное болото Флегетон у Данте: «головою вперед в горячу, смрадно кипящую влагу» [с. 241].

В самом разгаре средиземноморской идиллии прекрасный пейзаж теряет свою жизненность и становится отвратительным, как слашавая декорация, — это один из немногих примеров в романе, где театральность связывается не с бытийностью трагедии, а с помпезной условностью оперы; люди же лишаются духовного начала, плоть явно и дисгармонично доминирует в них. Важным представляется то, что приморские пейзажи по преимуществу ночные: аполлоническое начало временно побеждено, солнце заходит, вода, не преображенная, не одухотворенная солнцем, не отражающая неба, не видна глазу, но ощущается телом, затягивает, властвует.

Следующий, изолированный, фрагмент романа — прямая драматизация: футуристический диалог-мистерия, кощунственный, доходящий до издевки над собой и мирозданием, между Аполлоном, Олегом, «хором органов» (средь них и «необходимый орган величавой женщины», разглагольствующий «красивым и мелодичным голосом»). В ремарках этого диалога вновь возникает лишенный света пейзаж Средиземноморья, безобразие которого доходит до гиперболического натурализма: «Медленно среди дня темнеет день. Вода превращается в какое-то гнусное синее желе, полное консервных коробок, лес кажется забросанным сальными “Последними новостями”, а за ним на горизонте, как красивые облака, показываются огромные половье органы» [с. 246].

Вода, женщина, счастье — синонимы у Поплавского, они соприродны, вызывают одинаковое стремление бороться, победить, обладать, и все они —

«противники», победить которых можно, вырвавшись из их плена как наваждения. Море — стихия женственного, слияние с ним воспринимается как замена физическому слиянию с любимой. Мечта о море с самого начала предстает в романе как уступка миру «немочи декадентской», миру удачников быта, она приходит из глянцевых журналов, рекламирующих отдых в Биаррице: «Понавешено их великое множество, и на всех счастливые, грубые лица, счастливые загорелые тела у ослепительной воды...» [т. 2, с. 231]. Море кажется Олегу чем-то «сияюще-отвратительным», борьба с ним подобна борьбе с женщиной, с сиянием ее тела во тьме ночей.

Но вскоре оксюморон *сияющее-отвратительное* в повествовательной ткани романа будет разорван: *отвратительное* исчезнет, останется только *сияющее*; иллюзия счастья, обладания морем и любимой полностью овладеет героем — до того момента, как Таня прикажет ему уезжать, отняв последнюю неделю средиземноморского Эдема.

Почти так же оксюморонно трактуется стихия воды и в дневнике Аполлона Безобразова; правда, никаких иллюзий у него нет, возможность человеческого счастья — не более чем риторический прием вроде необходимого антитеатриза, всерьез она не рассматривается: «...снова здесь, на высоком берегу, над сияющей музыкой моря, я борюсь с тобою, о счастье мое, сон, любовь, жизнь; но как странно и сладко было бы сдаться, снова сделаться человеком, опять страдать...» [с. 235].

Возлюбленная Олега Таня — ожившая Афродита, архаическая богиня, враждебная мужской сущности, Аполлону, вечно покушающаяся на «рай друзей», на то, что ему принадлежит по праву. В романе неоднократно встречаются сопоставления героини со статуей и даже с архитектурным сооружением, причем в одном контексте со сравнениями из животного мира и «варварской» (в эллинском понимании) культуры. В портрете Тани постоянно подчеркивается неженственность, плотская ощущимая тяжесть: она не эфемерная сильфика, а скорее амazonка-воительница. Ее грация — грация зверя. С одной стороны, «тяжелые желтоватые античные руки», «оказалась крупной, как афинский Парфенон, ростом не более четырехэтажного дома, кажется грандиозным, и, подобно его колоннам, загнутым наверху вовнутрь, плечи Тани не торчали углами, а мягко округлялись под тяжестью мускулов», с другой — «грубая и мучительная сила неподвижного и презрительного взгляда широко распиренных жадных глаз», «грубо-совершенное, так таинственно животное лицо», «жестокий татарский огонь глаз» [с. 253]. Много говорится о движении, походке Тани: «Ходила Таня неутомимо крепкой, без сухости, хорошо поставленной ногой перепрыгивая с камня на камень, карабкаясь все выше и выше, бравируя бесстрашием, наслаждаясь страхом» [с. 254].

Главные эмоции героя в те минуты, когда средиземноморское счастье переполняет его (в самую идиллическую пору их отношений с Таней) — безусловно религиозны по сути, но это языческая религиозность, отступление в сторону, противоположную «роману с Богом»: «солнечная логика совершенного равновесия ее тела на оранжево-синем фоне моря и скал» для него, «изголовавшегося по золотой реальности в богословской печали... было каким-то до

наглости прекрасным откровением о воплощении, об объективном раскрытии духа, не о падении в материю, а об ослепительной его объективации, в которой он обретает свою славу, о древности, о счастье удачных рас...» [с. 253]. Когда наступает отрезвление, почти религиозное «содрогание» перед архаичной богиней уступает место досаде самца на стремящуюся доминировать самку, мифология античности комически переосмыслияется в духе русских народных сказок о животных или так называемых «заветных»: «Что, собственно, он находится в этой толстой и наглой женщине? То, что она может хорошо родить? Его родить — с его грязными ушами и безвольным ртом. Но она предпочла бы родить от меня, а я не хочу родиться», «...какой за нею стелется лисий, песий запах. Идет и хвостом за собою следы заметает. Толстая лиса Патрикевна с татарскими глазами. Нет, не тебе меня съесть» [с. 254].

В диалоге с Олегом Таня сама формулирует свое кредо — наиболее полное словесное выражение концепции счастья в романе:

«Бойтесь неудачников: и себя погубите, и им не поможет» — вот фраза одного чернокнижника, которая меня поразила... Земля должна принадлежать здоровым, хорошо рожденным расам, потому что она не богадельня, и это из настоящего сострадания к слабым, они, эти слабые, должны быть уничтожены с лица земли. <...> Каждый природно удачный, естественно счастливый человек — ведь это такая бездна тайной праведности десятков поколений, их бесчисленных жертв во имя жизни, и они, как мед, разлиты в его золотом теле... Я жалею не слабых, а неживых, бесстремленных, молодых мертвцев, но стыжусь своей жалости, ибо только восхищением меня можно привязать... Меня можно невольно разжалобить, но я тверда и беспощадна, когда я люблю, и я вся трясусь от отвращения, когда взрослый мужчина требует жалости... [с. 258]².

Есть в романе и стихия Земли — однако показана она только изнутри сознания Аполлона Безобразова; повествователь Олег полностью захвачен водой — текучей, ускользающей, засасывающей и в системе стихийных образов по своей сути антонимичной земле (обе эти стихии — олицетворение женского начала, но в разных ипостасях — любовницы и матери). Земля же глазами Безобразова — плерома, огонь, только покрытый «кожей», царство свободы, она вовсе не противоположность небесам, не тот «дом», куда «с небес» стремится бежать Олег.

Побег «домой с небес» оказывается неудачным: «дом» не принимает бездомного аскета. Однако у моря Олег все же переживает и настоящее счастье — счастье как ощущение полноты жизни в точке слияния всех стихий — неба (воздуха), воды, света, земли. Сила этого ощущения подчеркнута многократным повтором риторического восклицания:

² Направление мыслей, совершенно противоположное Поплавскому — автору «Аполлона Безобразова» и программных статей в «Числах». Судя по дневниковым записям Поплавского, Н. Столярова, прототип Тани, интересовалась расовой теорией, она какое-то время симпатизировала идеологии нацистской Германии. В дневнике, однако, ее взгляды не конкретизируются; в контексте романа они органично вписываются как в ее образ, так и в историю «уклонения» Олега и попытки побега «домой с небес».

О счастье чистого физического бытия, вырвавшегося на свободу, счастье усилия, счастье зеленого шума, счастье податливости водной стихии, вечно срастающейся позади тела в светлом переполохе, кипящей перед глазами! О счастье руки, особенно правой, озорничающей, дерущейся с водою (наперекор вся-кому правилу, которое хочет, чтобы ладонь мягко, по-рыбы, без углов скользила в воде, но тогда не будет счастливой возни и пены, и Олег нерасчетливо, неуклюже рвал воду, так что водоворот постоянно мешал ему двигаться <...>)! О счастье ступни, уставшей делать чечетку и как попало гребущей воду!.. О счастье лица и смешное несчастье глаз, которые ест соль! <...> Отплыв на большое расстояние, там, где давно прозрачное море под ними казалось чернильно-синим, они ложились на спину и торжествовали, благоденствовали. Снизу и сверху были две синевы, одинаково теплые, а берег тонкой зеленою полоской расширялся до бесконечности <...> и на нем, тяжело придавив его, выступали горы [т. 2, с. 250].

Но это счастье переживается героем только в те минуты, когда он возобновляет отношения товарищества — в те утра с Аполлоном, которые «были счастливыми в ремне без Тани. Кажется, Олег только тогда, покуда она не просыпалась, замечал природу вокруг себя. Когда же она своей притворно спокойной походкой появлялась в конце пляжа, все вокруг становилось вдруг не важным для Олега, все было лишь декорацией мучительно происходящего» [с. 249]. Собственно, это все то же счастье «в раю друзей», которое уже было найдено Поплавским в романе «Аполлон Безобразов» и набросках «Апокалипсиса Терезы», счастье «небес», счастье монастыря.

Рассказ Газданова «Счастье» (1932) писался почти одновременно с роман-ным циклом Поплавского. Принципиальное отличие его от прозы других представителей «молодой эмиграции» в том, что герои его — французы. Творчество Газданова вообще характеризуется попытками отойти от эмигрантской темы, и это не измена, а отказ от резкой специфичности, которая свойственна жизни любого человека, оказывающегося вне родины, в иной культурной среде. Даже в такой автобиографической книге, как «Ночные дороги», большинство главных героев (Ральди, Сократ, Сюзанна) — французы. Газданова интересует «чистота эксперимента» с человеческой природой, невозможная при условии, если этот человек — апатрид.

При всей кажущейся прозрачности, «Счастье» легко понимается, но с трудом поддается интерпретации. Герои рассказа немногочисленны: двое мужчин, отец и сын Дорэны, и женщина, вторая жена Анри — мачеха Андрэ, Мадлен.

Рассказ делится на две части, причем граница эта резко отмечена нескольз-кими способами: ракурсом видения происходящего (первая часть показана глазами сына, вторая — глазами отца); событийно (до и после «катастрофы»); временем повествования (первая часть — всего один день в январе, тот, когда с Анри случилось несчастье и он ослеп, и в то же время ретроспектива, взгляд в прошлое, краткий очерк всего, что случилось до этого дня; вторая часть по отношению к первой — будущее, в ней спрессованы события от катастрофы до прозрения — не физического, конечно, — Анри). Границу маркируют также «роковые» цитаты: запись в дневнике Андрэ: «Анри Дорэн, мой отец, родился,

чтобы быть счастливым» [Газданов, с. 297]³, и перекликающаяся с ней цитата из главы 14 «Красного и черного»⁴, играющая в романе Стендalu такую же судьбоносную роль: «Матильде казалось, что перед нею открывается счастье...» [с. 301]. В контексте рассказа фраза, с которой никак не может сдвинуться охваченный волнением Андрэ, выглядит предсказанием: Матильда де ла Моль думает так перед тем, как назначить свидание Жюльену в своей комнате, что повлечет их обоих к катастрофе (как, по-видимому, мистически подтолкнет катастрофу с отцом убеждение сына в его счастье).

То, что уже говорилось о рассказе как современниками Газданова (Ник. Андреевым, Г. Adamовичем, так и позднейшими исследователями, Л. Диенешем, Ф. Хадоновой, С. Кабалоти, Ю. Матвеевой, может быть с неизбежной натяжкой, конечно, сведено к двум точкам зрения. Первая: рассказ есть по своему существу философский поединок пессимиста сына и оптимиста отца, в котором победа остается за отцом. При этом новое видение Анри Дорэна — то органическое, чувственное, влажно-женственное (символ реки, потока), бессознательное приятие жизни, которым инстинктивно обладает Мадлен и которого лишен рационалист Андрэ. Вторая: рассказ написан об идеале человеческого равновесия, о почти невозможном соединении двух пониманий мира — правды Андрэ и правды Мадлен, своего рода инь и ян, солнца и луны, стихии воздуха и воды (что подчеркнуто и именами: *Андрэ* — в переводе с греческого «муж, человек, мужественный», и *Мадлен*, восходящее к имени «святой блудницы» Марии Магдалины, «возлюбившей много»).

Обе точки зрения опровергаются текстом рассказа как исчерпывающие. По-видимому, Газданов учитывал возможность такого прочтения, и прямое авторское вмешательство не оставляет возможности для сомнений. Во-первых, Андрэ ни в коем случае не рационалист: он художник, без сомнения, в будущем — даровитый писатель, обладающий особой психологической чувствительностью и интуицией, в какой-то мере безусловно опережающими отцовские. И одно из открытий Анри Дорэна после того, как он ослеп и стал по-иному видеть памятью то, что раньше увидел глазами и сохранил, не понимая, — то, что он не знал и не видел раньше познанного и увиденного его юной женой и подростком-сыном. Во-вторых, понимание мира Мадлен («счастливое физическое равновесие», «совершенный и неутомимый организм» [с. 289]) и Андрэ (мир «постоянно движущихся мыслей, образов и открытый» [с. 311]) в силу «удачного соединения духовных и физических способностей» было как раз тем, что считал причиной своего счастья зрячий (и не видящий) Дорэн до катастрофы: «Оба они правы... но, в конце концов, более всех прав я» [с. 312]. Если бы это равновесие как-то качественно не изменилось, говорить о «прозрении» и «перерождении» героя не пришлось бы; и сомнения в собственной правоте, и признание правоты сына в рассказе заявлены прямо.

³ Здесь и далее текст рассказа цитируется по этому изданию с указанием в скобках соответствующей страницы.

⁴ Этот цветовой контраст в дальнейшем обыгрывается в рассказе Газданова. Как нечто красное и горячее будет ощущать Дорэн-отец мир, исчезнувший после того, как он ослеп, ассоциирующийся для него с солнцем; чёрный холод — сумерки его жизни после «катастрофы».

Чтобы понять, как видит мир новый Анри Дорэн, нужно реконструировать видение его сына. Для подобной реконструкции в романе есть все основания; объектом же, выявляющим несходство взглядов, становится Мадлен, хотя ни она сама, ни Дорэн-отец этого не подозревают. Именно она становится истинной (хоть и скрытой) причиной разговора о счастье.

Анри Дорэн считает, что тот особый чувственный трепет, которым отличается его жена, вызван им, и «до встречи с ним она не знала ни себя, ни своих чувств» [с. 290]. Андрэ интуитивно чувствует, что это не так и что горячая женственность Мадлен направлена на всех, с кем она соприкасается, не исключая и его самого. Возможно, этим ощущением объясняется его желание провести опыт с бабочками: он помещает самок вида, обитающего более чем за сто километров от поместья, под стеклянный колпак и ждет, прилетят ли самцы на их запах. Необычайно напряженное ожидание юношей исхода эксперимента непонятно, если не учитывать, что для него это больше чем натуралистические штудии: он хочет понять, насколько могущественна та сила, которая сконцентрирована в Мадлен и теперь направлена на его отца. Силу эту он ощущает как враждебную человеческому в человеке, обессмысливающую жизнь, поскольку она не дает ни права выбора, ни возможности сопротивляться: «инстинкт — это потребность питания, размножения и движения... вот и все. А разве у собаки может быть какое-нибудь мнение о том, что все хорошо или все плохо?» [с. 299]. Вот почему мальчик смотрит на Мадлен, которую забавляют копошащиеся на стекле самцы, «сердито и презрительно»: она не понимает трагизма того, что открывается в этом порыве. И когда он услышит пошлую фразу, обращенную к Мадлен («когда я еду к вам, я чувствую, что у меня вырастают крылья»), для него это будет не метафора, а знак родства человека и зверя:

И он вспомнил, что читал про некоторые породы муравьев, у которых во время периода любви вырастают крылья, и они поднимаются в воздух и потом падают и гибнут тысячами. И еще трутни... которые тоже летят за маткой; сначала отстают самые слабые, потом другие... самый лучший и самый сильный догоняет ее. Вот они, крылья любви. Это о них говорит Мадлен. А папа? — И Андрэ лег на диван и заплакал [с. 295].

Слезы Андрэ не только о том, что же будет, если отец узнает об измене, или о том, что для Мадлен он оказался не самым лучшим и самым сильным, но и о том, что на отца, возможно, распространяется общий закон борьбы за выживание (не случайно в воспоминаниях Андрэ так держится за случай с щенком, который это опровергает). По той же причине перевернется мир Анри, когда он услышит знакомый тембр в голосе жены: сознание, что он для Мадлен не уникален, что другой может вызвать ту интонацию чувств, которую он считал неповторимой; не просто любовь, а именно так и не иначе проявляющуюся любовь, знак не измени, но заменимости одного другим, обезличенности, беспощадности жизни к побежденному. Вот почему после этого любовного тембра Анри Дорэн начинает особенно чутко различать звуки смерти и страдания, которые отныне сопровождают для него мгновения близости с Мадлен: «Он

слышал однажды, как внизу, во дворе, раздался сильный писк, — ему сказали, что это крыса, попавшая в западню; Дорэн представил себе ее расплющенный живот, и ему стало дурно. В другой раз тревожно кудахтала и кричала курица, которую зарезал Жозеф; Дорэн слышал взмахи ее крыльев, когда она, уже обезглавленная, пробежала несколько шагов по двору» [с. 312].

Не случайно разговор о счастье двух мужчин начнется (и окончится) разговором о любви; и окончательным доказательством того, что его отец особенный (после которого появится в дневнике роковая фраза), станет для Андрэ, по-видимому, то, как он вспоминает об умершей жене: это отмечает все подозрения в подвластности инстинкту «питания, размножения и движения», ко-нический итог которых — смерть.

Если можно говорить о совмещении в Анри Дорэне, каким он предстает в finale, двух правд, то только с той поправкой, что ранее он не замечал темной стороны, которая есть в каждой из этих правд. Органическая жизнь, видевшаяся ему радостной и доброй, слепа, внеэтична, в ней правит первобытный Эрос, соединяющий и разделяющий элементы. Так, Мадлен, подобно самке бабочки, притягивая, все время остается отделенной словно бы прозрачным экраном, не допускающим никого в замкнутый на себе мир: «все окружающее ее начинало иметь только определенный смысл, в центре которого была она, Мадлен» [с. 289]. Жизнь же духа, проникнутая этикой, разомкнутая на встречу другому и принимающая его в себя, именно потому невозможна без памяти о страдании в каждый миг существования, что, казалось бы, отменяет всякую радость и бросает тень на того, кому разомкнуты объятия, вот почему после «прозрения» Анри избегает того, кого он любит больше всего, — сына: «Он бессознательно сторонился Андрэ, потому что теперь у него не было уже твердого и счастливого убеждения, что все хорошо... он был бы принужден согласиться с сыном, что было бы невозможно по многим причинам. Во-первых, он был отец; во-вторых, если бы Дорэн подтвердил сыну, что тот прав, то для Андрэ исчезло бы счастье, которое тот находил в постоянной и спокойной уверенности Дорэна» [с. 313].

Именно это, по-видимому, и становится точкой поворота к финалу: новый Дорэн, отделенный от близких не столько слепотой, сколько новым знанием о мире, не ищет опору в них, как это было ранее («с ним были любимый сын и жена, — чего же ему было бояться?»), а пытается стать опорой для них, тем «местом», которое «находится вне несчастий, огорчений и печали»; во сне он устремляется в поток, который необходимо пересечь, чтобы соединиться с кем-то дорогим, и «облако счастья окутывает» его и людей, которые ему близки: в finale рассказа Мадлен и Андрэ беседуют без обычной враждебности.

Анри Дорэн — пожалуй, единственный из приближенных к авторскому сознанию героев Газданова, которого безоговорочно можно назвать счастливым. На первый взгляд это счастье стоика, дисциплина воспитывающего себя духа, частички Плеромы, претерпевающей временную тяжесть земного воздуха, или же счастье гедониста, наслаждающегося ощущением балансирования «бездны на краю». Однако ключ к пониманию характера героя — в другой культурной параллели. Стоик — скорее Андрэ, который «с удивительной для

мальчика ясностью» «замечал и видел много печального во всем, что его окружало». Природная, естественная гедонистка — Мадлен.

Рассказ построен по схеме сократовского «диалога наоборот». В сократовском диалоге протагонист Сократа, утверждающий нечто, при условии честного ответа на вопросы философа опровергает сам себя и приходит к отправной точке «зачатия мысли» — пониманию того, что он «ничего не знает». В рассказе Газданова Анри Дорэн, утверждающий, что возможно существование «бесконечно умного человека, который все видит и все понимает, — насколько это в человеческих возможностях, — и находит во всем одно только хорошее» [с. 299], убеждается в своем знании и одновременно получает его вновь «в измененном состоянии». Вот только знание это не может быть вербализовано, не может быть доказано (или опровергнуто) цепочкой вопросов-ответов. Оно доказывается прохождением через ту самую катастрофу, о которой Анри говорил сыну. Иного пути Газданов не знает.

В диалоге с сыном в качестве примера счастливого, несмотря на всезнание, человека Анри приводит Франциска Ассизского. История Анри Дорэна есть фактически история нового Франциска. Парадоксальным образом жизнь до оказывается в этой истории счастьем не совершенным, лишенным полноты, ненастоящим. И не потому только, что «нужно было счастливому человеку знать сожаление и печаль, которые оттенели бы потом его счастье» («Третья жизнь»), нет. Само счастье включает в себя сожаление и печаль. Оно антиномично. Гимн благодарения Франциска возможен только из глубин бездомности и бессемейности, «христовой бедности» и насмешек, у врат монастыря, которые перед ним, окоченевшим и голодным, не открылись. Это прекрасно передал Честертон, изобразивший путь Франциска как путь на верх через низ:

Нам говорили в детстве, что, если прорыть дырку сквозь Землю и лезть в нее все дальше, придет такое время, когда ты будешь лезть уже не вниз, а вверх. Не знаю, так ли это. Не знаю потому, что мне не случалось прокапывать Землю насквозь... <...> Наверное, и я, и читатели — люди обычные, не побывали там, где оказался святой Франциск. <...> Мы не следовали за Франциском в то диковинное место, где полное унижение преображается в полную... радость [Честертон].

Аллегория Честертона применима и к герою Газданова. Он тоже «прокопал Землю насквозь» — «прошел сквозь это», как говорит он сам себе, и в физической слепоте «зрение вернулось к нему необычайно усиленным», до такой степени, что «он даже днем видит звезды». Финал рассказа — видение потока, несущего Анри вниз, но выносящего к звездам, и облака счастья, окутывающего его на рассвете новой жизни, в котором «свет и тьма стояли, не смешиваясь и не исчезая». Так и в счастье Дорэна противоположности не уничтожаются и не смешиваются: они существуют во всей своей очерченности «неслиянно и нераздельно». То, что с точки зрения «нормального и спокойного существования» кажется взаимопоглощающим или несовместимым, в «третьей жизни» образует дробную целостность (или цельную дробность) бытия.

«Вот я представляю себе Иова: он сидит в глубине времен, сдирает черепком свои струпья и протяжно вздыхает» [т. 3, с. 125].

Иов на гноище, среди руин и могил. Лазарь, три дня проведший во гробе. Человек, прошедший через опыт пустоты и открывший глаза для новой жизни. Пробужденный для чего? Воскрешение состоялось. Но стоит ли эта новая жизнь того, чтобы ее прожить? Чем она может быть оправдана? Ради чего терпеть эту невыносимую боль?

Таков и герой эмигрантской молодой литературы в поисках счастья, будь он русский Олег или француз Анри. Вне проблем мирового страдания, вне теодицеи (там, где можно говорить о религиозности в мировоззрении автора) тема счастья не возникает и вопрос о нем не ставится. И ответ на этот вопрос сходен с финалом истории об Иове.

Библейский Иов получил ответ — голос из бури. Неважно, что он сказал. Важно то, что он был, что Небожитель удостаивает человека ответа, более того, говорит с дерзнувшим на равных. Важно знание того, что хаос, абсурд, несправедливость представляются таковыми лишь осколочно видящему тварному взгляду; где-то там, в вечности, эти осколки сливаются в образ, какофонические звуки становятся музыкой сфер. Голос из бури есть. И его бытия достаточно для того, чтобы Иов смог жить снова: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». <...> И благословил Бог последние дни Иова более, нежели первые» (Иов. 42 : 5—6; 42 : 12).

Газданов Г. Собрание сочинений : в 3 т. Т. 3. М., 1996. [Gazdanov G. Sobranie sochinenij : v 3 t. T. 3. M., 1996.]

Поплавский Б. Собрание сочинений : в 3 т. М., 2009. [Poplavskij B. Sobranie sochinenij : v 3 t. M., 2009.]

Честертон Г. К. Франциск Ассизский // Честертон Г. К. Вечный человек. М., 1991. С. 385—386. [Chesterton G. K. Frantsisk Assizskij // Chesterton G. K. Vechnyj chelovek. M., 1991. S. 385—386.]

Статья поступила в редакцию 16.10.2013 г.

УДК 821.161.1 Газданов + 7.036 + 82.01/09

С. Р. Федякин**ГАЙТО ГАЗДАНОВ: ИСКУССТВО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ**

Рассматриваются особенности прозаического искусства Гайто Газданова: положив в основание своего повествования творческое воспоминание, Газданов удлиняет предложения, выстраивая их как некие лирические рассуждения. Такой ритм фраз позволил использовать конструкции языка, которые при иной манере показались бы громоздкими. Кроме того, усилилась роль подробностей, которые стали соединяться в ассоциативные ряды, а те, в свою очередь, стали связываться образами-темами, создающими единство художественного целого.

Ключевые слова: Г. Газданов; искусство прозы; ритм фраз; художественная деталь; подробность; ассоциативный ряд; образы-темы.

Искусство изобразительности связывают с умением найти точную деталь, хотя писатель может воздействовать и ритмом фраз, и теми смысловыми «просветами», которые могут возникнуть между словами, предложениями, абзацами. Когда появился роман Гайто Газданова «Вечер у Клэр», критики заговорили о писателе всерьез. И, конечно, сразу вспомнили Марселя Пруста, избежать стилистическое воздействие которого было непросто. За это сходство одни журили, другие, напротив, считали такую «литературную учебу» благотворной или внушали, что сходство со знаменитым писателем — весьма сомнительное¹.

Но книгу открыл и Горький. Он пишет автору о его своеобычности: «Прочитал я ее с большим удовольствием, даже с наслаждением, а это — редко бывает, хотя читаю я немало. Вы, разумеется, сами чувствуете, что Вы весьма талантливый человек. К этому я бы добавил, что Вы еще и своеобразно талантливы. Право сказать, это я выношу не только из “Вечера у Клэр”, а также из рассказов Ваших — из “Гавайских гитар” и др.» [цит. по: Диенеш, с.112].

Стоит только открыть переписку Горького с молодыми писателями, и мы увидим, сколь настойчиво он внушал тем, кто вступает на литературное поприще: вычеркивайте прилагательные с «щий» («щая», «щее», «щие») и «вший» («вшая», «вшее», «вшие»). Горький — не то с усмешкой, не то с презрительностью — называл их «щами» и «вшами». Нагромождение подобных причастий — обычно удел начинающего. Они делают прозу крайне неудобной для чтения, «затрудняют» движение фразы. Их обилие — мучение для читателя. Но у Газданова в романе (на первой же странице) они присутствуют, и в не малом числе:

Оглянувшись на Сену в последний раз, я поднимался к себе в комнату и ложился спать и тотчас погружался в глубокий мрак; в нем шевелились какие-то дрожа-

¹ Имя Пруста при этом не обошел почти ни один критик [см., например: Адамович, 1930; Вейдле, 1930; Зайцев, Осоргин, 11930а; 1930б; Оцуп; Слоним, 1930б; Ходасевич]. Адамович писал о благотворности учебы молодых прозаиков у Пруста и Джойса и без упоминания Газданова [см.: Адамович, 1931].

щие тела, иногда не успевающие воплотиться в привычные для моего глаза образы и так и пропадающие, не воплотившись; и я во сне жалел об их исчезновении, сочувствовал их воображаемой, непонятной печали и жил и засыпал в том неизъяснимом состоянии, которого никогда не узнаю наяву.

Что же, Горький попросту не заметил эти слова (*оглянувшись, дрожащие, успевающие, пропадающие, воплотившись*)? Или заметил, но они на этот раз почему-то «не резали глаз»? Подобные скопления «шипящих» причастий у Газданова не такая уж и редкость. И все же даже на слух иной раз очень придирчивого к молодым Горького в его прозе они звучали иначе, нежели в прозе других начинающих авторов.

Ранняя проза Газданова («Гостиница грядущего», «Повесть о трех неудачах», «Рассказы о свободном времени») стремится к четким фразам и резким линиям. Но в писателе быстро созрело иное отношение к собственному «письму». От рассказа к рассказу он все чаще прибегает к длинным предложениям.

Разница между ранним и зрелым его творчеством слишком очевидна. В рассказе «Шпион» (1927) повествование идет от первого лица. Под героем убили лошадь. Он встал, сделал несколько шагов, посмотрел назад:

Всадник на громадной вороной лошади тяжело и медленно скакал за мной. Я увидел, как он забросил за спину винтовку и выдернул из ножен шашку [Газданов, т. 1, с. 517]².

В романе «Призрак Александра Вольфа», написанном два десятилетия спустя, — почти тот же эпизод, и...

...Я обернулся и увидел, что не очень далеко за мной тяжелым и медленным, как мне показалось, карьером ехал всадник на огромном белом коне. Я помню, что у меня давно не было винтовки, я, наверное, забыл ее в роще, когда спал. Но у меня оставался револьвер, который я с трудом вытащил из новой и тугой кобуры. Я простоял несколько секунд, держа его в руке; было так тихо, что я совершенно отчетливо слышал сухие всхлипывания копыт по растрескавшейся от жары земле, тяжелое дыхание лошади и еще какой-то звон, похожий на частое встряхивание маленькой связки металлических колец. Потом я увидел, как всадник бросил поводья и вскинулся к плечу винтовку, которую до тех пор держал наперевес [т. 3, с. 7].

Если сравнить начало раннего рассказа с началом послевоенного романа, то, разумеется, это преображение (словно из конспекта родился полноценный текст) «удлиняет» повествование не в каждом «изгибе» сюжета. И все же весь эпизод в рассказе займет одну страницу. В романе — четыре. Многое можно отнести на счет самого жанра: романное повествование требует совсем иного темпа. Но и в этом случае объем, который увеличился столь заметно, говорит о многом. И главным для понимания разницы между ранним и зрелым Газдановым будет это мелькнувшее в романе: «Я помню...»

Прут возник в рассуждениях критиков не случайно. Его многотомное произведение «В поисках утраченного времени» тоже порождено творческой

² Далее произведения писателя цитируются по данному изданию с указанием тома и страниц.

памятью. Но в эмиграции вспоминали все — и старшее поколение: Бунин, Зайцев, Куприн, Шмелев, и среднее: Цветаева, Ходасевич, Георгий Иванов... Сама ситуация исторического перелома возвращала мыслями к прошлому. И та же ситуация заставляла жить и писать в окружении европейской литературы.

Алексей Ремизов был столь же непримирим в отношении «громоздких» слов, как и Горький. Василий Яновский вспоминал: «Он учил нас обращать внимание не только на слова, но и на слоги или буквы, учитывая соотношение гласных и согласных, шипящих, избегая жутких русских причастий, вроде: кажущийся, чертыхающийся, являющийся и т. д. и т. д...» [Яновский, с. 189].

Но и этот поборник живого, а не «причастного» языка, не только привечал Газданова у себя дома, но словно о нем и написал в 1931 г.:

Самым выдающимся явлением за пять лет для русской литературы я считаю появление молодых писателей с западной закавказской (разрядка наша. — С. Ф.). Такое явление могло произойти только за границей: традиция передается не из вторых рук, а непосредственно через язык и памятники литературы в оригинале. Для русской литературы это будет иметь большое значение, если только молодые русские писатели сумеют остаться русскими, а не запишут в один прекрасный день по-французски и канут в тысячах французской литературы.

Устремленность к Западу, т. е. к той жизни, — во всех ее видах и разнообразии, истории и современности, в которой живут молодые русские писатели, явление нормальное, и русская традиция, без которой не может быть русского писателя, ответственнейшая после Гоголя, Толстого и Достоевского, не только ничего не потеряет, а даст при талантливости писателей своеобразный вид русского письма [Ремизов, с. 1].

Это было произнесено как раз в то время, когда многие критики влияние французской литературы на прозу молодых считали их очевидной слабостью.

Вопрос о воздействии Пруста можно оставить в стороне. Не так важно, читал его Газданов до «Вечера у Клэр» или нет. «Прустианство» ведь могло быть воспринято и через саму атмосферу современной французской литературы. Но куда важнее иное: Газданов просто не мог бы обойтись без этой энергии памяти, по крайней мере когда писал о России, когда хотел осознать и ту историческую катастрофу, через которую она прошла, и свой собственный жизненный путь, с этой катастрофой связанный.

Этот «медитативный» стиль Газданова можно было выводить из прозы Марселя Пруста (в чем преуспели критики русского зарубежья), можно видеть его истоки в оточестве и юности писателя: очень рано Газданов начал читать философскую литературу, которой вообще свойственна подобная «рассуждательность». Но то, что в литературе русского зарубежья с появлением «Вечера у Клэр» появился настоящий художник, с этим спорить было бессмысленно. Потому важней понять не истоки подобного стиля, но его «последствия».

Критики не случайно упоминали об «эластичном» движении фраз, об особом ритме повествования у Газданова [см.: Адамович, 1934; 1939; Вейдле, 1939, с. 200; см. также: Критика о творчестве Г. Газданова]. Причастия замедляют

движение речи. При обычном описании событий эти замедления заметны, а когда причастий много, глаз то и дело «спотыкается». Здесь же фразы длинные, плавные. Само их движение сглаживает неудобные громоздкости, делает их незаметными. И эта плавная газдановская фраза не только «разрешила» использовать в изобилии столь «неповоротливые» слова. Она повлияла на все художественное пространство писателя.

Двадцатый век русской прозы многому научился у Чехова. Автор «Степи», «Палаты № 6», «Белолобого» строил художественное пространство своих произведений иначе, нежели его предшественники. О важности детали в прозе Чехова говорилось не раз, как не раз приводили и ее «образец». В пьесе «Чайка» молодой Треплев сравнивает свою способность словесного изображения с тем, как это делает его опытный литературный «соперник»:

Тригорин выработал себе приемы, ему легко... У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса — вот и лунная ночь готова, а у меня и трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе... Это мучительно... [Чехов, с. 55].

Пример избитый, но зато очень наглядный. Деталь делает ненужными многословные описания. Деталь может сделать изображение невероятно выпуклым. Не случайно после Чехова умение находить точную деталь стало одним из признаков хорошей прозы.

О внимательном чтении последнего русского классика XIX в. говорит не только известная статья Газданова «О Чехове», но и строение его предложений, по крайней мере в некоторых произведениях. Проза Чехова часто приводится как образец емкой, короткой фразы. Но и у него иной раз встречалась фраза длинная. Повествование Газданова в 1930-е гг. часто напоминает не бесконечные периоды Марселя Пруста, но именно ритм чеховских длинных фраз [см.: Федякин, с. 18–19]. При этом такой «нагрузки» на деталь, какая была у писателя-классика, у него уже не обнаружишь.

Двумя-тремя штрихами Чехов мог дать не только мгновенный «снимок» места действия или мгновенный «портрет» персонажа. Деталь у него «работает» и на все произведение в целом. Например, когда читаешь «Палату № 6», то через краткие и емкие характеристики ее обитателей ощущаешь и тот тесный круг больничного помещения, в котором они находятся. Когда знакомишься с историей измученного манией преследования Ивана Дмитриевича, чувство замкнутого пространства становится еще более явственным. Главная же сюжетная линия — история, как доктор Рагин стал пациентом той самой лечебницы, которая ранее находилась под его опекой, — делает образ «палаты номер шесть» столь похожим на тюрьму, что пребывание в ней кажется почти физиологически непереносимым.

Художественное произведение — это не просто набор хорошо изображенных эпизодов. Здесь каждый «отрезок текста» как в капле воды отражает и целое. У Чехова даже мимолетные детали по мере чтения соединяются в единое художественное впечатление.

Сцепление «малых» образов в нечто целостное есть и у Газданова, в том числе и в отмеченных Горьким произведениях. И если в романе «Вечер у Клэр» этот прием может смешиваться с другими, то в «Гавайских гитарах» он выступает совершенно отчетливо. Более того, в рассказе он используется вполне осознанно.

Я ночевал в чужом доме, куда попал после случайной встречи со знакомыми, которые уговарили меня остаться у них, так как было очень поздно и холодно. Я остался и спал на глубоком сыром диване и чувствовал себя во сне беспокойно и неловко, потому что на этом диване обычно сидели гости и никто не лежал — и потому он был неуютный; кроме того, я не ощущал обычного тепла своей постели, в которую привык возвращаться, как в неподвижное бытие, — там мне никто не мешал и ничье постороннее присутствие не задевало меня. Я лег очень поздно, и, если бы это было дома, я бы не проснулся раньше двенадцати часов дня, обычного времени моего вставания; здесь же я открыл глаза, когда было совсем рано, я видел сквозь уголок окна, не вполне закрытого занавеской, что на дворе еще стояли коробки с мусором, — следовательно, было меньше семи часов [т. 1, с. 623].

Чехову для создания должного впечатления «неугюта» достаточно было бы «глубокого сырого дивана» в чужом дому, на котором «обычно сидели гости», и того, что «на дворе еще стояли коробки с мусором». Газданов нагнетает подробности: чужой дом, случайная встреча, уговарили остаться, «поздно и холодно». Он объясняет: ему было неловко, потому что «на этом диване... никто не лежал», на нем неуютно, так как нет «обычного тепла своей постели». Причем это не только «житейское» объяснение. Оно затрагивает и какие-то внутренние области сознания героя: в теплую постель он «привык возвращаться, как в неподвижное бытие». То, что может показаться очевидной банальностью («там мне никто не мешал и ничье постороннее присутствие не задевало меня»), рождает ощущение пристального и какого-то «метафизического» взгляда в самые привычные действия. Повествование идет в ритме рассуждения и объяснения, чему способствуют союзы и предлоги: *потому что, потому, кроме того...*

С подробностями (чужой дом, случайная встреча, «поздно и холодно», «чувствовал себя во сне беспокойно и неловко», диван «неуютный», веки «были тяжелыми», «болела голова» и т. д.) возникает и этот особый ритм фраз — плавный, медлительный. Повествование Газданова — воспоминание об одном эпизоде собственной жизни. Но здесь запечатлен и сам процесс воспоминания, потому сознание и пытается восстановить каждую мелочь.

Основой этой прозы становится не «запечатление» увиденного, но *с а м о - н а б л ю д е н и е*: герой-повествователь пытается заново ощутить то, что было с ним в прошлом. Герой взгляывает в ранее пережитое, замечает тонкости собственного мировосприятия. И вместе с тем его сознание словно бы «расширяется», захватывая и окружающее:

Веки мои были тяжелыми, у меня болела голова; в большой комнате было холодно, и все вокруг казалось мне погруженным в глубокий сон, — как бывало всегда, когда я сам почему-либо не высыпался и бессознательно завидовал другим,

которые могут спать: это было чисто физическое томление, заставлявшее меня чувствовать тяжесть сна всюду, где останавливался мой взгляд, — даже на домах и на деревьях [т. 1, с. 623].

Сон, точнее, его «тяжесть» — это не только состояние героя, но в данный момент и особое видение мира. Состояние героя становится и состоянием той части реальности, которая находится рядом. Герой пытается сон вернуть:

Я повернулся на своем диване, внутри которого при этом тихо щелкнула пружина, и решил заснуть во что бы то ни стало — и начал постепенно засыпать и путаться в мыслях...

Короткое действие («я повернулся на своем диване») тут же застывает, снова оплетается подробным переживанием некогда испытанных ощущений. А ранее произошедшее «расширение сознания» начинает порождать и особые, незримые связи между событиями: «...я уже находил какую-то несомненную зависимость между щелкнувшей пружиной и вчерашним разговором...» [Там же].

События соединяются между собой не причинно-следственными отношениями, но теми ассоциативными связями, которые проявились в сознании героя.

Вряд ли можно было бы сказать, что здесь явлен некий «художественный солипсизм» (представление, что мир есть порождение моего «я»), хотя чтение известного в истории философии субъективного идеалиста Юма в юные годы и могло подтолкнуть к такому мироощущению. Скорее, та часть мира, которая становится частью переживания героя, начинает жить будто бы не по своим законам, а по законам его восприятия. Это ощущение еще более усиливается дальнейшим повествованием:

...Я уже находил какую-то несомненную зависимость между щелкнувшей пружиной и вчерашним разговором — как вдруг комната наполнилась протяжными, выбирающими звуками, соединение которых мгновенно залило мое воображение. Я не мог проснуться и открыть глаз; но я ясно слышал эти звуки и следил за их плачущим мотивом. — Снится мне это или нет? — спрашивал я себя. — Наверное, нет, потому что такую музыку я никогда бы не мог придумать. — Я долго слышал ее, вероятно, дольше, чем она продолжалась; но она становилась все тише и тише и стала смешиваться с каким-то другим шумом. И я перестал ее слышать [т. 1, с. 623].

Да, мир существует сам по себе, но герой стремится его сделать частью себя: «такую музыку я никогда бы не мог придумать», — подразумевая тем самым, что придуманное может естественно входить в его переживания наравне с непридуманным. И это не произвол сознания автора (или героя), но именно состояние пробуждающейся памяти, которая может ошибиться, может «допридумать» то, что было забыто.

Автор пытается воссоздать все до мелочей, словно бы опасаясь упустить важное. Деталей ярких, вполне «чеховских» по рассказу рассыпано множество. И когда исхудавшая, умирающая сестра героя, глядя на него, едва слышно произносит: «какие у тебя толстые руки». И когда во время ее трудного сна

«пустая чашка, оставшаяся на одеяле, опускалась и двигалась», при этом ложка в ней «тихо дребежжала». И когда у нее, еще живой, от слабости во время сна челюсть отвисала как у мертвый [т. 1, с. 625–626]. Но повествование захватывает и такие подробности, которые — после прозы Чехова — могли бы показаться излишними. При этом появляются иные «вехи» в повествовании, призванные создать единство общего впечатления.

Весь рассказ пронизан дыханием смерти. Потому исхудавшая сестра героя и смотрит на него «страшными глазами», потому он в еще живом ее облике то и дело провидит черты, делающие ее безжизненной. Но одновременно Газданов выстраивает цепочки образов, которые начинают играть особую роль в рассказе. Герой покупает новые туфли, которые ему жмут, и похороны сестры сопровождаются постоянной физической болью. Подробно описан путь на кладбище. Затем — вырытые свежие могилы (они напоминали ямы, из стен которых торчали длинные корни деревьев и «цеплялись за гроб»). Стоило отойти от места захоронения — и «могила стала не видна из-за тумана» [Там же, с. 632]. После герой и муж покойной сестры оказываются в гостях у незнакомой дамы. Столъ же медленно и «медитативно» рассказано о трапезе в доселе неизвестной квартире, — описано и пряное мясо с «неприятным привкусом», и то, как действовало на мужа сестры поданное шампанское (при остром ощущении неуместности шампанского в такой день). Автор заметил, какие безделушки были расставлены на шкафах. После них подробно описан экзотические статуэтки из черного дерева.

На первый взгляд все эти мелочи могут показаться излишними, хотя они и преображены завораживающим ритмом повествования. Не случайно Адамович однажды сравнил прозу Газданова с альбомом, каждая страница которого замечательна, но вовсе необязательно должна в этом альбоме присутствовать, так как ничего не прибавляет к восприятию всего произведения целиком [Адамович, 1939]. Похоже, это впечатление могло возникнуть у критика только потому, что он не успел «настроиться» на иной способ создания художественного единства.

В рассказе незнакомая дама заводит граммофон: «опять это плачущее волнение металлического трепета в воздухе охватило меня» [т. 1, с. 637]. Только теперь герой узнает: так звучат гавайские гитары. И с этим знанием разрешается загадка тех звуков, что появились в самом начале рассказа. Попутно автор в последнем абзаце «проговаривает» и главную особенность построения своей прозы:

Гавайские гитары! Потом, спустя несколько лет, я забыл и перепутал многое, что происходило в ту пору моей жизни. Но зато эти колебания воздуха теперь заключены для меня в прозрачную коробку, непостижимым образом сделанную из нескольких событий, которые начались той ночью, когда я впервые услышал гавайские гитары, не зная, что это такое, и кончились днем похорон моей сестры. Я не раз вспоминал это: яма, туман, странное мясо за обедом, шампанское, статуэтки из черного дерева — и еще постоянная ноющая боль в ногах от слишком узких туфель, которые потом я отдал починять сапожнику и так их и оставил у него: отчасти потому, что мне действительно было нечем заплатить ему, отчасти потому, что их, пожалуй, не стоило брать [Там же, с. 638].

Газданов использовал в рассказе принцип «нагнетания» подробностей, часть из которых становится подобием музыкальных тем. Воедино они связываются, когда завершают рассказ. Точно так же в начале повести «Великий музыкант» мелькнет образ алжирца-самоубийцы на скамейке, чтобы перед развязкой все герои и события стянулись в один узел:

Мне кажется, именно в вечер после концерта Шаляпина я с особенной силой понял и почувствовал, что отныне все эти люди — Елена Владимировна, Франсуа, Ромуальд, Алексей Андреевич и Сверлов — связаны между собой такой тесной связью, судьба их так сплетена, что разрешить это могла бы только катастрофа...

...Я слушал речь Шувалова и видел лицо Бориса Аркадьевича и говорил себе: нет, этого не может быть; вот мы мирно сидим на бульваре Монпарнас и пьем кофе и все мы, в сущности, неплохие люди; и зачем предполагать такие мрачные вещи? Но чувство, бывшее во мне, оказалось сильнее этих рассуждений; на музыкальных волнах незримого оркестра вдруг появилась курчавая голова алжирца-сутенера, застрелившегося несколько месяцев тому назад, — как голова Иоанна на блюде Саломеи; только музыка могла создать во мне такой искусственный образ, — музыка или звуковое воспоминание о голосе Великого музыканта... [т. 1, с. 279].

Подобным образом роман «Призрак Александра Вольфа» «замкнется» на эпизод с почти случайным убийством всадника на белом коне, роман «Вечер у Клэр» свяжет воедино сам образ Клэр и даже одно лишь ее имя, с которого роман начинается и которым заканчивается. Разумеется, в больших произведениях само стягивание таких образных «петель» должно быть и более сложным, да и сама «линия» образных ядов — более извилистой. В «Ночных дорогах» будет прочерчено несколько жизненных путей — судеб, связанных образом ночного города. Да и сам художественный принцип в романах будет не столь «обнажен», как в рассказе «Гавайские гитары». Но творческое припоминание будет «работать» именно подобными «петлями». Именно с цеплением образных рядов в единое сложное переживание становится в прозаическом искусстве Газданова важнейшим способом выстраивания произведений.

Он начал с коротких, ярких рассказов, где заметно воздействие советской прозы начала двадцатых. Повествование шло не без некоторой «манерности», с явным расчетом «зацепить» читателя неожиданными образами и поворотами сюжета. Но зрелость приходит скоро. И писателю важно уже не передать свои впечатления, но понять свое прошлое. Как только повествование обрело черты живого воспоминания, сразу удлинилась фраза. Она стала напоминать некое «лирическое рассуждение», попытку объяснить собственные состояния в настоящем и прошлом. Появился и тот «эластичный» ритм повествования, о котором говорил Георгий Adamович, а вместе с ним стали возможны те конструкции языка, которые при иной манере показались бы громоздкими. Потребовало такое повествование-размышление и усиления роли подробностей, с первого взгляда — почти случайных. А эта характерная черта заставила добиваться художественного единства введением образов-тем. Они стали охватывать ассоциативные ряды, стягивая их в целостные переживания. Детали, подробности, ритм повествования, фразы со вставными («разъясняющими»)

конструкциями... Все это отразило особое отношение к миру, где реальность становится значимой, лишь родившись второй раз — как воспоминание. И как одна из сторон жизни художественного сознания писателя.

Адамович Г. «Современные записки, кн. 54. Часть литературная» // Последние новости. 1934. 15 февр. [Adamovich G. «Sovremennye zapiski, kn. 54. Chast' literaturnaya» // Poslednie novosti. 1934. 15 fevr.]

Адамович Г. Литература в «Русских записках» // Последние новости. 1939. 29 июня. [Adamovich G. Literatura v «Russkikh zapiskakh» // Poslednie novosti. 1939. 29 iyun'a.]

Адамович Г. Литературная неделя. «Вечер у Клер» Г. Газданова // Иллюстрированная Россия. 1930. 8 марта, № 11. [Adamovich G. Literaturnaya nedelya. «Vecher u Kler» G. Gazdanova // Ill'ustrirovannaya Rossiya. 1930. 8 marta, № 11.]

Адамович Г. Темы // Новая газета. 1931. 15 апр. № 4. С. 3. [Adamovich G. Temy // Novaya gazeta. 1931. 15 apr., № 4. S. 3.]

Вейдле В. Газданов: История одного путешествия. — Дом книги. Париж // Русские записки. 1939. № 14. С. 200—201. [Veidle V. Gazdanov: Istorija odnogo puteshestviya. — Dom knigi. Parizh // Russkie zapiski. 1939. № 14. S. 200—201]

Вейдле В. Русская литература в эмиграции. Новая проза // Возрождение (Париж). 1930. 19 июня. [Veidle V. Russkaya literatura v emigratsii. Novaya proza // Vozrozhdenie (Parizh). 1930. 19 iyun'a.]

Газданов Гайто. Собрание сочинений : в 5 т. М., 2009. 880 с. [Gazdanov, Gaito. Sobr. soch. : v 5 t. M., 2009. 880 s.]

Диенеш Ласло. Гайто Газданов. Жизнь и творчество. Владикавказ, 1995. 304 с. [Dienesch Laslo. Gaito Gazdanov. Zhizn' i tvorchestvo. Vladikavkaz, 1995. 304 s.].

Зайцев К. «Вечер у Клер» Гайто Газданова // Россия и славянство. 1930. 22 марта, № 69. [Zaitsev K. «Vecher u Kler» Gaito Gazdanova // Rossiya i slav'anstvo. 1930. 22 marta, № 69].

Критика о творчестве Г. Газданова // Современное русское зарубежье. М., 1998. С. 411—422. [Kritika o tvorchestve G. Gazdanova // Sovremennoe russkoe zarubezh'e. M., 1998. S. 411—422.]

Осоргин Мух. [Осоргин М.]. «Вечер у Клер» // Последние новости. 1930а. 6 февр. [Os. Mikh. [Osorgin M.]. «Vecher u Kler» // Poslednie novosti. 1930a. 6 fevr.].

Осоргин М. Книга Чисел // Последние новости. 1930б. 20 марта. [Osorgin M. Kniga Chisel // Poslednie novosti. 1930b. 20 marta.]

Очуп Н. Гайто Газданов. Вечер у Клер. Изд-во Я. Е. Поволоцкий и К. Париж, 1930 // Числа. 1930. № 1. С. 232—233. [Otsup N. Gaito Gazdanov. Vecher u Kler. Izd-vo Ya. E. Povolotskii i K. Parizh, 1930 // Chisla. 1930. № 1. S. 232—233.]

Ремизов А. М. [Ответ на анкету «Самое значительное произведение русской литературы последнего пятилетия】 // Новая газета. 1931, 1 апр. № 3. [Remizov A. M. [Otvet na anketu «Samoe znachitel'noe proizvedenie russkoi literature poslednego p'atiletiya】 // Novaya gazeta. 1931. 1 aprel'a. № 3.]

Слоним М. Литературный дневник. Два Маяковских. Роман Газданова // Воля России. 1930а. № 5/6. С. 446—457. [Slonim M. Literaturnyi dnevnik. Dva Mayakovskikh. Roman Gazdanova // Volya Rossii. 1930a. № 5/6. S. 446—457.]

Слоним М. Новый эмигрантский журнал («Числа». № 1. Париж, 1930) // Воля России. 1930б. № 3. С. 299—302. [Slonim M. Novyi emigrantskii zhurnal («Chisla». № 1. Parizh, 1930) // Volya Rossii. 1930b. № 3. S. 299—302].

Федякин С. Р. Русская литература XIX века в творчестве Гайто Газданова // Гайто Газданов в контексте русской и западноевропейских литератур. М., 2008. С. 18—19. [Fedyakin S. R. Russkaya literatura XIX veka v tvorchestve Gaito Gazdanova// Gaito Gazdanov v kontekste russkoi i zapadnoevropeiskikh literatur. M., 2008. S. 18—19.]

Ходасевич В. Ф. Летучие листы. «Числа» // Возрождение. 1930. 27 марта. [Khodasevich V. F. Letuchie listy. «Chisla» // Vozrozhdenie. 1930. 27 marta.]

Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. Т. 13 : Пьесы, 1895—1904. М., 1978. 527 с. [Chekhov A. P. Poln. sobr. soch. i pisem : v 30 t. T. 13 : P'esy. 1895—1904. M., 1978. 527 s.]

Яновский В. С. Поля Елисейские. СПб., 1993. 278 с. [Yanovskii V. S. Polya Eliseiskie. SPb., 1993. 278 s.]

Статья поступила в редакцию 03.10.2013 г.

УДК 821.161.1 Газданов + 94(100)“1939/45” + 325.2

Ю. В. Матвеева

СОВЕТСКИЙ МИР В ВОСПРИЯТИИ И ОЦЕНКАХ ГАЙТО ГАЗДАНОВА

На материале литературного наследия Гайто Газданова (художественные и публицистические тексты, критика, письма) рассматривается проблема сложного отношения писателя к советской России, ее идеологии, политике и культуре. Выделяются три периода в развитии взаимоотношений Газданова с советским миром: 1) 1920—1930-е гг., когда еще была допустима мысль о возвращении; 2) Вторая мировая война и послевоенные годы — время человеческого сближения с советскими людьми, а потом вторичного самоопределения относительно советской политики; 3) работа на радио «Свобода».

Ключевые слова: Гайто Газданов; русская эмиграция; советский мир; Вторая мировая война, радио «Свобода»; советская литература; русская эмигрантская литература.

Взаимоотношения с советской Россией многое определяли в русском эмигрантском сообществе. Это был как раз тот камень преткновения, о который разбивались семьи, многолетние привязанности, человеческие жизни. Можно вспомнить здесь и семью М. Цветаевой, и суд над Н. Плевицкой, страшную ее кончину во французской тюрьме, возвращенческие истории А. И. Куприна, А. Н. Толстого, В. Шкловского, А. Вертиńskiego, Ант. Ладинского, В. Сосинского, трагический финал митрополита Евлогия, крушение всежизненной дружбы И. А. Бунина и Б. К. Зайцева, печальный конец Д. С. Мережковского и П. Н. Краснова. Конечно, это лишь те случаи, которые всем хорошо известны и не нуждаются в комментариях, но и по ним можно догадаться о той душевной и психологической драме, которую русские эмигранты переживали; каждый, разумеется, по-своему.

В одном из своих эссе поэт Б. Поплавский писал, что «с Россией у каждого... свои личные счеты, в тайну которых невозможно проникнуть со стороны» [Поплавский, с. 123]. Однако ясно, что эта тайна часто и до сих пор остается непроницаемой, а тема взаимоотношений белых эмигрантов с их бывшей Родиной сложна, трагична, неоднозначна.

Никто из эмигрантов не избежал необходимости сделать выбор или хотя бы высказаться по существу, т. е. самоопределиться относительно советской власти и Советской страны. Отношение это менялось во времени в зависимости от поворота личных судеб, конкретных обстоятельств и общего хода истории: одна ситуация была в начале 1920-х, сразу после Гражданской войны, другая — в 1930-е гг.; новое качество взаимоотношений с Советским Союзом возникло во время Второй мировой войны, потом (после 1946 г., ознаменованного указом о восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи) наступил еще один этап. Словом, тема неисчерпаемая и уж конечно же заслуживающая большого развернутого исследования¹. В пределах же данной статьи постараемся к ней прикоснуться, так сказать, в частном аспекте и показать, как этот сложный, островолющий, изменчивый диапазон смыслов, связанных с советским миром, нашел свое непосредственное отражение в литературной рефлексии Гайто Газданова. Оговоримся сразу, что под литературной рефлексией понимаем не только художественное творчество писателя, но и его критические и публицистические тексты, эпистолярное наследие, записи выступлений на радио. В общем, все дошедшие до нас словесные проявления его личности, по которым можно судить о его взглядах, пристрастиях и оценках.

Как писатель Газданов вернулся в Россию сравнительно поздно, накануне окончательного исхода советской власти, когда в 1990 г. вышли составленные Ст. Никоненко и Р. Х. Тотровым три сборника его прозы [см.: Газданов, 1990а; 1990б; 1990в]. И это несмотря на то, что, например, в Осетии о нем давно знали, и Аза Асламурзаевна Хадарцева вступила с ним в переписку еще в середине 1960-х гг. Скорее всего, у Газданова, как и у Б. К. Зайцева, в советских органах безопасности был имидж закоренелого антисоветчика, ярого врага советской власти. Да и как мог выйти в свет роман «Вечер у Клэр» или роман «Ночные дороги» (оба были посланы Хадарцевой), когда их автор многие годы возглавлял русскую службу на радио «Свобода»². Сотрудничать с этой радиостанцией, возглавлять редакцию русского отдела по советским меркам автоматически означало находиться среди ярых антисоветчиков. Любой бывший гражданин СССР, слушавший «Свободу» в конце 1960-х — 1970-е гг., помнит, сколь горячи и далеки от индифферентности были передачи этого радио, каким мощным был разоблачительный пафос его голосов.

Газданов никогда не был человеком политики, но так случилось, что последние без малого двадцать лет жизни был к ней приобщен, и сомнений в его позиции, хотя бы в силу служебного положения, быть не могло. Комментируя эту сторону жизни и эту сферу деятельности Газданова, Т. Н. Красавченко во вступительной статье к пятому тому собрания сочинений писателя с пониманием и сочувствием пишет: «Очевидно, что работа на «Свободе», учреждении,

¹ Тема взаимоотношений эмигрантов с советской Россией была поднята и, пожалуй, впервые укрупнена в кн.: [Ваксберг, Герра].

² Как сообщает первый биограф Газданова Л. Диенеш, Газданов начал работать на радио «Свобода» 7 января 1953 г., с момента создания станции [Диенеш, с. 81].

идеологически ориентированном, была для него нелегким выбором. И в эмигрантской среде, и для французов — это означало работу “на американцев”, “на ЦРУ” и зачастую вызывало осуждение. <...> Из писем Газданова видно, что у него скребли кошки на душе» [Красавченко, 2009, с. 5]. О необходимой тенденциозности, которой нужно было следовать, говорит и Л. Диенеш. Однако оба исследователя не случайно подчеркивают внутренний драматизм положения, в котором оказался Газданов, ведь, как ни парадоксально, из огромного ряда писателей русского зарубежья он-то как раз всегда был одним из самых независимых и объективных, и нет ничего более несправедливого, чем однозначное представление о нем.

Поучаствовав в Гражданской войне и оказавшись за границей в семнадцать лет, Газданов начинает жизнь эмигранта, в которой энергия притяжения и отталкивания от возникшей и крепнущей с годами советской действительности/культуры/идеологии непрерывно давала о себе знать. У него не было личных счетов с большевиками, из Гражданской войны он вынес трагический личный опыт, но не заряд ненависти. Идейным белоэмигрантом не был. Об этом говорит его проза 1920—1930-х гг., где Россия, объяятая Гражданской войной, предстает скорее в романтическом свете [см. об этом: Матвеева]. В эти годы Газданов, по-видимому, вообще допускает для себя возможность вернуться в Россию. Вот, например, он пишет в 1924 г. из Парижа своему другу Никите Муравьеву (начитавшись предварительно «Писем не о любви» В. Шкловского, что важно, т. к. заканчивались эти «Письма...» обращением во ВЦИК с просьбой вернуться, о чем, собственно, помышляет и Газданов): «Я не могу сейчас поехать в Россию — только потому, что я не знаю еще французского, немецкого и английского, и я не был в Лондоне и Берлине. <...> Я не хочу ехать в Россию невежественным эмигрантом, забывшим русское, отставшим от России — и не увидевшим, что такое Европа» [Газданов, 2009, с. 26]³.

В 1935 г. Газданов обращается к Горькому «с просьбой о содействии», где выражается вполне определенно: «Я хочу вернуться в СССР, и если бы Вы нашли возможнымказать мне в этом Вашу поддержку, я был бы Вам глубоко признателен. <...> В том случае, если бы Ваш ответ — если у вас будет время и возможность ответить — оказался положительным, я бы тотчас обратился бы в консульство и впервые за пятнадцать лет почувствовал, что есть смысл и существования, и литературной работы, которые здесь, в Европе, не нужны и бесполезны» [т. 5, с. 43]. Последние слова не были для Газданова (абсолютно лишенного способности лицемерить) преувеличением. Взгляд его в то время на эмигрантскую литературу, особенно на «молодую» эмигрантскую литературу, был пессимистически-бездрадным: в 1931 г. напечатаны его «Мысли о литературе», а немного позднее письма к Горькому, в 1936 г. в «Современных записках» вышла скандально известная статья «О молодой эмигрантской литературе».

³ Далее все тексты Г. Газданова цитируются по этому изданию с указанием в скобках соответствующего тома и страницы.

Кроме того, оба десятилетия (1920–1930-е) Газданов активнейшим образом читает советских авторов. В письмах к Н. Муравьеву 1924 г. не только упоминает Есенина, Пастернака, Тихонова, Шкловского, Эренбурга, но посыпает переписанные от руки стихи — «Москву кабацкую», «Песнь о хлебе», «Исповедь хулигана», знаменитые тихоновские баллады — и о синем пакете, и о гвоздях, и об отпускном солдате. «Есть еще стих Тихонова, — тоже сила у него — страшная подчас, — волосы могут дыбом встать» [т. 5, с. 28]; «У Пастернака — совсем изумительные стихи, — я не всегда их сразу понимаю» [т. 5, с. 25]. Подобные отклики говорят об искреннем и восторженном интересе к литературе, создаваемой в советской России. Вернее, эта литература еще не маркируется начинающим прозаиком как «советская», она просто зажигает, служит примером.

Позднее, в конце 1920-х–1930-е гг. (и это вполне закономерно) формой отклика на советскую литературу станет для Газданова жанр критической рецензии. Причем написано их больше, нежели размещено в эмигрантских изданиях. Благодаря опубликованным архивным материалам в пятитомном собрании сочинений писателя мы можем отчасти воспроизвести тот ряд произведений и авторов, на которые он откликнулся. Это И. Эренбург, А. Мариленгоф, А. Толстой, В. Катаев, Е. Зозуля. Газданов становится сдержаннее и строже, его критика теперь вполне профессиональна, но, что важнее всего, он по-прежнему читает литературу, созданную по ту сторону советской границы.

Надо сказать, что к советским писателям Газданов предъявляет требования самого высокого уровня, не стесняясь уничтожающих выводов и жесткой иронии. Эренбург для него — «меньше всего писатель и уж никак не беллетрист», «журналист» «с небольшим запасом идеиного баланса», разменивающийся на «грошовую литературу» [т. 1, с. 763]. Мариленгоф имеет лишь одно достоинство — «книги он пишет довольно короткие» [т. 1, с. 766]. Даже А. Толстой с его «Петром Первым» — «самый лучший из второстепенных писателей», который «лишен, однако, тех качеств, которые могли бы сделать его имя мировым» [т. 1, с. 767].

В рецензии 1930 г. на сборник рассказов В. Катаева «Отец» ощущается, что Газданов к этому времени прекрасно разобрался в процессах, происходящих с литературой в советской России: усиление партийного диктата, уничтожение индивидуальности творца. Теперь для Газданова это именно «советская литература», т. е. литература, всецело поставленная на службу идеологии: «Нынешний период российской литературы особенно скучен и тяжел: витрины литературных магазинов заполнены колхозными, ударными и прочими повестями, за которые берутся юркие полужурналисты, полуспекулянты, но меньше всего литераторы» [т. 1, с. 770]. Безотрадный советский контекст придает книге В. Катаева, как считает Газданов, особое значение: «Теперь, когда произведения не непосредственно пропагандного илиcommentаторского характера становятся в России редкостью, — этой книге читатель должен обрадоваться» [Там же, с. 769]. Те же мысли о советской литературе, но с большим размахом философского обобщения будут высказаны Газдановым в его программной

статье «Мысли о литературе»: «...советская литература является событием еще небывалым в мировой истории культуры, она биологически не похожа на литературу-искусство в том смысле, в каком мы привыкли это понимать» [т. 1, с. 732].

Газданов, активно участвующий в литературной жизни русского Парижа, много читающий и пишущий, вырабатывающий именно в эти годы свою эстетическую и философско-этическую платформу, в то же время постоянно оглядывается на советскую литературу и советских авторов, причем, не отделяет ее от всего того, что происходит в эмигрантской литературе и даже в литературе европейской. Так, в вышеупомянутой статье «Мысли о литературе» Газданов одинаково скептически рассуждает о некой вульгаризации, которая в равной мере присутствует и в литературе эмиграции, и в литературе советской: «Есть еще одно любопытное явление, несколько приближающее эмигрантскую литературу к советской — в одном определенном смысле: как здесь, так и там в искусство насильственно вводятся “инородные тела”. Там — это пятилетка и строительство, здесь — это религия и какой-то своеобразный патриотизм, с подлинным патриотизмом имеющий очень мало общего» [Там же, с. 734].

В другой статье («Литература для масс»⁴), тоже посвященной литературе современной, в частности проблеме ее культурной миссии, Газданов рассматривает советскую литературу как неудавшуюся утопию, неудавшуюся попытку реализовать исконную просветительскую и оккультуривающую миссию искусства слова. Неудачную — потому что подлинной «литературы для масс» (в идеальном, лучшем смысле этого слова) не получилось, ибо «теперешняя советская литература, подчиняющаяся политической администрации, вынуждена издавать книги заведомо плохие» [Там же, с. 755].

Возвращаясь к «советским» рецензиям Газданова, можно назвать еще одну, тоже по каким-то причинам не опубликованную вовремя, но важную для понимания человеческой позиции писателя: она посвящена документальной книге руководителя спасательной экспедиции ледокола «Красин» Р. Л. Самойловича «SOS в Арктике». Конечно, книга Самойловича не могла не понравиться Газданову и как проза непридуманная, обращенная к экстремальным обстоятельствам и людям, оказавшимся один на один со смертью, и потому что написана она не литератором-профессионалом, а человеком действия — свидетелем и участником событий. Газданов откровенно радуется за красинцев, за советских авиаторов Чухновского и Бабушкина, «которым, собственно, экипаж “Италии” и обязан своим спасением» [Там же, с. 771]. И здесь говорит уже не молодой и весьма взыскательный писатель-западник, а русский патриот, который «не без некоторой эгоистической гордости» констатирует, что «русскому экипажу “Красина” и русским авиаторам принадлежит в этих событиях самая почетная роль» [Там же, с. 772].

⁴ Статья сохранилась в архивах писателя и была опубликована только в пятитомном собрании его сочинений.

Таким образом, уже в этот довоенный период в газдановских оценках советской культуры, литературы и общества, а также в самом поведении писателя по отношению к советской стороне присутствуют разные коннотации. Газданов никогда не заигрывал с советской властью: не подавал прошений в советское посольство, не участвовал в евразийстве, не был членом Союза друзей Советского Отечества. Однако был готов в 1935 г. вернуться в СССР, печатался, как замечает Т. Н. Красавченко, «в основном в левых, по преимуществу эсеровских изданиях», никогда не в монархических [Красавченко, 2004, с. 108], находился в самых лучших отношениях с редактором «Воли России» М. Слонимом и писателем М. Осоргиним, людьми исключительно демократических взглядов и репутаций. В художественном творчестве Газданова 1920–1930-х гг., и это показательно, рефлексия на советский мир (но не рефлексия на Гражданскую войну) отсутствует.

Следующим этапом соприкосновения с советским менталитетом, советским образом жизни и мышления, с советской психологией и идеологией станет для Газданова период Второй мировой войны и последовавшие за ним годы. Биография Газданова этого времени в самых общих и главных чертах хорошо известна. Писатель занимал однозначно антифашистскую позицию, вместе с женой участвовал в Сопротивлении, где узнал многих советских людей, разными путями оказавшихся во Франции и продолжающих здесь сражаться всеми возможными для них способами. О них Газданов напишет книгу «*Je m'engage à défendre*», которая выйдет на французском языке в 1946 г., и это будет беспрецедентный в эмиграции акт не только узнавания людей нового советского мира, но и увековечивания памяти об их героизме. Причем увековечивания и во французской военной истории (французский язык книги), и, как ни парадоксально, в военной истории советской. Газданов прекрасно понимает, что «сами о себе они (советские партизаны. — Ю. М.) не напишут и даже не расскажут», а потому должен найтись кто-то, чье свидетельство поможет утвердить справедливость и «благодарность над забвением». Роль такого свидетеля он и берет на себя, всячески подчеркивая свою незаинтересованную позицию («...я не советский гражданин и не коммунист» [т. 2, с. 694]), чтобы акцентировать объективность собственных показаний. Об этой книге Газданова в последнее время немало написано, поэтому остановимся лишь на том аспекте узнавания советских людей, который непосредственно связан с нашей темой.

Создавая документальное повествование, Газданов, конечно, идет тем же путем, что и в своей художественной прозе, т. е. раскрывает главным образом не ход событий, а эмоционально-психологические движения и катаклизмы, происходящие внутри человека. Так, портреты советских людей в книге «На французской земле» выстраиваются в целую галерею человеческих образов. Это мужчины и женщины, представители разных возрастных групп, включая подростков. В том, как они схвачены, как изображены, ощущается писательское мастерство Газданова, узнается его давно сложившаяся система типологизации персонажей. Неуловимый конспиратор Антон Васильевич, наделенный способностью к «своеобразной социальной мимикрии», заставляет вспомнить

обо всех героях Газданова, обладающих гибкостью души и понимания, особым жизненным слухом и артистизмом. Капитан Васильев, командир партизанского отряда, человек с «решительным выражением глаз», поддерживающий «строжайшую дисциплину», а с другой стороны — мастер рассказов и заядлый любитель рыбной ловли, вписывается в огромную парадигму газдановских персонажей, способных вести двойное существование — внешнее и внутреннее, в прошлом и в настоящем. Советские девушки обладают теми качествами, которые столь ценит Газданов во многих своих героях — стихийной гармоничностью, близостью к природе, особой теплотой.

Но чаще всего в описаниях советских людей сквозят черты наиболее романтических героев Газданова. Вот, например, образ лейтенанта Василия Порика. С его невероятной силой и выносливостью, с его удивительной крепостью духа и способностью к какому-то запредельному, почти былинному героизму («Бой продолжался три часа... <...> Порик был один — против тридцати человек...» [т. 2, с. 609]) он явно продолжает ряд таких газдановских персонажей, как Данил Живин («Вечер у Клэр»), Мартын Расколинос («Мартын Расколинос»), Павлов («Черные лебеди»), Артур Томсон («История одного путешествия»). Те же проявления героически-чрезмерного, годные для средневекового эпоса, Газданов замечает и в других советских людях, и вообще в той силе сопротивления, на которую они оказались способны: тринадцатилетний мальчик превращает свою короткую жизнь в сплошную охоту на немцев, сбежавший из плена Антон Васильевич и двое его товарищей организовали партизанский отряд, который через месяц насчитывал 18 тысяч человек. Примечательно, что качество этого героизма и его масштабы связываются Газдановым именно с советским периодом российской истории: «И вот оказалось, что с непоколебимым упорством и терпением, с неизменной последовательностью Россия воспитала несколько поколений людей, которые были созданы для того, чтобы защитить и спасти свою родину. <...> И если бы страна находилась в таком состоянии, в каком она находилась летом 1914 года, — вопрос о Восточном фронте очень скоро перестал бы существовать. Но эти люди были непобедимы» [Там же, с. 732—733].

Через все повествование отдельной вычленяемой нитью проходит тема антропологических, психологических, социальных и бытовых наблюдений над советскими людьми. И здесь зоркость Газданова, способность его к глубоким социологическим обобщениям проявились в полной мере. Он отмечает совершенно разные вещи, сумма которых дает достаточно объективное представление о советском человеке в восприятии европейца. Прежде всего это чисто физиognомические свойства: «у них... удивительные голоса», которым присуща «какая-то другая тональность»; «телесная выразительность»; невероятная «физическая сопротивляемость»; «тяготение к природе»; «у огромного большинства из них... неевропейские лица». Замечает Газданов и особенности психологические, связанные с системой воспитания и окружающей социальной действительностью: «они чаще всего избавлены от забот о насущном хлебе» и питают к государству «безграничное, без тени сомнения, доверие», «не чувствуют, так сказать, контуров режима, они не представляют себе ничего другого»;

«не представляют себе жизни вне чего-то ударного»; «быстрая приспособляемость к внешним условиям жизни»; «у них нет быта»; о девушки Наташе: «как большинство советских людей, ее тянуло к культуре», она «очень много читала», ее мир тот же, что «был характерен для девушек ее возраста 20–30 лет назад», но «в ней не было, пожалуй, того движения идей, той свободы сравнительного суждения, которая существовала раньше» [т. 2, с. 683].

Кроме того, и это особенно интересно, Газданов говорит о принципиальных отличиях советского человека от европейца — об «огромной, непроходимой разнице, которая существует между системой их [советских партизан] понятий и тем, что можно было бы назвать среднеевропейскими социальными и экономическими концепциями» [Там же, с. 630]: «они все выросли и воспитались в таких условиях, о которых Европа не имеет представления», отсюда — другое понятие собственности: «они не могут понять, как кафе или магазин могут принадлежать какому-то частному человеку», не знают, что такое государственная монополия, что такое стремление к личному обогащению [Там же, с. 632], им «непонятна привязанность к вещам или книгам, ценность тех или иных предметов» [Там же, с. 632]; не понимают советские люди и бытового уклада европейцев: «эти нагло закрытые квартиры», «эта замкнутость в других». Из многочисленных наблюдений и замечаний видно, что Газданов действительно сформировал объемное представление о советских людях. Конечно, он много не знал, о многих вещах мог судить по тем ортодоксальным реакциям, которые были характерны отнюдь не для всех, но лишь для истинно «простых» советских граждан, выросших под влиянием идеологии. И все-таки, когда писатель признается: «Теперь, после того, как я встречался и подолгу говорил обо всем со многими советскими людьми, мне кажется, я себе представляю их довольно ясно» [Там же, с. 614], нет сомнений, что он имел право на эти слова.

Однако, в отличие от «военных» книг, например книг В. Андреева («Дикое поле», 1966; «Герои Олерона», 1965), вышедших в СССР, книга Газданова о советских партизанах во Франции так и осталась неизвестна российскому читателю вплоть до 1995 г.⁵ Ни участие в Сопротивлении, ни знакомство с живыми, реальными советскими людьми не заставили Газданова взять советский паспорт, как это сделали друзья его юности В. Сосинский, Н. Муравьев, как это сделали В. Андреев, Ант. Ладинский, ободренные и обольщенные советской победой и постановлением 1946 г. Как и в 1930-е гг., Газданов опять остается при своем мнении.

Ситуация второй половины 1940-х гг. и логика человеческого поведения Газданова подробно рассматриваются в исследованиях Л. Диенеша и Т. Н. Красавченко. Но в качестве примера широты и демократизма взглядов Газданова послевоенного периода нельзя не упомянуть вслед за ними письмо, написанное в ноябре 1947 г. секретарю Союза русских писателей и журналистов в Париже В. Ф. Зеелеру, где в самой вежливой и уважительной форме Газданов заявляет о своем выходе из Союза в знак глубокого несогласия с исключени-

⁵ Впервые на русском языке появилась в журнале «Согласие» в 1995 г.

ем из него писателей, получивших советские паспорта. В письме Газданов говорит о том, что решающим для него фактором в отношении конкретных людей являются «правила элементарной порядочности» и абсолютно непримлемы «начала тоталитарной “идеологии”». Это при том, что сам Газданов именно на почве взаимоотношений с СССР разошелся с некоторыми из своих старых друзей, а всеобщее увлечение советским патриотизмом заставило его насторожиться, стать критичнее и сдержаннее по отношению к советской стороне. Эту настороженность, эту нравственную разборчивость, или, как выражается сам писатель, «политическую брезгливость», демонстрируют, в частности, его письма Б. К. Зайцеву 1946 г., где Газданов спрашивает совета, а потом благодарит «за разъяснения» по поводу альманаха «Подорожник», политическая ориентация которого ему неясна: «Мне очень хотелось бы знать, в чем дело, т. к. мне меньше всего улыбается перспектива “влипнуть” в какое-нибудь политическое недоразумение и напечатать свою вещь рядом с каким-нибудь “гениальным товарищем Сталиным” или “великими заветами Ленина”» [т. 5, с. 69]; «Кроме того, я полагаю, что если бы какому-нибудь эмигрантскому писателю непременно хотелось бы заслужить благоволение советского правительства, то он бы и без «Подорожника» легко нашел бы к этому путь. Мне лично подобное желание идеально чуждо» [Там же, с. 70].

В целом, Газданов оказался гораздо более чутким и прозорливым, чем многие современники-эмигранты. Не случайно именно в 1940-е гг. размышления о теоретико-философских и политических основаниях такого государства, каким виделась ему Советская Россия, проникают в его художественное творчество: герой предвоенного романа «Ночные дороги» эмпирическим путем опровергает идею возможного социального и интеллектуального равенства, а герой романа «Возвращение Будды» погружается в абсурдную и зловещую реальность тоталитарного государства.

Вспомним, что первая редакция «Возвращения Будды» датирована 1948-м г. В конце 1947 г. написано письмо В. Ф. Зеелеру. К этому же времени относится и еще одно свидетельство позиции Газданова — его масонский доклад на тему «Советская проблема (новый правящий класс)», который, как сообщает А. И. Серков на основе сохранившихся архивных данных, был прочитан 8 апреля 1948 г. [Серков, с. 730]. Из совокупности этих сгруппированных во времени фактов видно, что «советская проблема» в 1940-е гг. и особенно после войны остро волновала Газданова. Во всяком случае, после 1946 г. он не занял просоветских позиций, как многие патриотически настроенные эмигранты. Органичное для него отторжение любого антииндивидуального, антиличностного начала было, скорее всего, главным аргументом в пользу Запада.

В 1953 г. настал новый период в жизни писателя, связанный с работой на радио «Свобода», где под псевдонимом Георгий Черкасов он был автором-редактором русской службы и корреспондентом Парижского бюро радио «Свобода», главным редактором русской службы в Мюнхене⁶. В 1930–1940-е гг.

⁶ Эти должности называет в своей книге Л. Диенеш [Диенеш, с. 81].

занимались журналистикой герои газдановских романов, и вот теперь сам автор, словно претворяя в жизнь собственные вымыслы, становится радиожурналистом.

О взглядах Газданова этого периода можно судить по сохранившимся записям его радиопередач, письмам, масонским докладам. Трудно представить себе, чтобы Газданов мог пойти на американское радио «Свобода», не имея никакой положительной цели по отношению к России и русской культуре. «Учитывая характер Газданова, — пишет Т. Н. Красавченко, — можно предположить, что он выбрал радио «Свобода», руководствуясь желанием говорить правду, просвещать тех, кому морочили головы» [Красавченко, 2004, с. 112]. По сути дела, Газданов в затянувшейся игре между русской эмиграцией и советской властью делает свою ставку, причем не маленькую. И вполне естественно, что его любимым полем для идейной полемики становится поле культуры и литературы.

Писательский профессионализм и художественный дар Газданова обретают еще одно воплощение в форме целого ряда авторских культурно-политических программ: «В мире книг», «О книгах и авторах», «Беседы за круглым столом», «Перед занавесом», «Дневник писателя». Георгий Черкасов беседует по актуальным вопросам культуры с В. Вейдле, Г. Адамовичем, Н. А. Струве, заказывает «скрипты» и организует выступления таких интересных авторов, как Ю. Иваск и Л. Ржевский, создает собственную серию радиомонологов, среди которых можно выделить комментарии («О нашей работе»), юбилейные речи и посвящения («О Б. К. Зайцеве», «Федор Степун», «Об Алданове»), словесные портреты («Андреа Каффи», «О Ремизове»), рецензии («Русская поэзия на французском языке»), размышления по поводу («Оценка творчества и испытание временем», «Пропаганда и литература», «По поводу Сартра»). Из сохранившихся записей видно, что Газданов как радиожурналист и редактор преследует две цели: просветительскую и аналитическую - разоблачительную. Своей аудитории — советской интеллигенции — он стремится рассказать о том, о чем она наверняка не знает: об эмигрантских писателях, философах и ученых, о неизвестных советскому читателю произведениях. Так, в передаче о Бунине («О нашей работе № ») Газданов оговаривает свой интерес к «Воспоминаниям» Бунина именно тем, что в СССР они не были изданы. Целый ряд передач посвящен представителям европейской (Ж. П. Сартру, М. Прусту, П. Валери) и русской эмигрантской (Ф. Степуну, Б. Зайцеву, А. Ремизову, М. Алданову) культуры.

С другой стороны, Газданов предлагает своим слушателям темы с явным социально-политическим уклоном: о соотношении литературы и общества, литературы и политики, социального и художественного начала в литературном творчестве. И здесь Газданов достигает настоящего диссидентского пафоса (не случайно «Свобода» являлась одним из главных оплотов диссидентов): разбивает советские святыни и официально чтимые авторитеты, саркастически высмеивает основополагающие принципы «злополучного соалистического реализма» [т. 4, с. 371], активно защищает опальных авторов — Пастернака, Солженицына, вообще подпольную литературу», которую называет, пере-

фразируя знаменитые слова Герцена, «обвинительным актом против диктатуры» [Там же, с. 380].

Одна из наиболее характерных в этом смысле записей — передача на тему «Пропаганда и литература». Чтобы изложить свое понимание советской литературы и советского процесса, Газданов мастерски использует форму диалога, в котором один собеседник — наивный иностранный журналист, увлеченный советской культурой, а второй — сам автор, открывающий ему глаза на истинное положение дел. В этой форме своеобразного диалога-путеводителя Газданов дает вполне определенную картину советской литературы. Отметим здесь лишь узловые пункты его рассуждений. Во-первых, он очень хорошо представляет, что «советская литература — это Солженицын и Кочетов, Пастернак, Ахматова, Мандельштам — и Демьян Бедный, Лебедев-Кумач и Михалков» [Там же, с. 376]. Имена первого ряда Газданов причисляет к русской литературе, «остальное — литература советская» [Там же, с. 377]. Главным свойством, главным признаком советской литературы Газданов считает ее пропагандистский характер: «Литература с советско-партийной точки зрения должна быть прежде всего партийной, т. е. пропагандной» [Там же]. В преследовании своих «пропагандных» целей она достигает полного абсурда: «...не кто иной, как Хрущев, выступая на съезде писателей, сказал, что он считает прекрасной темой для романа тот факт, что в текущем году урожай картофеля превысил столько-то миллионов пудов» [Там же, с. 378]. «Цензура, — пишет Газданов, — всегда существовала в России», но «была запретительной», «а в советское время партийное руководство объясняет литераторам, что и как они должны писать» [Там же, с. 379]. Заканчивается передача словами, которые теперь кажутся пророческими: «Мне кажется, что эта литература станет русской тогда, когда она перестанет быть советской, то есть пропагандной и партийной. И это — мое личное убеждение — когда она вернется в то западное русло, из которого ее насилиственно вырвал режим невежественных фанатиков — как бы они ни назывались: Сталин, Хрущев или Брежnev» [Там же, с. 381].

Еще более резко подвергаются критике все устои советского официального искусства в масонском докладе, прочитанном по следам обсуждения в Союзе советских писателей «вопроса о Пастернаке». Газданов саркастически парирует высказанные в адрес Пастернака обличительные реплики многих вполне авторитетных советских литераторов, не оставляя, так сказать, камня на камне.

Но есть среди постоянных лейтмотивов выступлений Газданова еще один, весьма показательный не только для образа мыслей писателя 1960-х гг., но и для понимания тех внутренних духовных перемен, которые в нем происходили. Это устойчивый мотив сравнения эмигрантской и советской литературы. Он звучит в отдельных передачах, его акцентирует Газданов в своих репликах за круглым столом с другими писателями и критиками, он присутствует в письмах к тем корреспондентам, с которыми предварительно обсуждаются темы их выступлений — будущие «скрипты». Вот, к примеру, суждение Газданова, произнесенное на круглом столе «О русской зарубежной литературе»: «И вот то, чем отличается уровень произведений эмигрантской литературы от того, что писалось в Советском Союзе, начиная с тридцатых

годов, это то, что все здесь было действительно на уровне европейской литературы; здешнее было, в этом смысле, гораздо выше» [т. 4, с. 437]. В другом месте эта же мысль варьируется: «Советская литература до самого последнего времени носила какой-то провинциальный характер... в то время как эмигрантская литература все-таки старалась каким-то образом держаться на уровне европейском» [Там же, с. 447].

В письмах Л. Д. Ржевскому и Ю. П. Иvasку Газданов в плане совета предлагает все ту же тему. Ржевскому (22 января 1969): «Не хотели бы Вы написать, скажем, о литературной технике в Советском Союзе — о резком ее понижении по сравнению хотя бы с тридцатыми годами и о приближении к какому-нибудь бедному Златовратскому?» [т. 5, с. 230]; Иvasку (9 апреля 1970): «Я хотел бы предложить Вам для дальнейших передач — двух или трех — следующую тему, которая мне кажется заслуживающей внимания: органическая разница между теми путями, которыми шли за все эти годы — советская и эмигрантская литература. С одной стороны — провинциализм, наивная дидактика и возвращение к Златовратскому и Решетникову. С другой стороны — попытка (удавшаяся или нет, это другой вопрос) быть на уровне, скажем, европейской литературы и в смысле тематики, и в смысле литературной техники» [Там же, с. 179].

Настойчивость этой мысли — об отсталости советской литературы и европейском уровне литературы эмигрантской — заставляет думать, что, быть может, подобное слишком однозначное сравнение было для Газданова воплощением той самой необходимой и требуемой на «Свободе» конъюнктуры, которую он сознавал и которой тем не менее неизбежно поддавался. Если вспомнить высказывания Газданова 1930-х гг. на ту же самую тему, разница очевидна. Конечно, многого из того, что было создано в Советской России, Газданов не знал и просто не мог в 1950—1960-е гг. знать, но не понимать того, что понимали его собеседники по круглому столу Г. В. Адамович и В. В. Вейдле (подлинная литература должна рождаться на поверхности громадной толщи народной жизни, которой в эмиграции не было), — Газданов, разумеется, не мог.

Это видно, в частности, из его писем, где он с такой радостью, с такой готовностью поддержать относится ко всему «живому», пришедшему или вывезенному «оттуда» — из Советской России: уважительно и внимательно отвечает осетинской исследовательнице А. А. Хадарцевой, отыскавшей его в 1964 г. и завязавшей переписку; чистосердечно восхищается языком Л. Ржевского, который ему кажется «свежее и лучше нашего» (эмigrantского. — Ю. М.): «приятный, — не такой высохший, как у нас, проживших сто лет за границей» [т. 5, с. 207].

Леонид Ржевский, с его советским прошлым и непростой судьбой, вообще стал одним из самых любимых корреспондентов Газданова. Письма, ему адресованные, отличаются живостью интонации, сердечностью тона, многоаспектностью содержания, обилием игровых элементов. Часто Газданов использует в них (и это, без сомнения, говорит о его внимании к советской культуре и советской жизни вообще) различные советизмы, иронический смысл которых может понять и оценить корреспондент: «А о смерти думать не нужно — или

если думать, то, как говорят теперь на нашей родине, — “конструктивно”...»; «Нам, несчастным рабам капитализма, которые должны долбить все время какую-то примитивную ерунду — на уровне среднего колхозника, — это труднее» [т. 5, с. 208]; «По тому, насколько это безнадежно скучно, это можно сравнить разве что с толстой книгой о советском сельском хозяйстве» [Там же, с. 217]; «Что еще? Жалею, что у меня как-то не хватает времени, чтобы взяться за труд, давно задуманный: “История низового звена сельской кооперации в Вологодской области”. Жаль, тема хорошая» [Там же, с. 223]. Заметим еще в качестве особого наблюдения, что ни о советской политике, ни о военном прошлом и личной судьбе Ржевского в этих письмах нет ни слова. Если учесть сопротивленческий опыт Газданова, его восхищение непреклонностью и героизмом советских партизан, а с другой стороны — опыт Ржевского, ясно, что каким-то образом этот вопрос Газданов раз и навсегда для себя разрешил.

Конечно, с годами русских белых эмигрантов все дальше и дальше относило от России, от внутреннего понимания того, что в ней происходило. Внешнюю суть процессов они улавливали, ибо внимательно следили за всеми средствами информации, читали, что можно было прочесть, общались с советскими и бывшими советскими гражданами, которых в Европе становилось все больше, но все равно это был взгляд со стороны. Они сами это чувствовали. Чувствовали и зачастую пытались оправдаться перед собой, хотя в этом не было никакой нужды. В какой-то мере комплекс несуществующей вины был, по-видимому, присущ и Газданову, человеку чрезвычайно совестливому и гипертрофированно честному. Во всяком случае, этим можно было бы объяснить его переоценку в 1960-е гг. в сторону резкого повышения роли и заслуг эмигрантской литературы. Этим можно объяснить и какую-то очень сокровенную, а с другой стороны — беспомощно-оправдательную и неожиданную для Газданова реплику все в той же беседе за круглым столом с Адамовичем и Вейдле: «При всем моем преклонении перед чудесным дарованием Анны Ахматовой, есть у нее что-то такое в ее литературной позе, что меня почти коробит. Это, когда она писала... что осталась со своим народом “в несчастье”, как сказано в ее “Реквиеме”. Да, она осталась со своим народом и имеет право этим гордиться. Но она должна была бы признать... что если другие поэты и другие писатели уехали из России, то не для того, чтобы спасать свою шкуру и свои текущие счета, а для того, чтобы иметь возможность говорить что-то такое, чего в России сказать было нельзя. Я уверен, что это будет когда-нибудь признано» [т. 4, с. 446].

Сегодня ясно, что на этот риторический вопрос, адресованный будущему, так и не нашлось определенного ответа. Судьба и история — ее конкретное воплощение — разделили русский мир и русскую культуру, развели в разные лагеря русских писателей. Определять на вес сделанное и созданное ими — дело совершенно бессмысленное, еще бессмысленнее и опаснее определять при этом степень их личного бесстрашения, бескорыстия и готовности пожертвовать собой. Что же касается обобщений, делать их чрезвычайно трудно, ибо каждый раз нужно учитывать громадное множество субъективных и объективных обстоятельств, бесконечное множество нюансов, которые почти никогда

в двух похожих случаях не совпадают. Положиться можно лишь на то, что Газданов в письме Зеелеру назвал «правилами элементарной порядочности» и чему сам следовал неукоснительно.

Динамика же восприятия советского мира и советской культуры интереснейшим прозаиком первой волны эмиграции Гайто Газдановым лишь показывает, что эта тема — тема взаимоотношений эмигрантских писателей с советским миром — важна и значительна не сама по себе, а как инструмент понимания живой творческой личности художника, ментально устойчивого и неизбежно изменчивого в ней.

Ваксберг А., Герра Р. Семь дней в марте. Беседы об эмиграции. СПб., 2010. [Vaksberg A., Gerra R. Sem' dnej v marte. Besedy ob emigratsii. SPb., 2010.]

Газданов Г. Вечер у Клер : романы. М., 1990а. [Gazdanov G. Vecher u Kler : romany. M., 1990a.]

Газданов Г. Вечер у Клер; Ночные дороги; Призрак Александра Вольфа; Возвращение Будды. Владикавказ, 1990б. [Gazdanov G. Vecher u Kler; Nochnye dorogi; Prizrak Aleksandra Vol'fa; Vozvraschenie Buddy. Vladikavkaz, 1990b.]

Газданов Г. Призрак Александра Вольфа : романы. М., 1990в. [Gazdanov G. Prizrak Aleksandra Vol'fa : romany. M., 1990v.]

Газданов Гайто Собрание сочинений : в 5 т. М., 2009. [Gazdanov Gajto Sobranie sochinenij : v 5 t. M., 2009.]

Диенеш Л. Гайто Газданов. Жизнь и творчество / пер. с англ. Т. Салбиеva. Владикавказ, 1995. [Dienesh L. Gajto Gazdanov. Zhizn' i tvorchestvo / per. s angl. T. Salbieva. Vladikavkaz, 1995.]

Красавченко Т. Н. Русская литературная эмиграция и политика: феномен Гайто Газданова // Русское зарубежье: приглашение к диалогу : сб. науч. тр. Калининград, 2004. С. 108—115. [Krasavchenko T. N. Russkaya literaturnaya emigratsiya i politika: fenomen Gajto Gazdanova / Russkoe zarubezh'e: priglashenie k dialogu : sb. nauch. tr. Kaliningrad, 2004. S. 108—115.]

Красавченко Т. Н. Эпистолярное наследие // Газданов Г. Собр. соч. : в 5 т. М., 2009. Т. 5, С. 3—6. [Krasavchenko T. N. Epistolyarnoe nasledie // Gazdanov G. Sobr. soch. : v 5 t. M., 2009. T. 5, S. 3—6.]

Матвеева Ю. В. Самосознание поколения в творчестве писателей-младоэмигрантов. Екатеринбург, 2008. [Matveeva Yu. V. Samosoznanie pokoleniya v tvorchestve pisatelej-mladoemigrantov. Ekaterinburg, 2008.]

Поплавский Б. Ю. Человек и его знакомые // Поплавский Б. Ю. Собр. соч. : в 3 т. Т. 3. М., 2009. С. 120—124. [Poplavskij B. Yu. Chelovek i ego znakomye // Poplavskij B. Yu. Sobr. soch. : v 3 t. T. 3. M., 2009. S. 120—124.]

Серков А. И. Масонские доклады // Газданов Г. Собр. соч. : в 5 т. М., 2009. Т. 3, С. 729—7316. [Serkov A. I. Masonskie doklady // Gazdanov G. Sobr. soch. : v 5 t. M., 2009. T. 3, S. 729—7316.]

Статья поступила в редакцию 01.10.2013 г.

УДК 821.161.1-312.6 + 929 + 821.161.1 Варшавский +
+ 921.161.1 Поплавский

М. А. Васильева

БОРИС ПОПЛАВСКИЙ КАК ВИЗАВИ ВЛАДИМИРА ВАРШАВСКОГО

Самый эмигрантский из всех эмигрантских писателей Борис Поплавский

B. Варшавский. Незамеченное поколение

Борис Поплавский — один из центральных персонажей книги Владимира Варшавского «Незамеченное поколение» (1956). Писатель не только хорошо знал Поплавского лично и был его другом. Для Варшавского образ поэта являлся неотъемлемой частью русского Монпарнаса, его символом. К имени Бориса Поплавского писатель возвращался не раз, в том числе в докладе «Русский Монпарнас» (1974), в котором развернул полемику с американскими славистами. В этой полемике Варшавский выдвинул постулат о том, что поэт Поплавский «не полуфранцузский и не парижский, а эмигрантский, русско-монпарнасский». Доклад Варшавского вызвал живую реакцию у современников, что нашло отражение в ряде писем, которые, так же как и доклад, хранятся в архиве Дома русского зарубежья им. А. Солженицына.

Ключевые слова: литература русского зарубежья; американская славистика; архивные разыскания; Б. Поплавский; В. Варшавский.

В архиве Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына (фонд писателя В. С. Варшавского) (далее — ДРВ) хранится фрагмент доклада «Русский Монпарнас». Его автор — прозаик, в котором русские эмигранты видели «представителя, описателя и апологета русского парижского “монпарнаса”» [Шмеман, с. 263] благодаря нашумевшей книге «Незамеченное поколение» [Варшавский, 1956], видимо, придавал докладу большое значение. Во всяком случае, по свидетельству профессора Женевского университета Жоржа Нива (организатора Русского кружка при университете), это было единственное выступление Варшавского на заседании кружка.

Текст доклада (авторизованная машинопись с густой рукописной правкой) помещен в картонную папку с надписью «Доклад» вместе с приглашением, напечатанным на листке формата А 5, содержание которого приводим ниже:

ПРИГЛАШЕНИЕ

В среду 23 января состоится доклад писателя Владимира Сергеевича Варшавского на тему:

«РУССКИЙ МОНПАРНАС»

(русская литературная жизнь в Париже 30-х годов).

Доклад будет прочитан в 20 час. 30 мин. В аудитории № 48 Женевского университета.

Русский кружок

Год на приглашении не поставлен, текст доклада также не датирован. Однако судя по письму к Варшавскому одного из слушателей доклада — известного публициста и критика Марка Слонима, написанному на следующий же день после выступления (24 января 1974), а также по ряду писем Варшавского к Николаю Татищеву год легко восстановить. Уточнение года выступления Варшавского в Русском кружке привносит немало важных нюансов в контекст его обращения к межвоенному русскому Парижу. В 1974 г. Варшавский вместе с женой Татьяной Георгиевной Варшавской (урожд. Дерюгиной) переезжает в местечко Ферней-Вольтер под Женевой, впервые обосновывается в своем доме, «пускает корни». В середине 1970-х гг. писатель начинает вести дневник, где подводит итоги своих творческих и философских исканий. В 1974 г. он вовсю работает над новой редакцией «Незамеченного поколения», в которую вносит существенные дополнения (дает названия главам, пишет отдельную часть, посвященную евразийству, значительно перерабатывает главу о переволюционных течениях, главу о Национально-трудовом союзе и младороссах и т. д.); глава четвертая, которой в новой редакции дается название «Парижский русский Монпарнас», также подлежит переработке и обновляется во многом за счет фрагментов женевского доклада¹. В 1977 г. в парижской «Русской мысли» появляется статья «Монпарнасские разговоры» [Варшавский, 1977], также перекликающаяся с докладом «Русский Монпарнас». Однако важнейшая полемическая составляющая женевского доклада осталась за пределами этой публикации. Именно на полемический пафос доклада «Русский Монпарнас» и хотелось бы обратить внимание. Важным событием, послужившим своеобразным детонатором этой полемики и заставившим Варшавского на склоне лет снова и неоднократно обращаться к русскому Монпарнасу, стала публикация в американском журнале «TriQuarterly» (1973, № 27) тематического блока, посвященного Борису Поплавскому. Публикация была подготовлена соредактором журнала Семёном Карлинским, в нее, помимо статьи самого Карлинского «В поисках Поплавского. Коллаж» [Karlinsky, 1973], вошла статья Энтони Олкотта «Поплавский. Вероятный наследник Монпарнаса» [Olcott, 1973], а также стихотворения Бориса Поплавского и глава из его романа «Домой с небес» в английском переводе. Публикация появилась за несколько лет до выхода в свет трехтомного собрания сочинений Поплавского, подготовленного также Карлинским [см.: Поплавский, 1980—1981], что стало своеобразным подведением черты под многолетней работой американского слависта в деле изучения и популяризации творчества русского поэта-эмигранта.

Первое, что бросается в глаза при чтении статьи Карлинского в «TriQuarterly», — необычайная увлекательность повествования. Очевидно, что славистставил перед собой специальное задание — рассказать о малоизвестном русском поэте «первой волны» эмиграции американскому читателю на

¹ Текст доклада не опубликован. Новая редакция «Незамеченного поколения» подготовлена к изданию сотрудниками ДРЗ О. А. Коростелевым и М. А. Васильевой при участии Т. Г. Варшавской [см.: Варшавский, 2010].

«понятном» ему языке, ввести в загадочный и сложный мир Поплавского, используя доступные западному менталитету средства. Для этого Карлинский делает весьма остроумный ход: он не упрощает разговор о поэте и в то же время не надевает маску всезнающего мэтра², напротив, использует прием максимального сближения с читателем, который *hic et nunc* откроет для себя неизвестного писателя. Славист делится собственным опытом «первооткрывателя», когда впервые в начале 40-х услышал имя Поплавского, а потом прочитал его поэтический сборник «Флаги» в публичной библиотеке Лос-Анджелеса. Таким образом, автор выстраивает с читателем доверительный разговор, с каждым шагом дополняя и усложняя повествование и в то же время не изменяя глубоко личностной интонации, которая диктует в статье всю систему трактовки поэтики Поплавского.

Приводя цитату из статьи Николая Татищева «Борис Поплавский»³, Карлинский замечает: «Мое собственное впечатление, и оно остается одним из самых ярких за всю мою жизнь, было несколько другим. Я был поражен прежде всего яркими цветами, водоворотами метафор, подлинностью призрачного напряженного состояния, переданного в стихах» (здесь и далее перевод наш. — М. В.) [Karlinsky, p. 347]. Это замечание глубоко связано с целым рядом положений статьи Карлинского о влиянии изобразительного искусства и в том числе живописи самого Бориса Поплавского на его поэтику. «Неразрешимая дихотомия между поэзией и живописью — вот что составляет сильную визуальную природу его образов и большую часть его предмета. Согласно Терешковичу, Поплавский воспринимал себя в течение нескольких первых лет изгнания не как поэт, но как живописец», — замечает Карлинский [Ibid., p. 359]. Автор статьи приводит примеры наиболее «живописных» и «эмоциональных», с его точки зрения, стихотворений поэта («Лунный дирижабль» и «Весна в аду») в своем переводе, делая при этом следующую оговорку: «Мой английский язык не может воспроизвести пульсирующую музыку, которая исходит от этих строк на русском языке и при этом не передает искусственные рифмы. Есть страницы и страницы в этой небольшой книге, которые рождают эту смесь цвета и музыки» [Ibid., p. 347]. Отсюда логически следует еще одно наблюдение о предельной музыкальности стихов Поплавского. Если учесть, что Карлинский долгие годы профессионально занимался музыкой⁴, то его замечание носит характер исключительно предметного, музиковедческого анализа ритмической структуры стиха. Это наблюдение, помимо исследовательской составляющей, отмечено своеобразным «созданием»: «Я попробовал

² Начиная с 1950 г. Карлинский писал о Поплавском неоднократно [Karlinsky, 1967; 1977].

³ «Первое впечатление от «Флагов» было такое: звук чистый и щемящий. Понять почти ничего невозможно. Лишь иногда что-то прорвется и ужалит, «О Морелла, вернись, все когда-нибудь будет иначе». Тревога, волнованность. Стрелка барометра бьется на буре. Такое беспокойство, что его удается выразить лишь в умышленно приблизительных словах. Весь мир застыл в сновидческом состоянии, «где никто никого не любит», иногда на секунду мерещится, что вот-вот кошмар оборвется, случится чудо пробуждения, чудо избавления» [Татищев, с. 154].

⁴ В 1950-е гг. Карлинский учился в Ecole normale de musique de Paris у Артура Онеггера, а затем у Бориса Блахера в берлинской Staatliche Hochschule für Musik.

сочинить музыку на него, — признается Карлинский. — Я обнаружил, что строки “Артуру Рембо” могли быть спеты на мелодию для соло кларнета из “Франческа да Римини” Чайковского, и я действительно пел их одержимо» [Karlinsky, p. 349].

Таким образом, в случае со статьей в «*TriQuarterly*» мы имеем дело с подчеркнуто субъективным, глубоко личным опытом прочтения Поплавского и в то же время — с попыткой максимально объемной реконструкции образа поэта, на которого смотрит автор словно через разные грани призмы — как « рядовой читатель» и одновременно как профессиональный филолог, переводчик и музыкант. При этом историко-литературный контекст жизни и творчества Поплавского, литературная ситуация межвоенного Парижа (имена Ю. Терапиано, В. Варшавского, Г. Адамовича, В. Яновского, В. Ходасевича, Г. Иванова, В. Набокова и др.) вплетены в статью довольно искусно.

Публикация в «*TriQuarterly*» могла бы послужить примером как минимум увлеченного отношения к предмету и уже тем самым вызвать сочувственный отклик у автора «Незамеченного поколения». Между тем ряд основных положений статьи Карлинского спровоцировал жесткую критику Владимира Варшавского. Речь идет, в частности, об утверждении американского слависта прямой связи поэтических откровений Поплавского с его наркотической зависимостью. Самую же непримиримую критику вызвал пассаж о тотальном влиянии французской литературы на творчество поэта: «Я не так хорошо знал поэзию в это время, — пишет Карлинский, — чтобы распознать источники творчества Поплавского, французского влияния на него: Бодлер (оказавший самое большое на него влияние, чем кто бы то ни было, после Блока), Нерваль, Рембо, Лафорг, Аполлинер, Бретон. Я не знал тогда, как я знаю теперь, что Борис Поплавский был в некотором смысле очень хорошим французским поэтом, который принадлежит русской литературе главным образом лишь потому, что он писал на русском языке» [Ibid., p. 348]⁵. Обширный полемический ответ Варшавского прозвучал сперва в его докладе в «Русском кружке» и был продолжен и значительно дополнен в новой редакции «Незамеченного поколения», где, в частности, сказано: «Князь Д. Святополк-Мирский писал, что Борис Поплавский поэт скорее парижский, чем русский⁶. Семен Карлинский идет еще дальше: «Поплавский, — говорит он, — в известном смысле очень хороший французский поэт,

⁵ Этую точку зрения Карлинский высказывал неоднократно: «Литературное наследие Поплавского не русское, а французское. За исключением того факта, что он писал по-русски, он мог бы совершенно естественно занять свое место в ряду “проклятых поэтов”» [Поплавский, 1980, т. 1, с. ix—xii]. Подобные же рассуждения см.: [Olcott, p. 305—319].

⁶ Варшавский имеет в виду следующий пассаж у Мирского: «Среди парижан определенно выделяется Борис Поплавский. Некоторые из его стихов... заставляют остановиться и с удивлением прислушаться к голосу настоящего и нового поэта. Интересно в Поплавском, однако, то, что он совершенно оторвался от русской поэтической тематики. Это первый эмигрантский писатель, живущий не воспоминаниями о России, а заграничной действительностью. Эволюция, неизбежная для всей эмиграции» [Святополк-Мирский, с. 6].

которого относят к русской литературе главным образом только потому, что он писал по-русски". На первый взгляд все это кажется очень верным. Влияние французской поэзии на Поплавского несомненно. В нем чувствовалась прямо какая-то родственная близость к парижским "проклятым поэтам". Его стихотворение о Рэмбо написано словно по личным воспоминаниям. <...> Поплавского и вправду легко себе представить в кафе за одним столиком с Рэмбо и Верленом. Они приняли бы его как своего. Может быть, так и будет в раю. Но ни с одним современным французским литератором Поплавский знаком не был, ни в какие французские редакции и литературные салоны не был вхож. <...> А прав, по-моему, Адамович, когда говорит, что французская и западная вообще культура попала в случае Поплавского на психологически чуждую почву⁷. Думаю, на почву, чуждую не только психологически. Все сознание Поплавского было абсолютно иноприродно "острому галльскому смыслу", всей картезианской стороне французского гения. Нет, он был поэт не полуфранцузский и не парижский, а эмигрантский, русско-монпарнасский. Когда он говорит: "не Россия, и не Франция, а Париж", нужно помнить, что его Париж — это Монпарнас, "где человек другой, чем повсюду, породы... вырванный из земли, как мандрагора"⁸ [Варшавский, 2010, с. 149–150]⁹. Тема влияния французской литературы на творчество Поплавского заслуживает всяческого внимания. Убедительно и полно она была раскрыта в ряде современных исследований¹⁰.

Между тем образ «царевича Монпарнаса» был важен для Варшавского своей априорной исключительностью и одновременно становился образом собирательным. «Человек другой, чем повсюду, породы», представитель молодого поколения русской эмиграции первой волны — это герой целого ряда программных статей Варшавского, появившихся в эмигрантской прессе в 1930-е гг. В этот период в межвоенной периодике печатаются его «Несколько рассуждений об Андрэ Жиде и эмигрантском молодом человеке» [Варшавский, 1930 / 31], «О "герое" эмигрантской молодой литературы» [Варшавский, 1932], «О прозе "младших" эмигрантских писателей» [Варшавский, 1936], в эту же парадигму органично вплетены книга «Незамеченное поколение» и работы 1970-х: доклад «Русский Монпарнас», фрагменты новой редакции «Незамеченного поколения» и статья

⁷ Варшавский имеет в виду следующее рассуждение Адамовича: «Русская литература моложе западноевропейской по своему культурному возрасту, и лишь в самое последнее десятилетие, чуть-чуть ослабев и растревавшись, она принялась ее спешно догонять и перениматъ ее темы и мотивы. Поплавский был не только сыном этих десятилетий, но и детищем Запада, — по своей оторванности от России, по навязанному ему судьбой эмигрантски-парижскому положению. Для него Артур Рэмбо был по меньшей мере столь же дорог и близок, как и Пушкин, — потому что он во Франции вырос, во Франции сложился и ее веяниями был пронизан. Духовная раздробленность новой западной культуры в его душе осложнилась еще тем, что попала она на психологически чуждую почву, и Поплавский, неуравновешенный по природе, метался, не зная, куда пристать» [Адамович, 1935, с. 2].

⁸ Варшавский приводит фрагмент романа Поплавского «Домой с небес» [Поплавский, 1937, с. 3—54]. Впервые три отрывка из романа «Домой с небес» появились в альманахе «Круг» [Круг].

⁹ Тот же полемический фрагмент присутствует и в докладе «Русский Монпарнас».

¹⁰ Назовем лишь наиболее внушительные: [Livak; Матвеева; Токарев]. Этой теме была посвящена международная научная конференция [см.: Русская эмигрантская...].

«Монпарнасские разговоры». «Человек, вырванный из земли как мандрагора» Бориса Поплавского — тот же «голый человек на голой земле» Владимира Варшавского («О прозе “младших” эмигрантских писателей») [Варшавский, 1936, с. 410], или «это действительно как бы “голый” человек, и на нем нет “ни кожи от зверя, ни шерсти от овцы”» («О “герое” эмигрантской молодой литературы») [Варшавский, 1932, с. 164]. Принципиально для обоих писателей здесь именно то, что речь идет о человеке «другой породы», о новейшем, исключительно эмигрантском опыте редукции внешних признаков социально обустроенной жизни, включенности в нее. Эта выброшенность из истории, которой посвящены многие страницы литературы «первой волны» русской эмиграции, лапидарно описана Георгием Ивановым: «Хорошо — что никого, / Хорошо — что ничего, / Так черно и так мертвое, / Что мертвее быть не может / И чернее не бывать» [Иванов, т.1, с. 276]. О том же процессе усекновения пишет Борис Поплавский: «Никто... Никого... Ничто... Никакого народа... Никакого социального происхождения... Политической партии, вероисповедания...» [Поплавский, 1937, с. 52]. К этой цитате из романа «Домой с небес» Варшавский обращается неоднократно, замечая: «О многих других монпарнасских поэтах и героях все это можно повторить» [Варшавский, 2010, с. 149].

С одной стороны, Варшавский в своем цикле статей о человеке «другой породы» фиксирует его полное социальное поражение, когда «мучительные смешения соотношений между индивидуальным и социальным “я” делают отчужденность эмигранта похожей на страшное, более полное, чем на необитаемом острове, одиночество людей, например, скрывающих совершенное ими преступление или какой-нибудь свой страшный неизлечимый недуг» [Варшавский, 1936, с. 410]; с другой — парадоксальным образом именно это отсутствие социально-внешних обозначений жизни становится для младоэмигранта Варшавского организующим и творящим началом, преобразуется в новое качество. «И вот выброшенный из жизни других людей герой эмигрантской литературы, которого окружающие люди ничем не ценят и не меряют, который (в социальном смысле во всяком случае) не имеет никакого определенного отражения на поверхности бытия, невольно начинает интересоваться своим Динг ан зих¹¹ и тем самым становится против общественности на сторону “сущности”» [Варшавский, 1932, с. 166].

В статье «О прозе “младших” эмигрантских писателей», написанной пятью годами позже, Варшавский продолжает мысль: «Ибо, чем дальше сознание человека роет в глубину себя, тем сильнее в нем проступает темное, невыразимое ощущение не своего экстериоризированного в объективном мире “я”, а своего настоящего существа, не определимого никакими “паспортными” обозначениями и как бы уходящего корнями внутрь огромной, не могущей никуда исчезнуть, занимающей все место жизни» [Варшавский, 1936, с. 413].

¹¹ *Ding an sich* — вещь в себе (нем.).

Для Варшавского Борис Поплавский был идеальным примером этого внутреннего поиска и преодоления. Насколько реальный поэт и человек Борис Поплавский соответствовал «герою» эмигрантской молодой литературы Владимира Варшавского? Во многом этот образ Варшавский пропускал через себя и через свой жизненный и философский опыт. В то же время дневниковые записи Поплавского, очевидно, пересекаются с идеями Варшавского: «Стоическое — милое — нет родины, нет своего языка, своих привычек, своей природы, своего характера, своего города — все в становлении, все от притяжения ценности: “Мы были разными и потом ничем, когда возмутились властью природы”. — “Затем мы стали тем, что полюбили”. — Превращение в любимое. Любовь как сила превращения в любимое, как пластический медиум становления» (запись от 15 марта 1929) [Поплавский, т. 3, с. 415].

На этой идеи «превращения», «пластического медиума становления» хотелось бы остановиться отдельно. Для Варшавского становление из ничего, или сотворение из пустоты (хаоса), несет, конечно, в себе библейский прообраз. Так, в статье «О “герое” эмигрантской молодой литературы» он сравнивает становление молодой литературы с сотворением из глины Адама, в которого Бог вдохнул душу. В «Незамеченном поколении» он последовательно проводит тему «нового рождения», замечая: «...это не вера в будущую, после смерти, вечную жизнь, а ощущение пребывания в вечной жизни уже сейчас, как в каком-то особом измерении данной нам действительности» [Варшавский, 1956, с. 202; Варшавский, 2010, с. 170]. Глубоко связанным с этой «подлинной встречей с Богом» становится и образ белой страницы, к которому в своем «монпарнасском» цикле Варшавский обращается неоднократно. Сначала он возникает в статье 1932 г. «О “герое” эмигрантской молодой литературы», где Варшавский заметит: «В известном смысле она [эмигрантская молодая литература] существует потому, что ее нету, нету как материала для историко-литературных и формально-критических исследований, нету как общественного факта, вообще ее нету на поверхности бытия. В каком-то смысле она существует почти только как ненаписанная белая страница. И тем не менее она существует реальнее, чем многие “факты”, и, находясь на стороне “сущности” против общественности, тем самым является современной литературой» [Варшавский, 1932, с. 167].

В полной свободе эмигранта от внешне устоявшихся законов социальной жизни, от формальных опознавательных знаков времени Варшавский видел уникальную возможность новой эмигрантской литературы обратиться к вопросу о самом главном. На фоне тотального кризиса гуманизма, охватившего Европу первой половины XX в., «вопрос о человеке», как он был поставлен молодой литературой русской эмиграции, давал шанс внести хрупкое равновесие в облик европейской истории и культуры. Во всяком случае, именно в этой чисто эмигрантской возможности «начать все заново», с «чистого листа» Варшавский видел главный замысел молодой литературы русского Монпарнаса и, шире, назначение «незамеченного поколения» в истории. «Так как именно сейчас, на пороге огромных ассирийских изменений, входящих в мир,

происходит как бы последняя трагическая безвыходная борьба между уничтожаемой сущностью и торжествующей общественностью» [Там же]. Весь пафос книги «Незамеченное поколение» с его заключительной главой (в новой редакции под названием «Погибшие за идею») о русских эмигрантах, принявших самое активное и беззаветное участие в историческом делании, о героях «Резистанса» (Вера Оболенская, Илья Фондаминский, мать Мария, Борис Вильде, Дмитрий Клепинин и др.), как и добровольное участие самого Варшавского во Второй мировой войне против нацистов на стороне французской армии, проникнуты идеей борьбы за «сущность».

Позже, в докладе «Русский Монпарнас» и в «Монпарнасских разговорах», он снова упомянет «белую страницу» в перечислении главных черт литературы младоэмигрантов русского Парижа: «...недоверие ко всему, кроме прямой исповеди и человеческого документа, убеждение, что исследование скрытых душевных движений важнее описаний воображаемых приключений воображаемых героев, вплоть до идеи белой страницы» [Варшавский, 1977, с. 13]. Не углубляясь далее в особенности поэтики Парижской ноты, или «школы Адамовича», Варшавский делает логический скачок к разговору о «самом главном» — к идеям программной для него статьи Адамовича. А между тем в этом резком переходе закодирована прямая закономерность между поиском литературной формы и «сущностным» поиском «незамеченного поколения». «Для нас важно было другое, — продолжает Варшавский, — что же именно? Статью Георгия Адамовича “Несостоявшаяся прогулка” можно назвать манифестом русского Монпарнаса. “Возвращаясь к литературе, — писал Адамович, — я ничуть не настаиваю на том, что во всем написанном “нами” есть след непосредственных встреч с Богом, смертью и другими великими мировыми представлениями. Подлинные встречи редки и трагичны: они наперечет. Но заражен воздух, отзвук чужих, огромных катастроф докатился до всех, и мелкая разменная монета этого рода — в кармане каждого здешнего романиста или поэта”¹²» [Там же]¹³. В докладе «Русский Монпарнас» эту подлинную встречу Варшавский напрямую связывает с именем Бориса Поплавского: «О “встрече с Богом” исступленней всех мечтал Поплавский, главный продолжатель “несостоявшейся прогулки”». И в подтверждение своих мыслей обратится к дневниковым записям поэта: «Ибо только нищий, не живущий ничем в себе, получает жизнь в Нем или, вернее, не копя жизнь в себе, может его принять...» [Поплавский, 1938, с. 31–32; Поплавский, т. 3, с. 427]. Трактуя его жизненный и творческий путь как своеобразное путешествие, Варшавский заметит: «Путешествие, им предпринятое, было другого рода, — не в пространстве, а из

¹² Впервые статья Г. Адамовича вышла в 1935 г. [Адамович, 1935а], в переработанном виде вошла под названием «Сомнения и надежды» в книгу Адамовича «Одиночество и свобода» [Адамович, 1955, с. 295–314]. О программном значении статьи Адамовича говорилось на пятом заседании «Круга» (16 декабря 1935 г.): «В статье Г. В. Адамовича можно уловить новый звук, чуждый его прежним писаниям. В ней чувствуется новый поворот к жизни через любовь к ней. <...> В настроениях Г. Адамовича не “amor fati”, а мучительное искашение. Душа, самоуслаждающаяся ощущением гибели, не могла бы быть столь ищущей и беспокойной» [Круг].

¹³ Этот же фрагмент присутствует и в докладе «Русский Монпарнас».

пространства и из социального общего мира во внутреннее измерение жизни, в “подлинную реальность”, как он говорил» [Варшавский, 1956, с. 208–209]¹⁴.

Как видим, главные опознавательные признаки Парижской ноты — «недоверие ко всему, кроме прямой исповеди», отказ в поэтике от всего лишнего вплоть до «белой страницы» — у Варшавского прочно вплетены в разговор о новом фундаментальном опыте молодого поколения русской эмиграции. Этот поэтический эксперимент, в основе которого — сознательная редукция («вплоть до идеи белой страницы»), и этот философский опыт («ход во внутреннее измерение жизни») вызывал и оценки в русском зарубежье. Известна восторженная оценка Георгия Иванова в рецензии на поэтический сборник «Флаги» [Иванов, т. 3, с. 531–534]. Известна и диаметрально противоположная Владислава Ходасевича в статье «Книги и люди. Два поэта», где говорится о «большой литературной опасности, грозившей Поплавскому», об ослаблении инстинкта поэтического самосохранения, которое особенно сказалось в сборнике стихов «Снежный час» (с точки зрения Ходасевича, наиболее аутентичной книге поэта) и в конечном счете должно было обернуться молчанием: «Быть может, он перестал бы писать стихи, перейдя на прозу всецело. Но ведь и как прозаика его подстерегали те же “проклятые вопросы”, которые разъедали поэта» [Ходасевич, с. 421].

Рецензия на «Снежный час» была написана вскоре после смерти «царевича Монпарнаса» и потому рассуждения о грозящей Поплавскому поэтической немоте навсегда останутся гипотезой. Сам Поплавский признавался в дневнике: «Молчание белой бумаги. Белый лист наводит на меня какое-то оцепенение. Как студеное поле, перед которым кажется неважным все — цветы и звуки» [Поплавский, т. 3 с. 283]. Между тем, если подсчитать количество употреблений слова «молчание» в поэзии Поплавского и производных от него слов, то очевидной становится необычайная частота их употребления не только в «Снежном часе», но во всех поэтических сборниках¹⁵. Скорее всего, здесь мы имеем дело не с инерцией «угасания» стиха, а с последовательным экспериментом «на границе звука» (из стихотворения «Paysage d'enfer» [Поплавский, т. 1, с. 101]), когда замысел (тема, лейтмотив), постепенно срастается с формой.

Не всеми литературными критиками русского зарубежья этот опыт воспринимался как «литературно гибельный». Так, известный филолог П. М. Бицилли в рецензии на «Якорь. Антологию зарубежной поэзии» (Париж, 1936), куда вошли (не без влияния Г. В. Adamовича) в большом количестве стихи поэтов русского Монпарнаса, пишет о появлении новой поэзии, «укорененной в особом, совершенно новом сознании» [Бицилли, с. 454]. В то же время эту

¹⁴ Фраза, последовательно переходящая из книги «Незамеченное поколение» в доклад «Русский Монпарнас» и далее, в переработанном виде, в новую редакцию «Незамеченного поколения» [Варшавский, 2010, с. 175].

¹⁵ Эта работа отчасти проведена была нами [см.: Васильева, с. 199–208]. В докладе «Русский Монпарнас» Варшавский повторяет проделанный еще в «Незамеченном поколении» [Варшавский, 1956, с. 195–196] статистический анализ слова «сон» (и его производных и синонимов): «С интонацией, напоминающей гамлетовское “ту дай, ту спи”, слова: спи, усни, спать, уснуть, забудь, смирись, лежать, сон, спал, спать ложусь — повторяются почти в каждом стихотворении “Снежного часа”».

«совершенно новую» поэзию он соотносит с именем Пушкина, замечая при этом, что «Пушкин узнал бы в этой поэзии ту, какую он только прозревал» [Там же, с. 453]. Почему филолог упоминает именно Пушкина? В межвоенные годы Бицилли как пушкинист создал ряд работ, в которых проследил постепенную эволюцию пушкинской поэзии, ее движение от внешней «выразительности» к простоте формы без потери метафизической глубины. Речь здесь идет о присутствии в поэзии «несказанного» (неоплатонического «невыразимого»), о той метафизической плотности поэзии, которая становится, говоря словами Георгия Иванова, «как бы обратно пропорциональной ее воплощению в размерах и образах» [Иванов, т. 3, с. 532]. С точки зрения Бицилли, это и был самый сложный путь к поэтическому совершенству. Объяснение этого парадоксального требования к поэтической ткани, которая, по логике, вся должна быть «установкой на выражение», мы находим в программной статье Бицилли «Образ Совершенства» (1937), посвященной Пушкину. В ней, анализируя «На холмах Грузии», автор замечает: «...это стихотворение звучит для нас как одно Слово» [Бицилли, с. 380]. В поздней работе «Пушкин и проблема чистой поэзии» (1943) Бицилли снова вернется к анализу стихотворения: «Все окрашено общим колоритом, проникнуто одним и тем же эмоциональным тоном, так что можно утверждать, что... отдельные слова воспринимаются как одно слово, а это означает, что и здесь требование совершенства, завершенности осуществлено в полной мере. <...> В пределе это есть что-то неизъяснимое, невыразимое (выделено автором, разрядка наша. — М. В.), подобное божеству, Абсолюту в понимании Николая Кузанского» [Там же, с. 123]. В рукописном (т. е. неокрашенном) варианте рецензии на антологию «Якорь» словно резонансом звучит следующее суждение Бицилли: «Чем поэтичнее слово, тем интимнее, тем глуще звучит оно. Предел музыкальности слова там, где мы воспринимаем стихи как бы без слов, когда они звучат в нас — молча» [Там же, с. 554—555].

Философская интуиция Варшавского, поднявшего вопрос о сущностной наполненности «белой страницы» молодой эмигрантской литературы, пересекается с размышлениями Бицилли о «невыразимом» как неоплатоническом «сверхсущем» в русской поэзии. Одновременно цикл статей Варшавского о молодой эмигрантской литературе, глава о русском Монпарнасе в «Незамеченном поколении» и примыкающие к нему работы 70-х могли бы служить ответом на замечание Ходасевича, что в конце жизни вопрос «как писать?» стал интересовать Поплавского куда меньше, нежели вопрос «как жить?» (по словам Ходасевича, «путь — по-человечески достойный, даже трогательный, но литературно гибельный» [Ходасевич, с. 421]). В понимании Варшавского, эти два вопроса были глубинно связаны в судьбе Поплавского, и работа над формой (вопрос «как писать?») напрямую соотносилась с вопросом «как жить?», или, говоря словами самого Варшавского, с путешествием человека новой, «другой, чем повсюду, породы», поэта новой формации «из социального общего мира во внутреннее измерение жизни, в “подлинную реальность”».

Обращение американской славистики к творчеству Поплавского вновь сделало разговор о «герое» эмигрантской молодой литературы животрепещущим.

щим для Варшавского. Полемика, которую предпринял писатель в адрес Карлинского, была в немалой степени продиктована также и личным опытом общения с поэтом. Не случайно эпиграфом к статье «Монпарнасские разговоры» Варшавский возьмет строки из книги «Отражения» Зинаиды Шаховской: «Память нечто очень личное, субъективное, вот отчего мемуары об одних и тех же людях, об одних и тех же событиях так разнообразны и часто противоречивы» [Шаховская, с. 5]. В то же время именно в этом пункте, в разговоре о русском Монпарнасе и его главном герое Борисе Поплавском, спор для Варшавского выходил на совершенно иной, глобальный, теоретический уровень. По крайней мере, именно здесь стоит искать и его понимание исключительного назначения «молодой эмигрантской литературы», и эстетического, философского и нравственного опыта его поколения, и, наконец, здесь во многом стоит искать множественные смыслы метафорического названия его книги «Незамеченное поколение». «Почему я пишу все только о Поплавском, ничего о других? — замечает он в «Монпарнасских разговорах». — В газетной статье о всех не скажешь, а Поплавский был главный выразитель монпарнасского умонастроения. Он был наш Монпарнас» [Варшавский, 1977, с. 13].

Итак, Монпарнас и Поплавский — для Варшавского это некая единая идеологема, требующая уяснения имманентных законов. Карлинский, с точки зрения Варшавского, проделал обратную работу. Приближая Поплавского и его эпоху к современному читателю, делая «родным» для западного менталиста через дискурс французской поэзии или через доступные символы 70-х («Да, напишите о нем что-нибудь, в конце концов он был первый хиппи, первое дитя цветов», — вспоминает Карлинский совет Набокова [Karlinsky, p. 362]), автор статьи «В поисках Поплавского», в понимании Варшавского, в процессе этой работы проходил мимо самого Поплавского, феномен русского Монпарнаса оставался за рамками исследования.

Для самого Варшавского именно Поплавский был «самым эмигрантским из всех эмигрантских писателей» [Варшавский, 1956, с. 189; Варшавский, 2010, с. 161]. Видимо, с точки зрения Варшавского эпохи 70-х, опыт «человека другой породы» не был до конца воспринят XX столетием с его торжеством «масс», агрессией разума, бесчеловечными экспериментами в истории и формальными схемами в области искусства¹⁶. Здесь стоит, как мне кажется, искать множественность смыслов метафорического термина «незамеченное поколение».

¹⁶ В своем дневнике середины 1970-х гг. Владимир Варшавский выносит неутешительный вердикт XX в.: «И опять вспомнил, как безжалостно одни животные уничтожают других. Что это закон жизни и человек всегда служил этому закону. И Евангелие ничего не исправило, ничего не изменило. На нем выросла великая культура. Великая цивилизация, но люди не стали лучше, не стали добрее. Уже не говоря там о Гитлере или Сталине, но даже в мирное время, в мирной жизни мирных городов какие страшные джунгли: убийства, насилие, побои, порабощение. Превращение живого в труп» (запись от 6 февраля 1973); «Читая историю, вспоминая, что происходит теперь в мире, вспоминая почему я сам был свидетелем, мне просто хочется кричать от ужаса, кричать, как Иван Ильич, на «у». Но мешает самолюбие: вот — скажут — истерии, баба. И останавливает сознание быть мужественным. Не хорошо перед другими людьми кричать от ужаса: им нужно жить, бороться, принимать решения. Мой крик им будет мешать: ведь как бы ни был страшен мир и страшна история, нужно продолжать жить» (запись от 1 октября 1975) [ДРЗ, ф. 54].

Безусловно, не только о «стратегиях самопрезентации» в области литературы здесь идет речь, не только об извечном желании молодых писателей быть напечатанными и признанными¹⁷. Для Варшавского, вернувшегося в первой половине 1970-х гг. к работе над новой редакцией «Незамеченного поколения», опыт русского Монпарнаса был своего рода «несостоявшейся прогулкой» в истории: не случайно так писатель в своих «Монпарнасских разговорах» в 1970-х гг. снова вернется к этой статье Георгия Адамовича, выдвинувшего идею о безотносительной ценности одиночества литературы русской эмиграции. Публикация в «TriQuarterly» во многом служила доказательством этой «незамеченности»: «Карлинский пишет много верного о Поплавском, вообще замечательно, что он Поплавского “открыл”, — заметит Варшавский в докладе «Русский Монпарнас». — Но мне, знавшему Поплавского лично, его образ, рассматриваемый Карлинским через призму другой культуры и другой исторической эпохи, кажется искаженным, так преломляются очертания предметов, погруженных в воду. Поплавский Карлинского — это Поплавский, но не совсем Поплавский».

Сам Варшавский эпохи 70-х, видимо, не претендовал на полную объективность суждений и точность созданного им портрета. В своих «монпарнасских разговорах» он уже шел против мейнстрима рецепции поэзии Поплавского, сложившегося еще 1920-е гг. и набирающего силу. Об этом свидетельствует и «оговорка» в виде эпиграфа к статье «Монпарнасские разговоры», и его переписка с Николаем Татищевым. 19 августа 1974 г., работая над докладом «Русский Монпарнас», Варшавский пишет другу и душеприказчику Поплавского: «...он был такой многосторонний, полный метаний человек, что у каждого из нас свой Поплавский, каждый находит в нем близкого себе. Поплавский Карлинского не мой Поплавский, но мой Поплавский тебе, верно, так же чужд, как мне Поплавский Карлинского...» [ДРЗ, ф. 54].

Насколько Татищеву оказался близок или чужд Поплавский Варшавского, в ответном письме не написано, а вот об американском слависте сказано следующее: «Карлинский не понимал Бориса, Карлинский в литературе не пошел дальше “Задушевного слова”¹⁸» (из письма Н. Д. Татищева В. С. Варшавскому, 19 августа 1974) [ДРЗ, ф. 54].

Не менее жестко об американском «поплавковедении» высказался и Марк Слоним, присутствовавший на докладе Варшавского и отправивший ему на следующий день письмо:

¹⁷ Такое видение «незамеченного поколения» присутствует в ряде современных исследований. Как рациональные «модели поведения» и «стратегии самопрезентации» феномен незамеченности трактуется, например, в книге И. Каспэ. О самом поколении автор судит весьма скептически: «Это поколение легко исчезает из поля зрения. Его история вполне может выстраиваться как последовательное удостоверение отсутствия: отсутствия живой и талантливой молодежи, отсутствия взятной идеологии новой литературы, — вплоть до удостоверения пустоты, скрывающейся за фальшивым образом “молодого поколения”» [Каспэ, с. 83].

¹⁸ «Задушевное слово» — детский журнал, основанный в 1877 г. в Санкт-Петербурге М. О. Вольфом.

Дорогой Владимир Сергеевич,

Я не пошел вчера со всеми в кафе, потому что устал (и не люблю подвала Ландольта¹⁹, душного и тесного) и не мог сказать Вам, что Ваш доклад был великолепен. Вы захватили слушателей своей искренностью, неподдельным чувством и внутренней правдой, а кроме того дали отличный и трогательный портрет Поплавского и защитили его память от домыслов американских профессоров, делающих карьеру на русских эмигрантах. Доклад Ваш прекрасно написан, его надо обязательно напечатать.

Я «монарнасцем» не был, и «нота» Адамовича — Иванова мне всегда была чужда и неприятна, они были певцами и идеологами уныния, безверия, поражения и разложения. Марксисты скажут, что они отражали психологию «побежденного класса». Монарнас погиб не только во времени, но и в тех, у кого была душа жива и кто не хотел терять связи с Россией. И хотел на Россию, для России (а не эмиграции) работать. И исторически оказались правыми противники Монарнаса — даже в области литературы, потому что из России пришел и Пастернак, и Заболоцкий, и молодежь послевоенная, и Паустовский, и Некрасов, и Солженицын, и все те, кто страдал, мучился, но не сдался. Вот в чем спор о Монарнасе. Поговорим об этом когда-нибудь без толпы, с глазу на глаз — и говорить будет легко, потому что Вы сами Монарнас преодолели и с ним — в нем — не остались.

Сердечно Ваш *Марк С.* [ДРЗ, ф. 54]

Письмо, в сжатой форме выразившее позицию Марка Слонима и в то же время написанное как будто в поддержку Варшавского, оказалось не менее красноречивым доказательством «незамеченности» уникального опыта молодой эмиграции «первой волны». По крайней мере — в том «новоградском», глубоко философском понимании, которое привнес своим циклом статей о русском Монарнасе и книгой «Незамеченное поколение» Владимир Варшавский. Только, в отличие от Карлинского, Слоним измерял «человека другой, чем повсюду, породы» не французской литературой и не модной на Западе в 70-е гг. субкультурой хиппи, а застывшими формулами «отцов-общественников» вроде «психологии “побежденного класса”».

Адамович Г. Несостоявшаяся прогулка // Современные записки. 1935а. № 59. С. 288—296. [Adamovich G. Nesostojavshaysia progulka // Sovremennyye zapiski 1935a. № 59. S. 288—296.]

Адамович Г. Памяти Поплавского // Последние новости. 1935б. 17 окт., № 5320. С. 2. [Adamovich G. Pamiati Poplavskogo // Poslednie novosti. 1935b. 17 okt., № 5320. S. 2.]

Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955. 318 с. [Adamovich G. Odinochestvo i svoboda. N'yu-York, 1955. 318 s.]

Биццли П.М. Трагедия русской культуры : исследования, статьи, рецензии. М., 2000. 608 с. [Bizzilli P.M. Tragedija russkoj kul'tury : issledovanija, stat'i, retzenzii. M., 2000. 608 s.]

Варшавский В. Несколько рассуждений об Андрэ Жиде и эмигрантском молодом человеке // Числа. 1930/31. № 4. С. 216—222. [Varshavsky V. Neskol'ko rassuzhdenij ob Andre Zhide i emigrantskom molodom chelovele // Chisla. 1930/31. № 4. S. 216—222.]

¹⁹ Популярное в Женеве кафе «Ландольт» («Landolt»), связанное с именами Бакунина, Троцкого, Ленина, находящееся недалеко от Женевского университета, стало излюбленным местом встреч участников Русского кружка, которые проходили после заседаний.

- Варшавский В.* О «герое» эмигрантской молодой литературы // Числа. 1932. № 6. С. 164–172. [Varshavsky V. O «geroe» emigrantskoj molodoj literature // Chisla. 1932. № 6. S. 164–172.]
- Варшавский В.* О прозе «младших» эмигрантских писателей // Современные записки. 1936. № 61. С. 409–414. [Varshavsky V. O proze «mladshikch» emigrantskikh pisatelej // Sovremennye zapiski. 1936. № 61. S. 409–414.]
- Варшавский В.* Незамеченное поколение. Нью-Йорк, 1956. 388 с. [Varshavsky V. Nezamechennoe pokolenie. 1956. 388 s.]
- Варшавский В.* Монпарнасские разговоры // Русская мысль. 1977. 21 апр., № 3148. С. 13. [Varshavsky V. Monparnasskie razgovory // Russkaja Mysl'. 1977. 21 apr., № 3148. S 13.]
- Варшавский В.С.* Незамеченное поколение. М., 2010. 544 с. [Varshavsky V. S. Nezamechennoe pokolenie. M., 2010. 544 s.]
- Васильева М.* На границе звука // Дружба народов. 1997. № 12. С. 199–208. [Vasilieva M. Na granitze zvuka // Druzhba narodov. 1997. № 12. S. 199–208.]
- ДРЗ (Дом русского зарубежья). Ф 54 (фонд писателя Варшавского).
- Иванов Г. В.* Собрание сочинений : в 3 т. Т. 1 : Стихотворения. М., 1993. 656 с. ; Т. 3 : Мемуары. Литературная критика. М., 1993. 720 с. [Ivanov G. V. Sobr. soch : v 3 t. T. 1 : Stikhotvorenija. M., 1993. 656 s. ; T. 3 : Memuary. Literaturnaya kritika. M., 1993. 720 s.]
- Каспе И.* Искусство отствовать : Незамеченное поколение русской литературы. М., 2005. 192 с. [Kaspe I. Iskusstvo otsutstvovat' : Nezamechennoe pokolenie russkoj literature. M., 2005. 192 s.]
- Круг // Новый град. 1936. № 11. С. 138–139. [Krug // Novyi grad. 1936. № 11. S. 138–139.]
- Матвеева Ю.* Самосознание поколения в творчестве писателей-младоэмигрантов. Екатеринбург, 2008. 196 с. [Matveeva Ju. Samosoznanie pokolenija v tvorchestve pisatelej-mladoeimigrantov. Ekaterinburg, 2008. 196 s.]
- Поплавский Б.* Домой с небес // Круг. 1936. № 1. С. 3–21; 1937. № 2. С. 3–55; 1938. № 3. С. 97–121. [Poplavsky B. Domoj s nebes // Krug. 1936. № 1. S. 3–21; 1937. № 2. S. 3–55; 1938. № 3. S. 97–121.]
- Поплавский Б.* Из дневников, 1928–1935. Париж, 1938. 67 с. [Poplavsky B. Iz dnevnikov : 1928–1935. Parizh, 1938. 67 s.]
- Поплавский Б.* Собрание сочинений : в 3 т. Berkeley, 1980–1981. [Poplavsky B. Sobraniye sochinenyi : v 3 t. Berkeley, 1980–1981.]
- Поплавский Б.* Собрание сочинений : в 3 т. Т. 3 : Статьи. Дневники. Письма. М., 2009. 624 с. [Poplavsky B. Sobraniye sochinenyi : v 3 t. T. 3 : Stat'i. Dnevnikи. Pis'ma. . M., 2009. 624 s.]
- Русская эмигрантская литература и «внутренние мистерии европейской мысли : (к 110-летию со дня рождения Б. Поплавского), 17–18 июня 2013. / Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) РАН. М., 2013. [Russkaya emigrantskaya literatura i «vnutrennie misterii evropejskoj mysli : (k 110-letiyu so dnya rozhdeniya B. Poplavskogo, 17–18 iyunya 2013.) / In-t rus. lit. (Pushkinskij Dom) RAN. M., 2013.]
- Святополк-Мирский Д.* Заметки об эмигрантской литературе // Евразия. 1929. 5 янв., № 7. С. 6–7. [Sviatopolk-Mirskij D. Zametki ob emigrantskoj literature // Evrazija. 1929. 5 jan., № 7. S. 6–7.]
- Татищев Н.* Борис Поплавский // Круг. 1938. Т. 3. С. 150–161. [Tatishev N. Boris Poplavsky // Krug. 1938. T. 3. S. 150–161.]
- Токарев Д.* «Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компартивной перспективе. М., 2011. 325 с. [Tokarev D. «Mezhdu Indiej i Gegelem»: Tvorchestvo Borisa Polavskogo v komparativnoj perspektive. M., 2011. 325 s.]
- Ходасевич В.* Книги и люди. Два поэта // Поплавский Б. Неизданное. М., 1996 С. 419–422. [Khodasevich V. Knigi i liudi. Dva poeta // Poplavsky B. Neizdannoe. M., 1996 C. 419–422.]
- Шаховская З.* Отражения. Р., 1975. 230 с. [Shakchovskaya Z. Otrazhenija. P., 1975. 230 s.]

Шмеман А., прот. Ожидание : памяти Владимира Сергеевича Варшавского // Континент. 1978. № 18. С. 261—277. [Shmeman F., prot. Ozhidanie: Pamiati Vladimira Sergeevicha Varshavskogo // Kontinent. 1978. № 18. S. 261—277.]

Karlinsky S. Surrealism in Twentieth-Century Russian Poetry: Churilin, Zabolockii, Poplavskii // Slavic Review. 1967. Vol. 26, № 4. P. 605—617.

Karlinsky S. In Search of Poplavsky: A Collage // TriQuarterly. 1973. Vol. 27. P. 342—364.

Karlinsky S. Poplavsky yesterday and today // The Bitter Air of Exile: Russian Writers in the West, 1922—1972 / ed. by S. Karlinsky, A. Appel. Los Angeles, 1977. P. 326—332).

Livak L. How It Was Done In Paris. Russian Emigre Literature and French Modernism. Madison, 2003. xi + 316 p.

Olcott A. Poplavsky: the heir presumptive of Montparnasse // TriQuarterly. 1973. Vol. 27. P. 305—319.

Статья поступила в редакцию 03.10.2013 г.

УДК 821.161.1-14 + 821.161.1 Поплавский +
+ 821.161.1 Рыжий + 821.161.1 вавилов

Н. В. Барковская

«ПРИЕМНЫЕ ДЕТИ КУЛЬТУРЫ»: ТРАДИЦИИ БОРИСА ПОПЛАВСКОГО В СОВРЕМЕННОЙ УРАЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ*

Рассматриваются традиции творчества Б. Поплавского в поэзии Б. Рыжего и А. Вавилова. Сходство поэтических миров поэтов обусловлено воспроизводящейся ситуацией радикальной смены социальных и культурных обстоятельств. Различия в лирической атмосфере объясняются не только индивидуальными особенностями поэтов, но и изменением общего состояния культуры.

Ключевые слова: современная поэзия; Борис Поплавский; уральская поэзия; элегичность; сюрреализм; гротеск.

Борис Поплавский, поэт рубежа тысячелетий, наследовал поэтические принципы русской классики (особенно отчетливо слышны в его лирике «музыка» И. Анненского и некоторые мифологемы А. Блока), вместе с тем он шел принципиально новыми путями в общеевропейском русле модернизма. Естественно, что созданная Б. Поплавским поэтическая Вселенная [Менегальдо] актуализируется как раз в переломные, кризисные периоды жизни общества. Так произошло на рубеже XX—XXI вв., когда Поплавский (как и его персональный миф, окутанный тайной и ореолом трагической смерти, избранности и «проклятости») стали особенно популярны у молодых поэтов, избравших позицию маргиналов. Кроме того, творчество Б. Поплавского весьма многогранно и может давать «боковые побеги» в самых разных направлениях, в зависимости

* Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ «Лирическая книга как культурный феномен России и Беларуси», № 13-24-01001.

от того, что именно оказалось созвучным тому или иному современному поэту.

Александра Володина перечисляет современных авторов, прямо называющих в своих стихах образ (мифологизированный) Поплавского: это Андрей Поляков, Александр Скидан, Елена Фанайлова, Полина Барскова, а о косвенном влиянии Поплавского можно говорить, по мнению исследовательницы, по отношению к Ольге Зонберг, Даниле Давыдову, Дмитрию Веденяпину; «наркотическая оптика» отчетливо отразилась в поэзии Анны Горенко [см.: Володина].

Избегая столь широкого круга очень разных авторов, ограничимся локальным в географическом и историческом отношении материалом. Обратившись к явным перекличкам со стихами Поплавского в творчестве екатеринбургских поэтов Б. Рыжего и А. Вавилова, постараемся показать, что не только авторская индивидуальность, но и самый дух времени, атмосфера культурного самочувствия общества влияют на активизацию той или иной грани наследия Поплавского.

Борис Рыжий (екатеринбургский поэт, лауреат премии «Антибукер» 1999 г., ушедший из жизни весной 2001 г. в возрасте 27 лет) напоминает Бориса Поплавского не только схожестью судьбы, но и, главное, элегической напевностью стиха, особенно заметной на фоне постмодернистской тенденции к деструкции стиховой формы.

Жизнь в ситуации «на сломе» определила такие черты обоих поэтов, как нонконформизм, одиночество, неприкаянность. Б. Поплавский, «пасынок грустного света», признавался: «Я не участвую, не существую в мире» [Поплавский, 1999, с. 131]. Б. Рыжий утверждал: «Быть гражданином — невозможно» [Рыжий, с. 57]. Обладая незаурядной физической силой, оба поэта отличались душевной ранимостью и чуткостью, ценили братство друзей (о чем свидетельствует обилие посвящений). Оба чувствовали свою обреченность: «Я помню, смерть мне в младости певала: / Не дожидайся роковой поры» [Поплавский, 1999, с. 224]; «...ты умрешь, / не живут такие в миру» [Рыжий, с. 10]. В стихах Поплавского образ смерти — один из центральных: спит «мертвая девочка-вечность в гробу» [Поплавский, 1999, с. 95], смерть ляжет на грудь «холодно и душно... как женщина в пальто» [Там же, с. 37]. Герой Рыжего идет по улице «со смертью-одноклассницей под ручку... целуясь на ходу» [Рыжий, с. 19]. В схожих образах воплощается тема уходящего детства: у Поплавского «голубой и смешной матрос / Нагружает свой пароход / Миллионами белых роз», он «будет детство свое искать, / Никогда его не найдет» [Поплавский, 1999, с. 79]. Рыжий вспоминает, как во дворе «про розы, розы, розы, розы, розы» пела Пугачева — «нас смерти обучали» [Рыжий, с. 49]; «мальчик пустит по ручью бумажный / маленький кораблик голубой», «и кораблик жизни нашей мимо / прямо в гавань смерти проплынет» [Там же, с. 30]. У обоих поэтов не раз встречается деталь, подчеркивающая атмосферу прозрачной грусти и ставшая эмблемой «парижской ноты» — замирающий в отдалении гудок паровоза или звон трамвая:

Где-то в воздухе чистом (казалось, то плакал младенец),
Отдаленное пенье пустого трамвая рождалось...

[Поплавский, 1999, с. 89]

Внутренне противоречив лирический герой обоих поэтов. Поплавский писал в стихотворении «Двоецарствие»: «И на кладбищах двух погребен, / Ухожу я под землю и в небо» [Поплавский, 1999, с. 32]. «Полупижон, полу-поэт» Б. Рыжий говорил: «И понял я: свободы в мире нет / и не было, есть пара несвобод» [Рыжий, с. 17]. Эта двойственность лирического героя обусловлена несовпадением того «я», которое сформировано социально-бытовыми обстоятельствами (Поплавский — бродяга-горожанин, не вписывающийся ни в какую толпу; Рыжий — мальчишка с городской окраины) и внутренней, романтической сущности. Вместе с тем герой у того и у другого поэта — целостная личность, в которой оксюморонно уживаются обе грани: событийная и бытийная, физическая и метафизическая. А поскольку этот герой — поэт, то слышит он две музыки: грубую повседневную и тихую небесную. У Поплавского: «панический вальс», «пошлый мотив», «бравурный марш помятых труб», «тихо врал копеечный смычок», «клавиши тихо шумели и врали»; но и — тихая флейта, музыка дождя, «солнечная музыка воды», «поют деревья в городском лесу», «город — как огромная валторна», «лишь музыка тихо сияла из Чаши / Неслышенным и розовым светом свободы». У Рыжего: старая музыка играет какую-то дребедень, плохой репродуктор что-то победоносно поет, звучит с базара блатной мотив, поет пропойца под окном, вопли радиолы во дворе. И другая музыка: флейта лета, играет тишина, скрипки невидимые пели. А. Блок противопоставлял небесные «арфы» визгу цыганских «скрипок». А в стихах Поплавского и Рыжего эти две музыки образуют «двойственный лад», странное, но гармоничное слияние, преодолевая грань между элитарным и массовым искусством. Один из ключевых музыкальных образов у Поплавского — граммофон: «И пел Орфей, сладчайший граммофон» [Поплавский, 1999, с. 233], «Нам медный граммофон поет привет» [Там же, с. 45], «И поет красив и ясен / Граммофон» [Там же, с. 91]. В романе «Аполлон Безобразов» Поплавский пишет: «Боже мой, как пронзали мое сердце старые довоенные марши из немецких опереток, под которые я тосковал гимназистом на бульварах...» Любимая музыка Терезы — «вальсы с граммофонных пластинок, бесконечно краткие, те вальсы, которые пишут погибшие спившиеся композиторы, вкладывая в них душу своих неосуществленных симфоний» [Поплавский, 1991, с. 48]. Нечто похожее и у Рыжего: «Так над коробкою трубач с надменной внешностью бродяги, с трубою утонув во мраке, трубит для осени и звезд. И выпуклый бродячий пес ему бездарно подпевает. И дождь мелодию ломает» [Рыжий, с. 34]. Соединение высокого и низкого выражено в словах Поплавского: «И мы уже, у музыки во власти, / У грязного фонтана просим пить» [Поплавский, 1999, с. 194] — и в стихотворении Рыжего:

Прошел запой, а мир не изменился.
Пришла музыка, кончились слова.

Один мотив с другим мотивом слился.
(Весьма амбициозная строфа).

...а может быть, совсем не надо слов
для вот таких — каких таких? — ослов...

Под сине-голубыми облаками
Стою и тупо развожу руками
Весь музыкою полон до краев.

[Рыжий, с. 41]

В этом стихотворении, при общей напевности, создаваемой 5-стопным ямбом с точной рифмовкой, постепенным увеличением количества пиррихиев, ассоциантом звуков [о], [а], [и], присутствуют диссонирующие моменты: несимметричная строфида, незавершенная фраза в середине текста, не все строки начинаются с прописной буквы. Тенденции к стихопрозе наблюдается и у Поплавского, и у Рыжего: неоднородность лексического уровня, сбои мера, частые *enjambement*.

Соединение двух «музык» возможно потому, что у них одна — элегическая — тональность: «и все печальнее мотив, и все печальней» (Рыжий, с. 37). Нередко это «похоронная музыка на холодном ветру». Прощальному взгляду открывается, по выражению Поплавского, «грубая красота мироздания». Город — единственная реальность, окружающая героев, и они научаются понимать жизнь неживых предметов — асфальта, фонарей, трамваев, флагов. В «микроурбанизме» Поплавского и Рыжего ощущима традиция И. Анненского, как и в доминанте чувства жалости. Красота города не только грубая, но и хрупкая, обреченная. Центральным «локусом» у обоих поэтов становится парк, некий Эдем посреди «промзоны», городской лес. Там, в парке, чаще всего бродит или сидит на скамейке поэт. В стихах Поплавского парк может быть «загаженным», с грязным фонтаном, у входа «женщина на розовом плакате / Смеясь, рукой указывает ад» [Поплавский, 1999, с. 194]; но в парке — «святое виденье», «путешественник-ангел», розовый вечер, поют соловьи, играет музыка.

НАПРАСНАЯ МУЗЫКА

Вечером ярким в осеннем парке
Музыка пела: «Вернусь, вернусь».
Вечером дивно прекрасным и кратким
Сердце не в силах снести свою грусть.

Белое лето дождем отшумело,
Вот уж лазоревый август расцвел.
Сердце к туману привыкнуть успело,
К близости долгих метелей и зол.

Слишком прекрасно лазурное небо.
«Больно мне, больно, и я не вернусь».

Музыка тихо вздыхает без дела,
Сердце не в силах забыть свою грусть.
[Поплавский, 1999, с. 213]

Напевности способствует длинная строка — четырехстопный дактиль, асонанс звуков [e], [o], интонационная завершенность строк, кольцевая композиция. Но в начале стихотворения метрическая схема нарушена: в первой строке после дактилической стопы следует стопа хорея, возникает пауза, делящая стих на два полустишия по 5 слогов каждый, что подчеркнуто и внутренней рифмой (*ярким — парке*); во второй строке также первая стопа — дактиль, затем одна стопа хорея и две стопы ямба (в прямой речи). Как видим, гармония опять включает в себя диссонанс, что свойственно и стихотворениям Рыжего, допускающим жаргонизмы, неточные рифмы, *enjambement* и т. д.

Я зеркало протру рукой
и за спиной увижу осень.
И беспокоен мой покой,
и счастье счастья не приносит.

На землю падает листва,
но долго кружится вначале.
И без толку искать слова
для торжества такой печали.

Для пьяницы-говоруна
на флейте отзвучало лето,
теперь играет тишина
для пропревевшего поэта.

Я ближе к зеркалу шагну
И всю печаль собой закрою,
Но в эту самую минуту
ту грянет ветер за спину.

Все зеркало заполнит сад,
лицо поэта растворится.
И листья заново взлетят,
и станут падать и кружиться.

[Рыжий, с. 8]

Здесь зеркало отражает не внешнее (допустим, обстановку в комнате), а внутренний мир, суть той реальности, в которой живет герой-поэт. Начало всматривания требует некоего духовного усилия (*я зеркало **протру** рукой; я **ближе** к зеркалу шагну*). Осень, листопад, тишина и при этом — внутренняя неуспокоенность (*грянет ветер*) окружают героя, они и позади, и впереди, и в прошлом (летом), и в будущем (зимой). В результате один миг самососредоточения, самопогружения размыкается в вечность, в неизменный круговорот природы, жизни и смерти. Зеркальная модель реализуется и в композиции: в стихотворении пять строф, две начальные варьируются в двух последних,

а центральная строфа обозначает настоящий миг тишины, наступившего прозрения. «Двойственный лад», если использовать выражение Д. Мережковского, проявлен и в оксюморонах (*беспокоен покой; счастье счастья не приносит*), и в приложении (*для пьяницы-говоруна*), и даже в странном *enjambement*, разрывающем слово, но продолжающем, связующем строки и образы. Картина полна колеблющегося, возвратного движения (*взлетать — падать, кружиться*). Ощущению повторяемости и зыбкости способствуют также анафора (*и за спиной увижу осень; и счастья счастье не приносит; и без толку искать слова; и всю печаль собой закрою; и листья заново взлетят, и станут падать и кружиться*) и ассонанс звуков *и—е—а* (как писал сам Рыжий, «...мои безударные о и ударные а»).

Элегическая, торжественная интонация Поплавского слышится в стихотворении москвича Данилы Файзова:

Рыбы устанут искать пропитанье в воде,
Серыми перьями двинутся к темному берегу.
Серыми мордами в поисках рыбьей америки
Сунутся в гальку, в осоку. И больше нигде

Их не увидишь. Легки ли твои плавники?
Помнишь, ты в юности так уходила от хищных,
Что превращалась из легкой добычи, из пищи
В самую быструю птицу великой реки.

Что настоящее? Выйдем из мутной воды,
Тронем песок и научимся странным глаголам.
Только круги на воде будут плакать от боли,
Молча глядеть, как стираются наши следы...

[Файзов]

Подобно Поплавскому, Файзов запечатлевает момент трансформаций, метаморфоз, качественной смены способа существования: рыба превращается в птицу, стремясь к новой «америке», спасаясь от преследований, вырываясь на свободу. Поплавского напоминает обращение к некоей героине, которой может быть и возлюбленная, и богиня, и некое высшее существо (у Поплавского — Морелла, Серафита) и, наконец, собственная душа лирического героя, и жизнь как процесс постепенного совершенствования духа, требующего изменения плоти (ср. у Гумилева: «Кричит наш дух, изнемогает плоть, / Рождая орган для шестого чувства»). Однако, как и у Поплавского, стихотворение не пафосное, а проникнутое грустью и жалостью, не случайно в finale стихотворения появляется образ воды, которая «плачут от боли» над исчезающими следами. Длинные строки 5-стопного дактиля, размеренный синтаксис создают мерный ритм, напоминающий звучание таких стихотворений Поплавского, как «Восхитительный вечер был полон улыбок и звуков...», «Морелла I», где также 5-стопный трехсложник (анапест).

Девяностые и «нулевые годы» сменились новым десятилетием, однако принципиальных перспектив не открылось, возникло ощущение стагнации

(«стабилизации»), сопровождаемое понижением интеллектуального и культурного уровня во всех сферах потребительского общества. Молодым поэтам приходится начинать в ситуации ненужности поэзии и девальвации поэтического слова. В 2011 г. в Екатеринбурге увидела свет дебютная книга Александра Вавилова «Итальянский ноктюрн» [см.: Вавилов]. Стихи этой книги вновь актуализируют имя Поплавского, что подтвердил в личной беседе и сам автор. Однако Вавилов развивает другую сторону поэтического мира Поплавского — не элегически-мистическую, а жестко-гротескную, сюрреалистически-абсурдную, горько-ироническую. Характерны уже названия стихотворений Вавилова: «Артериальный сюрреализм», «Внутривенный орнамент» и т. п. Сквозной темой становится трансгрессия: «неустойчивая психика дарит стабильный полет» [Вавилов, с. 28]. Шизофрения, алкоголизм, наркотики — вот удел поэтов из узкого круга («группы риска»), к которым обращен призыв «не пить хотя бы по средам» [Там же, с. 69].

Если в «итальянских» стихах Поплавского чаще всего рисуется Античность (накануне явления Христа), то Вавилов апеллирует к эпохе Возрождения — увы, не состоявшегося в полной мере, о чем говорит уже первое стихотворение, открывающее книгу: Брунеллески не закончил флорентийскую Перспективу. Здесь нельзя не усмотреть параллель с нашим временем. Герой Вавилова ощущает себя в постистории: «История сделана. Жаль, что задолго до нас» [Там же, с. 86], переживает «интоксикацию временем» [Там же, с. 92], понимает, что «время культуры прошло» [Там же, с. 87] и наступило «время разбрасывать книги» [Там же, с. 77], «мы провалили миссию» [Там же, с. 105], а «Империя в полном порядке» [Там же, с. 83]. Огонь Возрождения для героя книги Вавилова — это вечный огонь (т. е. траурный). Завершает книгу стихотворение, начинающееся строкой: «Тесный круг вначале, в конце — овалы...». Речь идет о гибели поэтов-маргиналов, но в «ovalах» можно усмотреть намек и на «нулевые годы» (ср. в другом стихотворении: «Округленные цифры на уровне мраморных плит» [Там же, с. 99]).

Название книги «Итальянский ноктюрн» отсылает и к Шпенглеру с идеей заката Европы, и к Ходасевичу с его «Европейской ночью». Одно из стихотворений прямо называется «Прощай, Италия!» (вероятная перекличка с песней В. Бутусова «Гудбай, Америка!» из екатеринбургской группы «Настуилус Помпилиус»). С черной обложкой книги соотносится сквозной мотив тьмы: «В темноте темноты темноту / Просканировал свет с потолка» [Там же, с. 66], «тьма предлагает новый ракурс маскарада» [Там же, с. 51]. Тьма концентрируется в знаменитый «Черный квадрат»; впрочем, «кубизм» и «кубистический» производны, вероятно, от «кубиков» в шприце. «Антрактовый свет» в стихах Вавилова прямо восходит к «Черному и белому» Поплавского:

Вязкие потолки. Черно-белый свет.
Камерная абстракция веской тьмы.
И тишина в ответ на любой ответ
Воспроизводит искренние шумы.

Память дефрагментирует голоса.
 Искренность формируется тишиной.
 Тянется к свету черная полоса,
 Нехотя коррелируя с белизной...

[Там же, с. 40]

Отражение в зеркале (тоже своего рода «черный квадрат» — наподобие черного зеркала в рассказе Ю. Мамлеева) не имеет зазеркалья (в отличие от соответствующего образа у Рыжего), не открывает иную «перспективу».

Бар, подворотня, тюрьма, больница и даже «окружной морг» — таковы характерные локусы в стихах Вавилова. Естественно, что вторым сквозным мотивом становится мотив смерти (друга, культуры в целом, себя самого) и «финальной зимы безысходности»:

Сегодня ночью будет ровно девять лет,
 Как ты курируешь а-джорно в центре тьмы.
 Твои зрачки не реагируют на свет...
 Твои зрачки не реагируют, а мы?

[Вавилов, с. 34]

Сумасшедший дом, лист, кричащий о гибели, душа, которая повесилась в тюрьме, черный мир, подземный бал чертей [Поплавский, 1999, с. 192], доктор, фонарь, черный гробовой петух [Там же, с. 195] — эти детали нередки в окружении героя Поплавского. Еще один мотив, общий у молодого екатеринбургского поэта с Поплавским, — это мотив музыки. Помимо ноктюрна, упоминаются «колхозный реквием», «регтайм», «Музыка без ответа / Ложится и засыпает на граммофоне», сюрреалистический «трехмерный блуз» (соответствующий «трехмерному цинизму»). Гораздо чаще — аритмия, диссонанс, «кривой звукоряд», «В музыкальной шкатулке траур. Звуки впали в немую кому, / И под флагами черных аур / Белый шум намекал цветному / На бесцветную катастрофу» [Там же, с. 59]. Одно из последних в книге стихотворений «Ёлочка» на ритмическом уровне передает слом старой мелодии в «сломанной» душе героя:

Никто не ждет. Потом опять не ждет никто.
 Все предсказуемо. Ремиссия, прости.
 Но даже если предсказуемо, то что?
 Какая разница? Без разницы. Почти.

<...>

Вино. Без разницы. Без разницы. Вино.
 Все предсказуемо. Лишь музыка. Внутри.
 Умру ли я — ты над могилою. Смешно.
 Но если ёлочка. То все-таки. Гори.

[Там же, с. 98]

Героя окружает какофония («дрелью по мельхиору»), но, как и у Поплавского, мелодический хаос разрешается замиранием всякого звука: «гулкой тишины звукоряд» [Поплавский, 1999, с. 54], «внутри немого хора» [Там же, с. 51], «так тихо, что слышно сердце у таракана» [Там же, с. 58]. Только в окружном морге (метафора смерти культуры) «Моцарт играет “Мурку” по просьбе Верди» [Там же].

У Вавилова встречается мотив, сопровождающий тему детства в поэзии Поплавского: «скоротечные корабли и бродячие поезда» [Там же, с. 61]. Определенное сходство можно усмотреть в образах лирического героя у Поплавского и Вавилова — это большой ребенок, так и не ставший взрослым. У Поплавского «нежного пьяного мальчика» [Там же, с. 73] черт в кафе уносит. Целый ряд его стихотворений варьирует тему смерти детей: «мертвый лысый мальчик» [Там же, с. 70], «Смерть детей» [Там же, с. 67] и др. Герой стихотворения Вавилова «В песочнице» мечтает стать взрослым — как папа; в другом стихотворении: «Кто-то типа ребенка спускается к центру земли <...> Но его почему-то родители как-то нашли, / Чтоб зачем-то воспитывать или хотя бы оратъ» [Вавилов, с. 28].

По контрасту с убогой повседневностью герой Вавилова все время мысленно возвращается к итальянскому Возрождению, его любимый персонаж — Микеланджело, не Рафаэль и не Боттичелли. Образы классики неизбежно пропитаны горькой иронией, потому что сам герой живет в Свердловске («Здесь все же не Флоренция... Кранты»), потому что остались только парофразы, как метастазы, все поглотил «универсальный стиль». Быть художником или поэтом сейчас — все равно, что быть сумасшедшим, отверженным, маргиналом. Такая трактовка художника восходит к модернизму, что опять-таки сближает поэтическую установку Вавилова с Поплавским.

ПОСЛЕ СЕМНАДЦАТИ

В комнате темно — ни одной свечи.
Отгорело все, что могло гореть...
В том числе глаза. Доктор, не молчи!
Я схожу с ума на вторую треть.

<...>

Я хочу туда, где античный пляж.
Я хочу нырять в белые пески

<...>

Я хочу домой, где с большим дворцом
Рифмовалась жизнь, а не шапито...
Где Лоренцо стал мне вторым отцом,
Так как первым стать не сумел никто.

<...>

Я хочу туда, где не врут врачи,
Где живая мать, где тепло всегда,
Где горят глаза. Доктор, не молчи!
Доктор, не молчи. Я хочу туда...

[Там же, с. 31]

Героя таких стихотворений Поплавского, как «Римское утро», «Богиня жизни», окружает античный Рим, «прошитый» приметами современности: «Легионер грустит у входа в город», «кричит матрос с галеры» — но тут же: «автомобиль сенатора», «Христос на аэроплане вдаль летит» [Поплавский, 1999 с. 64]. Помимо стоика Эпиктета Поплавский называет Гераклита: богиня жизни смотрит вдаль с улыбкой Гераклита, смерть — «курчавый Гераклит» [Там же, с. 66–67]. В стихотворениях Вавилова также есть розы, фиалки, соловьи, ангелы, море, легионы, Адриатика, Мельпомена, Мусагет и проч., но он сознает: «Великие арены закрыты. <...> Здесь больше нет античности» [Вавилов, с. 105]. Гераклитом себя воображает безумный врач, влюбившийся в Аритмию [Там же, с. 81]; «двадцать семь веков» прошли «под хохот Гераклита»:

Альтернативы нет. Медаль за модернизм.
«Философ, на укол!». И карта бита...
Здесь распорядок дня — важнейший механизм,
И главный врач похож на Гераклита.

[Там же, с. 104]

Итог, в общем-то, тот же, что и у Поплавского: «Моя судьба / Стирает Рим, как утро облака» [Поплавский, 1999, с. 64].

Подводя итог, можно отметить, что творчество Поплавского весьма популярно у современных поэтов, ориентированных на «личный миф» этого «русского Рембо». В 1990-е гг. на первый план выходила элегическая напевность, романтически и ностальгически окрашенная, тема утраты детства и прежнего образа мира. В начале следующего столетия усиливается чувство безысходности, собственной ненужности в новой действительности, преобладает жесткая ирония с элементами «черного юмора», а «морфиновый быт, продлевая дороги, / Перспективу ремиссии сводит к нулю» [Вавилов, с. 91]. Б. Рыжий назвал себя «приемным, но любящим сыном поэзии русской»; по Вавилову, молодые поэты — «приемные дети культуры». Таким «приемным» сыном для классической русской и модернистской французской культуры был и Б. Поплавский.

Вавилов А. В. Итальянский ноктюрн. Екатеринбург, 2011. 112 с. [Vavilov A. V. Ital'yanskij noktyurn. Ekaterinburg, 2011. 112 s.]

Володина А. Творчество Б. Ю. Поплавского: критическое и литературное осмысление. [Электронный ресурс]. UTL: <http://promegalit.ru/publics.php?id=1310> (дата обращения: 20.07.2013). [Volodina A. Tvorchestvo B. Yu. Poplavskogo: kriticheskoe i literaturnoe osmyslenie. [Elektronnyj resurs]. UTL: <http://promegalit.ru/publics.php?id=1310> (data obrascheniya: 20.07.2013).]

Менегальдо Е. Поэтическая вселенная Бориса Поплавского. СПб., 2007. 284 с. [Menegal'do E. Poeticheskaya vselennaya Borisa Poplavskogo. SPb., 2007. 284 s.]

Поплавский Б. Аполлон Безобразов // Юность. 1991. № 2. С. 48. [Poplavskij B. Apollon Bezobrazov // Yunost'. 1991. N 2. S. 48.]

Поплавский Б. Ю. Сочинения / общ. ред. и comment. С. А. Ивановой. СПб., 1999. 448 с. [Poplavskij B. Yu. Sochineniya / obsch. red. i komment. S. A. Ivanovoj. SPb., 1999. 448 s.]

Рыжий Б. На холодном ветру : стихотворения. СПб., 2001. 80 с. [Ryzhij B. Na kholodnom vetu : stikhhotvoreniya. SPb., 2001. 80 s.]

Файзов Д. Черемушкин холод : стихотворения // Дети Ра. 2005. № 4 (8). URL: <http://magazines.russ.ru/ra/2005/4/fa14-pr.html> (дата обращения: 20.07.2013). [Fajzov D. Cheremushkin kholod : stikhhotvoreniya // Deti Ra. 2005. N 4 (8). URL: <http://magazines.russ.ru/ra/2005/4/fa14-pr.html> (data obrashcheniya: 20.07.2013).]

Статья поступила в редакцию 13.09.2013 г.

РЕЦЕНЗИИ

УДК 821.161.1(091) + 82:94(470.5)

Т. А. Снигирева

ТРАДИЦИИ АКАДЕМИЗМА*

Рец. на кн.: История литературы Урала, конец XIV – XVIII в. / гл. ред: В. В. Блажес, Е. К. Созина. — М. : Языки славянской культуры, 2012. — 608 с. : ил.

«История литературы Урала» — давний проект научного гуманитарного сообщества региона, который также имеет свою историю, описанную подробно и с большой благодарностью ко всем, кто стоял у ее истоков, в предисловии к первому тому данного издания. Названо не только имя профессора И. А. Дергачева, истинного подвижника создания системного и планомерного описания литературы края, но и других исследователей — и тех, кто заложил основные принципы изучения «нестоличной» литературы, и тех, кто конкретными исследованиями сделал возможным создание коллективного труда, обращенного к литературе Урала.

К середине 2000-х гг. усилия ученых, занимающихся филологической реконструкцией литературной карты Урала, организационно были сосредоточены вокруг сектора истории литературы Института истории и археологии УрО РАН (зав. сектором проф. Е. К. Созина). До выхода первого тома была проделана целенаправленная работа по консолидации научных сил, выработке единой концепции, определению адекватной материала теории, эффективной методологии и методики исследования. Ежегодно (с 2006 г.) проводились конференции «Литература Урала: история и современности», вышла серия монографий, апробирующих возможные научные сюжеты будущего фундаментального труда.

* Работа выполнена в рамках интеграционного проекта УрО РАН «Литературные стратегии и индивидуально-художественные практики пермских литератур в общероссийском социокультурном контексте XIX – первой трети XX в.».

Первый том «Истории литературы Урала», изначально мыслившийся как проект академического статуса, организован, несмотря на всю сложность, научно внятно. Сложность обусловлена невероятным времененным и пространственным охватом. Основные критерии отбора огромного историко-литературного материала, захватывающего четыре века и четыре национально маркированных литературы, методологические принципы его исследования представлены в предисловии редколлегии, написанном Е. К. Созиной и К. В. Анисимовым, которые очертили позицию редколлегии, состав которой весьма представителен: докт. филол. наук В. В. Блажес, докт. филол. наук. В. М. Ванюшев, докт. филол. наук О. В. Зырянов, канд. филол. наук П. Ф. Лимеров, канд. ист. наук прот. П. И. Мангилев, докт. филол. наук М. Х. Надергулов, докт. филол. наук Е. Е. Приказчикова, чл.-корр. РАН Е. К. Ромодановская, докт. филол. наук Л. С. Соболева, докт. филол. наук Е. К. Созина. С учетом богатой истории и современных достижений в регионовистике особо выделены следующие принципы при создании академической «Истории литературы Урала»: следование принципу историзма в анализе литературной географии региона и его литературного процесса; реализация принципа взаимодействия литератур и учета культурной автономии каждого народа, его разнообразных идентичностей, находящих выражение в художественных, документальных и публицистических текстах; учет системного единства анализа литературного развития региона с опорой на основополагающие типы культуры народов Урала, в контексте общероссийской, а в иных случаях — мировой литературы; максимально объективное сочетание полноты и детальности исследования с опорой на принцип представительности того или иного деятеля литературы для культуры региона. Критериями отбора персонажей обозначены следующие: «1) культурная (а нередко и политическая, социальная, религиозная и т. п.) значимость для региона и/или всей России, порой соседних краев и областей, 2) выражение в творчестве данного автора *idee fixe* региона, а также общих стратегий, характеризующих развитие литературы Урала в контексте общерусского литературного процесса, 3) уровень художественно-эстетических достижений данного автора — сугубо эстетический, ценностный критерий..., 4) отражение в творчестве художника (культурного деятеля) темы Урала и степень интереса, проявленного им к истории и настоящему дню края» (с. 23). Редколлегия специально оговаривает рамки сферы исследования творчества писателей, судьба которых в той или иной мере связана с Уралом: 1) писатели — уроженцы региона; 2) писатели, жизнь и творчество которых по тем или иным обстоятельствам оказались связаны с Уралом на некоторое время; 3) «писатели, побывавшие на Урале проездом или не побывавшие вовсе, но оставившие “след” своего пребывания в литературе (ибо литературная карта Урала не тождественна его географической и даже исторической карте» (с. 23).

В уже цитируемом предисловии (В. В. Блажес, Л. С. Соболева, Е. К. Созина) акцентировано внимание на новаторском характере издания, в котором впервые литература Большого Урала представлена как полиэтническая система. В нем осуществлена целенаправленная характеристика башкирской, русской, удмуртской, коми (устной и письменной) словесности, поскольку

«представить многонациональную литературу Урала в историческом плане как целостный феномен культуры со своей проблемно-тематической и эстетико-художественной автономностью — это значит в первую очередь определить своеобычность средневековой литературы, ее органическую связь с фольклором, выявить роль христианства и ислама в формировании литературы, а также значение славянской культурной письменности и литературы коми, удмуртов» (с. 31).

Обозначенные принципы и задачи тома продиктовали его восьмичастную, на первый взгляд весьма громоздкую структуру (части делятся на главы, а некоторые из них на параграфы): I. «Православные традиции в культурно-историческом освоении Пермских земель» (П. Ф. Лимеров, Л. С. Соболева); II. «Средневековая башкирская литература» (А. Х Вильданов, М. Х. Идельбаев, М. Х. Надерголов, Р. З. Шакуров, З. Я. Шарипова, пер. на русский язык А. Х. Хакимов); III. «Русская книжно-рукописная традиция на Урале в XVI—XVII» (В. В. Блажес, О. Д. Журавель, П. И. Мангилев, Н. А. Мудрова, Е. К. Ромодановская, Л. С. Соболева); IV. «Литературно-просветительская деятельность Тобольского митрополичьего дома» (Е. К. Ромодановская, Л. С. Соболева); V. «Исторические повествования на Урале» (В. В. Блажес, Л. С. Соболева); VI. «Типы словесности горнозаводского Урала XVIII века» (В. В. Блажес, Н. С. Корепанов, Е. П. Пирогова, Л. С. Соболева, В. Н. Соломеина); VII. «Документально-художественная литература Урала эпохи Просвещения» (К. В. Анисимов, В. М. Ванюшев, Т. Г. Владыкина, Д. В. Ларкович, Е. Е. Приказчикова, А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева); VIII. «Литературный процесс на Урале конца XVIII — начала XIX вв.» (К. В. Анисимов, В. В. Блажес, О. В. Зырянов, Д. В. Ларкович, В. А. Павлов, В. Д. Рак, Е. К. Созина).

Научный профессионализм, редакторская точность и виртуозность позволили непростую конструкцию сделать логичной и выверенной. Так, например, часть VII («Документально-художественная литература Урала эпохи Просвещения») — одна из самых сложно структурированных частей издания, поскольку литература Урала эпохи Просвещения представляет собой весьма разнородное явление, что обусловило необходимость разных методологических подходов к ней. Во-первых, представлен анализ трансформации образа Урала в записках западноевропейских и русских путешественников. Так, если в записках путешественников XVII в. (протопоп Аввакум, Николай Спафарий, Избрант Идес и Адам Бранд) образ Урала формируется с точки зрения очевидца — русского ссыльного или иностранца, то в текстах эпохи Просвещения (В. Н. Татищев, Г. И. Новицкий, В. Ф. Зуев, А. Н. Радищев) Урал включается в «идеологический контекст, в котором разрабатывалась мифология власти и сюжеты национально-государственного самоопределения» (с. 348). К концу XVII в. складывается уже знакомый современности образ Урала как горного хребта, границы Европы и Азии и сопутствующая образу экономически-профессиональная оценка: «горно-металлургический», « заводской» край. Во-вторых, исследование травелогов продолжает анализ получившей широкое распространение уральской мемуарной литературы («Записки» И. И. Неплюева, «История жизни одной благородной женщины» — «уральской масон-

ки» А. И. Лабзиной, «Мое время» Г. С. Винского). В-третьих, необходимый для эпохи разговор о творческой деятельности Г. Р. Державина предваряет очерк литературной жизни Оренбургского края в XVIII в., которая в это время только формировалась, но уже начинала осваивать те проблемы, что стали основными в период пребывания «поэта-государственника» на Урале: «особенности природы и местоположения края, находящегося на пересечении Европы и Азии, Пугачевское восстание, специфика жизни и быта народов, заселяющих оренбургские степи» (с. 371). В-четвертых, развернутый фрагмент части, посвященный государственной и творческой деятельности Г. Р. Державина, кроме выверенных литературоведческих сюжетов, обращенных к анализу «уральских страниц» в его наследии, предлагает интерпретацию малоизвестной комической оперы «Рудокопы», в которой «задуманный Державиным балет отражал процесс семиозиса, когда традиционная мифология народов Урала как бы уступала место новой мифологии имперского колониализма, а прагматическая идея величия Урала, его неисчерпаемых природных ресурсов и экономических возможностей получила оригинальное художественное выражение» (с. 389). Создание «индустриальной» оперы (определение В. В. Данилевского) «лишний раз подтверждает, что в жизни и творчестве Державина Урал оставил важный след. «Уральская» поэзия Державина подготовила появление жанра «новой оды», внесла значительный вклад в авторское осмысление geopolитических реалий России XVIII в., а также определила основное направление развития государственного утопизма, связанного с царствованием «киргиз-кайсацкой царевны Фелицы». В свою очередь первая «индустриальная» опера Державина «Рудокопы» предвосхитила появление в литературе производственной темы, для которой как нельзя лучше подходили реалии горнозаводской жизни Урала» (с. 389). В-пятых, особым научным сюжетом в этой части становится очерк истории развития удмуртской культуры, особенностью которой являлся тот факт, что на протяжении многих веков народ, не имевший письменности, реализовал свой магический, познавательный, эстетический потенциал в фольклорном способе восприятия и отражения действительности. Но именно «процесс сложения системы фольклорных жанров подготовил базу для восприятия народом письменной культуры. После того, как удмурты в общегосударственном масштабе были втянуты в орбиту социально-политических и экономических преобразований, у них появилась возможность заложить качественно иной вектор развития духовной культуры — графически фиксированное письмо. XVIII в. становится в этом смысле важной точкой отсчета: социально-экономическое и культурное развитие эпохи создали основу для первого шага в развитии научных воззрений на удмуртском языке» (с. 392).

Принцип обязательности внутренней логической связи в каждой части на уровне всего текста первого тома «Истории литературы Урала» проявляется себя в обязательности научных сюжетов, ставших магистральными для издания и обеспечивающих целостность исследования: литература и этнос, литература и история, литература и власть, литература и религия, литература и фольклор, литература и культура, духовная ценность литературы региона и ее художественный потенциал и т. д.

Эти научные линии явлены уже в первой части тома, посвященной «работе» православных традиций в культурно-историческом освоении Пермских земель, две главы которой посвящены, во-первых, системному исследованию духовно-культурной роли Стефана Пермского, нашедшей отражение как в устной, так и в письменной традиции («Житие Стефана Пермского» Епифания Премудрого); во-вторых, описанию памятников письменности и литературы Перми Вычегодской. При всем концептуальном единстве, как показывает проведенный анализ, образ Стефана Пермского, имеет свою аранжировку в письменной и устной традиции. Так, в сочинении Епифания Премудрого «Пермская земля предстает не как чужая и враждебная, а как итог духовных усилий русских святителей, как часть политики, общей для церковной и княжеской власти. Образ Стефана оказывается не только связан с агиографическим мифом, но и становится основой исторического мифа, формирующегося вокруг процесса освоения Урала. Житие Стефана подвигало к дальнейшему продвижению на восток, создавало перспективную модель взаимоотношений столицы и окраины государства, формировало сочувственное отношение к местным народам, видя в них приверженцев православия» (с. 51). В устных легендах коми народа акцентируется не столько государственно-религиозная, сколько героическая роль Стефана, он воспринимается не только как святым, но и как культурный герой, так как «героически-мистическое начало в его образе явно превалирует над святостью» (с. 58). Более того, если иметь в виду, что «тексты легенд и преданий о христианизации созданы в контексте христианской культуры и имеют соответствующую оценку описываемых событий», то, «вероятно, была и другая, языческая (чудская), точка зрения на этот процесс, а значит, и другой круг текстов, который сохранялся и бытовал, пока христианизация коми не была завершена окончательно» (с. 58). Но в любом случае, и об этом убедительно свидетельствуют памятники письменности и литературы Перми Вычегодской, «Стефан начал свою миссию вероучителя с создания пермской азбуки, полагая, что вокруг нее возникнет пространство этнической книжно-письменной культуры пермян. Так и произошло, причем распространение новой религии положило начало этнокофессиональной консолидации пермских племен в единый коми народ, а развитие книжной культуры стало началом его письменной истории» (с. 59).

Единый алгоритм исследования, ведущийся по намеченным «силовым линиям», дополняется вариативностью филологического анализа (биографический, жанровый, стилевой, контекстуальный, метатекстовой, эволюционный и т. д.), методика и приемы которого диктуются спецификой материала. В результате по мере развертывания текста все объемнее проступает необычность, порой уникальная особенность литературы и литературной жизни региона и одновременно ее соотнесенность (в разных вариантах: от запаздывания до опережения¹ с общероссийским литературным процессом.

¹ См., например, главы, посвященные аналитическому описанию Строгановских библиотек XVI — XVII вв., крестьянских библиотек Прикамья, библиотеки Акинфия Демидова.

Статус издания, а оно по праву может быть квалифицировано именно как первый том академической истории литературы Урала, определяется целой системой его качеств: реализация установки на максимально доступное на сегодняшний день и исчерпывающее описание литературного процесса и художественных явлений, его составляющих; профессиональная ответственность и строгость; введение в научный обиход малоизвестных и неизвестных фактов, предполагающих огромную работу архивного характера; система новаторских интерпретационных ходов с обязательной корректным отношением к предшественникам, о чем свидетельствуют историографические зачина, дающие историю вопроса максимально презентативно. Научная полемика представлена корректно, она уходит «внутрь текста», тем самым сохраняя необходимую объективность тона. Примером здесь может быть очерк средневековой башкирской литературы, в котором поднят традиционно спорный вопрос о культуре и литературе булгарского периода и связанная с ним проблема принадлежности и истоков ряда литератур. Наконец, при сохранении индивидуально-исследовательского стиля, все части тома пронизаны «памятью жанра» академического исследования, что особо заметно по сравнению с разнообразными «пилотными» изданиями. Академическое издание потребовало иного письма, иной «меры вещей». Произошло значительное расширение текстового и контекстуального материала, его серьезная композиционная перестройка, в ряде случаев присутствует изменение пафоса и тона (от некой публицистичности к научной строгости).

Отдельного внимания заслуживает фундаментальный справочно-пояснительный, справочно-поисковый и библиографический аппарат.

В предисловии к первому тому, написанному академиком РАН В. В. Алексеевым, ученым, много сделавшим для появления данного труда, выражена надежда на то, что «сохранившееся среди российских ученых научное подвижничество» позволит продолжить исследование литературы Урала XIX–XX вв. Ибо бесспорно, что «Уральский регион и ныне занимает достойное место в составе Российской Федерации, поэтому адекватная оценка его литературно-культурного наследия является насущной задачей, настоятельно требующей своего решения» (с. 10).

УДК 35.082.21(09) + 94(571.53)

Е. В. Вершинин

РОЛЬ СЛУЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В КОЛОНИЗАЦИИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Рец. на кн.: *Леонтьева, Г. А. Служилые люди в Восточной Сибири во второй половине XVII – первой четверти XVIII в. (по материалам Иркутского и Нерчинского уездов) / Г. А. Леонтьева. – М. : Изд-во Моск. гос. пед. ун-та, 2012. – 321 с.*

Автор монографии, кандидат исторических наук, профессор Московского государственного педагогического университета Г. А. Леонтьева в 1972 г. защитила кандидатскую диссертацию на эту тему, но не спешила публиковать ее отдельной книгой. Создается впечатление, что, занимаясь самыми разными проблемами русской колонизации Сибири в XVII в. [см., в частности: Леонтьева, 1991; 1997], Г. А. Леонтьева сознательно подвергла свой труд проверке временем и не ошиблась. Знакомство с монографией показывает, что перед нами не извлеченный на свет сорокалетней давности текст, а исследование, в котором учтена и осмыслена сибиреведческая литература последних десятилетий; работу же с архивными источниками автор не прекращала никогда. Для историка-сибиреведа нет нужды указывать, что исследование Г. А. Леонтьевой в тематическом аспекте близко стоит к монографии Н. И. Никитина [см.: Никитин]. Наличие этих двух работ дает прекрасную возможность для размышлений о сходстве и различиях служилых людей Западной и Восточной Сибири, а в более широком смысле – о роли служилого элемента в поэтапном движении колонизации на восток.

Объектом исследования Г. А. Леонтьевой стало формирование категории служилых людей в Иркутском и Нерчинском уездах с последующим процессом (хотя и на первоначальной стадии) их превращения в постоянное старожильческое население. Территории Предбайкалья и Забайкалья по мере основания русских острогов и острожков управлялись сначала из Енисейска, и лишь со временем выделились самостоятельные Нерчинский и Иркутский уезды. История Нерчинского уезда в XVII в. всегда вызывала повышенное внимание ученых, поскольку его пограничная территория стала ареной таких событий, как военные столкновения с Цинским Китаем на Амуре в 1650-х и 1680-х гг., заключение Нерчинского договора 1689 г., развитие торговли с Китаем в конце столетия. Если Иркутский острог существовал с 1661 г., а центром уезда стал с 1681 г., то подобной ясности нет в отношении Нерчинского уезда.

На этом вопросе стоит остановиться немного подробней, поскольку рецензент испытывает определенное чувство вины перед автором монографии. Г. А. Леонтьева пишет: «С учреждением в 1656 г. Нерчинского воеводства и назначением туда воеводой Афанасия Филипповича Пашкова территория Во-

сточного Забайкалья, район Шилки и земли, расположенные по Амуру, выделились в Нерчинский уезд...» (с. 27). При этом Г. А. Леонтьева делает ссылку на работу рецензента, который в настоящее время вовсе не уверен в формальном существовании Нерчинского уезда «с даурскими острогами» с 1656 г. [Вершинин, с. 164]. Не останавливаясь на подробностях, которым здесь не место, суждения рецензента в настоящий момент сводятся к следующему. Нерчинский острог был основан только в 1658 г. отрядом А. Ф. Пашкова. Сам основатель называл его Верхним Шилкским, а также Нелюцким и Тунгусским. Нерчинским этот острог впервые назван, кажется, в грамоте 1659 г. из Москвы в Якутск [см.: Артемьев, с. 48–49]. С 1662 по 1677 г. «в Дауры, в Нерчинские остроги» назначались представители служилой верхушки Тобольска: Л. Б. Толбузин, Д. Д. Аршинский, П. Я. Шульгин. В это время шел процесс формирования территории Нерчинского уезда, а его пограничная географическая неопределенность поставило управление им в особое положение по сравнению с другими сибирскими «воеводствами». В 1677 г. приказным человеком в Нерчинские остроги был назначен енисейский сын боярский Гр. Лоншаков, очевидно, по причине образования Енисейского разряда, в который вошла и территория Забайкалья. Наконец, в 1680 г. «в Даурех в Нерчинских городах, в шести острожках» появился первый воевода из Москвы — стольник Ф. Д. Дементьев [ПСРЛ, с. 171]. Этот факт можно считать окончательным признанием Нерчинского уезда в административном делении Сибири.

Уточнение этих формальностей ничуть не ставит под сомнение правильность решения Г. А. Леонтьевой начинать историю служилых людей Предбайкалья и Забайкалья с момента их фактического преемственного существования на территориях будущих Иркутского и Нерчинского уездов. Исторические работы в самом общем виде делятся, в зависимости от склонности авторов, на две категории: 1) те, которые наполнены историософскими размышлениями и социологическими догадками, и 2) те, которые опираются на обильный фактический материал источников, при знакомстве с которым только и можно делать репрезентативные выводы (какими бы мелкомасштабными они ни представлялись создателям генерализирующих теорий). Монография Г. А. Леонтьевой насыщена «фактологией», которая (там, где позволяют источники) систематизирована в виде многочисленных таблиц.

Г. А. Леонтьева последовательно рассмотрела такие вопросы, как формирование служилых людей указанных уездов, их обязанности, государственное обеспечение и размеры окладов, вклад служилых людей в земледельческое освоение территорий, их занятия ремеслами и промыслами, а также участие в развитии внутренней и внешней торговли. Если с А. Ф. Пашковым в Забайкалье прибыло 460 служилых и охочих людей, то в 1662 г. в трех острогах Нерчинского уезда насчитывалось лишь 75 служилых людей (с. 31–32), что до сих пор остается некоторой загадкой. В целом неудачный поход Пашкова («даурский воевода» так и не посетил Приамурье) сопровождался катастрофичной убылью людей, о причинах которой сам Пашков предпочел умолчать. Тем не менее в течение 1660–1680-х гг. гарнизон только Нерчинского острога увеличился с 46 человек в 1664 г. до 180 в 1689 г. (с. 36–37). Как показано

в исследовании, основными источниками комплектования гарнизонов двух уездов были осевшие на постоянное житье «годовальщики» из Западной Сибири (в первые годы колонизации Забайкалья), гулящие и промышленные люди, а с 1690-х гг. — родственники самих местных служилых людей по прибору. Г. А. Леонтьева обоснованно связывает последний факт с ростом старожильческого населения служилого населения в целом. В 1693 г. в гарнизонах Иркутского уезда (к которому относилось и Западное Забайкалье) числилось 995 служилых людей по прибору (т. е. рядовых), в Нерчинском уезде — 425 человек; из общего количества 1420 служилых 1 тыс. составляла гарнизоны четырех городов. В 1725 г. в Иркутском и Нерчинском уездах служилых людей было соответственно 901 и 551 человек (с. 54). Думается, что в разделе о численности служилых людей были бы интересны некоторые итоговые данные о численности как всего русского, так и автохтонного населения уездов.

Служилые люди в Предбайкалье и Забайкалье к концу XVII в. явились ядром формирования русского старожильческого населения. Г. А. Леонтьева показала многообразные линии взаимосвязи между этим процессом, социальным происхождением (во многом крестьянского и посадского) служилых людей по прибору в рассматриваемых уездах, недостаточностью их государственного обеспечения и их обращением (по преимуществу добровольным) к сельскохозяйственным занятиям. Старожильческое население распространялось, по мысли Г. А. Леонтьевой, из уездного центра к его периферии: «Образование старожильческого служилого населения, численный рост семей в единении с занятиями хлебопашеством создавали необходимые условия для переселения “всяких чинов” служилых людей из гарнизонов на отведенные им земли и основания ими... деревень» (с. 232). В книге много имен и фамилий русских поселенцев 1—3-го поколений в Байкальском регионе, что дает возможность для построения старожильческих генеалогий вплоть до XX в. Можно только пожалеть об отсутствии в работе именного указателя.

В монографии подробно, насколько позволяли сохранившиеся источники, рассмотрены ремесленные и промысловые занятия служилых людей. В отношении развития местного ремесла роль служилых Нерчинского уезда по понятным причинам (в частности, меньшей заселенности) была гораздо заметней, чем в Иркутском уезде. Представляется, что обращение служилых людей к ремеслу в первые десятилетия колонизации тех или иных сибирских территорий диктовалось не столько общими тенденциями складывания далекого географически общероссийского рынка (с. 232), сколько насущными потребностями привыкшего к определенному ассортименту ремесленной продукции русского переселенца. Совмещение хозяйственных занятий со службой, характерное для служилых людей по прибору в XVII в., получало особую актуальность на колонизируемых окраинах. Сочетание в одном лице служилого человека и землепашца (или ремесленника) удовлетворяло и самого служилого человека, и государство, которое, как отметила Г. А. Леонтьева, пополняло казну благодаря поступлениям от торговли ремесленными изделиями, пушнины, продуктов земледелия и рыболовства, а также существовавшей системе откупов в местный бюджет, дефицит кото-

рых в исследуемых уездах в конце XVII — начале XVIII в. сводился к минимуму.

Весьма интересны приводимые в монографии сведения об участии служилых людей в торговле с Китаем, «пионерами» которой они стали еще до установления с ним официальных отношений. Пограничная специфика сделала из многих служилых людей или (реже) завуалированных состоятельных торговцев, или полуохраников-полуторговцев в составе казенных караванов в Китай. Участие в караванной торговле с Китаем в 1690-х гг. для нерчинского служилого мира имело следствием заметную имущественную дифференцию в его среде и, как следствие, возрастание верстаний служилых по прибору в служилые по отечеству (с. 199–227).

Во введении Г. А. Леонтьева сделала мягкий упрек Н. И. Никитину, что хронологическое ограничение его работ о служилых людях Сибири концом XVII в. может оставить у читателя чувство недописанной книги (с. 16). Его (читателя), естественно, интересуют метаморфозы служилых людей в Сибири (и «по отечеству», и «по прибору») в эпоху Петровских реформ и, можно добавить, в течение всего XVIII в. Казаки и стрельцы Сибири к концу 1-й четверти XVIII в. превратились, неожиданно для самих себя, в служилых людей «старых служб». При обращении к специальным работам по истории сибирского казачества в XVIII в. можно отметить, что исследователи стараются быстрее «проскочить» неопределенный (и непоследовательный в законодательном отношении) период 2-й и 3-й четвертей столетия. В этот «переходный» период 2–3 поколения родственников и потомков служилых людей «старых служб» двигались в направлении правового и организационного оформления казачества как неподатного военного сословия, явив наконец в 1770-е гг. долго искомый образец «новой службы». На временной шкале истории исследователи любят выделять симпатичные «стабильные» эпохи (с другой стороны — стагнационные, застойные), между которыми субъекты истории (этносы, субэтносы, сословия и т. д.) находятся лишь в заведомо ограниченном пути от не совсем совершенного состояния к более совершенному. Между тем движение от одной точки к другой часто длится дольше, чем очередная эпоха спокойствия и регулярности.

Г. А. Леонтьева заключила свою книгу главой, которую, видимо, не нашла в имеющихся работах по истории сибирского казачества: «Post Scriptum. К постановке вопроса о влиянии служилых людей “старых служб” на судьбы казачества Сибири и его становление как сословия». Это попытка (и вполне удачная) выявить непрерывную связь между сибирскими служилыми людьми допетровской эпохи (которая для них продолжалась и при жизни Петра Первого) и более поздним, территориально оформленным в отдельные «войска» забайкальским и сибирским линейным казачеством. Материал главы имеет общесибирский характер и в этом отношении (как и в хронологическом) выходит за рамки названия монографии. Печальный для служилых людей «старых служб» переходный период ознаменовался включением их (1724) в подушный оклад и причислением к категории «разночинцев». По мнению автора, «служилые и их родственники сами создали экономическую основу

для возможности своего включения в подушный оклад» (с. 239) тем, что активно занимались хлебопашеством. И хотя в 1727 г. последовал указ об освобождении от тягла всех служилых людей, на практике его воплощение, особенно в отношении потомков действительно зачисленных на службу казаков, затянулось на десятилетия. Несмотря на кажущийся разрыв со «стариной» и зигзаги правительенной мысли, сибирское казачество последней трети XVIII в. многое унаследовало от предыдущего столетия. Генетическая преемственность от самых многочисленных групп служилых людей XVII в. — пеших и конных казаков — выразилась в сохранении названия для забайкальского пограничного, сибирского линейного и уменьшившегося городового казачества. В то же время фактически исчезли группы сибирских дворян и детей боярских. «Новое» казачество стало более монолитным, сохранило сословный принцип зачисления в службу, освобождение от подушной подати, право на сочетание службы с хозяйственными занятиями, некоторые элементы казачьего самоуправления и иррегулярность как принцип существования особых военных формирований. Г. А. Леонтьева тонко подметила, что нормативные акты XIX в., определявшие социальный статус казачества (и которые служат вехами для историков), отражают реалии, существовавшие гораздо ранее их фиксации де-юре (с. 275). Другими словами, отличительные характеристики казачества XIX в., если не обращать внимания на терминологическую разницу, генетически в основном восходят к тем характеристикам (чертам) служилых людей XVII — начала XVIII в., которые прекрасно освещены в работах Г. А. Леонтьевой и Н. И. Никитина. Это позволило Г. А. Леонтьевой сделать принципиальный вывод: проведенный автором сравнительный анализ с учетом «разночинного» периода неопределенности «позволяет отнести время складывания казачества Сибири как части казачьего сословия к последней трети — концу XVIII в.» (с. 275).

Исследование Г. А. Леонтьевой, являясь весомым вкладом в изучение формирования и эволюции казачества Сибири, предоставляет прекрасный материал для дальнейших размышлений об особенностях начального этапа российской колонизации Сибири. Показательно, что автор, не касаясь напрямую споров о соотношении «правительственной», «вольнонародной», «крестьянской», «служилой» колонизаций, использует такие выражения, как «военно-переселенческая колонизация новых земель», «задачи хозяйственно-колонизационного порядка», наконец, просто «колонизация русскими Забайкалья и Приамурья». Г. А. Леонтьева, как и другие отечественные сибиреведы, «пропустившие» через себя значительный поток документальных источников XVII в., имплицитно делает различие между «колонизаторами» и «колонистами», между «колониальными территориями» и «колонизируемыми землями». И это следует учитывать тем современным авторам, которые легко оперируют понятиями «колониальный порядок», «метрополия и колония» в отношении первого столетия проникновения русских в Сибирь и ее дальнейшего хозяйственного освоения.

Артемьев А. Р. Города и остроги Забайкалья и Прибайкалья во второй половине XVII – XVIII в. Владивосток, 1999. [Aretem'ev A. R. Goroda i ostrogi Zabajkal'ya i Pribajkal'ya vo vtoroj polovine XVII – XVIII v. Vladivostok, 1999.]

Вершинин Е. В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). Екатеринбург, 1998. [Vershinin E. V. Voevodskoe upravlenie v Sibiri (XVII vek). Ekaterinburg, 1998.]

Леонтьева Г. А. Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров. М., 1991. [Leont'eva G. A. Zemleprokhodets Erofej Pavlovich Khabarov. M., 1991.]

Леонтьева Г. А. Якутский казак Владимир Атласов – первопроходец земли Камчатки. М., 1997. [Leont'eva G. A. Yakutskij kazak Vladimir Atlasov – pervoprokhodets zemli Kamchatki. M., 1997.]

Никитин Н. И. Служилые люди в Западной Сибири XVII века. Новосибирск, 1988. [Nikitin N. I. Sluzhilye lyudi v Zapadnoj Sibiri XVII veka. Novosibirsk, 1988.]

ПСРЛ. Т. 36 : Сибирские летописи. Ч. 1 : Группа Есиповской летописи. М., 1987. [PSRL. T. 36 : Sibirskie letopisi. Ch. 1 : Gruppa Esipovskoj letopisi. M., 1987.]

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Исследовательские проекты: итоги года

Ежегодное подведение итогов исследовательских проектов гуманитарного профиля становится традицией в нашем журнале. В 2013 г. продолжались работы по историческому, литературоведческому и лингвистическим направлениям.

В первую очередь это мегагрант по истории, посвященный российской элите XVIII–XIX вв., ее формированию и разнообразным формам проявления европейского потенциала, в котором объединили усилия российские и французские исследователи.

Завершилась работа по исследованию религиозного ландшафта Урала XIX–XX в., главным результатом которой явилось создание историко-культурного атласа конфессий.

Литературоведы завершили пятилетний проект по изучению форм художественного сознания в их национальной специфике. Реализация проекта осуществлялась филологами уральской школы и в его рамках существенно продвинулось исследование творчества Д. Н. Мамина-Сибиряка и наметились перспективы к современному осмыслиению писателей первой величины русской литературы.

В лингвистических проектах предпочтение отдается созданию словарей, проблеме синонимов и разработке электронного тезауруса, позволяющего связать всю лексику языка в семантическую сеть, исследованию многоречия в социокультурном пространстве современной России. Все указанные проекты имели финансовую поддержку.

Ключевые слова: российская элита; религиозный ландшафт; история Урала; история России; художественное сознание; Д. Н. Мамин-Сибиряк; словари русского языка; синонимия; семантическая сеть языка; многоречие; коммуникативная толерантность.

УДК 001.89:009 + 316.344.42 + 327

**Ю. В. Запарий
К. Д. Бугров**

МЕГАГРАНТ ИСТОРИКОВ

О первом этапе реализации российско-французского исследовательского проекта ИГНИ УрФУ «Возвращение в Европу: российские элиты и европейские инновации, нормы и модели (XVIII – начало XX в.)»

В январе 2013 г. историки ИГНИ УрФУ приняли участие в третьей очереди конкурса на получение грантов правительства Российской Федерации в рамках постановления № 201. Целью этой программы, больше известной как мегагрант, является формирование международных научных коллективов под руководством ведущих ученых, а также поддержка эффективного сотрудничества и обмена между российскими университетами и зарубежными исследовательскими центрами. В 2013 г. на конкурс поступило 730 заявок, но лишь 42 из них стали победителями, в том числе и проект историков ИГНИ УрФУ «Возвращение в Европу...». (Важно отметить, что абсолютное большинство проектов-победителей связано с естественными и техническими науками.)

Для реализации проекта в ИГНИ УрФУ создана лаборатория эдиционной археографии. Научное руководство лабораторией осуществляют Мари-Пьер Рей, кавалер ордена Почетного легиона, известный специалист по истории России и автор многочисленных научных трудов, в том числе неоднократно отмеченного наградами академического бестселлера — научной биографии Александра I, которая была переведена на русский и английский языки. Профессор Рей возглавляет Институт истории международных отношений имени Пьера Ренувена (Университет Париж-1 Пантеон-Сорбонна). С российской стороны руководителем проекта выступает доктор исторических наук Дмитрий Редин, крупный специалист по истории России XVII–XVIII столетий, заведующий кафедрой истории России УрФУ. В реализации проекта участвуют ведущие французские специалисты по истории России и специалисты ИГНИ УрФУ; деятельное участие в проекте принимает ключевой партнер ИГНИ УрФУ в сфере науки — Институт истории и археологии УрО РАН.

Что же скрывается за названием «Возвращение в Европу»? Мегагрант историков ИГНИ УрФУ — это масштабный исследовательский проект, направленный на изучение механизмов социально-культурного трансфера и адаптации европейских новшеств имперской Россией (в эпоху от Петра I до Николая II). Принципиальный акцент в исследовании сделан на изучении вопроса о том, какие российские элиты — как в центре, так и на периферии империи — воспринимали и усваивали европейские инновации. Изучение трансфера инноваций изучается комплексно — на уровне конкретных идей, технологий, институтов.

Мегагранты являются наиболее крупными проектами финансирования научных исследований в России, а значит, предполагают целый ряд жестких обязательств, касающихся масштабов публикационной активности коллектива ученых. Помимо публикации результатов исследования в научных статьях и монографиях, коллектив лаборатории эдиционной археографии работает над созданием электронного корпуса источников по тематике проекта, для которого будет собран и прокомментирован комплекс нарративных источников по истории Российской империи XVIII – начала XX в., отражающих процесс адаптации европейских инноваций российскими элитами в указанный

период. Этот ресурс позволит сделать результаты исследования доступными для широкого круга специалистов как в России, так и за рубежом, а также сыграет важную образовательно-просветительскую роль.

В сентябре 2013 г. состоялся первый международный научный семинар «Российские элиты и европейские инновации: теоретический аспект». Участники семинара представили предварительные результаты своих исследований, проведенные в течение лета 2013 г., обсудили методы исследования и обменялись мнениями о перспективах изучения культурного и технологического обмена между Россией и Европой. На основании общей дискуссии были определены конкретные направления исследования в рамках темы мегагранта. Таким образом, реализация проекта включает 6 ключевых научных тем, каждую из которых развивает отдельная исследовательская группа:

- **Идентичности и социально-политическая рефлексия** (проблемы формирования новых представлений о государстве и обществе под влиянием европейских норм и моделей);
- **Профессиональные сообщества в науке и образовании** (воздействие европейских инноваций, моделей и норм на профессиональные сообщества, науку и образование);
- **Секуляризм и религия** (влияние европейских моделей и норм на процессы секуляризации и религию);
- **«Европейское» в повседневности** (изменение образа жизни элит под влиянием европейских моделей и норм);
- **Управленческие практики** (воздействие европейских инноваций, моделей и норм на управленческие практики и институты);
- **Технологии и производство** (инновации в технологиях и производстве: каналы, механизмы, агенты распространения и внедрения).

Важной вехой в реализации проекта стал международный научный симпозиум «Культурные элиты России в контексте европейского инновационного процесса». Частью симпозиума стала международная научная конференция «Культурные элиты России: истоки формирования и модели развития», прошедшая в Уральском федеральном университете 24–26 октября 2013 г. (соорганизатором выступила Свердловская областная научная библиотека имени В. Г. Белинского). В мероприятии приняли участие 69 специалистов из России, Франции, Польши, Латвии, Украины и Норвегии. На пяти секциях конференции обсуждались разнообразные проблемы формирования российских культурных элит, своеобразие этого процесса с учетом специфики религиозной и светской культурных традиций. Участники мегагранта, кроме того, представили результаты своей работы, проводившейся в сентябре – октябре 2013 г. в архивах и библиотеках России (Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Киров) и Франции.

В центре внимания участников конференции оказался российский XVIII век – Петровские реформы и последовавшие за ними преобразования. Это неудивительно: феномен модернизации России остается ключевой темой для историков.

Лейтмотивом конференции стало признание неоднозначности процесса адаптации европейских норм и моделей в российских реалиях. Например, в ходе реформ Петру I удалось создать (прежде всего вокруг себя, в больших городах империи) среду, визуально практически ничем не отличавшуюся от европейских городов, таких как Амстердам или Париж. При преемниках Петра новая среда постепенно стала для России привычной, превратившись из формы в содержание, из имитации – в образ жизни.

В рамках международного симпозиума также была организована школа молодых ученых «Просветительские традиции в Европе и России в Новое время». Лекторами школы выступили ведущие ученые из России и Франции. Так, доктор Владислав Рже-

уцкий (Франция) провел мастер-классы по теме «Образование и воспитание российского дворянства в XVIII — начале XIX в. в контексте западных традиций воспитания элит».

Заключительной частью симпозиума стала всероссийская конференция «Возвращение в Европу: российские центры изучения европейской истории Нового и Новейшего времени», которая прошла в УрФУ 31 октября — 1 ноября 2013 г. В работе конференции приняли участие 40 историков из ведущих научных центров Москвы, Тюмени, Саратова, Нижнего Новгорода, Томска и Челябинска. Участники конференции обсудили основные подходы к изучению российско-европейских отношений, реализуемые отечественными центрами исторической науки.

В ноябре 2013 г. ряд научных сотрудников лаборатории прошли стажировку в Центре исследований славянской истории Университета Париж-1 (Пантеон-Сорбонна), возглавляемом ведущим ученым профессором М.-П. Рей. Члены коллектива представили результаты работы по выявлению и поиску источников по направлениям исследования. По итогам обсуждений были разработаны основные положения регламента, на основе которого будет пополняться электронный корпус, алгоритм подготовки научных комментариев к текстам, а также формализованные критерии ввода информации в базу данных корпуса.

В библиотеке Сорбонны российские исследователи получили возможность ознакомиться с новейшей европейской литературой по теме проекта. Кроме того, был достигнут ряд важных соглашений с научно-образовательными центрами Университета Париж-1 и парижской Высшей нормальной школы. 6 ноября состоялся прием участников коллектива мегагранта российским послом в Париже Александром Орловым, выразившим уверенность в том, что новый научный проект станет весомым вкладом в развитие российско-французских отношений.

Рабочие встречи руководителей проекта позволили конкретизировать планы работы на следующий год. В частности, на ноябрь 2014 г. уже запланирована крупная международная конференция, которая пройдет в Лионе (Франция) совместно с университетом Париж-1 (Пантеон-Сорбонна) и Высшей нормальной школой в Лионе. В настоящий момент формируется организационный комитет грядущей конференции (информационное письмо будет распространено в январе 2014 г.).

УДК 912.44:94(470.5) + 912.44:2-5

Е. М. Главацкая

ЭВОЛЮЦИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ЛАНДШАФТА УРАЛА В КОНЦЕ XIX – XX в.: ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ АТЛАС*

В 2013 г. завершилась работа над проектом «Эволюция религиозного ландшафта Урала в конце XIX–XX вв.: историко-культурный атлас», поддержаным Российским гуманитарным научным фондом в 2011 г. Проект явился продолжением научно-исследовательских работ по изучению религиозного ландшафта Урала и Северо-Западной Сибири, поддержанных РГНФ ранее. Его основной задачей было выявление форм

* При финансовой поддержке РГНФ, грант «Эволюция религиозного ландшафта Урала в конце XIX – XX вв.: историко-культурный атлас». Соглашение № 11-01-00317а.

адаптации и эволюции религиозных институтов различных конфессий в условиях переходных периодов, а особенностью — внедрение методики исторического картографирования. Эта методика была разработана коллективом участников проекта под руководством профессора кафедры археологии и этнологии Е. М. Главацкой для создания историко-культурного атласа Урала [см.: Главацкая, Манькова, Цеменкова; Главацкая, Цеменкова, Заболотных], поскольку пространственное восприятие исторических событий и феноменов позволяет глубже понять суть многих процессов.

Проект также был направлен на поиск и каталогизацию новых источников, характеризующих религиозный ландшафт Урала в конце XIX — начале XX в., прежде всего визуальных, с целью активизации использования данного вида документов в исторических исследованиях.

Для решения поставленных задач коллективом преподавателей и сотрудников истфака (С. А. Белобородов, Ю. А. Боровик, А. С. Палкин, А. Н. Старостин и С. И. Цеменкова) были определены основные направления работы по реконструкции эволюции религиозного ландшафта Урала: религиозность финно-угорских народов Урала; ислам; альтернативные формы православия (старообрядчество и единоверие); западно-христианские деноминации; иудаизм и буддизм. История развития институтов официального православия не вошла в состав основных направлений исследования, поскольку была подробно освещена в монографии [История Екатеринбургской епархии].

Работа по выявлению новых источников была проведена в ряде центральных и местных архивов: Российского этнографического музея, Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, Свердловского областного краеведческого музея, лаборатории археографических исследований УрФУ, Свердловской областной научной библиотеки им. В. Г. Белинского, Государственного архива Свердловской области, Государственного архива Пермского края, Пермского краевого музея, Российской национальной библиотеки, Архива административных органов Свердловской области, Российской государственной библиотеки, Государственного архива Российской Федерации и Центрально-го государственного исторического архива Республики Башкортостан.

Поскольку религиозность населения в XX в. наименее всего отразилась в исторических источниках, были организованы полевые исследования с применением методов аудио- и видеозаписи, включенного наблюдения, анкетирования и интервьюирования в общинах мусульман, лютеран, католиков, методистов, пятидесятников, мормонов, адвентистов, представителей старообрядчества (часовенных и австрийцев), единоверцев, буддистов и евреев. Полевые исследования проводились как участниками проекта, так и магистрантами и студентами старших курсов, специализирующихся на кафедре археологии и этнологии исторического факультета УрФУ. По результатам проведенных исследований студентами было подготовлено и защищено четыре дипломных проекта, магистерская диссертация, опубликовано шесть тезисов выступлений на конференциях, еще четыре дипломных проекта и три магистерские диссертации находятся в стадии подготовки. Все полученные в поле материалы (наблюдения, анкеты и интервью) хранятся в личных архивах и доступны для исследователей.

В результате проведенных работ участниками проекта были подготовлены электронные базы данных: «Мечети Свердловской области», «Единоверческие приходы Екатеринбургской епархии» и др., уточнены сведения о состоянии культовых зданий, произведена их фотофиксация; собраны сведения о неформальных духовных лидерах мусульман советского времени, местах молитв и формах религиозных ритуалов [см.: Старостин, с. 32–56].

Были разработаны приемы использования фотодокументов в качестве исторических, предложены методы их подбора, критического анализа и научного цитирования

[см.: Главацкая, 2012; 2013; Клюкина-Боровик; Боровик]. Разработана концепция каталога-справочника фотодокументов, характеризующих эволюцию религиозной ситуации Урала в конце XIX –XX в.

На основании архивных и полевых исследований был подготовлен корпус электронных исторических карт, характеризующих эволюцию отдельных элементов религиозного ландшафта Урала в XIX – начале XXI в.

Результаты проведенных исследований были представлены на 25 научных конференциях, в том числе Ассоциации американских антропологов (AAA, Монреаль, 2011); мусульманском форуме «Россия и исламский мир: векторы модернизации на пространстве СНГ» (Москва, 2011), Европейской ассоциации религиоведов (EARS, Содерторн, 2012; Ливерпуль, 2013); ассоциации «История и компьютер» (Москва, 2012) и Конгрессе антропологов и этнологов России (Москва, 2013).

В ходе исследования участниками проекта были защищены три кандидатские диссертации [см.: Белобородов; Цеменкова; Палкин], подготовлено 29 публикаций, в том числе две монографии [Главацкая, 2013; Смирнова, Главацкая] и пять статей в журналах ВАК [Белобородов, Перевалова, Головнев; Клюкина-Боровик; Главацкая, 2012; Исследование этнических...; Главацкая, Беспокойный]. Кроме того, подготовлены рукописи двух монографий: «Эволюция религиозного ландшафта Урала в конце XIX – XX вв. (Свердловская область)» (7 а. л.) и «Религии Урала в фотодокументах» (5 а. л.).

В процессе проведенного исследования было установлено, что в конце XIX – начале XX в. религиозный ландшафт Урала характеризовался не только расширением его православной и исламской составляющих, но и значительно обогатился институтами западного христианства и иудаизма. Были выявлены этапы эволюции основных религиозных деноминаций Урала в XIX–XX вв. и векторы их географического распространения. В частности, институты иудаизма с самого начала существовали исключительно в административных центрах, а большинство исламских институтов – вообще в сельской местности. Общины католиков, и особенно лютеран, имели лишь центры в Екатеринбурге и большое количество прихожан в горнозаводских поселениях. Старообрядческие общины часовенных формировались вокруг крупных заводских центров, в сельских уездах их присутствие было минимальным. Соответственно и предложенное властями в качестве компромисса единоверие также распространялось в уже освоенных старообрядцами зонах.

Установлено, что внутренняя политика, внешнеполитический фактор и логика развития деноминации по-разному влияли на эволюцию различных элементов религиозного ландшафта. В частности, на бурное развитие иудаизма на Урале с конца XIX в. – до 1920-х гг. повлияло изменение законодательства, Первая мировая война и противоречия в общинах новоприбывших и «старожилов» по каноническим вопросам.

Последняя декада XX в. ознаменовалась формированием нового социального феномена – поиска религиозных идентичностей. Именно в этот период в России был взят курс на возрождение религий, прежде всего тех, которые были представлены в религиозном ландшафте страны имперского периода. Кроме того, была разрешена миссионерская практика, введено правовое обеспечение деятельности религиозных организаций. Эти изменения оказали влияние на развитие религиозного ландшафта Урала: прежде всего увеличилось число последователей православия и ислама, расширилась география распространения этих конфессий; институты западного христианства и иудаизма, которые к середине XX в. прекратили свое существование на Урале в условиях воинствующего атеизма, начали активно возрождаться в период перестройки.

Активная миссионерская деятельность представителей различных конфессий на территории Урала и неудовлетворенность части россиян вариантом «традиционных»

религиозных идентичностей, которые навязывались государством, привели к появлению альтернативных форм религиозности. В целом, эволюция религиозного ландшафта второй половины XX в. была связана со стремлением манифестировать «традиционную» (исторически/этнически обусловленную) или новую, но ставшую «своей» религиозную идентичность с парадигмой отношений новоприбывших со «старожилами».

Новизна и методико-теоретическая значимость проекта заключается в том, что, во-первых, подобные широкомасштабные исследования не проводились на территории Урала; во-вторых, в привлечении широкого спектра разработанных коллективом и адаптированных под тему исследования традиционных методов: в частности, были использованы методы пространственного анализа и обязательного исторического картографирования, этноисторического анализа, включенного наблюдения, устной истории, анализа и интерпретации визуальных материалов.

Проведенное исследование показало также необходимость более глубокого исследования городских этноконфессиональных сообществ.

Белобородов С. А. Религиозно-организационная структура старообрядчества горнозаводского Урала во второй четверти XIX – начале XX в. : (на примере согласия беглопоповцев/часовенных) : автoref. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2012. 30 с. [Beloborodov S. A. Religiozno-organizatsionnaya struktura staroobryadchestva gornozavodskogo Urala vo vtoroj chetverti XIX – nachale XX v. : (na primere soglasiya beglopopovtsev/chasovennykh) : avtoref. dis. ... kand. ist. nauk. Ekaterinburg, 2012. 30 s.]

Белобородов С. А., Перевалова Е. В., Головнев А. В. ЭтноЭкспедиция Урал-2011 // Урал. ист. вестн. (Екатеринбург). 2011. № 4. С. 131–135. [Beloborodov S. A., Perevalova E. V., Golovnev A. V. EtnoEkspeditsiya Ural-2011 // Ural. ist. vestn. (Ekaterinburg). 2011. N 4. S. 131–135.]

Боровик Ю. В. Возможности использования визуальных источников для изучения истории старообрядчества в советское время // Вестн. музея «Невьянская икона». 2013. № 4. С.198–213. [Borovik YU.V. Vozmozhnosti ispol'zovaniya vizual'nykh istochnikov dlya izucheniya istorii staroobryadchestva v sovetskoe vremya // Vestn. muzeya «Nev'yanskaya ikona». 2013. N 4. S.198–213.]

Главацкая Е. М. Забытые образы хантыйских шаманов: каталог фотодокументов начала XX века из собрания Тобольского историко-архивного музея-заповедника = Forgotten Images of Khanty Shamans: catalogue of the early 20th century photo documents from the collection of the Tobol'sk Historical-Architectural Museum Resort. Екатеринбург, 2013. 154 с. : ил. [Glavatskaya E. M. Zabytye obrazy khantyjskikh shamanov: katalog fotodo-kumentov nachala XX veka iz sobraniya Tobol'skogo istoriko-arkhivnogo muzeya-zapovednika = Forgotten Images of Khanty Shamans: catalogue of the early 20th century photo documents from the collection of the Tobol'sk Historical-Architectural Museum Resort. Ekaterinburg, 2013. 154 s. : il.]

Главацкая Е. М. Фотодокументы как исторический источник: опыт атрибуции, критического анализа и научного цитирования // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2, Гуманитар. науки. 2012. № 1 (103). С. 217–225. [Glavatskaya E. M. Fotodokumenty kak istoricheskij istochnik: opyt atributsii, kriticheskogo analiza i nauchnogo tsitirovaniya// Izv. Ural. feder. un-ta. Ser. 2, Gumanitar. nauki. 2012. N 1 (103). S. 217–225.]

Главацкая Е. М., Беспокойный А. Православие и традиционная религиозность манси в конце XIX – начале XX в.: перекрестки культурного взаимодействия // Урал. ист. вестн. 2013. № 2 (39) С. 47–55. [Glavatskaya E. M., Bespokojnyj A. Pravoslavie i traditsionnaya religioznost' mansi v kontse XIX – nachale XX v.: perekrestki kul'turnogo vzaimodejstviya // Ural. ist. vestn. 2013. N 2 (39) S. 47–55.]

Главацкая Е. М., Манькова И. Л., Цеменкова С. И. Реконструкция православного ландшафта Урала XVII – начала XXI в.: из опыта создания историко-культурного атласа //

Православие в судьбе Урала и России: история и современность : материалы Всерос. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 18—20 апреля 2010. Екатеринбург, 2010. С. 11—15. [Glavatskaya E. M., Man'kova I. L., Tsemenkova S. I. Rekonstruktsiya pravoslavnogo landshafta Urala XVII — nachala XXI v.: iz opyta sozdaniya istoriko-kul'turnogo atlasa // Pravoslavie v sud'be Urala i Rossii: istoriya i sovremennost' : materialy Vseros. nauch.-prakt. konf., Ekaterinburg, 18—20 aprelya 2010. Ekaterinburg, 2010. S. 11—15.]

Главацкая Е. М., Цеменкова С. И., Заболотных А. А. Эволюция религиозного ландшафта Урала в XVIII — начале XXI в.: опыт создания исторических компьютерных карт и их анимации// Информ. бюл. ассоциации «История и компьютер». 2010. № 36, октябрь. С. 27—28. [Glavatskaya E. M., Tsemenkova S. I., Zabolotnykh A. A. Evolyutsiya religioz-nogo landshafta Urala v XVIII — nachale XXI v.: opyt sozdaniya istoricheskikh komp'yuternykh kart i ikh animatsii // Inform. byul. assotsiatsii «Istoriya i komp'yuter». 2010. N 36, oktyabr'. S. 27—28.]

Исследование этнических и конфессиональных процессов на Урале / Е. М. Главацкая и др. // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2. Гуманитар. науки. 2012. № 4 (108). С. 279—281. [Issledovanie etnicheskikh i konfessional'nykh protsessov na Urale / E. M. Glavatskaya i dr. // Izv. Ural. feder. un-ta. Ser. 2. Gumanitar. nauki. 2012. N 4 (108). S. 279—281.]

История Екатеринбургской епархии. Екатеринбург / Е. М. Главацкая и др. Екатеринбург, 2010. 552 с. [Istoriya Ekaterinburgskoj eparkhii. Ekaterinburg / E. M. Glavatskaya i dr. Ekaterinburg, 2010. 552 s.]

Клюкина-Боровик Ю.В. «После производства обыска была сфотографирована келья»: закрытие скита старообрядцев-часовенных по фотоматериалам следственного дела 1940 г. // Вестн. Урал. отд-ния РАН. Наука. Общество. Человек. 2012. № 1. С.100—103. [Klyukina-Borovik Yu.V. «Posle proizvodstva obyska byla sfotografirovana kel'ya»: zakrytie skita staroobryadtsev-chasovennykh po fotomaterialam sledstvennogo dela 1940 g. // Vestn. Ural. otd-nya RAN. Nauka. Obschestvo. Chelovek. 2012. N 1. S. 100—103.]

Палкин А. С. Единоверие в середине XVIII — начале XX в.: общероссийский контекст и региональная специфика : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2013. 27 с. [Palkin A. S. Edinoverie v seredine XVIII — nachale XX v.: obscherossijskij kontekst i regional'naya spetsifika : avtoref. dis. ... kand. ist. nauk. Ekaterinburg, 2013. 27 s.]

Смирнова И. В., Главацкая Е. М. Церковь Святых Апостолов Петра и Павла в Североуральске: страницы истории храма/ Екатеринбург, 2013. 104 с. : ил. [Smirnova I. V., Glavatskaya E. M. Tserkov' Svyatyh Apostolov Petra i Pavla v Severoural'ske: stranitsy istorii khrama / Ekaterinburg, 2013. 104 s. : il.]

Цеменкова С. И. Архив Уральского горного управления в XIX — начале XX в.: организация, основные направления деятельности : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2012. 27 с. [Tsemenkova S. I. Arkhiv Ural'skogo gornogo upravleniya v XIX — nachale XX v.: organizatsiya, osnovnye napravleniya deyatel'nosti : avtoref. dis. ... kand. ist. nauk. Ekaterinburg, 2012. 27 s.]

УДК 821.161.1(091) + 82.091

О. В. Зырянов

**ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ:
СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ***

Научный проект предполагает верность научной парадигме эстетико-феноменологического подхода и направлен на решение актуальных задач поэтики и онтологии индивидуальных художественных миров отечественных писателей-классиков. Важнейшее значение при этом приобретает вопрос о природе культурного диалога как творческого взаимодействия с национальной традицией, о самом механизме литературной преемственности и конкретно-индивидуальных формах творческих взаимодействий.

Проблема художественного сознания долгое время оставалась предметом сугубо философской эстетики [см.: Закс]. Собственно филологической категорией, и прежде всего категорией теоретической поэтики, она становится в трудах исследователей ИМЛИ (С. С. Аверинцев, А. В. Михайлов и др. [см.: Историческая поэтика]), а также В. И. Тюпы, который наметил типологию этого явления, применив к литературе понятия родового, авторитарного, уединенного и конвергентного типов сознаний. Понимание того, что литература — это «интерсубъективная жизнь Сознания в формах художественного Письма» [Тюпа, с. 6], заставляет по-новому взглянуть и на сам историко-литературный процесс как на генеральную линию эволюции форм художественного сознания. В этой связи стоящая перед научным коллективом задача заключалась в том, чтобы перевести категорию художественного сознания из абстрактной области теоретической эстетики в плоскость исторической и практической поэтики, наделив ее объясняющей силой в вопросах анализа и интерпретации индивидуальных художественных миров.

В решении проблемы художественного мира отдельного произведения (равно как и писателя в целом) участники НИР опирались на традиционные параметры художественной целостности, прежде всего на жанрово-стилевые и модально-эстетические характеристики. К указанным параметрам прибавилась еще одна существенная характеристика художественного текста — интегральная текстуальность, которая в постструктураллистской парадигме научности (Р. Барт, Ж. Женетт, Ю. Кристева, П. Серио и др.), как известно, была объявлена неотъемлемо-имманентной и доминирующей чертой всякого литературного произведения. Так, по мнению Ж. Женетта, расширительно толкуемый архитект *«присутствует* *всезде* — выше, ниже, вокруг текста, и текст потому ткет свою ткань, что подвешивает ее там и сям на эту архитектурную решетку» [Женетт, с. 339]. Однако, вслед за донецкой филологической школой (М. М. Гиршман, А. А. Кораблев, О. А. Кравченко), в качестве ведущего вектора в понимании вопросов интертекстуальности мы посчитали категорию диалога, придав ей закономерно онтологический статус. Именно диалог с культурной традицией — в различных его формах, проявляющихся в зависимости от творческой индивидуальности и эстетической парадигмы художественности, — по мнению авторского коллектива НИР, является веду-

* Исследование в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009—2013 гг. Соглашение 14.А18.21.0999 от 07.09.2012.

ющим фактором как историко-литературного процесса в целом, так и глубоко индивидуального, персоналистического акта текстообразования.

Цель обозначенного проекта — исследование национальной специфики и региональных особенностей отечественной словесности в широком диапазоне идейно-эстетических, духовно-религиозных и жанрово-стилевых исканий русских писателей-классиков. Решение данной задачи потребовало системно-сопрягающего использования в конкретной практике литературоведческих исследований различных методологических подходов к феномену художественного сознания и проблеме литературной эволюции — эстетико-феноменологического и структурно-типологического, этноконфессионального и регионоведческого. Новизной представленного проекта как раз и стало комплексное решение проблем эволюции форм художественного сознания, осуществленное в тесном увязывании двух аспектов — специфики национального и регионального развития классической литературы, соотношения провинциального и столичного, региональных тенденций и общероссийских литературных закономерностей. Кроме того, данный проект предполагал сочетание как традиционных историко-литературных методов и приемов, так и подходов, диктуемых современным состоянием гуманитарных дисциплин. Для достижения поставленных в проекте задач наиболее эффективными оказались методы феноменологической герменевтики, структурно-типологического анализа, историко-литературного и культурологического подходов. В целях определения национальной специфики общероссийской и региональной словесности были использованы принципы этноконфессионального изучения литературы (В. А. Захаров, И. А. Есаулов, В. А. Котельников). В области региональных литературоведческих исследований особое значение приобрел анализ художественных произведений с точки зрения структурной семиотики, с позиции «локальных» текстов и сверхтекстов (В. Н. Топоров, Н. Е. Меднис), а также в свете идей гуманитарной географии (Д. Н. Замятин) и геopoэтики (В. В. Абашев). Научно-исследовательская работа в рамках заявленного проекта предполагала два основных этапа.

Важнейшей задачей первого этапа НИР стало осмысление масштаба творческой индивидуальности Д. Н. Мамина-Сибиряка (1852–1912) — первого по значимости писателя Урало-Сибирского региона. Данная задача дополнительно актуализировалась празднованием сразу двух памятных дат, выпавших на 2012 г., — 160-летия со дня рождения и 100-летия со дня смерти писателя. Для этого было предпринято системно-комплексное описание творческого наследия Мамина-Сибиряка, осмысление творческой динамики, онтологических основ и национально-региональной специфики его художественного мира в контексте отечественной литературной классики.

В ходе реализации проекта участникам научного коллектива удалось подвести некоторые итоги и наметить новые задачи познания творчества уральского писателя-классика в свете расширяющихся перспектив литературной регионалистики и одновременно в контексте общероссийского литературного процесса. В рамках данного научного проекта достигнуто комплексное решение целого ряда методологических вопросов, связанных с эволюцией художественного творчества Мамина-Сибиряка, его антропологической концепцией и природой реалистического искусства — так называемого «одухотворенного реализма». Особое внимание авторского коллектива уделялось освещению отдельных проблем жанровой и онтологической поэтики этапных произведений уральского писателя. В ходе конкретного анализа, в опыте индивидуально-авторских интерпретаций подтвердилась мысль о досадной недооценке творческого потенциала Мамина-художника. Обращение к произведениям «второго ряда» (идет ли речь о романах или текстах малой повествовательной формы — рассказах и очерках) привело

к существенной корректировке представлений об эволюции творчества художника, к полной реабилитации «позднего» Мамина-Сибиряка (1890–1900-е). Выяснение истоков его художественных открытий и новаторских экспериментов вылилось в более точное и адекватное понимание реального вклада уральского писателя в развитие жанровой системы русского реализма [см.: К 160-летию со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка].

Как итог первого этапа проекта можно рассматривать подготовленную участниками НИР монографию «Творческое наследие Д. Н. Мамина-Сибиряка: итоги и перспективы изучения» (Екатеринбург, 2013), в которой представлена современная научная концепция творчества Мамина-Сибиряка, дана целостная характеристика его художественного мира, определен вклад писателя в разработку новых романтических форм, в историю средних и малых прозаических жанров, таких как повесть, рассказ, очерк, цикл. Несомненным достижением уральских исследователей можно также считать осмысление многосторонних творческих связей, интертекстуального фона, проблем рецепции (читательского и литературно-критического восприятия) художественно-эстетической системы писателя. Монография демонстрирует использование на практике аксиологического и жанрологического подходов, новейших принципов геопоэтики и этноконфессионального рассмотрения литературно-художественных текстов Мамина-Сибиряка. В приложении к монографии помещены два ценнейших указателя: 1) наиболее полный список художественных произведений писателя и 2) опыт библиографического описания научных трудов о Мамине-Сибиряке с 1977 по 2012 г., что призвано существенно дополнить имеющийся библиографический указатель [Д. Н. Мамин-Сибиряк...]. В качестве итогового результата можно считать твердое убеждение участников НИР в том, что писатель, некогда открывший России неповторимый социально-исторический быт и культурный ландшафт Урала, ныне сам — благодаря данному научному проекту — возвращается широкой российской аудитории в своем истинном объеме и значении. Д. Н. Мамин-Сибиряк — писатель, достойно выдерживающий конкуренцию в одном ряду с такими отечественными литераторами-классиками, как Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А. П. Чехов. Данный проект в его завершенном виде — прямое тому подтверждение.

На втором, итоговом, этапе проекта усилия научного коллектива сосредоточились на вопросах эволюции форм художественного сознания в русской литературе, воспринятых сквозь призму интертекстуальности и этноконфессиональной поэтики и представленных в поле актуального взаимодействия регионального и обще-российского факторов, диалога с национальной культурной традицией. Перед участниками НИР всталась задача комплексного решения вопросов теории и практики и теоретического анализа. Предмет исследования при этом составили разнообразные формы авторского сознания и модусы художественности (образно-тематические комплексы, жанровые системы, сюжетные ситуации, мотивные структуры, персональные стили и авторские идиолекты), взятые в их национально-исторической и конфессиональной обусловленности.

Круг исследуемых литературных имен, равно как и само литературное пространство, на этом этапе были значительно расширены. К именам классических авторов (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев, А. И. Герцен, Ф. М. Решетников, И. А. Бунин и др.) прибавились также имена литераторов конца ХХ — начала ХХI в. (Б. Акунин, Д. Е. Громов и О. С. Ладыженский, Т. Шевкунов, А. Владимиров, Б. Рыжий и др.). Раздвинуты были и хронологические границы изучаемого объекта: к классической традиции прибавились другие эстетические парадигмы художественности (модернизм, постмодернизм, неотрадиционализм).

В качестве важнейшего результата второго этапа НИР можно рассматривать подготовку макета тематического сборника научных статей «Диалоги классиков — диалоги с классикой» (сер. «Эволюция форм художественного сознания в русской литературе», вып. 4). На страницах этого научного сборника подвергнута системному осмысливанию семиотическая данность литературных сверхтекстов (локальных и персональных), выработана методика кластерного подхода к лирическим рецептивным циклам, складывающимся вокруг «сильных» в энергетическом отношении прецедентных текстов русской поэтической традиции. На примере дорожно-философского цикла, обязанного своим рождением тексту-прецеденту М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...», в типологическом освещении прослежено «интертекстуальное потомство» лермонтовского лирического шедевра (Г. Адамович, Г. Иванов, В. Соснора Б. Рыжий, А. Пурин и др.). На материале современной прозы (постмодернистские романы Б. Акунина, жанровая разновидность фэнтези, православная автобиографическая проза) установлены ведущие закономерности интертекстуальной стратегии, преобладающие формы диалога современного художественного сознания с классической литературной традицией.

Выбранный аспект изучения форм художественного сознания отечественных писателей-классиков и современных авторов — через призму интертекстуальности — позволил выработать новые подходы к изучению литературных сверхтекстов (локальных и персональных), а также жанровых и стилевых стратегий современного художественного сознания. Обобщая достигнутые результаты, можно отметить два основных направления продвижения исследовательской мысли. Одно из них (назовем его «центростремительным») исходит из приоритета прецедентного текста классической традиции, как правило, особенно «сильного» в энергетическом отношении и порождающего вокруг себя многочисленное «интертекстуальное потомство» (особенно показателен случай с уже отмеченным лермонтовским дорожно-философским циклом). Другое же движение исследовательской мысли (назовем его «центробежным»), напротив, отправляется от текстов современной эстетической формации, уже по ходу обнаруживая в них механизм «текстуальной трансценденции». Но в обоих случаях акценты, сделанные на механизмах культурно-исторической преемственности, на индивидуально-авторских формах диалога с культурной традицией, приводят участников НИР к пониманию того, что интертекстуальность в художественном тексте выступает не только признаком «вторичности» (например, текста-последователя в сравнении с исходным текстом-прецедентом), но и как форма творческого самоопределения личности самого художника. Все это позволяет надеяться на то, что результаты проделанной работы открывают новые перспективы в понимании эстетической и духовно-религиозной природы отечественной литературной классики, ее базовой роли в общекультурном развитии русской нации.

- Практические результаты исследования. По итогам научно-исследовательской работы были внедрены в образовательный процесс уточненные программы базовых и специальных учебных дисциплин: «История русской литературы второй половины XIX века», «Литература Урала», «Эволюция художественного сознания и стратегии литературного письма», «Литературные музеи». Кроме того, в образовательный процесс были введены разработанные участниками НИР материалы научно-популярного характера: «Русская классическая словесность в этноконфессиональной перспективе», «Жанровый состав и стилевая палитра творческого наследия Д. Н. Мамина-Сибиряка», «Литература и общество: нравственный потенциал классической словесности (тема Отечественной войны 1812 года в русской литературе)». За отчетный период двумя участниками проекта были подготовлены кандидатские диссертации, одна

из которых («Православная традиция в поэтике дидактического сочинения Тихона Задонского “Сокровище духовное”» Е. Н. Коледич, науч. рук. проф. Л. С. Соболева) была успешно защищена в текущем году, другая же («Стихотворная молитва в русской поэзии XIX века: жанровая динамика и типология» О. А. Переваловой, науч. рук. проф. О. В. Зырянов) представлена к защите в диссертационный совет.

• **Перспективы научного исследования.** По мнению авторского коллектива НИР, в области изучения общенациональной литературной классики открывается сразу несколько перспективных сюжетов. Один из них связан с созданием монографии по творчеству Н. В. Гоголя — совместный проект с кафедрой славистики философского факультета Университета имени Палацкого в Оломоуце (зав. кафедрой проф. З. Пехал). Данный замысел следует рассматривать как завершающий этап большого гоголевского проекта [см.: Феномен «Шинели» Н. В. Гоголя...; Н. В. Гоголь как герменевтическая проблема]. Второй проект — проведение в рамках очередных Дергачевских чтений семинара, посвященного 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова (совместно с кафедрой русской и зарубежной литературы УрГПУ). По итогам работы данного семинара планируется издание очередных (четвертых) материалов Лермонтовских чтений (предыдущие выходили соответственно в 1999, 2004, 2009 гг.). Еще одно перспективное направление научной работы, открывающееся перед членами НИР, — выявление концепции и системной целостности русской литературной классики по данным литературно-критической мысли XIX — начала XX в. (имеются в виду индивидуально-интерпретационные возможности феноменологической критики В. Розанова, Д. Мережковского и др.).

Однако самой востребованной задачей уральских филологов остается продолжение изучения творческого наследия Д. Н. Мамина-Сибиряка. В этом направлении открываются важные и существенные перспективы. Так, сектор истории литературы Института истории и археологии УрО РАН совместно с филологами Уральского федерального университета и других научно-образовательных центров Урало-Сибирского региона осуществляет широкомасштабное издание академической «Истории литературы Урала» в трех томах (первый том уже вышел из печати [История литературы Урала]). Центральная часть второго, еще только задуманного, тома, охватывающая историко-литературный процесс XIX в., должна быть отведена творчеству Д. Н. Мамина-Сибиряка. Выработка концепции и структуры данного раздела — насущная задача современной уральской регионалистики.

В стадии разработки находится также проект Маминской энциклопедии. Эта идея была впервыезвучена в 2007 г. профессором Уральского университета В. В. Блажеском. Им же были рассмотрены основные вопросы, связанные со сбором подготовительных материалов, с объемом будущего издания, его композиционной структурой и словником. Планировались две части энциклопедии: в первую должны были войти статьи по словнику, охватывающие весь корпус сочинений писателя, а во вторую — летопись жизни и творчества Мамина-Сибиряка, его научная биография, библиографический список основной литературы о жизни и творческом наследии писателя, а также словарь устаревшей и диалектной лексики его произведений. Однако продвижение от замысла к его осуществлению — дело непростое. Реализация подобного проекта (как это видится в нынешней ситуации) возможна лишь в рамках многоэтапного гранта с привлечением широкого коллектива специалистов (литературоведов, фольклористов, лингвистов, краеведов, музеевых работников, культурологов, искусствоведов, библиографов). Представляется также целесообразным выделение нескольких этапов в подготовке проекта: во-первых, составление словаря-справочника «Мамин-Сибиряк: сочинения, пись-

ма, документы»; во-вторых, создание «Летописи жизни и творчества Мамина-Сибиряка»; в-третьих, комплексное освещение темы «Мамин-Сибиряк в зеркале русской и мировой культуры».

Очевидно, что без постановки глобальных целей и разработки широкомасштабных проектов вообще трудно представить современное маминоведение как ведущую отрасль литературной регионалистики [см.: Зырянов]. В целях оптимизации исследовательской работы следует признать насущно необходимым создание единого электронного банка информации «Мамин-Сибиряк: исследования и материалы». Размещение его, например, на сайте Объединенного музея писателей Урала позволило бы консолидировать усилия всех ученых, занимающихся творчеством уральского писателя-классика. Объединение двух направлений исследования — одновременно в области литературной регионалистики и в сфере изучения общенациональной классики — несомненный залог успешного развития уральской литературоведческой школы.

Д. Н. Мамин-Сибиряк : библиогр. указ. / сост. Л. Н. Лигостаева ; науч. ред. И. А. Дергачев. Свердловск, 1981.

Женетт Ж. Введение в архитект // Женетт Ж. Работы по поэтике. Фигуры : в 2 т. : пер. с фр. М., 1998. Т. 2. С. 282–340.

Закс Л. А. Художественное сознание. Свердловск, 1990.

Зырянов О. В. Творческое наследие Д. Н. Мамина-Сибиряка и перспективы литературной регионалистики // Филол. класс. 2012. № 4 (30). С. 7–15.

Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994.

История литературы Урала : конец XIV–XVIII в. / гл. ред. : В. В. Блажес, Е. К. Созина. М., 2012.

К 160-летию со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2, Гуманитар. науки. 2012. № 4 (108). С. 124–177.

Н. В. Гоголь как герменевтическая проблема : к 200-летию со дня рождения писателя / под ред. О. В. Зырянова. Екатеринбург, 2009.

Тюпа В. И. Постсимволизм : теорет. очерки рус. поэзии XX века. Самара, 1998.

Феномен «Шинели» Н. В. Гоголя в свете философского миросозерцания писателя : (к 160-летию издания) / под ред. Ю. И. Мирошникова и О. В. Зырянова. Екатеринбург, 2002.

УДК 811.161.1'373

Л. Г. Бабенко
М. Ю. Мухин

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ КАФЕДРЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

На кафедре современного русского языка четыре научно-исследовательские темы имеют финансовую поддержку от различных организаций.

- Концептосфера русского языка в зеркале словаря: лингвокультурологический словарь ключевых концептов русского национального сознания (руководитель

проф. Л. Г. Бабенко) выполняется в рамках государственного задания Минобразования РФ. В 2013 г. в соответствии с планом работ были написаны словарные статьи 92 концептов («Ветер», «Ненастье», «Огонь», «Сон», «Свадьба», «Семья», «Стыд» и др.). Написанию каждой отдельной статьи предшествовал этап моделирования ментальной сущности концепта, в результате которого в структуре концептов выделялись когнитивные признаки различной природы: ядерные, основные конкретизирующие, ассоциативно-образные, национально-культурные, модальные и оценочные. Кроме того, для каждого концепта отмечались особенности лексической, фразеологической и паремиологической презентации.

• **Русская лексика как межчастеречная система: полное идеографическое описание в лексикографических параметрах** (руководитель проф. Л. Г. Бабенко) финансируется РГНФ (проект № 13-04-00322). Это новая для кафедры тема, к разработке которой ее коллектив приступил в 2013 г. На первом этапе разработки проекта главным было распределение всей лексики русского языка, как знаменательной, так и незнаменательной, включая предлоги, союзы частицы и др., по денотативно-идеографическим группам слов, чего пока не было сделано в русской лексикологии и что впервые было осуществлено авторским коллективом в рамках разработки этого проекта. Было определено с учетом разработанных параметров ядро наиболее употребительной лексики, сформирован словарник «Большого словаря-тезауруса русского языка» (электронная версия), в котором лексика русского языка предстает как межчастеречная система — в виде множества иерархических организованных денотативно-идеографических групп слов, отображающих картину мира.

• **Русские синонимы в системном освещении: структурно-семантический, идеографический, когнитивный и культурологический аспекты** (руководитель проф. Л. Г. Бабенко). Финансируется РФФИ (проект № 13-04-00322). Это продолжающаяся научная тема, над которой коллектив ученых-лексикографов кафедры работает в течение многих лет. Ранее были изданы «Тезаурус синонимов русской речи» и первый том «Большого толкового словаря синонимов русской речи». В настоящее время основной целью проекта является продолжение работы по созданию полной версии «Большого толкового словаря синонимов», в котором авторы-составители осуществляют их многоаспектное лексикографическое описание: для каждого синонимического ряда формируются прототип и семантическая идея, даются семантические сходства и различия синонимов внутри одного ряда слов, указываются антонимы и фразеологизмы. В 2013 г. было описано 200 основных (около 800 близкородственных) синонимических рядов, подготовлен и отредактирован второй том словаря.

Результаты разработки научных тем кафедры освещались авторами — исполнителями проекта в статьях, тезисах, излагались в виде докладов на конференциях различного ранга.

• **Новый открытый электронный тезаурус русского языка** (руководитель проф. М. Ю. Мухин). Финансируется РГНФ (проект № 13-04-12020). Электронные тезаурусы позволяют связать всю лексику языка в семантическую сеть, которая может быть использована для автоматической обработки программными средствами. Наиболее известным на сегодняшний день является тезаурус английского языка *WordNet*, работа над которым началась в 1985 г. в Принстонском университете (США). В отличие от десятков других языков, для русского языка законченного ресурса такого рода не существует. Между тем электронный тезаурус необходим для решения современного комплекса прикладных задач компьютерной лингвистики, информационного поиска, машинного перевода; возможно и традиционное его использование как лексикографического продукта.

Главная цель проекта — разработка концепции и инструментов создания первого открытого *WordNet*-подобного тезауруса русского языка, а также его базовое наполнение. Ведущим принципом проекта является *wiki*-стратегия — открытый доступ к данным и их редактированию. По сути, это впервые предоставляемая широкому кругу лиц возможность участвовать в создании тезауруса. За первый год работы по гранту сформирована концепция и внутренний формат представления тезауруса, получившего название *YARN* (*Yet Another RussNet*). Осуществлена выборка лексических единиц для ядра тезауруса. Создан и размещен в Интернете (<http://russianword.net/>) тестируемый онлайн-редактор тезауруса. Производится группировка лексических единиц по синсетам — синонимическим рядам, которые в дальнейшем будут связаны между собой отношениями антоними, гиперо- и гипонимии, холонимии и меронимии. Проект обсуждался на ряде научных форумов, в том числе на международной конференции по компьютерной лингвистике «Диалог-2013».

УДК 81'16 + 811.161.1-26

И. Т. Вепрева
Н. А. Купина

МНОГОРЕЧИЕ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Сотрудники кафедры риторики и стилистики русского языка совместно с аспирантами, магистрантами, студентами завершили работу над проектом, который был включен в федеральную целевую программу Министерства образования и науки России (соглашение 14 А.18.0273). Руководитель проекта — профессор Колумбийского университета (США) Б. М. Гаспаров; соруководитель — профессор УрФУ Н. А. Купина. Проект выполнялся в течение 2012—2013 гг.

Целевая установка коллективного научного исследования — многоаспектная интерпретация фактов многоречия, его функционального потенциала, форм реализации в социокультурном пространстве современной России и сопредельных государств. Признано необходимым разграничение многоречия и разноязычия — сосуществования языков разных народов в одном геопространстве. Многоречие может быть описано как единовременное функционирование субъязыков, при выделении которых существенными оказываются оппозиции: кодифицированный литературный язык — некодифицированные подсистемы национального языка; разговорный литературный язык — книжные функциональные разновидности языка; общий язык — язык, отмеченный креативной авторской индивидуальностью.

Полиглоссия, как было установлено, — это общая примета современного языкового существования. Последнее подтверждается функционированием многоречия в разных сферах коммуникации: неинституциональных и институциональных дискурсах, жанрах устной и письменной, диалогической и монологической русской речи. В ходе исследования осуществлено системное описание полученных данных в их проекции на проблемы коллективной идентичности и толерантности, установлены связи и отношения многоречия с векторами развития российского мультикультурного общества.

Для специального анализа была выделена спонтанная живая речь горожан-уральцев. Создана электронная база данных диалогической и монологической речи (тексты),

достоверно отображающая реальное языковое взаимодействие носителей городского просторечия: виды и жанры речи, ее лексический состав, произносительные и грамматические особенности (И. В. Шалина). Электронная база данных (<http://elar.urfu.ru/handle/10995/4452>) – источник, позволяющий изучить формы многоречия в кооперативном и конфликтном общении горожан, осмыслить центробежные и центростремительные процессы, характерные для субъязыкового взаимодействия, систематизировать социокультурные стереотипы, традиционные культурные сценарии и векторы их обновления, охарактеризовать спонтанные речевые реакции на экспансию «чужого».

Субъязыковое взаимодействие, как показал анализ, становится приметой консервативных дискурсов. Оно проникает в религиозную сферу речи (И. А. Истомина, Т. В. Ицкович), в школьный дискурс (Н. А. Купина), в дискурс политический (О. И. Асташова, С. Ю. Данилов, Е. В. Шулындина), становится средством коммуникативной кооперации в телевизионной рекламе (Ю. Б. Пикулева). Участники научного коллектива сосредоточили внимание на причинах коммуникативных конфликтов, условиях конвенционального отторжения «чужой» речи, выявили способствующие коммуникативной интеграции лингвистические техники приспособления к речи «своего» круга, в том числе регулятивные коммуникативно-интегрирующие техники, установили, что консолидирующую функцию многоречия обуславливает коммуникативная толерантность.

Комплексный подход к проблеме функционирования русского языка в мультикультурном обществе позволил предложить методы и приемы семиотического описания сигналов многоречия (Б. М. Гаспаров), приемы диагностики точек социокультурного напряжения с применением корпусного анализа актуальных слов Новейшего времени (И. Т. Вепрева, Н. А. Купина); разработать и апробировать диагностику полиглоссии по данным словарей русского языка (О. А. Михайлова), по данным языковой рефлексии (И. Т. Вепрева), а также на основе фиксации специфических субъязыковых единиц, реализованных в речевой ткани текста (О. А. Асташова, И. А. Истомина, М. А. Литовская, Ю. Б. Пикулева и др.) и в интернет-коммуникации (С. Ю. Данилов, Т. В. Ицкович). Опора на фактор многоречия может быть оценена как методологически целесообразная, позволяющая обновить процедуру анализа результатов речевой деятельности и речевого общения, усовершенствовать процедуру лингвокультурологического и социолингвистического портретирования, усилить функциональную составляющую филологического исследования.

Изучение субъязыкового взаимодействия в разных сегментах речевой коммуникации подтвердило следующую гипотезу: многоречие, выступающее как конститutивный признак мультикультурного общества, является не только приметой сфер коммуникации, открытых для инноваций, но и приметой консервативных сфер коммуникации, жизнеспособность которых основана на сложившихся коммуникативных конвенциях.

Проблемы многоречия и разноязычия обсуждались на межвузовском семинаре с международным участием 14 мая 2013 г. В сборнике докладов и сообщений (см. основные публикации по теме проекта) представлены идеи и методы, связанные с изучением общей темы проекта. Аспектный подход к многоречию отражен в прочитанных для студентов и преподавателей УрФУ лекциях Б. М. Гаспарова, выставленных на сайте (<http://hdl.handle.net/10995/19285>; <http://hdl.handle.net/10995/19286>; <http://hdl.handle.net/10995/18223>; <http://hdl.handle.net/10995/18224>). Результаты студенческих исследований опубликованы в сборнике «Голоса молодых» (см. основные публикации).

В русле основной проблематики коллективного исследования завершены две диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 «Русский язык». Аспирант О. И. Асташова в диссертации «Речевой портрет

политика как динамический феномен» предложила решение важной научной задачи портретирования полифункциональной языковой личности действующего политика (диссертация защищена 27.06.2013). Аспирант И. А. Истомина в диссертации «Современная православная проповедь: стилистическая и pragматическая специфика» предложила решение важной научной задачи выявления зон субъязыкового пересечения, описала языковые средства, выступающие в проповедническом тексте в функции духовных скреп между культурой православной и культурой общенародной (диссертация защищена 15.11.2013).

Основные результаты исследования нашли отражение в многочисленных трудах преподавателей, аспирантов, студентов. в ведущих российских рецензируемых журналах опубликовано 11 статей. Итоговая научная продукция — концептуально обобщенные результаты исследования по проекту — представлена в подготовленной к печати монографии «Русский язык в многоречном социокультурном пространстве» / под ред. Б. М. Гаспарова, Н. А. Купиной. В процессе выполнения проекта установлены научные контакты с учеными из США, Германии, Финляндии, Грузии, Республики Беларусь, Казахстана. Их наблюдения о функционировании русского языка в странах дальнего и ближнего зарубежья составили отдельный раздел монографии.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА (2012–2013)

Статьи в ведущих научных журналах

Бортников, В. И. Текстовые категории как основание сравнения вариантов художественного текста / В. И. Бортников // Вестн. Перм. ун-та. Сер. Филология. 2013. № 2 (22). С. 371–377.

Вепрева, И. Т. Актуальное слово дня. *Озвучить* / И. Т. Вепрева, Н. А. Купина // Рус. яз. за рубежом. 2012. № 5. С. 122–125.

Вепрева, И. Т. Актуальное слово дня. *Полиция* / И. Т. Вепрева, Н. А. Купина // Рус. яз. за рубежом. 2013. № 3. С. 109–113.

Вепрева, И. Т. Актуальное слово дня. *Портяники* / И. Т. Вепрева, Н. А. Купина // Рус. яз. за рубежом. 2013. № 2. С. 111–114.

Вепрева, И. Т. Актуальное слово дня. *Респект и уважуха* / И. Т. Вепрева, Н. А. Купина // Рус. яз. за рубежом. 2012. № 3. С. 113–116.

Гаспаров, Б. М. Аналитические заметки / Б. М. Гаспаров // Изв. Урал. Фед. ун-та. Сер. 2, Гуманитар. науки. 2013. № 3 (115). С. 292–293.

Истомина, И. А. О диалогичности текстов современной православной проповеди / И. А. Истомина // Уч. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2012. Т. 154, кн. 5. С. 156–163.

Ицкович, Т. В. Идиостиль православных проповедников в рамках категориально-текстовой концепции / Т. В. Ицкович // Филол. науки. Вопр. теории и практики. 2012. № 3. С. 64–68.

Ицкович, Т. В. Категория времени в современном православном житии (на материале житий Екатеринбургской епархии) / Т. В. Ицкович // Вестн. Пятигор. Гос. лингвист. ун-та. 2012. № 3. С. 25 – 28.

Купина, Н. А. Идеологема «иностранный агент»: три дня в июле 2012 года / Н. А. Купина // Полит. Лингвистика. 2012. № 3 (41). С. 43–48.

Купина, Н. А. Разноязычие и многоречие в социокультурном пространстве России / Н. А. Купина // Изв. Урал. Федер. ун-та. Сер. 2, Гуманитар. науки. 2013. № 2 (114). С. 68–75.

Коллективные труды, монографии

Бортников, В. И. Категориальная идентификация варианта художественного текста: применение технологии контент-анализа к тематической цепочке в переводе «Потерянного Рая» 1777 г. / В. И. Бортников. Saarbrücken, 2012. 154, [8] с.

Многоречие: проблемы изучения [Электронный ресурс] : тез. докл. и сообщ. Межвуз. науч. семинара с междунар. участием, Екатеринбург, 14 мая 2013. URL: <http://elar.urfu.ru/handle/10995/18219>.

Молодые голоса [Электронный ресурс] : сб. тр. / под ред. И. В. Шалиной. Екатеринбург, 2013. URL : <http://elar.urfu.ru/handle/10995/18218>

Список сокращений

АДСВ	Античная древность и Средние века (Екатеринбург)
ВВ	Византийский временник (Москва)
ГАПК	Государственный архив Пермского края
ГАСО	Государственный архив Свердловской области
Древности	Харьковский историко-археологический ежегодник
МАИЭТ	Материалы по археологии, истории и этнографии Таврики (Симферополь)
МИА	Материалы по археологии СССР (Москва; Ленинград)
МНИ	Музей «Невьянская икона» (Екатеринбург)
ПИФК	Проблемы истории, филологии, культуры (Магнитогорск; Санкт-Петербург)
ПСРЛ	Полное собрание русских летописей
РГАДА	Российский государственный архив древних актов (Москва)
РГАСПИ	Российский государственный архив социально-политической истории
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
СА	Советская археология (Москва)
СВ	Средние века (Москва)
СХМ	Сообщения Херсонесского музея (Симферополь)
УроРАН	Уральское отделение Российской академии наук (Екатеринбург)
ХСб	Херсонесский сборник (Севастополь)
AJA	American Journal of Archeology
ДОР	Dumbarton Oaks Papers
JÖB	Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik
РЕ	Paraspora. Ettal
TAD	Türk Archeologi Dergisi

Сведения об авторах

Антропов, Дмитрий Николаевич (dn.antropov@gmail.com). Выпускник исторического факультета Южно-Уральского государственного университета (2011). Аспирант факультета художественного образования и музейной педагогики Педагогического университета им. А. И. Герцена (191186, Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, 48/2). Сфера научных интересов — образ промышленного и индустриального Урала в изобразительном искусстве XVIII—XXI вв.

Бабенко, Людмила Григорьевна (lgbabenko@yandex.ru). Выпускница филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (1968). Доктор филологических наук (1990), профессор, зав. кафедрой современного русского языка Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51; (343)350-75-92). Сфера научных интересов — семантика слова, предложения и текста; лексикография, когнитивистика, концептология, лингвистический анализ текста.

Байдин, Виктор Иванович (baidin53mail.ru). Выпускник исторического факультета Уральского государственного университета (1975). Кандидат исторических наук (1983), доцент кафедры истории России Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4; (343)350-27-08; hist@usu.ru). Сфера научных интересов — история культуры, социальная история Урала и России.

Барковская, Нина Владимировна (n_barkovskaya@list.ru). Выпускница Уральского государственного университета им. А. М. Горького (1977). Доктор филологических наук (1996), профессор, зав. кафедрой современной русской литературы (620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26; (343)235-76-66). Сфера научных интересов — литература конца XIX — начала XX в., литература эмиграции, современная поэзия.

Березович, Елена Львовна (berezovich@yandex.ru). Выпускница филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (1988). Доктор филологических наук (1999), профессор кафедры русского языка и общего языкознания Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51; (343)350-75-97; fasmer@yandex.ru). Сфера научных интересов — славянская этнолингвистика, этимология, семантико-мотивационная реконструкция, ономастика, лексикография.

Бондаренко, Елена Дмитриевна (jelena.kazakowa@gmail.com). Выпускница филологического факультета Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (2011). Аспирант кафедры русского языка и общего языкознания УрФУ (620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51; (343)350-75-97; fasmer@yandex.ru). Сфера научных интересов — славянская этнолингвистика, когнитивная лингвистика.

Бугров, Константин Дмитриевич (Konstantin.Bugrov@usu.ru). Выпускник исторического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России (620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4; (343)350-27-08). Сфера научных интересов — история общественно-политической и

политико-правовой мысли России XVIII–XIX вв., компаративная история конституционализма, республиканизма, просвещенного абсолютизма.

Васильева, Мария Анатольевна (marijavasil@mail.ru). Выпускница Литературного института им. А. М. Горького (1990). Кандидат филологических наук (2009), ученый секретарь Дома русского зарубежья им. А. Солженицына (109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, 2; (495)915-10-47; vasilieva@bfzr.ru). Сфера научных интересов — литература русского зарубежья.

Вепрева, Ирина Трофимовна (irina_verpreva@mail.ru). Выпускница филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (1970). Доктор филологических наук (2003), зав. кафедрой риторики и стилистики русского языка Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51; (343)350-75-94; kafedraris@yandex.ru). Сфера научных интересов — русский язык, культура речи, семантика, социолингвистика, лингвокультурология.

Вершинин, Евгений Владимирович (u5830@yandex.ru). Выпускник исторического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (1983). Кандидат исторических наук (1989), научный сотрудник НПО «Северная археология-1» (628305, ХМАО-ЮГРА, Нефтеюганск 5, а/я 398; (3463)29-46-23). Сфера научных интересов — история Урала и Сибири XVII в.

Главацкая, Елена Михайловна (elena.glavatskaya@usu.ru). Выпускница Уральского государственного университета им. А. М. Горького (1983). Доктор исторических наук (2006), профессор кафедры археологии, этнологии и специальных исторических дисциплин Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета (620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4; (343)350-74-11). Сфера научных интересов — история, религия, антропология.

Запарий, Юлия Владимировна (julia.zapariy@mail.ru). Выпускница исторического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4; (343)350-75-32). Сфера научных интересов — история международных отношений и международных организаций, история ООН.

Зырянов, Олег Васильевич (philologusu@rambler.ru). Выпускник филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (1990). Доктор филологических наук (2004), профессор, зав. кафедрой русской литературы Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51; (343)350-75-92). Сфера научных интересов — жанровая поэтика русской лирики, духовно-религиозные аспекты отечественной словесности, проблемы литературной регионалистики.

Кибальник, Сергей Акимович (kibalnik007@mail.ru). Выпускник филологического факультета Ленинградского государственного университета (1979). Доктор филологических наук (2001), ведущий научный сотрудник Института русской литературы РАН (199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4; (812) 328-1901; irliran@mail.ru). Сфера научных интересов — литература русского зарубежья.

Костин, Алексей Александрович (kaa.doc@mail.ru). Выпускник исторического факультета Вятского государственного педагогического университета (1999). Кандидат исторических наук (2002), доцент, зав. кафедрой всеобщей истории Вятского государственного гуманитарного университета (610002, Киров, ул. Ленина, 111; (8332)67-88-18; genhistory@vshu.kirov.ru). Сфера научных интересов — Юго-Восточная Европа в международных отношениях XX в., политика США и СССР в Югославии в 1939—1953 гг.

Костромин, Константин Александрович (k.a.kostromin@mail.ru). Выпускник Санкт-Петербургской православной духовной академии (2006), исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (2008). Кандидат богословия (2006), кандидат исторических наук (2011), преподаватель, заведующий аспирантурой Санкт-Петербургской православной духовной академии (191167, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 17; aspirantura@pro-spbd.ru). Сфера научных интересов — история России, история Русской церкви, история Византии, история Средних веков, богословие.

Красавченко, Татьяна Николаевна (tatianakras@mail.ru). Выпускница Московского государственного университета им. Ломоносова. Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Отдела литературоведения Института научной информации по общественным наукам РАН (117997, Москва, Нахимовский пр., 51/21). Сфера научных интересов — литература русского зарубежья, английская литература, сравнительное литературоведение, имагология.

Купина, Наталия Александровна (natalia_kupina@mail.ru). Выпускница филологического факультета Одесского государственного университета им. Мечникова (1962). Доктор филологических наук (1985), профессор кафедры риторики и стилистики русского языка Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51; (343)350-75-94; kafedraris@yandex.ru). Сфера научных интересов — русский язык, стилистика, культура речи, лингвистика текста.

Литварь (Шапиро), Александра Евгеньевна (alexandra.litvar@gmail.com). Выпускница Московского государственного лингвистического университета им. М. Тореза (2007). Преподаватель английского и французского языков МГЛУ (119034, Москва, ул. Остоженка, 38; (495)6375597). Сфера научных интересов — лингвистика, русская и зарубежная филология.

Маслова, Анна Геннадьевна (ag.maslova@mail.ru). Выпускница Кировского государственного педагогического университета (1995). Кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Вятского государственного гуманитарного университета (610002, Кировская область, Киров, ул. Красноармейская, 26; vshu@vshu.kirov.ru). Сфера научных интересов — русская поэзия XVIII в.

Матвеева, Юлия Владимировна (julia-matveeva@yandex.ru). Выпускница филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (1990). Доктор филологических наук (2009), доцент кафедры русской литературы XX и XXI веков Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51; (343)350-75-94). Сфера научных интересов — литература русского зарубежья, русская литература XX в.

Мухин, Михаил Юрьевич (mfly@sky.ru). Выпускник филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (1995). Доктор филологических наук, доцент кафедры современного русского языка Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51; (343)350-75-92). Сфера научных интересов — лингвистика текста, прикладная лингвистика, лексикология, текстология.

Огнев, Константин Кириллович (ognev@ipk.ru). Выпускник сценарно-киноведческого факультета ВГИК (1972). Доктор искусствоведения (2003), профессор, ректор ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии» (127521, Москва, ул. Октябрьская, 105/2; (495)689-33-57; printmediaipk@mail.ru). Сфера научных интересов — искусствоведение, филология, культурология.

Панина, Нина Леонидовна (ra.nina@mail.ru). Кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры истории культуры Новосибирского государственного исследовательского университета (630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 2; (383)363-44-30). Сфера

научных интересов — поле визуализации художественного текста, креолизованные тексты, концептуальное единство изобразительного и вербального ряда в генезисе и бытовании продукта культуры.

Поршнева, Алиса Сергеевна (alice-porshneva@yandex.ru). Выпускница филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (2005). Кандидат филологических наук (2010), доцент кафедры иностранных языков Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (620002, Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 5; (343)375-95-01; fld@mail.ustu.ru). Сфера научных интересов — поэтика художественного пространства, мифopoэтика, немецкая эмигрантская литература.

Прокурина, Елена Николаевна (proskurina_elena@mail.ru). Выпускница филологического факультета Томского государственного университета (1983). Доктор филологических наук (2010), ведущий научный сотрудник Института филологии Сибирского отделения РАН (630090, Новосибирск, ул. Николаева, 8; (383)330-15-18.). Сфера научных интересов — автодокументалистика, русская литература XX в., литература первоэмигрантов, сюжеты и мотивы русской литературы

Романчук, Алла Ильинична (hist@usu.ru). Выпускница исторического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (1967). Доктор исторических наук, профессор кафедры истории Древнего мира и Средних веков (620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4; (343)350-75-38). Сфера научных интересов — средневековая история и археология Крыма, византийский город.

Сатовская, Светлана Николаевна (satovskaja@mail.ru). Выпускница филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (1999). Соисполнитель кафедры зарубежной литературы УрФУ (620000, Екатеринбург, ул. Ленина, 51; (343)350-75-92; zar-lit@mail.ru). Сфера научных интересов — немецкая литература XX—XXI вв., творчество Г. Грасса.

Серов, Дмитрий Олегович (serov1313@mail.ru). Выпускник гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета (1986). Доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Новосибирского государственного университета экономики и управления. Сфера научных интересов — история прокуратуры, следственного аппарата и судебного устройства России XVIII—XX вв., история отечественной кодификации, уголовного права и уголовного процесса XVIII в., история российской бюрократии XVIII в., обстоятельства биографии Петра I.

Снигирева, Татьяна Александровна (tas0905@rambler.ru). Выпускница филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (1976). Доктор филологических наук (1997), профессор кафедры русской литературы XX в. Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51; (343)350-75-94). Сфера научных интересов — движение поэтической мысли в России XX в., художественный мир крупнейших поэтов XX столетия, а также проблемы, предполагающие тесный контакт с другими формами гуманитарного знания — культурологией, геopoэтикой, философией, социологией.

Сыроватко, Лада Викторовна (lvs68@mail.ru). Выпускница литературного отделения Калининградского государственного университета (1990). Кандидат педагогических наук (1997), учитель МАОУ лицей № 49 (236000, Калининград, ул. Кирова 28; (4012)95-24-22; maoulic49@eduklgd.ru), действительный член Всероссийского и Международного обществ исследователей Достоевского. Сфера научных интересов — творчество Достоевского; литература русской эмиграции первой волны; стиховедение, теория и практика стихотворного перевода.

Туляков, Дмитрий Сергеевич (contactz@gmail.com). Выпускник факультета современных иностранных языков и литератур Пермского государственного университета (2010).

Преподаватель кафедры английского языка и межкультурной коммуникации Пермского государственного национального исследовательского университета. Аспирант кафедры мировой литературы и культуры Пермского государственного национального исследовательского университета (614990, Пермь, ул. Букирева, 15; (342)239-66-37). Сфера научных интересов — теория литературы, литература модернизма, взаимодействие искусств.

Турышева, Ольга Наумовна (oltur3@yandex.ru). Выпускница филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (1988). Доктор филологических наук (2011), доцент кафедры зарубежной литературы Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51; (343)350-75-97). Сфера научных интересов — теория литературы, художественная рецепция.

Федякин, Сергей Романович (serofed@yandex.ru). Выпускник Литературного института им. А. М. Горького (1989). Кандидат филологических наук (1995), доцент кафедры новейшей русской литературы Литературного института им. А. М. Горького (123104, Москва, ул. Тверской Бульвар, 25; (495)6940662, novliteratura@rambler.ru). Сфера научных интересов — русская литература XX в.

Юнгблуд, Валерий Теодорович (rector@vshu.kirov.ru). Выпускник Кировского государственного педагогического института им. В. И. Ленина (1981). Доктор исторических наук (1997), профессор, ректор Вятского государственного гуманитарного университета (610002, Киров, ул. Красноармейская, 26; (8332)67-89-75; rector@vshu.kirov.ru). Сфера научных интересов — международные отношения в XX в., внешняя политика США в 1933—1953 гг.

SUMMARY

HISTORY

Kostromin K. A.

Saint Petersburg Theological Academy
k.a.kostromin@mail.ru

East and West in 1st Millennium Christianity and the Great Schism

The author studies the division of the Christian Church into Orthodox Christian and Catholic branches through the context of the idea of political universe with the Byzantine Empire's and the German Empire's claims of the see, also expressed by papal Rome. The division was based on the idea of Christianity as a worldview universe, and cultures' and peoples' attitude towards it, with their being at the top of their activity (the so-called superthnoses). The analysis is made with reference to various literary works and chronicles of mediaeval western European, Byzantine and Old Russian authors. Owing to the fact that there exist different generally accepted views on the conflict development, the article is of a polemical nature.

Key words: 1st millennium Christianity, East–West Schism, idea of a political universe.

Romanchuk A. I.

Yekaterinburg, Ural Federal University
hist@usu.ru

The Byzantine City of the Dark Ages: Discussions in the Historiography (2nd Half of the 20th Century)

The author maintains that the absence of archaeological evidence is not enough to conclude about the crisis or disappearance of Byzantine settlements in mid-7th – mid-9th centuries. On certain occasions, these archaeological gaps are filled with the help of the time when important buildings were functioning. In works of M.Ya. Syuzumov, it was stated that Byzantine provincial towns did undergo a crisis, but did not utterly disappear as a result thereof. The researcher's conclusions are proved by the finds from the closed archaeological sites of Chersonesus, made by Ural University since the beginning of expeditions in 1958 started by E.G. Surov.

Key words: archaeological evidence, development of the city during the Dark Ages, Byzantium, succession of states, Chersonesus.

Serov D. O.

Novosibirsk State University of Economics and Management
serov1313@mail.ru

The Age for a Podyachy to Start Working in Late 17th – Early 18th Century

The article studies the issues connected with the age for a podyachy (minor official) to start civil service in Russia in 1689– 1710. With reference to vast archival data, the author manages to conclude

that the general average age to start civil service was 15.7 years of age, while in case of work for central government it was 14.8, with half of the minor officials starting work before they turned 15. Additionally, the author draws an interdependence of the early start of work and the further career growth of civil servants.

Key words: Russian bureaucracy, podyachy, table of ranks, state civil service, clerks.

Baydin V. I.

Yekaterinburg, Ural Federal University
baidin53mail.ru

The Identification of Kirsha Danilov in the Urals: Biographic Materials

The author publishes archival data and excerpts from them, enabling to identify the compiler of *The Ancient Russian Poems* and the last skomorokh of Russia, Kirsha Danilov; this is on many occasions done by means of logical schemes and exclusions. Regardless of the flawlessly elaborate biographic legend of a fugitive convict and five different nicknames and surnames that can be traced in the documents, they all undoubtedly refer to one and the same Nevyansk hammermaster Cyril Danilov Nikitinykh, and thus help draw a picture of the last period of his life.

Key words: Kirsha Danilov, identification, census lists, names of Kirsha Danilov.

Jungblud V. T.

Vyatka State University of Humanities
rector@vshu.kirov.ru

Kostin A. A.

Vyatka State University of Humanities
kaa.doc@mail.ru

American Perception of the Soviet Policy Toward Yugoslavia in 1942–1945

The authors explore the evolution of American evaluation of the Partisan Detachments of Yugoslavia as well as their communist leaders' connections with the Soviet Union. The authors analyze the factors determining the US perception of the Soviet policy toward Yugoslavia, characterizing the regulating influence of intelligence data on the position taken by F. Roosevelt and the Department of State. The article discovers certain political figures and Slavic emigrant organizations' propaganda in the US supportive of Tito and his movement. Conclusions at the end of the article are made with reference to American periodicals and unpublished materials held by the funds of the Russian State Archive of Socio-Political History, including documents of the Office of Strategic Services the USSR was aware of.

Key words: USA, USSR, Yugoslavia, resistance movement, partisans, Chetniks, Tito, Mihailović.

HISTORY OF ART AND CULTURAL STUDIES

Antropov D. N.

Saint Petersburg, Herzen State Pedagogical University
dn.antropov@gmail.com

The Image of the Mining Urals in the Illustrations of *A Description of Ural and Siberian Plants* by G.W. de Gennin

The article studies the manuscripts of G.W. de Gennin reflecting the image of the industrial Urals of the 1st half of the 18th century. The author analyzes the artistic means employed in the descriptions of the region in question.

Key words: G.W. de Gennin, book illustration, image of the mining Urals.

Panina N. L.

Novosibirsk State University

pa.nina@mail.ru

Illuminated Manuscripts of *The Book about the Theotokos of Tikhvin*

The article draws a brief description of the previously known illuminated *The Book about the Theotokos of Tikhvin* of the 17–19th centuries studying the correlation of the basic literary editions and illumination made in the book, making a distinction between the complete and concise literary editions.

Key words: Theotokos of Tikhvin, book illumination, Rodion Sergiev, Symeon of Polotsk

Ognev K. K.

Moscow, Academy of Media Industry

ognev@ipk.ru

The Future of Screen Arts: from Industrial to Information Society

The article studies the issues of screen arts evolution, mainly, that of the cinema, and the change in their development direction owing to the growing pace of scientific and technological advance and the introduction of digital technologies.

Key words: cinema, television, theatre, literature, art, innovative technologies, mass culture, globalization.

PHILOLOGY

Berezovich E. L.

Yekaterinburg, Ural Federal University

berezovich@yandex.ru

Bondarenko E. D.

Yekaterinburg, Ural Federal University

jelena.kazakowa@gmail.com

Lexical Confusions in Folkloric Plots

The authors study the occurrences of metalinguistic reflection of the bearers of folk tradition in the texts of Russian and Polish folklore, the so-called lexical confusions, i.e. situations played upon in texts, when the discrepancy of the lexical codes with different participants of communication leads to communicative failures. The authors reveal some linguistic phenomena underlying the situations of linguistic confusion, among which the use of one word to indicate different objects; the use of different words to indicate one and the same object; overlooking the peculiarities of the argument structure of meaning; alleged absence of a word; literal interpretation of the inner form of a word/idiom; word falsification; wrong vocabulary use in speech etiquette patterns.

Key words: ethnolinguistics, Russian folklore, Polish folklore, naive linguistics, dialectal lexicology, metalinguistic function of language, word play, communicative failures.

Turyshova O. N.

Yekaterinburg, Ural Federal University

oltur3@yandex.ru

Love and Death as Metaphors of Reading

The article considers the notion of metaphoric images formed in literary fiction to indicate the event of reading. The author studies the metaphors connecting reading with Eros and Thanatos, revealing the peculiarities of how the abovementioned metaphors function in European literature from the Middle Ages to the 21st century.

Key words: metaphor of love, metaphor of death, depiction of the reader, depiction of reading.

Maslova A. G.

Vyatka State University of Humanities
ag.maslova@mail.ru

Genre Peculiarities of 18th Century Masonic Poetry

The article analyzes several genres of 18th century Masonic poetry from the magazines *Utrenniy Svet*, *Vechnaya Zarya*, *Pokoyashchiysya Trudolyubets*, and *Magazin Svobodnokamenshchitskiy*. The author demonstrates that in Masonic poetry, there appear genres aimed to reflect the ontological and anthropological direction of Masonic philosophy, and meant to correspond to the cosmic principles, the universal laws of the world order and the supreme powers of being (prayers, spiritual odes, philosophic works), along with ethological genres, reflecting the state of people's worldly life on different levels of development (parables, fables, riddles, idylls).

Key words: 18th century Russian poetry, genre system, Masonic poetry, ontological and anthropological universals in literature.

Litvar' (Shapiro) A. E.

Moscow State Linguistic University
alexandra.litvar@gmail.com

Riddles and Interpretations of V. Nabokov's *The Real Life of Sebastian Knight*

The article analyzes a number of theories regarding *The Real Life of Sebastian Knight*, the first English novel by Vladimir Nabokov. The author considers different interpretations of the main themes in the book, its ending, and intertextual relations. Special attention is paid to the image of the narrator in the novel.

Key words: V. Nabokov, novel, Russian and English critical heritage, literary biography, borderline genres, hypotheses.

Porshneva A. S.

Yekaterinburg, Ural Federal University
alice-porshneva@yandex.ru

Plot and Space “Border Crossing” Complex in Klaus Mann’s *The Volcano*: (the Storyline of Benjamin Abel)

The article deals with the interaction of plot and space organization in Klaus Mann’s emigration novel *The Volcano*. The author analyzes how one of the main characters of the novel crosses the symbolic borderline between the world of the dead and that of the living which is connected with crossing a geographical border separating different zones of the exile space. As a result, the character finds a new home on the periphery of this space. For characters of the novel to be able to cross the border, according to the author of the article, there should happen an event of “border crossing”

Key words: K. Mann; emigration; emigration novel; border; space; plot; dead/living; compensation.

Satovskaya S. N.

Yekaterinburg, Ural Federal University
satovskaja@mail.ru

Alien Narratives in G. Grass’ *My Century*: the Context of Historical Memory

The article explores the problem of the reconstruction of the past in G. Grass’ works with reference to his autobiographic novel *My Century*. The novel is studied in the context of *literature of memory* as a specific phenomenon in the German literature of the late 20th – early 21st century. Furthermore, the author analyzes the peculiarities of narratives in the novel, more particularly, the collage made up by alien narratives as a form of the author’s narrative mask.

Key words: German literature, Grass, narrative, overcoming of the past, literature of memory, realism, polyphony.

Tulyakov D. S.

Perm State National Research University
contactz@gmail.com

The Ancient Theatre and Mask in Wyndham Lewis' *Enemy of the Stars*

The article considers the function of theatric imagery in the poetics of Wyndham Lewis' play *Enemy of the Stars* (1914). Through the analysis of the theory and history of the ancient theatre (through the sources potentially known to Lewis), the author reveals and interprets the ancient elements and character of the theatric images of the play. Moreover, the article determines the key modeling role of masks of the main characters in the self-referential exposition of *Enemy of Stars*, reflecting the problematic character of relations between the reality and a work of art, as well as the verbal and the visual in Lewis' poetics as a writer and an artist.

Key words: Wyndham Lewis, *Enemy of the Stars*, ancient theatre, mask, visuality.

“RUSSIAN EUROPEANS” OF THE 20TH CENTURY.

Towards the 110th Birthday Anniversaries of Gaito Gazdanov and Boris Poplavsky

Krasavchenko T. N.

Moscow, Institute of Scientific Information on Social Sciences
tatianakras@mail.ru

Gaito Gazdanov as a Writer of Cultural Borderland

The article considers the main components of Gazdanov's creative consciousness which characterize a specific border mode of his works, and his border identity as a writer; among these components are cultural-ethnic (Ossetian) substance, existential cultural philosophy, the traditions of Russian and West European literatures, the ethic-philosophical influence of freemasonry, an inclination to Buddhism, the influence of the French language, and the aesthetical evolution of the writer. As a result, it is evident that Gazdanov's literary works as a whole are a phenomenon of a cultural borderland based on aesthetic synthesis.

Key words: works of G. Gazdanov, cultural borderland, ethnic substrate, existentialism, utopia, freemasonry, Buddhism.

Kibalnik S. A.

St Petersburg, Institute of Russian Literature, Russian Academy of Sciences
kibalnik007@mail.ru

G. Gazdanov's Novel *The Flight* as a Polemical Interpretation of I.A. Goncharov's Metanovel

Gaito Gazdanov's novel *The Flight* is regarded as a special hypertext of a classical Russian novel, depicting a family drama of the main character, a rationalist (mainly, *A Common Story* and *Oblomov*, that is a sort of Goncharov's metanovel). Contrary to what is commonly stated, not the twofold but rather the threefold structure of this metanovel is consciously transformed in *The Flight*. Gazdanov's intertextual and narrative strategies are mainly meant for the rehabilitation of the active meta-character (Pyotr Aduev, Andrey Stoltz) that is accused of coldness and heartlessness in Goncharov's works. The 20th century author is trying to see beyond the classical literary schemes of the Russian classical writers of the 19th century, and, thus, see a real complexity and elusiveness of the reality.

Key words: artistic world, novel, hypertext, rationalist, intertextual, interpretation of a meta-novel.

Proskurina E. N.

Novosibirsk, Institute of Philology (Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences)
proskurina_elena@mail.ru

Life and Death Plots in G. Gazdanov's Novels

The author analyzes the mortal plot and motif complex of G. Gazdanov's novels and reveals the writer's attitude towards death. It transpires that the latter also determines his attitude towards life. The author analyzes some archetypal biblical plots, underlying the theme of death in the writer's novels.

Key words: G. Gasdanov's novels, literature of new emigrants, archetypal biblical plots, plots of death.

Syrovatko L. V.

Kaliningrad, Lyceum № 49
lvs68@mail.ru

The New Job: the Metaphysics of Happiness in the Prose of Gaito Gazdanov and Boris Poplavsky

The article focuses on the statement and solution of the problem of happiness in the works of the new emigration representatives, giving an in-depth analysis of their works of the 1930s, when the issue in question made its way into the discussions between the older and the younger generation of writers, more particularly, Poplavsky's novel *Home from the Heavens* and Gazdanov's short story *Happiness*.

Key words: axiology, first wave of emigration, Poplavsky, Gazdanov, existentialism, *Tchisla* magazine, mythologization.

Fedyakin S. R.

Moscow, Maxim Gorky Literature Institute
serofed@yandex.ru

Gaito Gazdanov: the Art of Depiction

The article studies the peculiarities of Gaito Gazdanov's prose: making creative memories the basis of his narration, Gazdanov writes them in the form of a lyrical argument which allowed for the use of constructions that would have otherwise seemed bulky. Additionally, the role of details grew considerably, with them connecting into associative arrays, which, in their turn began to be connected by images making the work of art complete.

Key words: G. Gazdanov, art of prose, rhythm of phrases, artistic detail, detail, associative array, images as themes.

Matveeva, Yu. V.

Yekaterinburg, Ural Federal University
julia-matveeva@yandex.ru

The Soviet World in Gaito Gazdanov's Perception and Evaluation

With reference to Gaito Gazdanov's literary heritage (works of fiction and political essays, critical works and letters), the author considers the problem of the writer's complicated attitude towards Soviet Russia, its ideology, policy and culture. In the article, the author singles out three periods in Gazdanov's relationships with the Soviet world, namely 1) the 1920-1930s when he still could think of going back to his motherland; 2) World War II and the postwar period, a time for a closer personal contact with the Soviet people, and a new subsequent self-determination in relation to the Soviet policy; 3) work for Radio Liberty.

Key words: Gaito Gazdanov, Russian emigration, Soviet world, World War II, Radio Liberty, Soviet literature, Russian emigrant literature.

Vasilyeva M. A.

Moscow, A. I. Solzhenitsyn House of Russian Emigration

Boris Poplavsky as Vladimir Varshavsky's Vis-a-Vis

Boris Poplavsky is a central character of Vladimir Varshavsky's *The Unnoticed Generation* (1956). The writer did not only know Poplavsky as a personality, but he was also a friend of his. For Varshavsky, the image of the poet was an integral part of Russian Montparnasse, and its symbol. The name of Boris Poplavsky is recurring in the writer's works, namely, in his report *Russian Montparnasse* (1974), where he enters into discussion with American Slavic scholars, in which Varshavsky states that poet Poplavsky was "not half-French or Parisian, but emigrant, Russian-Montparnassian". Varshavsky's report caused a keen response from the writer's contemporaries, which is reflected in a number of letters that along with the report are kept in the archive of A.I. Solzhenitsyn House of Russian Emigration.

Key words: literature of Russian emigration, American Slavonic studies, archival research, B. Poplavsky, V. Varshavsky.

Barkovskaya N. V.

Ural State Pedagogical University

n_barkovskaya@list.ru

Adopted Children of Culture: Traditions of Boris Poplavsky in Modern Ural Poetry

The article studies the traditions of B. Poplavsky's poetry in works of B. Ryzhy and V. Vavilov. The poets' artistic worlds' similarity is conditioned by the recurring situation of radical social and cultural change. The differences in the lyrical atmosphere may be explained not by individual manner alone but also by the general change of culture.

Key words: modern poetry, Boris Poplavsky, Ural poetry, elegiac mood, surrealism, grotesque.

REVIEWS

Snigireva T. A.

Yekaterinburg, Ural Federal University

tas0905@rambler.ru

Traditions of Academism

Review of *A History of Ural Literature : Late 14th–18th Century*/Editors-in-Chief: V. V. Blazhes, E. K. Sozina. — Moscow, Yazyki Slavyanskoy Kultury, 2012. — 608 p.: with illustrations.

Vershinin E. V.

Nefteyugansk, "Severnaya Arkheologiya-1", a scientific development and production centre
u5830@yandex.ru

Service Class People's Role in the Conquest of Eastern Siberia, review of *Service Class People in Eastern Siberia in the 2nd Half of the 17th – 1st Quarter of the 18th Century (with Reference to Irkutsk and Nerchinsk Uyezds Materials)* / G. A. Maslova, Moscow, MSU Publishing House, 2012. — 321 p., by Leontyeva, G. A.

ACADEMIC CURRICULUM

Research Projects: Year in Review

The annual year review of the research projects in the sphere of humanities is gradually becoming a tradition of the Journal. Throughout the year of 2013, work has continued in the fields of history, literature, and linguistics. First, it has to do with winning of the so-called 'megagrant' for historic studies devoted to the Russian elite of the 18th–19th centuries, its establishment and the various ways

through which the European potential came to manifest itself. The megagrant unites the efforts of Russian and French scholars. Second, work has completed in the studies of the religious landscape of the 19th - 20th centuries Urals, resulting in the creation of a historical and cultural atlas of religious denominations. Literary scholars have finished a five-year project whose aim was to study the forms of artistic consciousness in their nation-specific features. The project was carried out by the philologists of the Ural school and made considerable advances in the study of the legacy of D.S. Mamin-Sibiryak, as well as set new perspectives for the contemporary comprehension of the outstanding Russian writers. Finally, linguistic projects were concentrated on the creation of dictionaries, the problem of synonyms, and the work on an electronic thesaurus, allowing for all the word-stock of the language to be united into a semantic network. All the aforementioned projects enjoyed financial support.

K e y w o r d s: Russian elite, religious landscape, history of the Urals, history of Russia, artistic consciousness, D. N. Mamin-Sibiryak, dictionaries of the Russian language, synonymy, semantic network of language.

Zapariy Yu. V.

Yekaterinburg, Ural Federal University
julia.zapariy@mail.ru

Bugrov K. D.

Yekaterinburg, Ural Federal University
Konstantin.Bugrov@usu.ru

The Mega-grant of Historians

Glavatskaya E. M.

Yekaterinburg, Ural Federal University
elena.glavatskaya@usu.ru

The Evolution of Ural Religious Landscape in Late 19th – 20th Centuries: a Historic and Cultural Atlas

Zyryanov O. V.

Yekaterinburg, Ural Federal University
philologusu@rambler.ru

The Form Evolution of Artistic Consciousness in Russian Literature: the Peculiarity of National Development, Regional Features

Babenko L. G.

Yekaterinburg, Ural Federal University
lgbabenko@yandex.ru

Mukhin M. Yu.

Yekaterinburg, Ural Federal University
mfly@sky.ru

Research Projects of the Department of the Modern Russian Language

Vepreva I. T.

Yekaterinburg, Ural Federal University
irina_vepreva@mail.ru

Kupina N. A.

Yekaterinburg, Ural Federal University
natalia_kupina@mail.ru

Multidialectalism in Modern Russian Sociocultural Space

Указатель статей и материалов, опубликованных в 2013 г.

ИСТОРИЯ

Антошин А. В. Советская Центральная Азия в информационной политике радио «Свобода» (1950-е — начало 1980-х) (№ 1)

Байдин В. И. Идентификация Кирши Данилова на Урале: материалы к биографии (№ 4)

Высокова В. В. Шотландские просветители: круг идей (№ 3)

Ганиев Р. Т. Хивинская проблема Российской империи в 1-й половине XIX в.: амбиции и реальность (№ 2)

Городецкая Н. Б. Югославия накануне системного кризиса (1960—1970-е) (№ 3)

Ермакова О. К. Западноевропейские специалисты в составе уральской технической элиты: социокультурная адаптация (первая половина XIX в.) (№ 3)

Запарий Ю. В. Наброски нового мира: американские проекты международной организации по поддержанию мира (1939 — 1944) (№ 3)

Йоффе В. Университетский квартал в городском пространстве Парижа (вторая половина XIV — начало XV в.) (№ 3)

Коновалов Н. А. Деятельность пароходного общества «Дружина» (1850—1860-е) (№ 2)

Костромин К. А. Восток и Запад в христианстве первого тысячелетия и разделение церквей (№ 4)

Любимова О. В. Брачные союзы как инструмент политики в эпоху поздней Римской республики: семья триумвира Красса (№ 3)

Мельчакова О. А. Иностранные дипломаты на коронационных торжествах 1826 г. (№ 1)

Мельчакова О. А. Церемониал приема иностранцев при дворе Павла I (№ 3)
методическое регулирование (№ 3)

Нефедов С. А. Теория военной революции: полвека спустя (№ 3)

Охлупина И. С. Образы матерей в византийской агиографии (№ 3)

Павленко А. П. Политическая деятельность вице-адмирала А. В. Колчака (февраль — июнь 1917) (№ 3)

Поршинева О. С. Западная историография о взаимоотношениях власти и рабочих в условиях Гражданской войны (№ 2)

Романчук А. И. Несколько штрихов к «обыденной жизни» херсонитов (№ 1)

Романчук А. И. Византийский город периода «темных веков»: дискуссия в историографии второй половины XX в. (№ 4)

Сафронова А. М. Словари и грамматики в Екатеринбургской библиотеке В. Н. Татищева (№ 1)

Серов Д. О. В каком возрасте начинали службу подьячие в конце XVII — начале XVIII в. (№ 4)

Суровень Д. А. Подготовка правительницей Дзинга корейского похода в Силла 346 г. Окинага-тараси-химэ в Центральной Японии (№ 3)

Суровень Д. А. Сведения японских источников о подготовке правительницей Дзингу корейского похода в Силла 346 г. (№ 2)

Чернышева Н. К. Житие святого Иннокентия Иркутского в контексте агиографической традиции 2-й половины XIX в. (№ 2)

Эркинов А. Религиозная политика Российской империи в Туркестане: «Очерк о хутбе за русского царя» Н. П. Остроумова (№ 2)

Юмашева Ю. Ю. Цифровизация культурного наследия России: нормативно-

Юнгблуд В. Т., Костин А. А. Американское восприятие советской политики в отношении Югославии в 1942–1945 гг. (№ 4)

ФИЛОЛОГИЯ

Аболина Т. М. Роман М. Ю. Лермонтова «Княгиня Лиговская» в контексте лопухинского цикла (№ 3)

Березович Е. Л. Метафорические микросистемы в языке и фольклорном тексте (на славянском материале) (№ 1)

Березович Е. Л., Бондаренко Е. Д. «Лексические недоразумения» в сюжете фольклорного текста (№ 4)

Бугрова Е. Д. Эволюция жанра аннотаций к переводной массовой литературе (№ 2)

Быстров Н. Л. Движение и неподвижность в поэтическом мире Вяч. Иванова (№ 3)

Ванюшев В. М. Формирование повествовательных жанров удмуртской литературы в трудах Г. Е. Верещагина (№ 2)

Галян С. В. Несобранные лирические циклы Г. Р. Державина и Ф. И. Тютчева (№ 2)

Григорьев Г. А. Эпистолярное наследие П. П. Бажова (№ 2)

Зиятдинова Д. Д. Эволюция представлений о России в творчестве Дины Рубиной 1990-х гг. (№ 2)

Исропова Ф. Х. О границах понятия «металирика» в немецкоязычной литературе (№ 1)

Коледич Е. Н. Стилевое и тематическое своеобразие православной литературы XVIII в. (№ 1)

Купина Н. А. Разноязычие и многоречие в социокультурном пространстве России (№ 2)

Лаптева Е. Р. Русалочья тема в интерпретации А. С. Даргомыжского: опыт создания либретто (№ 3)

Литварь (Шатиро) А. Е. Загадки и интерпретация романа В. Набокова «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» (№ 4)

Маслова А. Г. Жанровая специфика масонской поэзии XVIII в. (№ 4)

Мушникова Е. Н. Обращение «голубчик/голубушка» в речевом этикете русских писателей и современные тенденции (№ 3)

Перевалова О. А. Жанровая разновидность метамолитвы в творчестве русских поэтов XIX в. (№ 3)

Поршинева А. С. Сюжетно-пространственный комплекс «переход границы» в романе Клауса Манна «Вулкан» (сюжетная линия Беньямина Абеля) (№ 4)

Постникова Е. Г. Феномен власти в «Двойнике» Ф. М. Достоевского (№ 3)

Пяткин С. Н. Роман Б. А. Садовского «Пшеница и плевелы» как мифологическая биография Лермонтова (№ 2)

Садомина Н. С. Структурно-семантические особенности сравнения в хантыйском языке (на материале шурышкарского и казымского диалектов) (№ 3)

Сатовская С. Н. «Чужие» нарративы в романе Г. Грасса «Мое столетие»: контекст исторической памяти (№ 4)

Сидорова О. Г., Берчатова И. С., Конторских А. И., Харлов И. Е. Иноязычные элементы во внешней рекламе уральского мегаполиса (№ 2)

Сухих М. П. Словообразовательные типы субстантивных неологизмов в поэтических текстах Д. Ревякина (№ 3)

Туляков Д. С. Античный театр и маска в драме Уиндема Льюиса «Враг звезд» (№ 4)

Турышева О. Н. Любовь и смерть как метафоры чтения (№ 4)

Упоров А. А. Классы слов с модальной семантикой в лексической системе русского языка (№ 2)

Хоруженко Т. И. Жанр современного российского женского фэнтези (№ 2)

Шиянова А. А. Морфологическая характеристика парных имен существительных хантыйского языка. На материале шурышкарского диалекта (№ 1)

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Алексеев Е. П. Картина Г. Мосина и М. Брусиловского «1918 год»: проблема художественной интерпретации (№ 1)

Антропов Д. Н. Образ горнозаводского Урала в иллюстрациях «Описания Уральских и Сибирских заводов» Г. В. де Геннина (№ 4)

Борщ Е. В. Архитектурная гравюра «большого стиля» как источник декора интерьера во французской книжной иллюстрации середины XVIII в. (№ 1)

Будрина Л. А. Парижская школа камнерезного дела в 1-й трети XIX в. и заказы Н. Н. Демидова (№ 1)

Гордусенко М. И. Образ скульптора в искусстве Средних веков и Возрождения (№ 1)

Иордан А. С. Опыт книжной иллюстрации Алексея Бродовича (№ 2)

Кураков С. В. Искусство Тибета: исследовательский дискурс (№ 1)

Лихачева Л. С., Вандышев М. Н. Состояние российских нравов: опыт эмпирического исследования (№ 1)

Огнев К. К. Будущее экранных искусств: от индустриального к информационному обществу (№ 4)

Панина Н. Л. Лицевые списки Книги о иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской (№ 4)

Пронина М. Г. Художественная обработка металла на северном Урале в XIX – начале XX в. (№ 1)

Рабинович Е. И. Специфика культурной модели сновидений в бурятской буддийской культуре (№ 1)

ЮБИЛЕЙ КИРИЛЛИЧЕСКОЙ АЗБУКИ

Алексеев А. А. Кирилло-мефодиевское наследие и русский культурный код (№ 1)

Иванова Е. Э., Рут М. Э. С кириллицей через века и страны (№ 1)

Донских О. А. С «пипцом» в глобальный мир? (№ 1)

РОССИЯ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ Д. ДИДРО

К 300-летию со дня рождения философа

Бугров К. Д. «Петровская» и «екатерининская» концепции политической свободы в России 2-ой половины XVIII в. (№ 2)

Приказчикова Е. Е. Д. Дидро и искушение русского Просвещения (№ 2)

Рабинович В. С. Наш современник Дени Дидро, или Просвещение продолжается (№ 2)

К ЮБИЛЕЮ ТАТАРСКОЙ КНИЖНОСТИ

Исхаков Р. Л. Роль книгопечатания в татарской культуре Урала (№ 2)

Миннегулов Х. Ю. Из истории татарской книги (№ 2)

Татарская книжная культура: современный взгляд. Круглый стол редакции журнала «Известия», посвященный 290-летию первой печатной татарской книги в России (Р. Л. Исхаков) (№ 2)

ПАМЯТЬ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ПАМЯТИ

Баранов Н. Н. «Места памяти»: успешная реконструкция в европейском издательском проекте (№ 3)

Мазур Л. Н. Образ прошлого: формирование исторической памяти (№ 3)

Чудинов А. В. Кони в храмах: об одном из топосов народной памяти о войне 1812 г. (№ 3)

Шаманаев А. В. Утрата культурных памятников в Крымской войне (№ 3)

«РУССКИЕ ЕВРОПЕЙЦЫ» XX В.: К 110-ЛЕТИЮ ГАЙТО ГАЗДАНОВА И БОРИСА ПОПЛАВСКОГО

Барковская Н. В. Приемные дети культуры: традиции Бориса Поплавского в современной уральской поэзии (№ 4)

Васильева М. А. Борис Поплавский как визави Владимира Варшавского (№ 4)

Кибальник С. А. Роман Г. Газданова «Полет» как полемическая интерпретация метаромана И. А. Гончарова (№ 4)

Красавченко Т. Н. Гайто Газданов как писатель культурного пограничья (№ 4)

Матвеева Ю. В. Советский мир в восприятии и оценках Гайто Газданова (№ 4)

Проскурина Е. Н. Сюжеты о смерти и жизни в романах Г. Газданова (№ 4)

Сыроватко Л. В. Новый Иов: «метафизика счастья» в прозе Гайто Газданова и Бориса Поплавского (№ 4)

Федякин С. Р. Гайто Газданов: искусство изобразительности (№ 4)

РЕЦЕНЗИИ

Бедель А. Э. Границы безопасности и безопасность границ (№ 2)

Бугров К. Д., Киселев М. А., Соколов С. В. Нормативно-юридический подход к изучению дворянского сословия в России середины XVIII — 1-й половины XIX в. (№ 2)

Вершинин Е. В. Роль служилых людей в колонизации Восточной Сибири (№ 4)

Капкан М. В. Итальянский ренессанс в искусстве и кулинарии (№ 1)

Козлов А. С. Время Ромула Августула (№ 3)

Попов Е. А. Библия в зеркале русской поэзии (№ 1)

Приказчикова Е. Е. К юбилею Г. Р. Державина (№ 2)

Снигирева Т. А. Традиции академизма (№ 4)

Степанчук Ю. А. Конец книги вновь откладывается, или О пользе медиаэкологии и междисциплинарного подхода (№ 1)

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Конференции

Историческая динамика Российских нравов: консерватизм vs модернизация. Все-российская научная конференция с международным участием (*Л. С. Лихачева*) (№ 1)

Конституционализм в современной мировой и российской истории. Международная научная конференция (*С. И. Глушкова, М. А. Филиппова*) (№ 3)

Многоречие: проблема изучения. Межвузовский научный семинар (*Б. М. Гаспаров*) (№ 3)

Информация

Новые публикации исторического факультета (№ 3)

Новые публикации по искусствоведению и культурологии (*Е. П. Алексеев*) (№ 1)

Новые публикации по филологии (№ 2)

Работа диссертационного совета Д 212.285.20 в 2012 г. (№ 1)

Работа диссертационного совета Д. 212.285.22 в 2012 г. (№ 2)

Работа диссертационного совета по историческим наукам Д 212.285.16 (№ 3)

Исследовательские проекты: итоги года

Бабенко Л. Г., Мухин М. Ю. Исследовательские проекты кафедры современного русского языка (№ 4)

Главацкая Е. М. Эволюция религиозного ландшафта Урала в конце XIX – XX в.: историко-культурный атлас (№ 4)

Запарий Ю. В., Бугров К. Д. Мегагрант для историков (№ 4)

Зырянов О. В. Эволюция форм художественного сознания в русской литературе: специфика национального развития, региональные особенности (№ 4)

ЮБИЛЕИ

Вклад профессора И. Н. Чемпалова в развитие востоковедения (к 100-летию со дня рождения) (№ 3)

ИЗВЕСТИЯ
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Серия 2
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
2013. № 4 (120)

Редактор и корректор
Компьютерная верстка

P. H. Кислых
Л. А. Хухаревой

Журнал не подлежит маркировке в соответствии с п. 2 ст. 1
Федерального закона РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ
как содержащий научную информацию

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-48321 от 27.10.12
Учредитель — Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
620083, Екатеринбург, пр. Ленина, 51

Подписано в печать 18.12.2013. Формат 70×100^{1/16}
Уч.-изд. л. 26,75. Усл. печ. л. 27,79. Бумага офсетная. Гарнитура Petersburg
Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ 2962.

Издательство Уральского университета. 620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51
Отпечатано в ИПЦ УрФУ. 620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4

ПАМЯТКА АВТОРА

Информация о журнале

- Серия «Гуманитарные науки» журнала «Известия Уральского федерального университета» является периодическим изданием (4 номера в год). Журнал включен в Перечень ведущих научных журналов ВАК и подписной каталог «Пресса России. Газеты и журналы» (т. 1), индекс 82412. Материалы журнала размещаются на платформе Российской индекса научного цитирования (РИНЦ) Российской универсальной научной электронной библиотеки.
- Редакционная политика журнала ориентируется на современные гуманитарные исследования, свободные от идеологических штампов, базирующиеся на использовании различных научных парадигм, введении в научный оборот новых источников. Приветствуется академический уровень подачи материала, историографическая полнота и дискуссионность (в рамках проблематики журнала и по заранее выбранным сообществом экспертов проблемам). Редколлегия журнала следует правилам научного либерализма, предусматривающего публикацию мнений вне зависимости от идеологических взглядов.

Порядок приема и движения рукописи

- Журналу предлагаются не публиковавшиеся ранее научные труды объемом не более одного учетно-издательского (авторского) листа (40 000 знаков).
- К рукописи прилагается одна официальная рецензия.
- Авторский оригинал предоставляется в электронной версии и с обязательной распечаткой текста, резюме на русском и английском языках (тема и цель работы, методология исследования, источники, основные результаты и выводы, не более 700 знаков), перечнем ключевых слов на русском и английском языках и сведениями об авторе: фамилия, имя, отчество; год окончания вуза и его название; место работы; ученая степень и звание; сфера научных интересов; средство связи (телефон, e-mail, почтовый адрес).
- Распечатка рукописи должна быть полностью идентична электронному варианту.
- Страницы рукописи нумеруются.
- Иллюстрации к статье даются отдельным файлом, с нумерацией и соответствующей распечаткой.
- Рукописи высыпаются по адресу: 620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51, главному редактору серии «Гуманитарные науки» журнала «Известия Уральского государственного университета».
- Статьи принимаются к рассмотрению в течение всего года.
- Анонимное рецензирование статей осуществляется ведущими российскими и зарубежными учеными.
- Редколлегия уведомляет автора рукописи о том, принят или не принят к публикации материал. Рукописи, не принятые редколлегией к изданию, не рецензируются и автору не возвращаются.

Требования к авторскому оригиналу

Подготовка электронного варианта рукописи

- Формат бумаги — А4 (210 × 297 мм), ориентация книжная.
- Программа — Word, гарнитура — Times.
- Поля — все по 2 см.
- Размер шрифта (кегль) — 14 (алгоритм набора: Формат — Шрифт — Размер 14).
- Межстрочный интервал — полуторный (Формат — Абзац — Межстрочный — Полуторный).

- **Абзацный отступ** — 1,25 (Формат — Абзац — Первая строка — Отступ 1,25).
- **Выравнивание текста по ширине** (Формат — Абзац — Выравнивание — По ширине).
- **Нумерация страниц** (Вставка — Номер страницы — Внизу, справа).
- **Переносы обязательны** (Сервис — Язык — Расстановка переносов — Автоматическая расстановка переносов).
- **Межсловный пробел** — один знак. Пробелы обязательны после всех знаков препинания (включая многоточие), в том числе в сокращениях *т. е.*, *т. п.*, *т. д.*, *т. к.* Два знака пунктуации подряд пробелом не разделяются, например: *M., 1995*. В личных именах все элементы разделяются пробелами, например: *A. С. Пушкин*.
- **Дефис** должен отличаться от тире, например: *Творчество Н. Заболоцкого конца 1920-х — начала 30-х годов*. **Тире** должно быть одного начертания по всему тексту, с пробелами слева и справа, за исключением оформления пределов «от... до» в числах и датах, например: *1941—1945 гг., с. 8—61*.
- **Кавычки** должны быть одного начертания по всему тексту («...» — внешние, “...” — внутренние).
- **Точка, запятая и точка с запятой** при слове с надстрочным знаком сноски ставятся после знака сноски, например: «*Наши дети — энциклопедисты по самому характеру своего мышления*», — говорил Маршак¹.
- **Буква ё/Ё** заменяется буквой *e/E* за исключением важных для смыслоразличения контекстов, например: *Всем обо всём*.
- При наборе не допускается использование стиляй, не задаются колонки.
- Не допускаются пробелы между абзацами.

Виды и приемы выделений в тексте

- Основные виды выделений в рукописи — **рубрикационные** (заголовки рубрик) и **смысловые** (термины, значимые положения, логические усиления).
- Смысловые выделения в авторском тексте оформляются разрядкой (Формат — Шрифт — Интервал — Разреженный — 2).
- Короткие примеры в авторском тексте выделяются светлым курсивом, при необходимости используется полужирный курсив, например: «Неблагозвучны громоздкие сочетания согласных на стыке слов (*пусть встреча состоится*)». Отдельные фрагменты цитируемого текста выделяются мелким шрифтом с отбивками от основного текста.

Библиографические ссылки и примечания

- Ссылки — затекстовые, оформляются в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5—2008, введенным с 1 января 2009 г., с обязательным указанием общего объема или конкретных страниц цитируемого источника.
- Отсылки в тексте — в квадратных скобках с указанием фамилий авторов (если документ создан 1–3 авторами) или названий (4 и более авторов, коллективные сборники), а также при необходимости номера тома и страницы при прямом цитировании. Например: [Толстой, т. 4, с 285]. Год издания указывается лишь в том случае, если есть ссылки на другие книги этого автора. Отсылки в тексте на архивные документы оформляются аналогично: в квадратных скобках, элементы отсылки через запятую. Ссылки на архивный источник за текстом — по правилам оформления затекстовых ссылок.
- Для ссылок на электронные ресурсы вместо слов «Режим доступа» используют аббревиатуру URL (Uniform Resource Locator — унифицированный указатель ресурса) и ссылку на дату обращения. Например: URL: <http://www.prognosis.ru> (дата обращения: 13.03.2009).
- Примечания оформляются с помощью подстрочки и арабской цифры-индекса в качестве знака сноски. Ссылки на литературу в составе примечания приводятся в виде отсылки в квадратных скобках.

Телефон для справок: (343)350-75-92. Электронный адрес: izvestia_2@usu.ru